

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ

# ПОД ЗНАМЕНЕМ МАРКСИЗМА

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ФИЛОСОФСКИЙ  
И ОБЩЕСТВ.-ЭКОНОМ. ЖУРНАЛ

№ 7—8

ИЮЛЬ—АВГУСТ

ИЗДАНИЕ ГАЗЕТЫ „ПРАВДА“  
МОСКВА-1929

Госавт № А-23184.

Тираж 4.000

Тип. газеты „Правда“. Москва, Тверская 48.

## СОДЕРЖАНИЕ.

	Стр.
<i>Б. Гессен</i> — Механический материализм и современная физика . . . . .	5
<i>М. Окунь</i> — Механистические юментализм и диалектической критике . . . . .	48
<i>Я. Бератыс</i> — Очерки по теории советского хозяйства. Стадии развития коммунизма . . . . .	64
<i>С. Шабс</i> — Еще раз о проблеме общественного труда в экономической системе Маркса . . . . .	112
<i>Ш. Лиф</i> — К спорам о характере сложного труда . . . . .	150
<i>И. Альтер</i> — Роза Люксембург о пролетарской революции . . . . .	172
<i>В. Кирпотин</i> — О деятельности Антоновича до ареста Чернышевского (Из истории русской общественной мысли) . . . . .	192
<i>В. Боровский</i> — О бизавиоризма и материализме . . . . .	207
<i>Н. Бородалин</i> — Кризис современной медицины . . . . .	217

### Критика и библиография.

<i>Я. Рованов</i> — Библиография о Руссо . . . . .	242
<i>Г. — А. Столяров</i> — Диалектический материализм и механисты. Наши философские разногласия . . . . .	254
<i>Э. Атлас</i> — И. Г. Блюмин. Субъективная школа в полит. эволюции. Том I — Австрийская школа и англо-американская школа. Том II — Математическая школа . . . . .	256
<i>С. Выгодский</i> — Г. Гоббсон. Экспорт капитала . . . . .	267
<i>А. Воден</i> — В. П. Волгин. Очерки по истории социализма. В. П. Волгин. История социалистических идей . . . . .	273
<i>Б. Манелис</i> — Марксистская теория права в изображении „критического“ марксизма. <i>Вас. Селезнев</i> — Теория номогенеза (новая фаза в развитии российского антидарвинизма). Сборник критических статей под ред. Б. М. Козло-Полянского . . . . .	275

### Сообщения и заметки.

<i>Г. Дмитриев</i> — Письмо в редакцию . . . . .	285
<i>Алон Барбюс</i> — Мои друзья в СССР (О журнале „Монд“) . . . . .	286



## **Механический материализм и современная физика.**

*Б. Гессен.*

Дискуссия диалектиков с механистами скоро будет праздновать свой пятилетний юбилей. Книга тов. Степанова «Диалектический материализм и деборинская школа» является поистине юбилейным достижением, если не по содержанию, то по форме. Продолжать полемику в духе книги тов. Степанова невозможно, не только потому, что им исчерпаны все виды печатной ругани. Правильность точки зрения решается не «крепостью» слов, приводимых в ее защиту, а методологическим анализом содержания научной проблемы и исторического развития науки. К сожалению, итоговая статья тов. Степанова содержит еще меньше конкретного материала, чем его предыдущие статьи и, как мы попытаемся показать, совершенно не стоит на уровне современной науки, которую тов. Степанов так усердно защищает. Мы считаем основным недостатком книги то, что она тщательно обходит все жгучие проблемы современного естествознания, усердно защищая неизвестно от чьих покушений, например, закон сохранения энергии, давно уже вошедший в железный инвентарь естествознания и никак не оспариваемый.

Новые же проблемы заменены у тов. Степанова руганью и сердитыми окриками. Но ругань—плохое средство решения проблем и косвенное доказательство сознания неправоты своей позиции: «Юпитер, ты серднись, значит ты не прав».

Мы не последуем за тов. Степановым в его приемах полемики, а постараемся на разборе конкретного материала выявить свою точку зрения и противопоставить ее точке зрения механистов.

Обратимся поэтому к анализу классического и современного естествознания.

Мы с самого начала ограничим свою задачу разбором физических проблем.

### **I. Механическое и „механистическое“ мировоззрение.**

Согласно воззрениям т. Степанова диалектический материализм в естествознании конкретизируется как механистический материализм. Диалектики намеренно смешивают дохимический механистический материализм с «механистическим» материализмом конца XIX — начала XX вв., который, в сущности, и есть материализм диалектический<sup>1)</sup>.

Как обстоит дело? Можно ли считать, что современное естествознание является «механистическим»? В чем разница между механическим мировоззрением XVIII в. и механистическим (по терминологии Степанова) естествознанием конца XIX? Для того, чтобы решить вопрос о том, есть ли действительно существенная разница между механическим и механистическим воззрением на природу и в чем состоит методологическая сущность механического мировоззрения, обратимся к произведениям тех людей, трудами которых создано естествознание XIX века (следовательно, не дохимическое). В чем видели сущность механического мировоззрения Гельмгольц, Максвелл, Больцман, Дюбуа-Раймон? Как определяли они цель и задачи механического мировоззрения? К сожалению, тов. Степанов, берущий под защиту современное естествознание—по крайней мере в своих статьях — не обнаруживает достаточного знакомства с подлинными взглядами создателей механического мировоззрения в естествознании. Попробуем разобраться во взглядах этих творцов науки XIX в. Правда, это сделать несколько труднее, чем прочитать статью в энциклопедии. Но т. Степанов должен с нами согласиться, что хотя статьи в энциклопедии сильно экономят время и не требуют больших знаний для их нахождения, но для научного решения вопроса они недостаточны. Обратимся поэтому к оригинальным работам названных естествоиспытателей.

Механическое мировоззрение возникает как реакция против схоластической физики скрытых качеств.

Скрытыми качествами схоластическая физика называла те свойства вещей, которые не могут быть восприняты и исследованы, но которые являются причинами наблюдаемых нами явлений. Магнит притягивает железо потому, что имеет магнитную силу притяжения—эта сила и есть скрытое качество—*qualitas occulta*. Мольеровский врач на вопрос, почему опий усыпляет, отвечает: «потому что в нем есть способность усыплять, природа которой заключается в том, что она усыпляет чувства».

---

<sup>1)</sup> См. статью «Диалектическое понимание природы—механистическое понимание» в сборнике «Диалектический материализм и деборская школа».

В этом и заключалось «научное» объяснение явлений схоластикой. Понятно, что подобная методология не могла быть орудием научного исследования и против нее со всей силой выступает Декарт.

«Говори открыто,—заявляет он,—что в природе телесных вещей я не признаю никакой другой материи, кроме той, которая может быть делима самым различным образом, может принимать форму и двигаться, которую математики называют величинной (количеством) и делают предметом своих демонстраций; что в этой материи я рассматриваю только ее деление, фигуры и движения и не принимаю ничего за истину, что не вытекает из этих принципов, так же явственно, как достоверность математических положений. Этим путем можно объяснить все явления природы. Поэтому я держусь того взгляда, что в физике и не нужны и не допустимы другие принципы, кроме здесь изложенных» (Декарт, *Principia*, II, § 64).

В этих словах сформулирована вся программа механического мировоззрения: все явления природы должны быть объяснены и сведены к движению и расположению элементарных частиц.

«Величие плана Декарта,—говорит Э. Виттакер в своей знаменитой работе по «Истории теории эфира и электричества»<sup>1)</sup>—и смелость, с которой он был выполнен, непревзойденным образом стимулировала научную мысль. Из обломков его системы виднейшие ученые создали наиболее устойчивые теории, которые сохранили свое значение до наших дней».

Механическое воззрение, сформулированное Декартом, становится путеводной звездой естествознания XVII и XVIII вв., философским *credo* естествоиспытателей.

«Истинная философия,—говорит Гюйгенс в своем трактате о свете<sup>2)</sup>,—сводит все причины явлений природы к механическим причинам. И так именно надо поступать по моему мнению или же вообще оставить всякую надежду понять что-либо в физике».

Задача механической физики заключалась в первую очередь в разрушении метафизического взгляда на природу, как на совокупность проявлений специфических скрытых качеств. Все явления природы должны быть объяснены из одного принципа—движения и расположения элементарных частиц.

Ведя беспощадную борьбу против схоластической физики скрытых качеств, Декарт не останавливался перед сведением массы к протяженности. Всякое новое понятие массы было для него уже скрытым качеством.

Картезианцы вели ожесточенную борьбу с Ньютоном именно потому, что в формулу механического мировоззрения: объяснение всех явлений из движения и расположения частиц Ньютон вводил еще силы, действующие между элементарными частицами.

<sup>1)</sup> Whittaker, A history of the theories of aether and electricity, p. 3.

<sup>2)</sup> Huyghens, *Traité de la lumière*, Paris 1910, p. 3.

Для Декарта понятие силы, действующей по определенному закону (силы тяготения), но не сводящейся к движению и расположению элементарных частиц, было скрытым качеством. Во второй части «Начал» он делает попытку объяснить силы сцепления и притяжения движением и расположением частиц.

Несмотря, однако, на то, что силы тяготения не поддавались—да и по сей день не поддаются—механическому объяснению, понятие силы—чисто феноменологическое, введенное Ньютоном, оказалось настолько плодотворным, что оно быстро и прочно вошло в инвентарь точного естествознания. Формула механического мировоззрения дополнилась понятием силы, и целью физики стало объяснение всех явлений природы из движения и расположения элементарных частиц и сил, действующих между ними.

Так формулирует задачи механического мировоззрения Ньютон XVIII в. Лаплас, распространивший закон тяготения на микрокосмос и давший механическую теорию капиллярных явлений. Величайшие достижения физики XIX в. связаны с победным шествием механического мировоззрения (механическая волновая теория света Френеля) и находят свое завершение в кинетической теории газов.

Но одновременно все явственней выступают его слабые стороны.

Мы видели выше, как определял задачу и сущность механического мировоззрения Декарт. Это определение совершенно не связано с конкретным состоянием механики в данный момент. Дело не в том, по каким законам движутся элементарные частицы, можно ли их движение отобразить уравнениями Ньютона или уравнениями Лагранжа. Механическое мировоззрение Декарта есть общая методологическая предпосылка: все свойства материи надо объяснить только движением и расположением элементарных частиц материи. Проблема объяснения мира есть для него чисто-кинематическая проблема.

Силы, действующие между частицами, есть уже компромисс—пока они не объяснены из того же принципа.

Таким образом, развитие химии и биологии не могло повлиять на принципиальную формулировку механического мировоззрения. Конечно, можно было наряду с силами тяготения, действующими между частицами, ввести еще электрические силы, силы химического сродства и т. п., но до того, пока эти новые свойства элементарной частицы (молекулы, атома, электрона) не были объяснены как движение и расположение элементарных частиц, задача механического мировоззрения не была выполнена.

Но что же представляют собой эти элементарные частицы—какие свойства их действительно элементарны и не подлежат дальнейшему сведению?

Декарт отвечал на этот вопрос тем, что единственным свойством элементарных частиц объявлял протяжение—объем.



«Природа тел не состоит в твердости, ощущение которой мы иногда испытываем по их поводу. Она не состоит также в их тяжести, теплоте и других подобного рода качествах; ибо, если мы разберем какое угодно тело, мы всегда можем представить себе, что оно не имеет в себе никакого из этих качеств, и в то же время ясно и действительно сознаем, что в нем есть все, что делает его телом, если только оно имеет длину, ширину и глубину. Отсюда следует, что для бытия своего оно не имеет никакой в них нужды, и что природа его состоит в том только, что это субстанция, имеющая протяжение».

Так формулирует свои воззрения на природу элементарных частиц Декарт.

Тов. Степанов, конечно, возразит, что это взгляды дохимического механического материализма, и что совершенно иначе обстоит дело с материализмом «механистическим», материализмом второй половины XIX века.

Посмотрим. Вряд ли кто-нибудь станет отрицать, что Дюбуа Раймон, один из блестящих представителей механического воззрения в естествознании, не является представителем «дохимического материализма».

Вот как излагает он свои взгляды на сущность механического мировоззрения:

«Для нас не существует другого способа познания кроме механического (*mechanische*), и поэтому единственно научной формой мышления является физико-математическая. Теоретическое естествознание успокаивается только тогда, когда сводит (*zurückführt*) все явления к движениям элементарных частиц, которые совершаются по тем же законам, что и в более грубой чувственной материи» (*gröberen sinnfälligen Materie*)<sup>1</sup>.

Мы видим, что никакой принципиальной разницы в формулировке Дюбуа Раймона по сравнению с формулировкой Декарта нет. Да и не может быть, так как Декартом дана общая методологическая установка. И в конце XIX века принципиально вопрос о механическом мировоззрении стоит так же, как и в середине XVII в.

Важно подчеркнуть следующие две характерных черты в определении Дюбуа Раймона:

1. Он совершенно не упоминает о «химических силах и процессах» и говорит лишь о движении элементарных частиц.

2. Он утверждает, что законы микрокосмоса и макрокосмоса тождественны. Это утверждение является одним из основных положений механического естествознания, руководящим принципом точной физики XIX в.

Дюбуа Раймон, конечно, не случайно не вводит в свою формулировку механического мировоззрения химических сил. Он понимает,

<sup>1</sup>) *Reden*, I. S. 464. Необходимо отметить, что механическое мировоззрение не мешало Дюбуа Раймону быть агностиком и иногда скатываться к идеализму.

что элементарные частицы, согласно механическому воззрению, не должны обладать никакими свойствами, кроме способности к перемещению в пространстве. Поэтому, определяя свойства этих элементарных частиц, Дюбуа Раймон называет их бескачественными<sup>1)</sup>.

«Немым и темным сам по себе,—говорит он,—т.е. бескачественным, представляется мир, получению путем объективного наблюдения, механическому воззрению, которое вместо звука и света знает только колебания бескачественного перво-вещества»<sup>1)</sup>.

Правда, несколько странно, как это Дюбуа Раймон говорит «деборинским» языком о бескачественных частицах,—но решать эту проблему мы предоставляем Тимирязевскому научно-исследовательскому институту.

Итак, в формулировках Дюбуа Раймона нет ничего принципиально нового по сравнению с дохимическим периодом. Основным принципом является попрежнему масштаб механики,—объяснение всех явлений из механического движения и расположения элементарных частиц.

Обратимся к воззрениям руководящих физиков XIX в.

Создатель механической теории тепла, кинетической теории газов и теории электромагнитного поля Максвелл свой «Очерк современной молекулярной физики и, в частности, молекулярной теории газов»<sup>2)</sup> начинает следующим определением задач молекулярной физики:

«Мы начнем с допущения, что тела составлены из частей, что каждая из этих частей способна к движению, и что эти частицы действуют одна на другую способом, совместимым с законом сохранения энергии. Мы допустим, что эти малые частицы находятся в движении. Это самое общее допущение, которое можно сделать, ибо оно включает, как частный случай, теорию, что малые части находятся в покое.

Мы не делаем никаких предположений относительно природы этих частиц... Мы даже не приписываем им ни протяжения, ни формы. Каждую из них нужно измерять ее массой и каждые две из них, подобно видимым телам, имеют способность действовать друг на друга, как они достаточно близки между собой, чтобы это могло иметь место. Свойства тела или среды определяются конфигурацией и движением их мельчайших частей».

Совершенно такую же формулировку дает Г. Гельмгольц в своем исследовании о сохранении силы. «Качественных различия мы материи самой по себе приписать не можем, ибо, когда говорим о разнородных материях, то полагаем это различие только в действиях, т.е. в их силах. Поэтому материя сама по себе не может претерпеть никаких изменений, кроме пространственного, т.е. движения».

В определении Максвелла наиболее ярко выявляется одно из основных затруднений механического мировоззрения — проблема

<sup>1)</sup> Über die Grenzen d. Naturerkenntniss, 1916, S. 22.

<sup>2)</sup> См. Речи и статьи, русский перевод Макарева, стр. 58 и сл.

свойств элементарной частицы. Этой элементарной частице нельзя, в сущности, приписывать никаких свойств, ибо все свойства тел должны быть объяснены из движения и расположения этих частиц. Декарт отождествил массу частицы с протяжением, т.-е. в основу объяснения всех свойств тел положил кинематику. Его частицы характеризуются только объемом. Мак-вэлл не мог в этом отношении последовать за Декартом. Для него частицы нужно измерять их массой, но зато он не приписывает им ни протяжения, ни формы.

Еще яснее формулирует затруднения в вопросе о последних элементарных частицах Г. Гельмгольц в своей речи о Густаве Магнусе:

«Относительно атомов в теоретической физике сэр В. Томсон очень верно замечает, что принятие их не может объяснить никакого свойства тел, если оно заранее не было приписано самим атомам. Присоединяясь к этому заявлению, я вовсе не имею намерения высказаться против существования атомов,—я восстаю только против стремления вывести из чисто гипотетических предположений о строении атомов тел основания теоретической физики. На опыте мы находим непосредственно только протяженные тела, многообразные по форме и по составу. Действия их состояются из действий, которые все их части приносят в общую сумму целого. Если мы поэтому хотим изучить наиболее простые и наиболее общие законы действий находящихся в природе масс и веществ друг на друга... мы должны заняться законами действий мельчайших частиц объема. Эти частицы не прерывны и разнородны, подобно атомам, а непрерывны и однородны».

Гельмгольц ясно видит затруднения атомной теории. Для него атомы—тождественные мельчайшие частицы, из движения и расположения которых должно быть объяснено все свойство тел. Он восстает против всяких гипотез о строении элементарных частиц (атомов). Они для него просто частицы объема. Он совершенно не говорит о сведении всех явлений к физико-химическим, так как принимать физико-химические свойства атома значит заранее приписать им те свойства, которые подлежат объяснению.

Для него, как и для Максвелла, В. Томсона, Дюбуа Раймона, единственный масштаб объяснения есть механический масштаб.

«Конечная цель естественных наук, — говорит он в своей речи «О цели и об успехах естествознания»,—заключается в нахождении и изучении движений, лежащих в основе всех других изменений, а также причин, вызывающих эти движения, т.-е. сведение к механике»<sup>1)</sup>.

Эта речь произнесена Гельмгольцем в 1869 г.

Возможно, что т. Степанов назовет и этот период дохимическим.

Обратимся тогда к высказываниям Вильяма Томсона, относящимся к 1898 г. Вильям Томсон, один из величайших физиков XIX сто-

<sup>1)</sup> Vorträge, S. 375, русский пер. в сб. «Философия науки», Физика, ч. 1, стр. 51.

летия, творец теории вихревого атома, посвятил всю свою жизнь попыткам построить механическую теорию материи. Когда наиболее грандиозный из всех его замыслов,—теория вихревого атома,—потерпел неудачу, он писал:

«Мне кажется, что невозможно объяснить все свойства материи теорией вихревого атома (только), т.е. посредством чистого движения<sup>1)</sup> несжимаемой жидкости. Она мне не помогла ни в отношении строения кристаллов, ни в отношении объяснения электрических, химических сил и сил тяготения. Когда-нибудь придет время и поймем природу атома. С большим сожалением я оставляю идею, что одной конфигурации и движения для этого достаточно»<sup>2)</sup>.

Таким образом, и на рубеже XX в. руководящей идеей для естествоиспытателей, принимавших механическое мировоззрение, было объяснение всех свойств тел (химических, электрических, свойств тяготения) из механического движения и расположения дискретных частиц или жидкости.

Приведенных высказываний достаточно, чтобы подвести некоторые итоги.

Различение механического и механистического воззрения, введенное т. Степановым, не выдерживает критики. Существовало и существует единое механическое мировоззрение, которое, как мы видели, господствует в естествознании XIX века<sup>3)</sup>.

Когда т. Степанов обвиняет т. Стэна в том, что он «упорно приписывает ему механическую точку зрения, т.е. все время от химии и физики скатывается к механике»<sup>4)</sup>, то у т. Стэна есть оправдание в том, что его понимание сути механического мировоззрения совпадает со взглядами Гельмгольца, Максвелла, В. Томсона и Дюбуа Раймона.

Не существует различия между механическим и «механистическим» мировоззрением, а есть различие между механическим мировоззрением и диалектическим материализмом. Таким образом, все упреки Энгельса по адресу механического материализма остаются в силе и для всего естествознания XIX в.

Мы видели, что то, за что упрекает Энгельс старых материалистов,—применение масштаба механики к химическим и биологическим явлениям, свойственно всем естествоиспытателям второй половины XIX в., стоящим на точке зрения механического материализма.

И это, конечно, не случайно. Дюбуа Раймон, Гельмгольц, Максвелл, В. Томсон не говорят в своих формулах сведения о физико-химических явлениях не потому, что им была неизвестна химия, а по-

<sup>1)</sup> Т.е. механического.

<sup>2)</sup> Письмо к Silas W. Holman 1898 г. S. Thomson life and Correspondence of Lord Kelvin, vol. II, p. 1047.

<sup>3)</sup> В приведенных выше цитатах захвачен период от 1847 г. (дата появления работы Гельмгольца о сохранении сил) до 1898 г.—высказывания Вильяма Томсона.

<sup>4)</sup> «Диалектический материализм и деборинская школа», стр. 97.

тому, что не может быть иной постановки вопроса, как сведение всех явлений к механике, если только быть последовательным.

Если признавать принцип сведения как основной руководящий принцип научного исследования, тогда нельзя останавливаться перед физико-химическими явлениями, если же признавать, что физико-химические явления элементарны и все сводится только к ним, но сами они к механике не сводятся, то это есть признание определенной области явлений несводимыми и принципиальный отказ от принципа сплошности. На этой непоследовательности и построено различие механического и «механистического» у тов. Степанова.

Поэтому вся критика механического естествознания, данная диалектиками, остается в силе.

Мы критикуем механический материализм, конечно, не за то, что он материалистичен, а за то, что, ставя общую методологическую задачу,—сведение всех явлений к механике, механический материализм закрывает возможность исследования тех процессов природы, которые не укладываются в рамки механики. Идя по этому направлению, нельзя было, по выражению Ленина, «развивать теорию материализма». Развитие точного естествознания и биологических наук истоятельно требовало развития теории материализма. Выставшие перед наукой проблемы не могли быть разрешены в рамках механического материализма. Это вызывало крах механического мировоззрения, наметавшийся уже в 80-х годах прошлого столетия. Мы видели выше, в высказывании В. Томсона, отказ от построения механической теории материи (вихревой атом). Такими же бесплодными оказались попытки построения механических теорий электромагнитного поля.

Последней, наиболее грандиозной попыткой свести все явления природы к механическим движениям является механика Герца. «Стремление механистического воззрения,—говорит М. Планк,—к единому образу мира получило в ней идеальную законченность. Механика Герца есть не физика настоящего, а физика будущего или, так сказать, своего рода физическое исповедание веры»<sup>1)</sup>.

Это «исповедание веры» состоит в том, что Г. Герц считает возможным «полностью провести механическое мировоззрение на основании допущения о движении простых однородных материальных точек, единственных подлинных кирпичей мироздания»<sup>2)</sup>.

Как известно, попытка Герца также кончилась неудачей и не имела влияния на дальнейшее развитие естествознания.

Хорошо, возразит нам т. Степанов, но возможно, что все эти неудачи происходят из того, что не хотят считаться с достижениями

<sup>1)</sup> М. Планк, Физические очерки, стр. 39.

<sup>2)</sup> Там же, стр. 39. Читатель должен обратить внимание на то, что и М. Планк и Герц говорят «леборинским языком» о простых однородных материальных точках.

химии и биологии, не хотят, поднявшись над механической картиной, стать на механистическую точку зрения. Но тогда он должен объяснить, почему все естествоиспытатели, начиная с Гельмгольца и Дюбуа Раймона и кончая Герцем, говорят о сведении всех явлений к механическим перемещениям простой однородной точки. Ведь все они были не только во всеоружии знания второй половины и конца XIX в., но и сами являлись творцами научного развития.

Дело, конечно, в том, что иной постановки вопроса быть не может: либо последовательный механизм,—тогда все должно сводиться к движениям однородной материальной точки,—либо непоследовательный механизм, который, по выражению В. Томсона, вкладывает в атом те свойства материи, которые должны быть объяснены (химические, электрические).

Крушение механических теорий привело к возрождению идеалистических течений в физике. Вместо того, чтобы искать выхода из кризиса в дальнейшем развитии теорий материализма, многие философы и философствующие естествоиспытатели стали искать выхода в «преодолении естественно-научного материализма».

Тов. Степанов хочет изобразить дело так, что мы, критикуя механический материализм, тем самым солидаризируемся с тем течением, которое видит недостатки механического материализма в его материалистичности. Мы отдаем должное великим достижениям механического мировоззрения XIX века. Мы прекрасно знаем, что в то время для естествоиспытателя механический было равнозначуще с материалистическим. Но ведь отсюда еще отнюдь не следует, что нельзя в настоящее время быть материалистом в естествознании, если не стоять на точке зрения механического материализма. Это возможно в том случае, если мы подыдем на точку зрения диалектического материализма. «Мы можем еще смотреть на основы физического мира,—скажем мы словами Р. Милликана,—познание которых нам частично открылось в начале XX в. с глубоким почтением... Но детские механические представления XIX века оказались грубо непригодными»<sup>1)</sup>.

Развитие физики, химии и биологии действительно заставило естествоиспытателей пересмотреть механическую методологию, но совсем не в том направлении, как это изображает т. Степанов.

Для тов. Степанова основным завоеванием «механистического» мировоззрения является распространение закона сохранения энергии на все явления природы,—в том числе и на психические. Он даже отождествляет «механистическое» мировоззрение с законом сохранения энергии<sup>2)</sup>.

Несомненно, что закон сохранения энергии явился могучим средством изгнания из наук о природе всех таинственных сил. Но все же

<sup>1)</sup> Статья R. Millikan в Scientia за 1926 г.

<sup>2)</sup> «Звещающий мною под названием механистического понимания природы закон сохранения (и превращения энергии)...». Ibid., стр. 96.

отождествлять его с механистическим воззрением совершенно неправильно. Ход мыслей у т. Степанова таков: диалектики отвергают «механистическое» мировоззрение, которое в основе есть не что иное, как закон сохранения энергии. Следовательно, они отвергают закон сохранения энергии и тем самым открывают двери для всяких таинственных сил вплоть до жизненной силы,—навсегда изгнанных из естествознания.

Прежде всего историческая справка: закон сохранения энергии был отчетливо сформулирован Робертом Майером в его исследовании «Органические движения в их связи с обменом веществ» в 1845 году и обобщен на все явления Гельмгольцем в 1847 году.

В это время механической теории тепла еще не существовало. Первые работы Кроунига и Клаузиуса относятся к 1856 году. И существовало еще попыток дать механическую теорию электромагнитных явлений.

Исторический закон сохранения энергии был научно обоснован раньше, чем механическое мировоззрение получило широкое распространение в молекулярной физике. Считать, как это делает т. Степанов, закон сохранения энергии тождественным механистическому мировоззрению просто неверно. Это противоречит историческому развитию науки о природе. Как мы видели выше, механическое мировоззрение на основании ньютоновой механики было научно сформулировано еще Лапласом в конце XVIII века, в то время, когда не был известен закон сохранения энергии.

Несомненно, что общая предпосылка механистического мировоззрения сыграла большую роль в истории закона сохранения энергии не даром Декарт сформулировал закон сохранения энергии одновременно со своей механической картиной мира. Но это все же не дает еще основания ставить между ними знак тождества, как это делает т. Степанов.

Механическое воззрение сложилось и оплодотворило науку научной формулировкой закона сохранения энергии, а закон сохранения энергии остается основным руководящим принципом исследования природы, хотя механическое (или механистическое) воззрение не является воззрением современного физика.

Закон сохранения (и превращения) энергии сыграл огромную революционную роль в естествознании, объединив все виды энергии, разделенные до него непроходимой пропастью. Он был мощным орудием уничтожения метафизического взгляда на природу, устанавливая связь между всеми явлениями органической и неорганической природы.

Однако при всем своем значении, закон сохранения энергии не статочен. Тов. Степанов забывает, что в фундаменте современного ес-

<sup>1)</sup> Как общая философская предпосылка, закон сохранения энергии был сформулирован еще Декартом, как закон сохранения движения.

ствознания лежит не только закон сохранения энергии, но закон рассеяния энергии.

Если закон сохранения энергии подчеркивает единство всех явлений, то закон рассеяния энергии устанавливает их специфичность и вводит в науку принципиально новую точку зрения. Нам думается, что тов. Степанов не случайно отмахивается от закона рассеяния энергии. Устанавливая—совершенно правильно—громдное значение для диалектического взгляда на природу закона сохранения энергии, тов. Степанов забывает, что диалектическая точка зрения заключается в установлении единства, и специфичности. Поэтому он игнорирует закон рассеяния энергии, устанавливающий специфические отличия чисто механических систем от систем, хотя и подчиняющихся и своим составных частях механическим законам, но имеющих специфическое отличие, т.е. специфические закономерности.

Мы постараемся ниже подробно показать, что уже в рамках физики механическое воззрение недостаточно. Что даже в механической теории тепла—в кинетической теории газов—невозможно сведение к механике. Но раньше пару слов о специфичности. Тов. Степанов утверждает<sup>1)</sup>, что «сказать «специфичность», заявить о ее несводимости к физико-химическим процессам и на этом остановиться—это равносильно тому, что некоторую часть или область явлений жизни мы должны будем признать непознаваемой». Прежде всего было бы очень хорошо, если бы тов. Степанов нам показал, где это диалектики, говоря о специфичности, предлагали бы на этом остановиться. Мы утверждаем, что никто, нигде, никогда этого не говорил и не писал. Но проблему специфичности на ряду с единством явлений мы всегда подчеркивали, ибо после того, как было установлено единство явлений—хотя бы посредством закона сохранения энергии, перед наукой встал неизбежно вопрос о специфичности. Мало сказать, что свет, теплота, электричество—различные виды энергии, надо было установить на ряду с единством их специфические отличия. Мало сказать, что теплота есть механическое движение молекул—мало было показать, что объем газа, составленный из громадного количества молекул, представляет механическую систему,—надо было еще указать специфические отличия этой системы от простой совокупности отдельных молекул, движущихся по законам механики. И эти специфические отличия—не сводящиеся к законам механики и в них не заключенные—существуют, тов. Степанов, и их, именно, имел в виду Энгельс, когда он писал: «теплота есть движение молекул, но, если я ничего не имею сказать о теплоте, кроме того, что она есть движение молекул, то лучше мне замолчать».

Тов. Степанов считает, что признавать специфичность на ряду с единством, значит быть реакционером в науке<sup>2)</sup>. А вот Маркс, критикуя буржуазных экономистов, подчеркивает, что «определения, при-

<sup>1)</sup> Степанов..., стр. 12.

<sup>2)</sup> Ср. *ibid.*, стр. 103.



ложимые ко всякому производству вообще, как раз и должны быть отброшены, чтобы за единством не были забыты существенные различия... В этом забывании различий лежит вся мудрость современных экономистов»<sup>1)</sup>.

И мы будем марксистской методологии учиться у Маркса, а не по статьям в Советской энциклопедии, написанным хотя бы и выдающимися естествоиспытателями.

## **II. В чем заключается специфичность и несводимость физических явлений к механике.**

Для выяснения вопроса о специфичности и несводимости явлений рассмотрим подробно закон рассеяния энергии и кинетическое толкование его. Это даст нам возможность на конкретном материале выяснить суть наших формулировок. Правда, мы все время будем иметь дело с чисто физическим законом, но принципиальное содержание наших формулировок выступает с достаточной ясностью и в области физики.

Объем газа состоит из громадного количества молекул, находящихся в непрерывном движении. Газ, поэтому, можно рассматривать как систему молекул, движущихся по законам механики. Возьмем какой-либо закон, относящийся к газу, как к целому—напр., закон Бойля, состоящий в том, что давление газа на стенки сосуда обратно пропорционально его объему. Ясно, что этот закон имеет смысл только по отношению к объему газа как к целому, ибо в отношении одной изолированной молекулы понятие изменения давления с изменением объема не имеет смысла или во всяком случае имеет совершенно иной смысл, так как в нашем предположении о молекулярном строении газа мы предполагаем, что объем отдельной молекулы не зависит от давления всего газа.

Движение отдельной молекулы есть чисто механический процесс, полностью отображаемый уравнениями механики.

Что означает утверждение, что давление газа на закон Бойля можно свести к механическим движениям молекул?

Это означает, что, установив чисто механические законы движения отдельных молекул, мы из этих предположений и только из них выведем законы газа, как целого. Закономерности газа как целого (в нашем примере закон Бойля) представляют собой простую арифметическую сумму механических законов, по которым движутся отдельные молекулы. Никаких специфических закономерностей в газе как в целом по сравнению с закономерностями элементов его составляющих не наблюдается.

Если все это имеет место, мы говорим, что давление газа на стенки сосуда сводится к механическим ударам молекул, непрерывно бомбар-

<sup>1)</sup> Маркс, К критике полит. экономии, изд. Моск. Раб., 1923 г., стр. 11.

дирующих стенки сосуда, а закон Бойля сводится к механическим законам движения молекул.

Можно ли говорить, что в кинетической теории газов такое сведение термодинамических законов к механике возможно? Тов. Степанов утверждает, что такое сведение принципиально имеет место. Если сведение всех биологических явлений к физико-химическим возможно, то с точки зрения тов. Степанова сведение чисто физических явлений к механическим и подавно возможно. Кто утверждает обратное—реакционер в науке и «физический виталист».

Посмотрим, как обстоит дело в действительности.

Я с некоторой высоты бросаю камень. Поднятый на определенную высоту камень обладает известным запасом энергии (потенциальной). Упав на землю, камень производит определенное количество теплоты—тепловой энергии, производит звук—сотрясение воздуха—определенное количество механической энергии, известную деформацию почвы и т. д.

Закон сохранения энергии требует, чтобы количество всех энергий, которые произвел камень при падении, т. е. в которые превратилась потенциальная энергия, запасенная в камне, поднятом на определенную высоту, было равно потенциальной энергии камня.

Но мы видим, что, помимо равенства количества энергии, мы имеем здесь дело с процессом, протекающим в определенном направлении. Сначала мы имеем потенциальную энергию, которая затем превратилась в ряд других энергий. Процесс протекал в направлении, так сказать, от потенциальной механической энергии к тепловой и др. видам энергии. Камень сначала был поднят на определенную высоту, а затем, упав, произвел другие виды энергии. Обязательно ли, именно, такое направление процесса? Упав, камень произвел определенное количество теплоты, которое нагрело землю и окружающий воздух. Не может ли камень за счет этой теплоты<sup>1)</sup> снова подняться на прежнюю высоту, охладив соответственным образом воздух и землю?

Другими словами, может ли процесс превращения энергии протекать сам собой в обратном направлении?

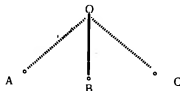
Мы говорим сам собой, т. е. без вмешательства посторонних сил, подобно тому, как превращение потенциальной энергии происходило само собой без вмешательства посторонних сил.

Закон сохранения энергии нам не дает на этот счет никакого ответа, но опыт дает отрицательный ответ. Никогда, нигде в природе мы такого обратного превращения не наблюдали. Процесс протекает в строго определенном направлении и не может быть обращен.

С точки зрения направления процессов мы можем разделить все процессы природы на обратимые и необратимые.

<sup>1)</sup> В виду их незначительной величины по сравнению с тепловой энергией, мы другие виды энергии не принимаем в расчет.

Наиболее простым и типичным примером обратимого процесса может служить качание маятника.



Если мы выведем маятник из положения равновесия OB и отведем его в точку A, а затем предоставим самому себе, то он будет все время колебаться между точками A и C. Его потенциальная энергия будет переходить в кинетическую и обратно. Если мы отвлечемся от трения маятника о воздух и от трения в нити, на которой он подвешен, то эти колебания, связанные с превращением энергии из потенциальной в кинетическую, будут происходить неопределенно долго, то в одном, то в другом направлении.

Процесс вполне обратим.

Вообще, какой бы механический процесс мы ни взяли, он всегда будет обратим.

Если же мы возьмем тепловые процессы, то там дело обстоит иначе. Опустим нагретый металлический шарик в стакан с холодной водой. Теплота <sup>1)</sup> от шарика перейдет к воде. Вода нагреется, шарик остынет. Количество тепловой энергии, потерянное шариком, будет в точности равно количеству энергии, приобретенной водой.

Но передачей теплоты от шарика к воде процесс закончится. Теплота от более нагретого тела перешла к менее нагретому. В конце процесса установилась одинаковая температура шарика и воды—тепловое равновесие, но в обратную сторону процесс не пошел.

Маятник, начав колебаться, пройдя через положение равновесия OB, пошел дальше. От точки A до B он опускался, пройдя точку равновесия B, он начал подниматься. Тепловой процесс не перешел за точку равновесия. Его течение строго одностороннее. Как в примере с камнем, процесс может протекать лишь в одном направлении: всегда и везде мы замечаем переход от более нагретого тела к менее нагретому, но никогда не наблюдали обратного перехода. Тепловые процессы — необратимы.

Таким образом, обратимые процессы отделены от необратимых как бы непроходимой пропастью.

Направление процессов обратимых неопределенно. Они могут протекать в любом направлении. Направление необратимых процессов строго определено.

<sup>1)</sup> Здесь нам незначит вдаваться в вопрос о сущности теплоты.

Это различие обратимых и необратимых процессов устанавливает второй закон термодинамики, дополняющий первый ее закон,— закон сохранения энергии,—указанием на направление превращения. Содержание закона может быть сформулировано по-разному. Мы приведем две наиболее распространенные формулировки: «тепло не может самопроизвольно перейти от более холодного тела к более тепловому». Эта формулировка Клаузиуса явно указывает на определенное направление тепловых процессов. Суть этой формулировки мы разобрали на примере нагревания воды шариком. Другая формулировка В. Томсона указывает на отличие механических процессов от тепловых.

«Невозможно построить периодически действующую машину, вся деятельность которой сводится к поднятию тяжести и охлаждению некоторого резервуара с запасом тепла».

Суть этой формулировки мы разобрали на примере падения камня. Никакими приспособлениями нельзя поднять упавший камень за счет охлаждения окружающей его среды.

Невозможность построить машину, о которой говорит II принцип в формулировке В. Томсона, так называемое *perpetuum mobile* второго рода, не вытекает из принципа сохранения энергии. Действительно, если бы возможно было поднять камень за счет охлаждения среды, то мы бы имели превращение тепловой энергии в энергию положения камня (потенциальную энергию). Эти количества энергии были бы равны, так что закон сохранения энергии не был нарушен.

Утверждение, что такое течение процесса невозможно, представляет новое утверждение, новый принцип.

Течение процессов превращения энергии подчинено не только чисто количественному закону сохранения энергии, но и закону, определяющему направление процессов, специфическую закономерность их течения.

Установление односторонности термодинамических процессов приводит к весьма важным общим следствиям. Тепло, излучаемое солнцем, является источником всех земных рабочих процессов. Все физические процессы, в конце концов, превращаются в тепловые процессы. Наш маятник, например, предоставленный самому себе, будет качаться до тех пор, пока запасенная в нем механическая энергия, благодаря трению его о воздух, не перейдет в окружающий его воздух в виде тепловой энергии.

Электрический ток нагреет провода и раскалит нити электрических лампочек, приведет в действие моторы, механическая энергия которых сообщится, напр., сверлильному станку. В процессе сверления механическая энергия превратится в тепловую, которая нагреет сверло и предмет обработки. Во всех этих процессах механическая энергия маятника, энергия электрического тока и в проводах, и в лампочке, и в моторе, и посредством него, и в станке, в конце концов, превратится в тепловую энергию. Но, как только такое превращение произошло, мы

не можем обратить процесс: не можем заставить маятник снова подняться в точку В за счет охлаждения воздуха, как не можем за счет теплоты, отдаваемой в окружающую среду проводами, лампочками и моторами, снова произвести электрический ток.

Но, если в конце концов все процессы переходят в тепловую энергию, а тепловые процессы, как мы видели, протекают односторонние, то, следовательно, основная тенденция в превращении энергии состоит в «выравнивании» энергии.

В самом деле, если мы имеем нагретое тело, помещенное в среду, которая менее нагрета, чем тело, то тепло будет от тела передаваться среде, пока температура не выравняется, пока не наступит тепловое равновесие.

Тепловая энергия более нагретого тела находится как бы на более высоком уровне, характеризующемся более высокой температурой. Энергия перешла с более высокого уровня на более низкий. Тепловые уровни тела и среды выравнялись. Общее количество энергии осталось тем же, но энергия, как бы обесценилась, так как она уже потеряла возможность к дальнейшему превращению. Она пришла в равновесное состояние, выравнялась или, как принято говорить, рассеялась.

Поэтому иногда II закон называют законом рассеяния энергии.

Энергия теряется, если не количественно, то качественно. Все тепловые процессы стремятся к своему неизбежному концу—тепловому равновесию. Это тепловое равновесие является как бы смертью мира. Для того, чтобы тепловая энергия могла превратиться в другие формы, необходима разность уровней, но односторонность течения тепловых процессов ведет за собой неизбежное выравнивание уровней, за которым не может последовать новое образование разности уровней. Движение энергии прекращается. Энергия вырождается, деградирует. Покой смерти—вот неизбежный конец мира, который предсказывает ему закон рассеяния энергии.

Мы видим, что по своим следствиям II закон термодинамики идет гораздо дальше, чем первый. Определяя направление течения процессов, он тем самым определяет их конец. Но если процессы неизбежно идут к концу, то и начало этих процессов является чем-то загадочным.

Если течение процесса, прекратившись, не может возобновиться само собой началом процесса возникновения начальной разности уровней, определяющей дальнейшее течение процесса, мыслимо только, как некий творческий акт особой силы, вышедшей по отношению к материи, так как ни одна из действующих в природе известных нам сил не может произвести разность тепловых уровней после того, как наступило равновесие. Конечно, я могу снова нагреть охладившийся шарик и, создавши разность тепловых уровней, снова опустить его в стакан, но я могу сделать это только потому, что выравнивание тепловых уровней стакана и шарика не есть еще всеобщее выравни-

вание и остаются в природе тепловые уровни более высокие. Но, если в конце концов наступает полное тепловое равновесие, то из этого состояния мир уже не сможет вывести ни одна из физических сил.

Таковы выводы, с необходимостью вытекающие из закона рассеяния энергии в формулировке Клаузиуса. Он разделяет непреходимой пропастью физические процессы. Если закон сохранения энергии объединяет, связывает все процессы природы, показывает их единство, то закон рассеяния энергии как бы ограничивает эту связь процессов, проводя непреодолимое различие между обратимыми и необратимыми процессами.

Чисто феноменологическая формулировка, которую придал Клаузиус закону рассеяния энергии, неудовлетворительна. На это с чрезвычайной ясностью и прозорливостью указал Энгельс.

Заслуга Л. Больцмана заключается в том, что он вскрыл сущность специфического отличия обратимых процессов от необратимых и показал, как преодолеваются те затруднения, к которым приводит формулировка Клаузиуса, и о которых мы говорили выше. Разберем сначала, в чем сущность специфичности необратимых процессов по сравнению с процессами обратимыми—механическими.

Когда кинетическая теория газов делает попытку дать механическое истолкование закона рассеяния энергии, она с самого начала натывается на следующее фундаментальное затруднение.

Тепловое движение молекул есть механический процесс. Теплота есть ведь не что иное, как кинетическая энергия летящих молекул.

Но ведь мы сказали выше, что все механические движения обратимы. Почему же тепловые процессы, которые с точки зрения кинетической теории материи представляют не что иное, как механические движения миллиардов молекул, выступают как процессы необратимые?

Когда Л. Больцман сформулировал свое кинетическое толкование закона рассеяния энергии, так называемую теорему H, ему прежде всего был предъявлен упрек в том, что, рассматривая газ, составленный из молекул, двигающихся по законам механики, и представляющий чисто механическую, а следовательно, обратимую, модель, мы приходим к процессам необратимым, т.е. существенно отличающимся от механических законов. В газе, взятом как целое, возникают существенно новые закономерности, коренным образом отличающиеся от закономерностей движений отдельных молекул.

Почему же, исходя из чисто механической модели газа, мы приходим к необратимым процессам—полной противоположности механическим процессам, которые всегда обратимы!

Для ответа на этот вопрос дадим слово А. К. Тимирязеву.

«Возражения против теоремы Больцмана сводятся к тому, что не могут законы механики, которые изображают строго обратимые про-

цессы, приводить к изображению необратимого, одностороннего процесса, каким является переход от любого распределения скоростей к максвелловскому... Но в том - то и дело, что при выводе теоремы мы пользуемся теорией вероятностей, когда подсчитываем числа столкновений того или другого типа, так что теорему Н. не следует рассматривать как следствие одних только уравнений механики» (А. Тимирязев, Кинетическая теория материи, стр. 88).

В этом - то и заключается гвоздь вопроса.

В газе, как целом в совокупности молекул появляются законы специфически отличные от чисто механических законов, управляющих движениями отдельной молекулы. Законы эти не являются следствием одних только уравнений механики.

Какие же предположения приходится вводить на ряду с законами механики для того, чтобы получить кинетическое толкование закона рассеяния энергии?

Газ мы представляем себе как совокупность молекул. Молекулы претерпевают в каждую секунду громадное число соударений. Для вывода теоремы Больцмана необходимо кроме предположения о механических законах движения молекул особое предположение о скоростях молекул. Ясно, что скорости всех молекул различны. Но мы принимаем, что молекулы, обладающие различными скоростями, равномерно распределены в пространстве. Другими словами: если мы зададим определенную скорость для молекулы, то с одинаковой вероятностью молекулу с данной скоростью можно найти в любой точке пространства. Молекулы, обладающие данной скоростью, не скопляются в одном месте, а распределены равномерно по всему объему газа.

Это на первый взгляд скромное утверждение, носящее название «гипотезы молекулярного беспорядка», играет фундаментальную роль во всей кинетической теории газов. Без него построение кинетической теории газов невозможно.

Какого характера эта гипотеза? Почему мы ее, а вместе с ней теорему Больцмана называем не механической?

Прежде всего она относится ко всему газу как к целому, выражает специфическую закономерность в распределении молекул внутри данной совокупности. Эта закономерность в применении к одной молекуле просто не имеет смысла. Далее, эта закономерность распределения молекул внутри совокупности не заключена в механическом законе движения одной молекулы. Она возникает только из совокупности этих механических движений. Совокупность механических движений отдельных молекул создает специфическую закономерность, относящуюся ко всей совокупности молекул, — закономерность не механического характера.

Вот что мы понимаем под специфичностью и несводностью явлений и закономерностей, наблюдающихся в газе как в целом к механическим закономерностям его элементов (молекул).

Только благодаря тому, что в совокупности молекул возникает эта специфическая закономерность, принципиально отличная от элементарных закономерностей движения отдельных молекул, мы и получаем специфическое различие обратных и необратимых процессов. Мы увидим в дальнейшем, что специфичность этой закономерности целого даст нам возможность установить не только различие обратных и необратимых процессов, но и их единство.

Продолжают ли действовать в объеме газа механические законы, управляющие движением отдельных молекул? Конечно, продолжают. Возникают ли в совокупности молекул какие-либо особые сверхъестественные силы, несвойственные простой механической системе? Нет, не возникают.

Есть ли специфическое отличие закономерности, наблюдающееся в газе как целом от закономерностей его элементов? Несомненно, есть. Молекулярный беспорядок и есть эта специфическая закономерность.

Является ли эта специфичность закономерности следствием каких-то особых сил или в основе ее образования лежат те же механические законы движения отдельных молекул?

Специфичность закономерностей целого является следствием не каких-то особых сил, а следствием объединения в единую совокупность (синтез) громадного числа элементарных закономерностей, принципиально от нее отличных.

Специфичность закономерности газа как целого, обозначающаяся в кинетической теории газов как «гипотеза молекулярного беспорядка», связана с механическими движениями отдельных молекул, есть следствие этих движений, но представляет собой нечто совершенно от них отличное и к ним не сводимое.

«Научная биология, — поучает нас тов. Степанов, — применяя физико-химические методы к изучению процессов жизни, раскрывает в них такие же закономерности, какие мы наблюдаем в области мертвой природы»<sup>1)</sup>.

Нет, возражаем мы. Это положение неприменимо не только в биологии, а даже в физике: физика, применяя в изучении кинетической теории газов механические методы раскрывает закономерности, принципиально иные, не механического характера.

Применяя законы механики к изучению кинетической теории газов, мы приходим к объяснению необратимых явлений через обратные (механические) только потому, что раскрываем в механической модели

<sup>1)</sup> Степанов, *ib.*, стр. 61.



газа, состоящей из громадного множества молекул, такие закономерности, каких в механических уравнениях движения молекул не заключено.

Хорошо, возразит нам механист, мы принимаем вашу специфичность и даже считаем возможным снять с вас упрек в введении особых сверхъестественных сил. Но почему вы говорите о не сводимости этих специфических законов целого к простым законам его элементарных частей? Какой смысл и какое оправдание имеет это ваше утверждение?

Ведь если бы мне были заданы в точности уравнения движения всех молекул данного объема газа и конфигурация их в какой-нибудь данный момент, этого было бы достаточно, чтобы вывести вашу гипотезу молекулярного беспорядка со всей ее специфичностью.

Но если бы я мог получить эту специфическую закономерность, исходя из полного знания только уравнений движения молекул, то это значило бы, что она сводится к этим простым закономерностям. Правда, в настоящее время я этого сделать не могу, — наши знания пока бесконечно недостаточны. Но ведь вы ставите вопрос принципиально и много раз подчеркивали, что ваша постановка не связана с данным конкретным состоянием науки!

Раскроем с вами, читатель, книгу, написанную в 1795 году и озаглавленную «Опыт философии теории вероятностей». Книга эта принадлежит перу Лапласа.

«Ум, которому были бы известны для какого-либо данного момента все силы природы и относительное положение всех ее составных частей, если бы вдобавок он оказался достаточно обширным, чтобы подчинить эти данные анализу, обнял бы в одной формуле движения величайших тел вселенную, наравне с движениями легчайших атомов: не осталось бы ничего, что было бы для него недостоверно, и будущее, так же как и прошедшее, предстало бы перед его взором»<sup>1)</sup>.

Принципиальная постановка проблемы сведения у Лапласа совершенно одинакова с постановкой ее у механистов: если бы мы знали в точности и до конца все законы движения и расположения элементарных частиц, то мы полностью свели бы все явления к движению и расположению этих частиц и вывели бы все законы вселенной и все ее состояния в любой момент времени.

Методологическое содержание проблемы несколько не изменился, если — согласно т. Степанову — кроме движения и расположения частиц ввести еще физико-химические силы. Мы показали в предыдущей главе, что согласно подлинному «после-химическому» механическому мировоззрению физико-химические явления должны быть сведены к явлениям механическим. Но если даже не идти до конца,

<sup>1)</sup> Русский пер. Власова, стр. 12.

а остановиться в сведении на полдороге, как это делает тов. Степанов, признав неразложимость и несводимость к механике физико-химических процессов, то все же, повторяем, принципиально постановка вопроса у механистов однозначна с постановкой вопроса у Лапласа.

Разница лишь в том, что, будучи последовательным механистом, Лаплас под силами и закономерностями понимает механические силы и закономерности, а наши механисты подразумевают физико-химические силы.

Итак, примем даже, что физико-химические явления не сводятся к механике, но что все остальные явления сводятся к физико-химическим законам. Это, конечно, непоследовательно, так как если, по мнению механистов, все явления принципиально сводятся к физико-химическим, то совершенно непонятно, почему физические явления, например, не сводятся к простым механическим.

В чем суть такой формулировки?

Если такой формулировкой механисты хотят сказать, что в природе, как целом, заложены в основе все законы природы, что никаких других сил, кроме сил, лежащих в основе элементарных процессов природы, не существует, что все закономерности живой материи в основе своей связаны только с законами, господствующими в неживой природе, что нет и не может быть законов и сил, стоящих вне природы и над ней—короче, если под сведением понимать генетическую связь высших форм с низшими в процессе развития, то с такой постановкой вопроса согласится всякий материалист. Хорошо было бы, если бы вместо ругательств механисты, в том числе и т. Степанов, привели бы хоть одну строчку, показывающую, что мы признаем существование сверхъестественных сил и законов, не связанных с материей и в ней не заложенных.

Несомненно, что эта материалистическая предпосылка заключена в формуле Лапласа. Это хорошо понимал сам Лаплас. Не даром на вопрос Наполеона, почему он в своей небесной механике не оставил места для бога, он ответил: «Я не встретил необходимости в этой гипотезе». Но в формуле Лапласа содержится нечто большее, чем простая материалистическая предпосылка. В ней содержится утверждение чисто методологического характера, заключающееся в том, что направление движения науки заключается в разложении всех явлений на элементарные явления и сведение всех закономерностей к закономерности частей. Специфичность законов целого в такой постановке вопроса есть следствие нашего незнания.

Специфичность есть категория субъективная, и задача науки, заключается в сведении этой специфичной закономерности совокупности к простым законам ее элементов. Специфичность есть узел, и задача науки, согласно т. Степанову, заключается в его развязывании.

Не против материалистической стороны формулы сведения мы возражаем, а против этой методологической установки.

Правильность или неправильность методологической установки решается научной практикой.

Чему учит нас развитие науки, в частности, приведенный пример кинетического толкования закона энтропии? В каком направлении двигалась наука? По пути сведения или же по пути установления наряду с закономерностью элементов специфической (т.е. несводимой) закономерности целого?

Именно по второму пути.

Конечно, гипотеза молекулярного хаоса заложена в механических движениях отдельных молекул. Она не является как *deus ex machina*. Она имеет своим условием эти механические процессы. Но если бы наука шла по пути выведения закономерностей газа как целого из движений отдельных молекул, мы несомненно не имели бы кинетической теории газов.

Образ всеведущего ума, нарисованный Лапласом, есть ничто иное, как абстракция бесконечного процесса познания.

Этот ум должен обладать исчерпывающим знанием всех законов природы и полным знанием структуры ее (расположения элементарных частей). И то и другое недоступно реальному знанию, так как предполагается, что природа познана до конца и разложена на последние неделимые, абсолютно элементарные частицы и законы.

Пожалуй, наиболее четко абстрактность и метафизичность механического мировоззрения и принципа «сведения», как основы научного исследования, сформулировал Л. Больцман:

«Пытался доказать а priori, что всякое, казалось бы, качественное изменение должно сводиться к движению мельчайших частиц, так как движение<sup>1)</sup> есть единственное явление, при котором самый предмет остается неизменным. Я считаю подобные метафизические утверждения неудовлетворительными. Конечно, понятие движения мы всегда должны образовывать. Поэтому, если бы все кажущиеся качественные изменения можно было бы представить, как движения или изменение расположения мельчайших частиц, то это привело бы к весьма простому объяснению природы. Природа казалась бы нам тогда наиболее понятной. Но мы не можем принудить природу подчиниться механическому объяснению. Именно поэтому должна быть оставлена возможность того, что для объяснения природы могут быть необходимыми иные картины других изменений. Возможность других объяснений как раз и ставится на очередь новейшим развитием физики» (речь «О принципах механики» *Populäre Schriften*, S. 325 ff.).

Больцман совершенно правильно подчеркивает метафизичность механической концепции. В самом деле, ведь для того, чтобы ставить

<sup>1)</sup> Больцман, конечно, подразумевает механическое движение.

во главу угла сведение всех явлений природы к механическим закономерностям или к движению электронов, необходимо раз навсегда а priori постулировать, что в своей первооснове движение материи есть механическое движение, понимая под механическим движением не только перемещение дискретных частиц, но и движения в сплошных средах. Если мы допустим существование электромагнитных явлений, не сводимых ни к какому виду механического движения, то это есть по существу отказ от механистической картины мира, какими бы словесными вывертками о различии механического и механистического ни замазывалось это допущение новых специфических форм движения материи, качественно отличных от механических и к ним не сводимых.

Мы можем вместе с Больцманом повторить, что необходимость таких предпосылок не только не доказана, но что развитие физики как раз идет по иному пути. Мы вернемся к этому вопросу в главе об электронной теории.

«А все же, — возразит механист, — отрицаете вы необходимость электронного истолкования химии или нет? Разве не являются попытки применения электронной теории в химии шагом вперед?»

Несомненно, являются. Установление связи между различными формами движения материи всегда знаменует прогресс в науке. Электронные процессы есть одна форма движения материи. Химические закономерности — другая форма движения материи. Если понимать под сведением установление связи между различными типами закономерностей движения материи, то против такого «сведения» мы не возражаем.

Но ведь т. Степанов ставит проблему не так. Вот как он формулирует задачу науки:

«Из того, что известное сочетание физических и химических процессов, совершающихся в мертвой материи, некогда привело к узловой линии, к скачку, к жизни, к новому качеству, отнюдь не следует, что в организме разворачиваются какие-то процессы, неизвестные физике и химии, и что наука должна отбросить как насквозь суетную надежду свести явления жизни при всем их своеобразии и сложности к тем относительно простым явлениям, которые она наблюдает в мертвой природе»<sup>1)</sup>.

Прежде всего, что значит сводить более сложные (биологические) явления к «относительно простым»? Ведь «относительно простое» носит в такой постановке вопроса в известном смысле условный характер. Нам кажется, например, что простое механическое перемещение наиболее просто и наглядно. Больцман справедливо подчеркивает, что механическая картина мира есть наиболее простое (с нашей точки зре-

<sup>1)</sup> Степанов, *ibid.*, стр. 35—36.

няя) объяснение природы. Но ведь природе нет делв до того, легко ли нам или трудно познать ту или иную закономерность, просты или сложны наши дифференциальные уравнения, умеем ли мы или не умеем их интегрировать. Поэтому объективно мы не можем сказать, что механическое перемещение нейтральной материальной точки проще, чем движение электронов. Это прекрасно выразил Оливер Лодж в своей кельвинговской речи 19 апреля 1928 г.<sup>1)</sup> в Институте инженеров-электриков:

«Новая физика стремится упростить комплекс проблем при помощи квант и теории относительности, но она раскрыла трудности там, где раньше никаких трудностей не существовало, и она сделала многие простые вещи сложными.

В девятнадцатом веке все сводили к механике. Сейчас самое понятие механического движения материи само по себе требует объяснения» (Цитирую по журналу Nature, № 3073 от 22 сентября 1928 г., стр. 430).

Основная задача науки заключается не в простом сведении сложного к относительно простому, а к установлению связи между различными формами движения материи, к изучению существенных закономерностей движения материи (конечно, движение мы понимаем в энгельсовском смысле, как изменение вообще).

«Познать явления,—говорит Гельмгольц в своей речи «О цели и успехах естествознания»,—значит найти их закон».

И это совершенно справедливо. Гельмгольц, бывший последовательным механистом и считавший, что все может быть сведено к механике, в то же время не формулирует задачу науки как задачу сведения.

Но разве, возражат нам, нет объективного различия между простым и сложным? Неужели вы утверждаете, что нельзя назвать объективно биологические закономерности более сложными, чем физические или химические?

Различение между простым и сложным может быть установлено только в том случае, если мы станем на точку зрения развития сложного из простого, совокупности из ее элементов. А вот именно эта точка зрения развития и смазывается формулой сведения.

Мир есть движущаяся материя. В процессе развития движение материи порождает все новое и новое своеобразие форм. Изучать природу значит устанавливать существенные закономерности и связи между различными формами движения, устанавливать закон их развития. Если можно говорить о простых и сложных формах, то только становясь на точку зрения развития, а у т. Степанова момент развития отходит на второй план.

<sup>1)</sup> Речь О. Лоджа напечатана в Journ. Inst. Elect. Eng., vol. 66, p. 1005, 1928 г.

Химический элемент построен из электронов. Живое вещество построено из химических элементов. Процесс развития в природе идет от неорганического вещества к органическому.

В таком смысле можно сказать, что химический элемент сложнее электрона, а живое вещество сложнее химических элементов?

Только в том смысле, что в живом веществе, более позднем звене развития неорганической материи, по сравнению с химическим элементом возникают новые специфические закономерности, характерные для данного образования и не заключающиеся в его элементах. Задача науки состоит, следовательно, в изучении специфических закономерностей, характеризующих новое образование (атом из электронов), и в установлении связи между этой новой специфической закономерностью и теми элементарными закономерностями, которые лежат в ее основе.

Важно и необходимо изучение связи между физико-химическими законами и явлениями в органической материи.

Важно и необходимо изучение связи между электронами и химическими элементами.

Но так же важно изучение специфических закономерностей жизненных явлений, специфических свойств атома. Важно именно потому, что новое образование, представляющее более позднее звено в цепи развития, всегда более богато содержанием, всегда представляет новые закономерности, специфически отличные от закономерностей его элементарных частей. Мы видели на примере кинетической теории газов, что закономерность газа, как целого (молекулярный беспорядок), представляет специфическую закономерность по сравнению с механическим движением молекул.

Только установление связи между специфической закономерностью целого (объем газа) и механическим движением элементов (молекулы) дает кинетическую теорию газов, с ее новыми специфическими закономерностями—статистическими закономерностями. Механика никогда не упразднит кинетическую теорию газов и физику, как и биология никогда не заменит собою социологию.

■

• • •

Подведем итоги.

В природе существуют два типа соотношения между целым (свойкупностью) и его частями, между простым и составным. Целое может представить простую арифметическую сумму своих частей. Свойства и закономерности целого ничем не отличаются от свойства и закономерности частей. Килограмм (по весу) есть не что иное, как арифметическая сумма 1.000 граммов. Сколько бы мы ни складывали 1.000 граммов (по весу), мы никаких новых свойств не получим.

Килограмм нацело разлагается на сумму граммов, «сводится» к 1.000 граммов.

Эти свойства совокупностей мы называем аддитивными свойствами.

На ряду с аддитивными свойствами совокупность может обладать и такими свойствами, которые не заключены в ее элементах. Приводя в соприкосновение пару разных металлов, мы получаем контактную разность потенциалов. Эта разность потенциалов не свойственна никакому металлу, самому по себе, а представляет новое свойство совокупности, не заключенное в ее элементах и представляющее новое специфическое образование. Эти свойства совокупности, которые имеют условием своего возникновения закономерности элементарных частей, но которые возникают только в совокупности, как целом, и исчезающие, если совокупность разлагается на составные части, являются результатом синтеза элементов, мы называем не аддитивными свойствами совокупности.

Если бы в природе существовали только аддитивные свойства, то тогда мы с полным правом могли бы говорить о сведении. Килограмм действительно сводится к сумме граммов. Киловатт сводится к 100 ваттам.

Но аддитивные свойства совокупности не могут дать процесса развития, ибо процесс развития как раз и характеризуется появлением новых свойств. Так как диалектика есть теория развития, то основной нашей задачей является изучение новых свойств высших форм и установление связи этих новых форм с элементарными формами. Другими словами, изучение форм движения материи в их развитии.

Таким образом, задача состоит не в сведении специфических закономерностей целого к элементарным закономерностям частей, а в изучении тех и других в их взаимной связи и развитии. Мы не можем свести, растворить высшую форму движения в сумме низших форм движения, так как специфичность высшей формы движения заключается именно в том, что она представляет не сумму низших форм, а их синтез.

Потрудитесь объяснить, что это за таинственный синтез, призывает нам т. Степанов. Это нетрудно сделать, так как определенное синтеза дал Энгельс:

«Простое и составное. Категории, которые теряют смысл свой уже в органической природе и неприменимы здесь. Ни механическое сложение костей, крови, хрящей, мускулов, тканей и т. п., ни химическое—элементов не составляет еще живого»<sup>1)</sup>.

Организм есть синтез, а не сумма тканей, костей и т. п., живая ткань есть синтез химических элементов, а не их сумма, химический элемент есть синтез электронов, а не простое собрание их. Все это мы называем синтезом потому, что в более высокой (с точки зрения раз-

<sup>1)</sup> Аржи, II, стр. 17.

Химический элемент построен из электронов. Живое вещество построено из химических элементов. Процесс развития в природе идет от неорганического вещества к органическому.

В таком смысле можно сказать, что химический элемент сложнее электрона, а живое вещество сложнее химических элементов?

Только в том смысле, что в живом веществе, более позднем звене развития неорганической материи, по сравнению с химическим элементом возникают новые специфические закономерности, характерные для данного образования и не заключающиеся в его элементах. Задача науки состоит, следовательно, в изучении специфических закономерностей, характеризующих новое образование (атом из электронов), и в установлении связи между этой новой специфической закономерностью и теми элементарными закономерностями, которые лежат в ее основе.

Важно и необходимо изучение связи между физико-химическими законами и явлениями в органической материи.

Важно и необходимо изучение связи между электронами и химическими элементами.

Но так же важно изучение специфических закономерностей жизненных явлений, специфических свойств атома. Важно именно потому, что новое образование, представляющее более позднее звено в цепи развития, всегда более богато содержанием, всегда представляет новые закономерности, специфически отличные от закономерностей его элементарных частей. Мы видели на примере кинетической теории газов, что закономерность газа, как целого (молекулярный беспорядок), представляет специфическую закономерность по сравнению с механическим движением молекул.

Только установление связи между специфической закономерностью целого (объем газа) и механическим движением элементов (молекулы) дает кинетическую теорию газов, с ее новыми специфическими закономерностями—статистическими закономерностями. Механика никогда не упразднит кинетическую теорию газов и физику, как и биология никогда не заменит собою социологию.

■

• • •

Подведем итоги.

В природе существуют два типа соотношения между целым (свойкупностью) и его частями, между простым и составным. Целое может представить простую арифметическую сумму своих частей. Свойства и закономерности целого ничем не отличаются от свойства и закономерности частей. Килограмм (по весу) есть не что иное, как арифметическая сумма 1.000 граммов. Сколько бы мы ни складывали 1.000 граммов (по весу), мы никаких новых свойств не получим.

Килограмм нацело разлагается на сумму граммов, «сводится» к 1.000 граммов.



Эти свойства совокупностей мы называем аддитивными свойствами.

На ряду с аддитивными свойствами совокупность может обладать и такими свойствами, которые не заключены в ее элементах. Приводя в соприкосновение пару разных металлов, мы получаем контактную разность потенциалов. Эта разность потенциалов не свойственна никакому металлу, самому по себе, а представляет новое свойство совокупности, не заключенное в ее элементах и представляющее новое специфическое образование. Эти свойства совокупности, которые имеют условием своего возникновения закономерности элементарных частей, но которые возникают только в совокупности, как целом, и исчезающие, если совокупность разлагается на составные части, являются результатом синтеза элементов, мы называем не аддитивными свойствами совокупности.

Если бы в природе существовали только аддитивные свойства, то тогда мы с полным правом могли бы говорить о сведении. Килограмм действительно сводится к сумме граммов. Киловатт сводится к 100 ваттам.

Но аддитивные свойства совокупности не могут дать процесса развития, ибо процесс развития как раз и характеризуется появлением новых свойств. Так как диалектика есть теория развития, то основной нашей задачей является изучение новых свойств высших форм и установление связи этих новых форм с элементарными формами. Другими словами, изучение форм движения материи в их развитии.

Таким образом, задача состоит не в сведении специфических закономерностей целого к элементарным закономерностям частей, а в изучении тех и других в их взаимной связи и развитии. Мы не можем свести, растворить высшую форму движения в сумме низших форм движения, так как специфичность высшей формы движения заключается именно в том, что она представляет не сумму низших форм, а их синтез.

Потрудитесь объяснить, что это за таинственный синтез, призывает нам т. Степанов. Это нетрудно сделать, так как определенное синтеза дал Энгельс:

«Простое и составное. Категории, которые теряют смысл свой уже в органической природе и неприменимы здесь. Ни механическое сложение костей, крови, хрящей, мускулов, тканей и т. п., ни химическое—элементов не составляет еще живого»<sup>1)</sup>.

Организм есть синтез, а не сумма тканей, костей и т. п., живая ткань есть синтез химических элементов, а не их сумма, химический элемент есть синтез электронов, а не простое собрание их. Все это мы называем синтезом потому, что в более высокой (с точки зрения раз-

<sup>1)</sup> Аржи, II, стр. 17.

внтня) форме возникают новые специфические свойства и закономерности, не заключенные в ее элементах. Возникновение этих новых специфических свойств и закономерностей и является характерным и существенным свойством синтетического объединения элементов в отличие от простого суммирования.

Разложить синтез на основные элементы значит уничтожить эти специфические свойства и закономерности. Вот почему одного анализа совершенно не достаточно. Химия прекрасно знает аналитически состав живого вещества (белка), но она еще не может на основании только этого аналитического знания создать белок. Поэтому на ряду с аналитической химией существует и химия синтетическая, изучающая специфические закономерности синтезированных веществ с точки зрения способов и закономерностей их возникновения.

Тов. Степанов абсолютно неправ, заявляя: «Когда химия изучит (аналитическим методом—других не существует<sup>1)</sup>) строение белков—она сумеет их и синтезировать. И как иначе изучило бы оно (естествознание.—Б. Г.) обмен вещества в живом организме, пришло бы к научной агрономии».

Игнорирование синтетических методов изучения явлений составляет одно из самых существенных наших разногласий.

Дело именно в том, что на ряду с аналитическими методами существуют и методы синтетического изучения, методы синтеза.

— Пустая фразеология,—заявляет т. Степанов,—нет и не может быть других методов, кроме методов анализа.

Обратимся за разрешением нашего спора к Климентию Аркадьевичу Тимирязеву.

Вот что он пишет по поводу анализа и синтеза в своей замечательной статье о Марселене Бертело:

...«Занемцованной у медиков виталистической точкой зрения были поражены даже самые выдающиеся химики до половины XIX столетия, потому что сознавали свое бессилие перед одной из двух основных задач своей науки, как только вступали в несравненно более сложную область изучения живых тел. Эти две задачи были анализ и синтез. В области тел мертвых коренного различия в этих двух процессах не существовало. Пожалуй, можно сказать, что синтез тел был известен ранее из анализа и главная задача заключалась в анализе. Если Лавуазье особенно настаивал на том, что химик «разделяет и подразделяет, и еще подразделяет», то потому, что в большей части случаев в области неживой природы знание синтеза часто предшествовало анализу.

...Картина совершенно изменяется при переходе к миру живых существ, к организмам и составляющим их телам, получившим название органических, так как на основании бесчисленных опытов убеждались, что они встречаются только в организмах, что только орга-

<sup>1)</sup> Подчеркнуто нами. Степанов, ib., стр. 47.

измы обладают тайной их образования. Уже Лавуазье, «разделяя и подразделяя органические соединения, разложил их на те же элементы, которые входили в состав неорганических тел, но ни он и ни кто другой до Бертелло не задался мыслью создавать органическое вещество из элементов. В области органической химии царил только анализ, синтез признавался тайной жизни, результатом деятельности таниственной жизненной силы, обыкновенных физических сил для этого недостаточно—таков был лозунг торжествовавшего витализма.

...Первая попытка состояла в том, чтобы разрешить вопрос о ближайшем составе естественных жиров, создать их синтетически из их ближайших составных частей»<sup>1)</sup>.

Мы видим, что формулировка тов. Степанова совершенно не охватывает всей сложности задач, стоящих перед естествознанием и, в частности, перед химией.

Никто не возражает против того, что анализ является могучим средством исследования, но отсюда еще не следует, что анализ является единственным «методом, ибо других не существует».

Анализ—разложение совокупности на ее составные части и изолированное изучение этих частей есть одна сторона познания природы. Синтез—изучение способа развития целого из частей и специфических закономерностей целого как новообразования есть необходимая вторая сторона познания.

И, перефразируя тов. Степанова, мы скажем:

Кто ставит задачей научного познания природы только анализ, только расщепление на составные части и изучение закономерностей этих изолированных частей (именно изолированных, ибо изучение их в их взаимной связи будет синтетическим изучением), тот отказывается от полного познания природы, ограничивает себя изучением лишь аддитивных свойств, сохраняющихся и при разложении совокупности.

Истинная же задача познания природы есть изучение существенных закономерностей форм движения материи в их взаимной связи, взаимодействии и развитии.

### III. Статистический метод в физике и проблема случайности и необходимости.

Вернемся снова к механическому толкованию закона рассеяния энергии и рассмотрим его с новой точки зрения. Выше мы подчеркивали специфическое отличие обратимых (механических) и необратимых процессов, теперь мы посмотрим, в чем заключается их единство. Установление взаимоотношения между специфичностью и единством обратимых и необратимых процессов дает нам возможность подойти к новому типу закономерности—закономерности статистической. Проблема статистической закономерности позволит нам выяс-

<sup>1)</sup> К. Тениряев, сб. «Наука и демократия», стр. 200—201.

нить всю важность трактовки понятия случайности как объективной категории.

Поэтому, прежде чем перейти к статистическому толкованию закона рассеяния энергии, нам придется сделать довольно пространное введение о характере двух основных типов физических закономерностей—статистической и динамической и попутно выписать связь между вероятностью и случайностью.

Как только стала развиваться кинетическая теория газов, Максвелл, с присущей ему прозорливостью поставил вопрос о новом типе закономерности, выдвигаемой на сцену этой теорией<sup>1)</sup>.

«Я считаю,—говорит он в одном из своих мало-известных философских рефератов,—что наиболее важное значение для развития наших методов мышления молекулярные теории имеют потому, что они заставляют нас делать различие между двумя видами познания, которые мы можем назвать динамическим и статистическим».

Одной из характерных и основных черт различия между статистической и динамической закономерностью является то, что динамическая закономерность относится к единичным, индивидуальным явлениям, в то время как статистическая закономерность относится к совокупности индивидов или явлений.

Динамическая закономерность не приспособлена к изучению законов коллектива. Орудием изучения коллектива является иной тип закономерности—статистическая закономерность.

Как и в вопросе об обратимых и необратимых процессах, противоречие между статистической и динамической закономерностью есть противоречие макрокосмоса и микрокосмоса, противоречие между индивидуумом и коллективом.

Остановимся на существеннейших чертах статистической закономерности.

Противоречие индивидуума<sup>2)</sup> и коллектива есть, в основном, противоречие целого и части. Коллектив именно тем и отличается от простой суммы индивидуумов (частей), что он является новым образованием, с новыми качествами, которые не присущи отдельным индивидуумам, а появляются только в коллективе. Коллектив поэтому состоит из определенного количества индивидов, но не сво-

<sup>1)</sup> Максвелл разбирает вопрос о необходимости и случайности в применении к физике в небольшой статье, опубликованной Campbell and Garnett и представляющей доклад Максвелла в философском кружке в Кембридже (club of Seniors). Статья озаглавлена: «Действительно ли развитие физики дает преимущество понятию необходимости над понятием случайности и учением о свободе воли». Campbell and Garnett life J. C. Maxwell, p. 357—366.

<sup>2)</sup> Здесь и в последующем изложении под словом индивид мы подразумеваем объекты изучения физики: молекулу, атом, электрон. Тела макроскопические по отношению к этим объектам будут коллективами. Вообще же коллектив может рассматриваться как индивид, если он входит в состав более широкого коллектива: молекула будет индивидом по отношению к объему газа, но будет в то же время коллективом по отношению к электронам, ее составляющим.

дится к отдельным индивидуумам. Для наших целей нам особенно важно подчеркнуть, что свойства коллектива не разлагаются на простую сумму свойств составляющих его частей.

Поэтому-то динамическая закономерность неприменима к изучению коллектива: в динамической закономерности мы изучаем свойства отдельного индивидуума. В изучении коллектива нас интересует не отдельный индивид сам по себе и его свойства, а свойства и закономерности коллектива.

Если к изучению индивидуального явления нельзя подходить со статистической закономерностью, так как она попросту не имеет смысла в применении к индивиду, то вопрос о приложимости динамической закономерности к изучению совокупности, коллектива отнюдь не так прост. Всякая совокупность состоит из индивидов. Следовательно, на первый взгляд кажется, что динамическая закономерность вполне применима для изучения совокупности. Дело, однако, обстоит сложнее.

По отношению к статистической закономерности возможны две точки зрения: субъективная и объективная.

Совокупность состоит из громадного числа индивидуумов. Поведение каждого индивида однозначно определению динамической закономерностью.

Мы можем изучать совокупность, как сумму громадного числа динамических закономерностей. Такое изучение возможно, но необычайно трудно. Поэтому мы обращаемся к статистической закономерности, которая, по сравнению с динамической закономерностью, хотя и является знанием второго сорта, но все же с успехом восполняет недостаток нашего знания и отчасти преодолевает необычайные трудности изучения совокупности, возникающие из огромного количества индивидов.

Нетрудно узнать в этом рассуждении характерную аргументацию субъективного взгляда на статистическую закономерность. Статистическая закономерность в этом аспекте является следствием ограниченности наших познавательных способностей.

Объективная трактовка статистической закономерности заключается в том, что *raison d'être* этой закономерности лежит не в ограниченности нашего познания, а в особой характерной структуре изучаемых с ее помощью объектов—совокупностях.

Подходя к изучению совокупности статистическим методом, мы рассматриваем совокупность, как целое.

Совокупность, хотя и составлена из отдельных элементов, в процессе нашего изучения не разлагается нами на отдельные элементы. Мы изучаем ее как целое, синтетически. Поэтому наши статистические законы так же приложимы к совокупности только как к целому и не имеют смысла в применении к отдельным элементам.

Но что означает утверждение, что статистическая закономерность, действительная для совокупности как целого, не приложима

к отдельным ее элементам? Другими словами: в каком взаимоотношении находятся динамические закономерности, управляющие отдельными элементами, составляющими совокупность и статистические закономерности, приложимые лишь к совокупности как к целому?

Не аддитивные свойства характерны для совокупности как целого и только как для целого. Они не заключены виртуально в составляющих ее индивидах. Они проявляются только в целом и качественно отличны от свойств индивидов.

Статистическая закономерность улавливает и изучает именно эти не аддитивные свойства. Поэтому ясно, что статистическая закономерность по самой своей сущности не может относиться к отдельным индивидам, составляющим совокупность. И это является не недостатком ее, а ее характерной особенностью, так как она занимается изучением именно тех свойств, которые проявляются только в целом, и которые не существуют в отдельных членах.

Считая наличие у совокупности не аддитивных свойств особенностью объективной структуры совокупности, мы тем самым придаем объективный характер статистической закономерности.

Соотношение между статистической и динамической закономерностью в этом аспекте есть взаимоотношение между закономерностью целого и частей. Динамическая закономерность остается закономерностью индивидуальной. Но она недостаточна для изучения закономерности целого. Недостаточна потому, что целое помимо аддитивных свойств имеет еще и свойства не аддитивные.

Статистическая закономерность не уничтожает динамическую закономерность и не противоречит ей. Она необходима и действительна в своей области, а динамическая закономерность в своей.

М. Планк <sup>1)</sup> совершенно справедливо замечает, что динамическая закономерность является условием для возникновения статистической закономерности. Но отсюда не следует, что статистическая закономерность сводится без остатка к динамической закономерности. Это правильно лишь в том случае, если целое оказывается тождественным сумме своих частей.

Если этого тождества нет, а именно об отсутствии этого тождества утверждает наличие не аддитивных свойств у совокупности, то статистическая закономерность генетически возникает из динамических закономерностей так же, как целое возникает из части, но она не складывается и не разлагается на динамические закономерности, а представляет качественно новое образование, свойственное только целому, но не его частям. Таким образом статистическая закономерность не является знанием второго сорта по сравнению с динамической закономерностью, а совершенно равноправным методом познания, обусловленным своеобразием объективной структуры объектов изучения.

<sup>1)</sup> Статья «Динамическая и статистическая закономерность» в сб. «Физические очерки».

Для выражения статистической закономерности вводится понятие вероятности.

Понятие вероятности неразрывно связано с понятием случайности и, следовательно, в зависимости от нашей трактовки случайности, как субъективной или объективной категории, приобретает субъективный или объективный характер понятие вероятности, а с ним и понятие статистической закономерности. Мы видим таким образом, что наш спор об объективности случайности имеет первостепенное значение для физики.

Прежде чем перейти к разбору проблемы случайности, выясним, в чем состоит связь понятия вероятности с понятием случайности.

На то, что понятие вероятности связано с понятием случайности, указал уже Лаплас:

«Все явления, даже те, которые по своей незначительности как будто не зависят от великих законов природы, суть следствия столь же неизбежные этих законов, как и обращение солнца. Не зная уз, соединяющих их с системой мира в одно целое, их приписывают конечным причинам или случаю, в зависимости от того, происходили и следовали ли они одно за другим с известной правильностью или без видимого порядка; но эти мнимые причины отбрасывались по мере того, как расширялись границы нашего знания и совершенно исчезли перед здравой философией, которая видит в них лишь проявление неведения, истинная причина которого—мы сами.

Кривая, описанная простой молекулой воздуха или пара, определена так же точно, как и орбиты планет: разницу между ними делает наше незнание.

Вероятность обуславливается отчасти этим незнанием, а отчасти нашим знанием»<sup>1)</sup>.

Для лапласова «всезнающего Ума» случайности не существует. Всякое знание для него достоверно. Для нашего же ограниченного ума существуют случайные явления, и поэтому появляется на ряду с достоверным знанием знание вероятное. Я подбрасываю монету. Процесс подбрасывания монеты есть чрезвычайно сложный комплекс явлений. Точно рассчитать, как упадет монета—орлом или решкой,—мы не в состоянии и поэтому говорим, что выпадение орла или решки случайно. Мы говорим так потому, что для нас одинаково неизвестно, выпадет ли орел или решка. Мы с достоверностью знаем, что либо орел либо решка должны выпасть. Но то, что при данном бросании монеты выпадет именно орел, а не решка, не достоверно, а только вероятно.

Теория вероятностей определяет величину вероятности, события. Если наша монета правильная (вполне симметрична), то мы говорим, что вероятность выпадения орла равна половине. Это, однако, не значит, что если в данное бросание выпала решка, то в следующее брос-

<sup>1)</sup> Опыт философии теории вероятности. пер. Власова, стр. 11.

ние выпадет орел. Вероятность равная половине означает, что если мы произведем большое число бросаний и подсчитаем число выпавших орлов и решек, то они распределятся почти поровну, при чем число орлов (или решек) будет тем ближе к половине числа всех бросаний, чем большее число раз была подброшена монета.

Вероятность выражает таким образом закономерность распределения орлов и решек внутри всей совокупности бросаний и ничего не говорит нам о единичном бросании.

Зная вероятность выпадения орла, мы все же ничего не можем сказать о том, что выпадет в данном единичном бросании.

Вероятность выражает статистический закон, т.е. закономерность, относящуюся ко всей совокупности бросаний как к целому. Вот почему мы говорим, что вероятность есть способ выражения статистической закономерности.

Понятие вероятности тесно связано с понятием случайности, и мы видели выше, как определял эту связь Лаплас.

Его трактовка случайности чисто субъективная. Случайность есть мера нашего незнания. Поэтому и вероятность в этом аспекте есть также понятие субъективное. Статистическая закономерность есть также в этой концепции субъективная категория. Знание статистических закономерностей есть знание второго сорта по сравнению с динамической закономерностью.

Мы видим, какое большое значение имеет для физики решение вопроса о случайности: оно обуславливает нашу трактовку вероятности, а с ней и статистической закономерности.

Хорошо известно, каким ожесточенным нападкам подвергались диалектики за то, что они защищали точку зрения на случайность, как на объективную категорию.

Дело доходило до того, что диалектики обвинялись в защите точки зрения беспричинности.

Легко понять, из чем основывается это вздорное обвинение. Мы видели выше, что Лаплас (конечно, не он первый и не он один) считал случайностью то, причины чего нам неизвестны. Отсюда делается следующее заключение: случайно то, причины чего неизвестны. В субъективном смысле это не противоречит общей установке детерминизма. «Случайность есть мера нашего невежества»<sup>1)</sup>. Если же понятие случайности объективируется, то, следовательно, субъективное отсутствие причины (незнание) превращается в объективное отсутствие причины—в беспричинность.

Подобные рассуждения не случайны, хотя и являются лишь мерой невежества.

Диалектическая точка зрения на случайность позволяет приписать случайности объективное значение, оставаясь все время на точке

<sup>1)</sup> Выражение Пуанкаре.



зрения детерминизма. Но, конечно, механическое понятие причинности недостаточно.

Будем изучать ряд из 10.000 бросаний монеты. С точки зрения субъективного взгляда на вероятность положение орлов и решек, способ их чередования случаен, так как мы не можем вследствие нашего незнания предсказать, с какой последовательности расположатся орлы и решки. С диалектической точки зрения расположение орлов и решек случайно потому, что оно не отражается на основном статистическом законе, состоящем в том, что число орлов приближается к числу решек с возрастанием числа элементов совокупности.

Случайно единичное бросание по отношению к закономерности, господствующей в совокупности как в целом. Отсюда, конечно, отнюдь не следует, что не существует индивидуальной закономерности для каждого элемента. Но закономерность элемента (бросание монеты) хотя и лежит в основе закономерности целого, однако индивидуальное течение этой закономерности не влияет на поведение коллектива в целом.

Для того, чтобы сделать наше рассуждение еще более наглядным, воспользуемся образом статистической закономерности, идея которого принадлежит Кетле.

Нарисуем мелом на доске круг. Круг образован громадным количеством мельчайших частиц мела, прилипших к доске. Если мы рассматриваем часть круга в микроскоп, то перед нами хаос частиц ничего общего с кругом не имеющих. Если мы будем рассматривать круг как целое,—например, отойдя от доски на некоторое расстояние, то хаос отдельных частиц выступит как определенная геометрическая линия. Совокупность закономерностей расположения частиц мела дает совершенно новую закономерность—круг. По отношению к нему расположение отдельных частиц случайно. Если мы изменим положение любой частицы, то это не отразится на закономерности всей совокупности частиц на линии круга.

Законы, управляющие движением отдельной молекулы, сохраняются и продолжают действовать в объеме газа, который мы рассматриваем как коллектив молекул. Но законы этого коллектива в целом обнимают всю совокупность молекул. Изменение движения отдельной молекулы не отражается на законе целого. По отношению к этому закону целого движение отдельной молекулы случайный процесс.

Вот в каком смысле мы говорим об объективности случайности. Если бы все цепи причинных зависимостей были равноправны, если бы, выражаясь словами Энгельса, то, что «в этом стручке пять горошин, а не четыре или не шесть, что хвост этой собаки длиною в пять дюймов, а не длиннее или короче на одну линию, что этот клеверный цветок был оплодотворен в этом году пчелой, а тот нет...», что в прошлую ночь меня укусила блоха в 4 часа утра, а не в 3 или в 5, и притом в правое плечо, а не в левую руку,—все это факты, которые вызваны

неизменным сцеплением причин и следствий, связаны неизбежной необходимостью, и газовый шар, из которого возникла солнечная система, был так устроен, что эти события могли произойти только так, а не иначе, то познание природы было бы невозможно.

То, что мы можем изучать природу и на практике отличать существенные закономерности от несущественных, случайное от необходимого, есть доказательство неравноправности цепей причинных зависимостей, а следовательно, и объективности случайности.

Приходится только удивляться, что в своей последней книге Л. И. Аксельрод снова проводит объективную точку зрения на случайность. Против неосхоластики носит подзаголовок книги Л. И. Аксельрод. Тов. Степанов в своей книге благоразумно совсем обходит проблему случайности и необходимости.

Посмотрим теперь, какую точку зрения оправдывает развитие современного естествознания.

Если брать эпоху Лапласа, то Л. И. Аксельрод совершенно прав. Лаплас, Пуассон, Бертран и другие классики теории вероятности XVIII и XIX вв. действительно считали случайность и иеротичность субъективной категорией.

Но уже начиная с Курио взгляд на случайность меняется коренным образом.

«Математическая вероятность, — говорит Курио, — становится мерой физической возможности, и одно выражение можно употребить вместо другого. Преимущество такой постановки вопроса состоит в том, что она подчеркивает существование (объективного) отношения между вещами, которое не зависит от нашего переменчивого способа суждения и оценки. Это отношение находится в самих вещах»<sup>1)</sup>.

Объективная точка зрения в теории вероятности приводит Курио к определению случайности, весьма близкому к пехановскому.

Случайностями называются «события, происходящие вследствие комбинации или пересечения (rencontre) принадлежащих к двум независимым рядам событий».

Критику лапласовской субъективной концепции случайности дает Пуанкаре в «Науке и методе», где он в своем определении случайности приближается к Курио и Пеханову<sup>2)</sup>.

Следует отметить, что формулировка понятия случайности, данная Гегелем и принятая Энгельсом, более глубока и методологически более плодотворна, так как устанавливает различие между существенной—необходимой закономерностью и несущественной или случайной. Нетрудно показать, что она включает в себя формулировку Пеханова.

<sup>1)</sup> Cournot, Essai sur les fondement de nos connaissances etc., vol. I, p. 62.

<sup>2)</sup> Нам, конечно, возразят, что Пуанкаре был махистом. Не входя сейчас в обсуждение вопроса о том, связана ли критика субъективной трактовки случайности Пуанкаре с его махизмом, мы обращаемся ниже к изложению взглядов Сяо-луховского, который махистом не был.

Итак, то или иное решение вопроса о случайности определяет наше отношение к теории вероятности и к статистической закономерности. А так как статистическая закономерность приобретает господствующее значение в современной физике, то ясно, что решение вопроса о случайности и необходимости имеет большое методологическое значение и для физики.

Все возрастающее значение статистического метода и необходимость выяснения методологических основ понятия вероятности и случайности подчеркивает особенно резко М. Смолуховский<sup>1)</sup>:

«После краткого периода застоя, благодаря окончательной победе атомистического воззрения, теория вероятностей приобрела основное значение для физики и до сегодняшнего дня остается важнейшим оружием исследования в области новых теорий строения материи, электронной теории, радиоактивности и теории излучения».

Несмотря на гигантское расширение области применения теории вероятностей, точный анализ понятий, лежащих в ее основе, сделал лишь самые незначительные успехи.

До сих пор остается справедливым положение, что ни одна математическая дисциплина не покоится на столь неясном и шатком основании, как теории вероятностей. Так, например, вопросы о субъективности и объективности понятия вероятности, об определении понятия случайности разными авторами разрешаются в диаметрально противоположном смысле.

Значение статьи заключается в том, что в ней на первый план выдвинута и правильно освещена основная руководящая мысль об объективной стороне понятия вероятности, на которую до сих пор почти не обращали внимания».

Мы видим, что Смолуховский особенно подчеркивает, что значение его статьи заключается в выдвинутении на первый план вопроса об объективности вероятности, а следовательно, и случайности.

«Я вполне отдаю себе отчет о том,—продолжает далее Смолуховский,—что эта концепция случайности состоит в противоречии с обычным определением случайности, которое считает частичное незнание причин самым существенным ее моментом, поэтому я замечу в подтверждение моего взгляда следующее: применение теории вероятности в кинетической теории газов сохранило бы свое значение и было бы полностью оправдано даже в том случае, если бы мы в точности знали устройство молекул и их начальные положения и были бы в состоянии точно математически описать движение каждой во времени».

Мне кажется, что и для философа очень важно то, что хотя бы в узкой области физики можно показать, что понятие вероятности

<sup>1)</sup> M. v. Smoluchowsky, *Über den Begriff des Zufalls und den Ursprung der Wahrscheinlichkeitsgesetze in der Physik*, Die Naturwissenschaften, Heft 17 aus 1918 г. Русский пер. Успехи химических наук. т. VII, в. 5, и «Под Знам. Маркс» (сокр. пер.), кн. 9, 1927 г.

в обычном смысле закономерной последовательности случайных явлений имеет строго объективный смысл, и что понятие и происхождение случайности можно точно определить, оставаясь все время строго на почве детерминизма.

Точным и научным определение вероятности может быть только тогда, если мы будем трактовать понятие случайности, вероятности в объективном смысле. Обширная литература, посвященная критике основ теории вероятности, в значительной мере направлена против субъективной трактовки вероятности и случайности Лапласа, которое включает в себе явное *petitio principii*. В самое последнее время мы имеем в работах Мизеса критику субъективной трактовки понятия вероятности и попытку обоснования теории вероятностей, опирающуюся на объективное определение вероятности. Эти работы получают признание со стороны физиков и в вышедшем недавно томе «*Handbuch der Physik*», новейшей и самой авторитетной физической энциклопедии теория вероятностей излагается на основе объективного определения понятия вероятности.

И вот после работ Курно, Смолуховского, Мизеса и др., после того, как философски вопрос исчерпывающе обоснован Гегелем и Энгельсом, нас снова хотят тащить вспять к концепциям Лапласа, объявляя случайность субъективной категорией. И это называется борьбой с «иеосхоластикой». Единственным извинением нашим суровым критикам может быть лишь то, что все новейшее развитие физики и математики для них книга за семью печатями.

После того, как вопрос о связи между случайностью, вероятностью и статистической закономерностью выяснен, нетрудно установить, в чем заключается связь между обратимыми (механическими) и не обратимыми (тепловыми) процессами и в чем суть статистического толкования закона рассеяния энергии.

Тепловое состояние тела можно характеризовать его температурой. Температура выражает степень нагретости тела. Понятие температуры не связано ни с какими гипотезами относительно строения тела; оно является эмпирически непосредственно наблюдаемой величиной (напр., положение уровня ртути в термометре), определяющей тепловое состояние тела. Закон рассеяния энергии в той формулировке, которая приведена выше (формулировка Клаузиуса), опирается на определение температуры как непосредственно наблюдаемой величины. В этом виде формулировка закона есть макроскопическая формулировка, а сам закон выражен в формулировке Клаузиуса в форме динамической закономерности.

Если мы обратимся к микроскопической, атомной структуре материи, то нам нужно подойти иначе к определению теплового состояния тела. Степень нагретости тела, согласно механической теории тепла, определяется энергией движения молекул. Не все молекулы имеют одинаковые скорости, а энергия не распределена поровну

между всеми молекулами, но и скорость и энергия распределены между молекулами по определенному закону.

Каждому определенному распределению скорости между молекулами соответствует определенное тепловое состояние тела. Иначе говоря, каждому микросостоянию, определяющему распределением молекул, соответствует макросостояние, определяющееся температурой.

Но одному и тому же макросостоянию, определяющемуся температурой, соответствует не одно, а несколько микросостояний.

Одно и то же тепловое состояние тела может быть реализовано различными распределениями скоростей между молекул, если только средняя энергия остается той же. В самом деле, для определения теплового состояния не имеет значения, как не менее молекулы обладают той или иной скоростью.

Скорость, которой обладает определенная молекула—случайна. Случайна именно в смысле объективной случайности, так как для определения теплового состояния важен общий характер распределения скоростей, характеризующий всю совокупность молекул в целом, а не индивидуальное распределение скоростей.

Точно так же, как в разобранный примере в ряде бросаний монеты имеет значение не отдельное выпадение орла или решки, а общее распределение числа орлов и решек, характеризующее изучаемый ряд в целом.

Итак, одно и то же тепловое состояние может быть реализовано определенным количеством микросостояний.

Это значит, что если мы будем рассматривать всевозможные микросостояния тела газа, например, при чем будем обращать внимание на значение скоростей у каждой отдельной молекулы, то мы получим чрезвычайно большой ряд микросостояний. Но мы видели выше, что целый ряд микросостояний будет реализовывать одно и то же тепловое состояние.

Чем больше ряд микросостояний, реализующий одно и то же тепловое микросостояние, тем оно вероятнее, подобно тому как выпустить белый шар из урны, содержащей 1.000 белых шаров и 1 черный, вероятнее, чем выпустить черный.

Каждое тепловое состояние с точки зрения микрокосмической обладает определенной вероятностью.

Наблюдая течение тепловых процессов, мы убеждаемся, что разность уравнений макроскопических тепловых состояний стремится выравниваться, т.-е. прийти в состояние равновесия. В обратном направлении процесс протекать не будет.

В этом и состоит суть формулировки Клаузуса: переход всегда совершается только от тела более нагретого (на более высоком тепловом уровне) к телу менее нагретому (на более низком тепловом уровне).

Так как мы наблюдаем постоянно только такое течение процесса, то отсюда мы заключаем, что микропроцессы, реализующие равновесное состояние, наиболее вероятны.

Если мы имеем один объем газа более нагретый, чем другой объем, то тепловой процесс будет протекать так, чтобы температура выравнилась, т.е. чтобы получилось наиболее вероятное микросостояние, а это и будет состояние теплового равновесия.

Мы можем искусственно, внешним вмешательством нарушить тепловое равновесие—напр., нагреть одно из тел точно так же, как мы можем искусственно выбирать каждый раз черный шар из урны. Но, предоставленный самому себе, тепловой процесс снова придет в равновесие, подобно тому, как если мы, не выбирая, будем тащить шар на удачу, то получим распределение, соответствующее вероятности появления того или иного шара.

Теперь ясно, почему мы считаем тепловые процессы необратимыми. Они необратимы, потому что в течение теплового процесса есть переход от менее вероятного состояния к более вероятному. Вероятность обратного перехода тепла от холодного тела к тепловому—весьма мало вероятна, но не равна нулю!

Мы не наблюдаем в природе такого перехода, потому что он необычайно мало вероятен, но отнюдь не потому, что он вообще невозможен.

Если мы ставим кастрюлю с водой на примус, то вода закипит. Это то, что мы наблюдаем постоянно. Но вода не обязательно должна закипеть. Она может и замерзнуть, т.е. тепло от воды перейти к пламени горелки. Это не невозможно, но настолько мало вероятно, что на появление подобного состояния хоть один раз понадобился промежуток времени, по сравнению с которым время существования всей нашей солнечной системы лишь исчезающе мало, подобно тому, как для того, чтобы вынуть черный шар из урны, содержащей 1.000.000 белых и один черный шар, надо осуществить необычайно длинный ряд вытягиваний шаров. Конечно, черный шар вовсе не должен вынуться непременно под конец. Он может появиться в любой момент, даже в самом начале, но число его появлений по сравнению с числом появлений белых шаров будет в миллион раз меньше.

Вообще говоря реализация как угодно мало вероятного микросостояния не невозможна и как и появление черного шара может случиться в любой момент. Но если бы даже оно случилось изами, то этим несколько бы не была нарушена основная тенденция тепловых процессов идти от состояния менее вероятного к состоянию более вероятному.

Такая концепция тепловых процессов есть выражение их в форме статистической закономерности.

В случае динамической закономерности мы имеем определенное однозначное поведение процесса. Камень, поднятый над землей не

обходимо должен упасть под действием силы тяготения. Высказывание это с необходимостью относится к каждому единичному случаю.

Если я ставлю кастрюлю на плиту, то вода может и закипеть и обратиться в лед.

Общая закономерность течения тепловых процессов, состоящая в переходе от менее вероятных состояний к более вероятным, ничего не говорит о течении единичных процессов. Статистическая закономерность есть высказывание относительно всей совокупности процессов.

Закон рассеяния энергии есть статистический закон, и этим разрешается противоречие обратимых и необратимых процессов: всякий процесс и обратим, и необратим. Он необратим, как процесс макрокосмический, как объект человеческой практики, ибо вероятность его обращения по сравнению с временем человеческой и земной практики исчезающе мало. Поэтому мы не станем замораживать воду, ставя ее на плиту, и не будем топить печи льдом. Но не потому, что это невозможно вообще, а потому, что реализация таких процессов в рамках нашей практики исчезающе мала.

Но всякий процесс так же и обратим, как процесс микрокосмический, ибо для космических промежутков времени любое как угодно мало вероятное микросостояние необходимо будет реализовано.

Статистическое толкование закона рассеяния энергии устраняет затруднение в вопросе о начале мира во времени. Всякое наступившее равновесное состояние есть смерть только с ограниченной «земной» точки зрения. С точки зрения космической возможны как угодно мало вероятные образования, отступления от теплового равновесия. Тепловая смерть есть начало новой жизни. Мир не имеет ни начала, ни конца, ни во времени, ни в пространстве. Таков конечный вывод статистического толкования закона рассеяния энергии.

Единство обратимых и необратимых процессов состоит в том, что в основе необратимых (тепловых) процессов лежат механические движения миллиардов молекул, и поэтому принципиально всякое тепловое состояние обратимо.

Специфичность необратимых процессов состоит в том, что закономерность течения необратимых процессов есть закономерность статистическая, а не динамическая, и поэтому мы можем говорить о необратимых процессах, хотя в единичных случаях может происходить переход тепла от менее нагретого тела к более нагретому.

Если мы примем, что случайность есть категория субъективная, то мы тем самым должны объявить субъективным и специфичность необратимых процессов. Но то, что тепловые процессы практически необратимы, учит нас повседневный опыт. И необратимость их основана не на том, что статистическая закономерность есть неполное

знание, а на специфическом отличии макроскопических тепловых процессов от механического движения молекул. Это качественное различие, подтверждаемое нашей практикой, не исчезает, если мы изучим во всей подробности движение каждой молекулы, «устраним случайность как следствие нашего незнания».

Случайность, а следовательно, и вероятность и статистическая закономерность так же объективны, как и качество.

Только правильно поняв и единство и специфичность обратимых и необратимых процессов, мы можем прийти к пониманию сущности закона рассеяния энергии.

Резюмируем в заключение ход нашего рассуждения:

Из непосредственного наблюдения видимого мира (макро-смоса) мы устанавливаем наличие обратимых (механических) и необратимых (тепловых) процессов. Эти процессы отделены как бы непреходимой пропастью.

Формулируя закон рассеяния энергии макроскопически (Клаузиус), мы не делаем никаких предположений об элементарной структуре тел. Тело выступает как индивид.

Когда мы переходим к рассмотрению газа с атомистической точки зрения, мы устанавливаем, что газ есть совокупность молекул, каждая из которых движется по законам механики.

Механические движения обратимы. Тепловые явления необратимы. В основе тепловых явлений лежат механические. Каким же образом они могут приводить к необратимым процессам?

Решение вопроса заключается в том, что, принимая гипотезу молекулярного хаоса, мы придаем необратимым процессам не динамическое (чисто механическое) толкование, а статистическое.

Тепловые процессы оказываются и обратимыми, и необратимыми. На ряду с их единством устанавливается их специфичность.

Статистическое толкование оказалось возможным потому, что одно и то же тепловое (макроскопическое) состояние тела реализуется громадным количеством микросостояний.

Каждое из ряда микросостояний, реализующих данное тепловое состояние по отношению к нему, случайно, так как то или иное распределение молекул, из которого образуется данное тепловое состояние в определенных пределах, не оказывает на него влияния. То, что мы можем рассматривать известные микросостояния, как случайные, позволяет нам образовать понятие вероятности данного теплового состояния и таким образом прийти к статистическому толкованию закона рассеяния энергии.

Если мы будем трактовать случайность как субъективную категорию, то закон рассеяния энергии, как статистический закон, примет субъективную окраску. Тогда окажется, что в отличие от закона сохранения энергии закон рассеяния энергии есть не выражение объективной закономерности, а лишь выражение недостаточности нашего познания природы.



(Заканчивание в следующем номере).

## Механистические комментарии к диалектической критике<sup>1)</sup>.

*М. Окунь.*

В статье «О духе марксизма и букве его» («Вестник Коммунистической Академии» № 26/2) мы доказывали, что психологические взгляды классиков марксизма находятся в явном противоречии с основными принципами марксизма, будучи спинозизмом-гилозизмом, а потому эти психологические воззрения подлежат пересмотру и приведению в соответствие с достижениями экспериментальной психологии и физиологии центральной нервной системы, попытка какового пересмотра и была нами предпринята. Означенная работа встретила свирепый отпор со стороны консервативного хранителя марксистских традиций тов. Франкфурта («В. К. А.» № 26/2). Однако, несмотря на искреннее желание раскаяться в своих «идеалистическо-механистических» прегрешениях, ни педагогические советы тов. Франкфурта, ни его софизмы не подействовали на механистическую нашу логику, но еще более укрепили в механистической ереси.

Тов. Франкфурт полагает, что, наградив нас званием механиста, тем самым доказал ложность наших убеждений. Тов. Франкфурт полагает, что механика и диалектика несовместимы и взаимно исключают друг друга. Однако никаких доказательств в пользу своей точки зрения он не привел, повидимому считает это твердо установленным. Ведь механический материализм французов — являлся весьма несовершенной формой материализма, следовательно, — по Франкфурту, механистическое сведение психики к движению в противовес якобы диалектическому принципу их абсолютного различия — неправильно. Что такое умозаключение — заключение по аналогии, а потому не доказательно, это тов. Франкфурта, повидимому, не интересует. Раз к какой-нибудь мысли можно приклеить ярлык — «механистический» — это лучшее доказательство, для тов. Франкфурта и ниже с ним, ее ложности. Что все естествознание механистично, ибо признает единую мировую энергию, непрерывно трансформирующуюся из одного вида в другой, что все явления природы сводятся к движению, суть трансформации этого движения, что, несмотря на энергичное сопротивление виталистов, даже жизнь — явление, столь отличное от явлений мертвой природы, была сведена к движению, — все это тов. Франкфурта не касается.

Прежде чем перейти к детальному разбору «критических» методов тов. Франкфурта, коним он защищает марксизм от механистического извращения, проанализируем вопрос с точки зрения исторической. Было время, когда господствовало идеалистическо-религиозное (антропоморфное) мирозерцание: земля была центром вселенной, человек — царем природы и была в нем заложена частица божества,

<sup>1)</sup> Редакция считает, что тов. Окунь в постановке основных вопросов расходится с диалектически материализмом. В одном из ближайших номеров журнала будет дан ответ на статью тов. Окуня. Ред.

нематериальная душа, которая была совершенно отлична от материи и движения и к ним не сводилась, была вне времени и пространства. С течением времени естествознание развенчало землю и человека и отделило их отнюдь не центральное место во вселенной, несмотря на активное сопротивление представителей антропоморфного (антропоцентрического) мирозозерзания. Ныне от этой философии осталось только учение о нематериальном, не сводимом к движению сознания; естествознание снова, уже на основе эксперимента, указывает место сознания в природе, отнюдь не центральное, так как оно существует только у незначительной части живых существ. Несомненно, в этом вопросе классики марксизма сделали уступку указанному идеалистическому мирозозерзанию, оказали чрезмерное доверие интроспекции, а часть нынешних марксистов сильно консервативного толка не желает учесть изменившуюся обстановку и достижения естествознания и продолжает защищать остатки этого антропоморфизма.

### Противоречит ли диалектике сведение психики к движению?

Сводя психику к движению, мы проводим до конца: 1. Всеобщую связь и закономерность явлений, подводим психические явления под закон сохранения энергии (к чему имеются экспериментально-психологические основания—работы проф. Корнилова), тогда как взгляд на психику, как на субъективное состояние, не сводимое к движению, лишает психику всякого значения, делает ее ненужным придатком, ненужной вещью в экономии природы, так как оказывать воздействие на бытие, на действия человека она не может (если психика, субъективное состояние движущейся материи, то она изменяется, возникает и терится вместе с движением, но влиять на изменение движения не может, так как это было бы нарушением закона сохранения энергии, по каковому одно движение может измениться только под влиянием другого). Кроме того, рассматривая психические явления, как внутренние состояния, как субъективные свойства материи, необходимо допустить, что психические явления могут познаться из ничего и превращаться в ничто, тогда как возникновение и исчезновение всех других явлений—трансформации (или их результаты) одних видов движения в другие. Кроме того, всеобщая связь и закономерность явлений находят наилучшее (количественное) выражение в математических формулах. Математика, по мере прогресса наук, все более и более проникает в них. Для психологии же установление этой всеобщей связи и закономерности посредством внедрения математики запрещено марксистами, так как не полагается-де качественно отличные психические состояния сводить к количественным изменениям весьма сложных движений в живой материи.

2. Механистическая точка зрения — наиболее совершенная форма юнизма (т.-е. единства основного принципа при рассмотрении явлений природы, так как все эти явления—трансформации мировой энергии), чего нельзя сказать о традиционно-марксистской психологии, которая рассматривает психику, как абсолютно, качественно, отличное от объективных явлений субъективное состояние.

3. Механистическая точка зрения осуществляет революционное учение о развитии, утверждая скачкообразное появление психики, так как отрицает наличие ее у низших живых организмов, не имеющих нервной системы, считая необходимым для появления психики наличие развитого головного мозга, способного к образованию условных рефлексов

высших порядков. Традиционно-марксистская психология, считая сознание и ощущение неотъемлемым свойством материи и будучи в этом последовательна, приходит к гнлозонизму (так как по существу совершенно непонятно с этой точки зрения, почему только организованная материя обладает психикой: ведь организованная материя отличается от неорганизованной только сложностью состава и вытекающей отсюда сложностью движений, а движения к психике никакого отношения, якобы, не имеют).

Из изложенного явствует, что механистическое сведение психики к движению диалектике не противоречит, а, наоборот, является применением диалектики на деле.

### О ревизионизме консерваторов от марксизма.

Тов. Франкфурт рисует жуткую картину: «Тов. Окунь обучает основоположников марксизма основным принципам диалектического материализма с помощью теории относительности». Когда тов. Франкфурт писал эти (и многие другие) слова, он забыл о словах Энгельса, что «материализму приходится принимать новый вид с каждым новым великим открытием, составляющим эпоху в естествознании». Теория Эйнштейна несомненно принадлежит к этой категории, как бы мало ни нравилась она тов. Франкфурту. Несомненно, в ней имеется значительное ядро истины. Рассмотрение же основных принципов диалектического материализма с точки зрения теории относительности — не наш грех, а проф. Семковского. Однако тов. Франкфурт старательно избегает почему-то упоминать о марксистских профессорах Семковском и Коринлове, предпочитая энергично расправляться с не столь известными оппонентами.

Итак, тов. Франкфурт считает, что с точки зрения теории относительности, а также теории условных рефлексов, значение которой совершенно неоспоримо «ревизовать» марксистскую психологию недопустимо, что видоизменение марксизма в согласии с достижениями науки есть ревизия марксизма, даже в том случае, если «ревизирующий» приемлет в марксизме все, кроме его психологии, которая является собой, благодаря недостаточному развитию этой науки остатки антропоморфизма, даже в том случае, когда «ревизия» производится на основе принципов диалектического материализма. Ревизионизм — вот имя недугу, которым поражен тов. Франкфурт, который заставляет его приписывать нам защиту проф. Челпанова, фальсификацию Ленина и марксизма, извращение марксизма с целью отказа от него и т. д. Вряд ли проф. Челпанов признателем тов. Франкфурту за такую защитника, вряд ли кто поверит, что «механист» Окунь защищает идеалиста Челпанова, так как невозможно считать защитой идеализма сведение психики к движению на основе превращения количества в качество и т. д. Нельзя смешивать с механическим материализмом эпохи Великой Французской революции, весьма несовершенной формой материализма, «механистический» материализм настоящего времени (ежели так благоугодно именовать тов. Франкфурту защищаемую нами точку зрения), так как последняя форма есть диалектический материализм минус антропоморфизм в психологии плюс последовательный диалектико-материалистический взгляд на психику.

Тов. Франкфурт полагает, что сведением психики к движению «смазывается» субъективность психического явления. Предположение совершенно ошибочное: физико-химические (электро-химические

электро-физические) процессы в мозгу, к которым сводится психическое явление, вследствие чрезвычайной своей сложности отличаются от всех других процессов именно этим новым своим свойством — субъективностью. И, вопреки ревизиофобии консерваторов от марксизма, пересмотр марксистской психологии надвигается стихийно со стороны естествознания, так как последние 30 лет принесли несколько открытий, которые не могут быть примирены с абсолютным отщипом психики от движения. Неосновательно тов. Франкфурт приписывает нам «храбрый наскок», «поход с открытым забралом» на марксистскую психологию. Вряд ли мы решились бы на выступление в печати, если бы не было к тому таких объективных предпосылок, как явное противоречие марксистских (в смысле тов. Франкфурта) слов проф. Корнилова с его механистическими делами, как работы проф. Семковского о теории Эйнштейна и т. д., так как страх консерваторов от марксизма перед ревизиями зело велик, а потому расправа с механистами — крута.

**Тов. Франкфурт „неодумчиво“ читает Ленина  
и фальсифицирует Энгельса.**

«Вся выдумка тов. Окуня об их (классиков марксизма) гилозоизме построена на песке, основана на фальсификации их мыслей». «Желая доказать гилозоизм Маркса, тов. Окунь цитирует его очень «своеобразно»: «первым и самым главным из свойств, приращенных материи, является движение, не одно только механическое, но и движение, как стремление, как жизненный дух. Первичные формы материи суть неотъемлемо ей присущие живые силы». Почему тов. Окунь не докончил первой фразы и опустил в ней конец, т. е. слова — «как напряжение, как мучение материи, выражаясь словами Якова Бема»? Если даже согласиться с тов. Франкфуртом, что неоконченная первая фраза извращает мысль Маркса, то вторая фраза (подчеркнуто нами) совершенно недвусмысленно — гилозоистична. Никакими истолкованиями, никакими ссылками на Бема нельзя изменить ее смысл, что психика — свойство не только высокоорганизованной материи, что живые силы — неотъемлемое свойство даже первичных форм материи.

Затем тов. Франкфурт «доказывает», что, желая поддержать Чепанов, мы превратили Плеханова «колеблющегося» в вопросе о гилозоизме в безоговорочного сторонника его. Однако категорическое утверждение Плеханова, что «сознание так же и значающе, как и движение материи», отнюдь не отражает его колебаний в данном вопросе. По существу даже самый факт колебания Плеханова в этом вопросе показывает, что марксистская психология не преодолела гилозоизма. Затем тов. Франкфурт обвиняет нас в фальсификации мысли Ленина: «Ленин умозаключает от ясного ощущения не к неясному ощущению, а к сходной способности, а тов. Окунь умозаключает от одного вида ощущения к другому виду, пусть более простому, но виду ощущения, т. е. к тождественному явлению. На каком основании сходная способность у Ленина заменена т. Окунем «неясным ощущением». Затем следует обвинение в злоумышлении и преднамеренном извращении, в игре слов, в формальной логике и т. д. и восстановление попорченной нечестным механистом марксистской истины посредством, якобы, диалектического, а по существу софистического истолкования классификации реакций Энгельса. В заключение т. Франк-

Фурт рекомендует нам «вдумываться в смысл читаемого» и т. д. Последовав столь ценному совету, мы неожиданно пришли к необходимости напомнить тов. Франкфурту совет Крылова—«не лучше ль на себя, кума, оборотиться?». Все опровержение тов. Франкfurта построено на том, что собственные слова Ленина он приписал нашему творчеству и, взяв из приведенной нами цитаты Ленина первую фразу, забыл или «злоумышленно» опустил вторую, приписал терминологию Ленина нам и начал «крыть». А Ленин писал вот что: «В фундаменте самого здания материи можно лишь предполагать существование способности, сходной с ощущением. В ясно выраженной форме ощущение — функция организованной материи». Из этого явствует, что способность сходная с ощущением и неясно выраженное ощущение по Ленину одно и то же, обвинение же тов. Франкfurта — плод «невдумчивого» отношения к творениям Ленина. Вдумчиво читая творения тов. Франкfurта, мы обнаружили у него и такие перлы софистической «диалектики». Воспользовавшись термином «сходная», он продвигает улоупотребительные трюки с классификацией реакций Энгельса. Подумайте, тов. Окув. Энгельс различает реакции: 1) механические, 2) физические, 3) химические и 4) органические. Каждый из этих видов реакций, как особая качественная категория, обладает своими особыми свойствами (Совершенно согласен.—М.О.). В этом вся разгадка той сходной способности, о которой говорит В. И. Ленин. «Реакции определенным образом организованной материи мозга обладают особым свойством, способностью ощущать и мыслить, т. е. сознательным внутренним состоянием (А, по нашему механистическому, ощущение, мысль и сознательное внутреннее состояние не свойство реакций, а самые реакции мозга.—М. О.). Реакции всей остальной органической материи обладают другим, качественно своеобразным свойством—бессознательной, неясной возбудимостью (Неправильная, нивелирующая точка зрения, не видящая разницы между первичными реакциями и протоплазматической возбудимостью, свойственной всякой протоплазме.—М. О.)... Реакции же неорганической материи, механические, физические и химические, различаются между собой, но в отличие от реакций органической материи не обладают не только способностью мыслить и ощущать, но даже более простою способностью внутреннего возбуждения. Реакции неорганической материи, отличаясь таким образом качественно от реакций органической материи (До сих пор правильно.—М. О.), обладают, однако, способностью сходной, а именно самой реактивности». Общая всей и всякой материи способность реагировать—вот то «сходное» с органической материей, что присуще неорганической материи.

Итак, по Франкфурту «реакции неорганической материи обладают реактивностью», и эта способность реагировать и есть та сходная с ощущением способность, которую, якобы, подразумевал Ленин. Следовательно, способность неорганической материи реагировать есть способность, сходная с ощущением... Приходится опасаться, что не только нашему механистически ограниченному разуму, но и самому Энгельсу вышеозначенное софистически акробатическое упражнение в истолковании его учения о различиях реакций было бы непонятно («реакции... обладают... реактивностью»). И все эти трюки тов. Франкfurта пришлось выкинуть только потому, что он «не вдумчиво» читал Ленина. Великие мертвецы тем и хороши, что их можно истолковывать всякого рода диалектическим софистам вкрявь и вкось без опасения взбучки: слой могильной земли — лучшая гарантия от протестов.

Итак, Плеханов—колеблющийся гилозонст; Ленин допускает предположение о способностях, сходных с психическими, даже у атомов и электронов («фундамент здания материи»). Стало быть, не только неспособные к диалектическому мышлению механисты, но и классики марксизма понимали вышеприведенные слова Маркса, как выражение его гилозонизма. По меньшей мере у марксистов нет необходимого принципиально-отрицательного отношения к гилозонизму. Они не видят в нем ничего не допустимого, не совместимого с основными своими принципами, причиной какого отношения является непреодоленный до конца антропоморфизм и некритическое отношение к нитроспекции.

### О голых абстракциях и об'ективной реальности.

О качестве критических методов тов. Франкфурта дает понятие следующее место из его софистических творений: «Время и пространство связаны, т.-е., по мнению т. Окуня, тождественны». Даже ультрамикроскопический намек на эту абсурдную «мысль» нельзя найти в нашей статье. «Об'ективность» критики тов. Франкфурта из этой, мягко выражаясь, подстановки вполне ясна. Тов. Франкфурту необходимо было приписать нам эту нелепость, дабы не возвращаться к разбору вопроса о протяженности явлений вообще и психических в частности, дабы не упоминать о своем «удачном» примере с вращающимся колесом, каковым примером он хотел доказать отличие психических явлений от физических. На самом же деле этот пример доказывает обратное, что и физическое, и психическое явления, как таковые, как движения, абстрагированные от движущегося тела, места в пространстве не занимают, что место в пространстве занимают только реальности, движущаяся материя, абстракции же протяженности не имеют, а только «пространственность», т.-е. происходят в реальных протяженных телах.

При разборе этого примера мы исходили из учения Эйнштейна, что движение и материя в отдельности, абстрагированные друг от друга,—это не реальные вещи, а голая абстракция, что об'ективную реальность имеет только движущаяся материя, а время и пространство—ее основные и неразрывные свойства (учение о четырехмерном пространственно-временном континууме Эйнштейна). Поэтому-то мы и утверждали, что нельзя отрицать за сложнейшими физико-химическими явлениями, лежащими в основе психических явлений, свойства протяженности и приписывать им свойства временности, так как время и пространство—неразрывные свойства движущейся материи. Ни о каком отождествлении времени и пространства в вышеизложенном нет и речи.

### Марксизм не спиннозизм, но род его.

Снова приходится повторять, что нет ничего оригинальнее защиты тов. Франкфуртом марксистской психологии от обвинения в спиннозизме. «Марксизм, как род спиннозизма, не признает ни дуализма, ни гилозонизма»,—заявляет тов. Франкфурт, следовательно, он согласен с тем, что марксизм—род спиннозизма, но не согласен, что в нем есть и гилозонизм и дуализм, отличный, конечно, от чисто идеалистического. Однако Плеханов, даже по Франкфурту, — колеблющийся гилозонст, а Ленин, как ни фокусничал тов. Франкфурт с его термином «сходный», на поверку тоже выходит гилозонстом, и было бы чудо-

вишно странно, если эти два величайших марксиста неправильно понимали творения Маркса и, в противовес ему и его учению, были гилезонстами. Очевидно, и они понимали, как гилезонистское категорическое мнение Маркса, что «первичные формы материи суть неотъемлемо ей присущие живые силы». Дуалистичность же марксизма видна хотя бы из того, что материя обладает двумя рядами свойств,— психическими и физическими, друг к другу не сводимыми. Отличие этого дуализма от идеалистического в том, что он прикрыт внешним монизмом: оба эти ряда свойств—атрибуты материи. Если же отягчить от спинозизма его гилезонизм и дуализм, то получится вместо цельной и последовательной философской системы не «род» спинозизма, а отрывок от него, лишенный его цельности и последовательности.

Тов. Франкфурт, признавая марксизм родом спинозизма, не желает признавать его психо-физический параллелизм, потому что «марксизм видит в психике неотделимое свойство материи». Тем не менее, совершенно несомненно, что спинозизм, как вид или род психо-физического параллелизма, признает не взаимодействие психического с физическим, а их параллельность, так как взаимодействие есть они, как качественно различные, якобы, не могут (физическое сводится к движению и подчиняется закону сохранения энергии, а психическое, как не сводящееся к движению, не подчиняется этому закону). А так как, по Энгельсу, монистично только или сведение психики к материи (материализм), или материи к психике (идеализм), то признание двух несводящихся друг к другу основных первичных свойств материи (психика и движение)—есть своеобразный компромиссный дуализм. Только в этом смысле говорилось о дуализме марксизма.

• Тов. Франкфурт приписывает нам обвинение материализма в идеализме, чтобы затем сокрушительно опровергнуть оное механистическое заблуждение. Ни одного намека на обвинение марксизма в идеализме при наличии, хотя бы небольшой дозы объективности, в нашей статье найти нельзя, а в самом начале ее было заявлено, что проф. Челпанов прав только в одном пункте, обвиняя марксизм в спинозизме и гилезонизме.

Тов. Франкфурт видит корень наших заблуждений в «извращении или незнании исторических фактов (характер влияния Гегеля на Маркса)». Тов. Франкфурт совершенно прав: «Маркс полностью отверг идеализм Гегеля» (предварительно написав докторскую диссертацию в идеалистическом духе), но, не имея экспериментальных данных, могущих дать повод к сведению психики к движению, и привыкнув под влиянием Гегеля доверять интроспекции, убеждающей в качественном отличии психического от физического, Маркс наделил субъективными свойствами все объекты, так как объяснить появление психического в результате усложнения движений, не сводя—психику к движению, нельзя.

### **Как стопроцентный диалектик в борьбе с механистом потерял основной закон диалектики.**

По Франкфурту, «марксизм отвергает сведение психики к физиологии потому, что это есть неверное отождествление субъективного с физиологическим, неверное отождествление сложного с простым, свывание специфического характера высших форм движения».

Однако тов. Окунь все же пугается отождествления психического с физическим и вопрошает: «Разве отождествляются физические



и химические явления друг с другом, хотя те и другие сводятся к движению. Не отождествляются, так как это разные движения. Также и субъект не будет отождествлен с объектом, если мы сведем его к движению, так как это будет движение отличное, хотя бы только количественно, и по среде, в которой оно происходит, от всех других движений».

«Да, если признавать не только связь различных видов движений, но и их различие, то это не есть их отождествление, но бедов. Окуня состоит в том, что он теряет эту логику при анализе психофизической проблемы».

«В последнем случае перед нами не два различных движения, не два количества, а два качества, два качественно различных свойства одной и той же материи. И эти два свойства надо взять в их связи, т.е. как два неотделимых свойства (отсюда диалектическое единство многообразия) и в их различии, одно как объективное свойство, а другое как субъективное (в этом диалектическое единство противоречия). Механисты этого не понимают, не принимают, и поэтому они превращают психическое в особый вид движения, что приводит или к выдумыванию реально не существующей раздельности, пусть и материальной, или, вернее, и точнее к признанию только того физико-химического процесса, который реально протекает в мозгу, и к смазыванию субъективного свойства. Ясно, что оба эти «или» неприемлемы, неверны».

В этой художественной картине наших механистических заблуждений имеется, однако, несколько фальшивых мазков.

О какой раздельности говорит тов. Франкфурт? Если о раздельности психического от физического, то этого нет. Механисты сводят все явления природы, в том числе и психику, в единую систему различной сложности движений, непрерывно превращающихся одно в другое. Механисты не «смазывают» субъективное свойство, а, наоборот, приписывают психике самостоятельное существование, как особому виду движения, не сводя ее к какому-то бесполезному, пассивному придатку в виде внутреннего свойства, не могущего оказывать никакого влияния на действия людей (так как оные действия подчиняются закону сохранения энергии, а внутренние свойства не подчиняются ему). Механисты рассматривают психические явления, как проявление психической энергии, которая, согласно закону сохранения энергии, трансформируется из других форм энергии и в них, которая может появиться только в весьма сложной материи мозга, так как психические явления—наиболее сложный вид движения, требующий многих компонентов. Механисты полагают, что материя обладает не двумя основными неотделимыми свойствами (движением и психикой), а одним—движением, что субъективность есть неотделимое свойство не материи мозга, а неотделимое свойство особого вида сложнейших движений, происходящих в мозговой ткани; что субъективность есть отличие психической энергии от других видов единой мировой энергии, каждый из которых обладает своей особой индивидуальностью, оказывает на наш организм совершенно особое воздействие; что никакой противоположности между объективным и субъективным нет, что субъективное только потому было субъективным, т.е. поддавалось только субъективному интроспективному познанию, что оно происходит в сложной мозговой ткани, защищенной черепной коробкой, что вследствие своей тонкости и сложности оно не поддается непосредственному объективному изучению, а для косвенного

изучения не было средств, но это не значит, что их не будет. Нашли же способ видеть невидимые лучи, видеть скрытые в глубине тела кости и органы, невидимые простым глазом, и т. д.

Тов. Франкфурт уверяет, что психическое и физическое «не два различных движения, не два количества, а два качества, два качественно различных свойства материи». Для тов. Франкфурта количество и качество стади какими-то самодевуляющими фетишами. Он забыл, горя желанием ввергнуть в прах нечестивых механистов, основной закон диалектического материализма, что количество скачкообразно превращается в качество. Затем он забыл, что два количественно различных движения равны двумя качественно различным явлениям природы (колебание молекулы твердого тела дает явление теплоты, при усилении же оных молекулярных механических движений, тело начинает излучать свет (красное и белое каление), а суть-то ведь этих явлений одна—механическое движение молекул. Различие только количественное — в быстроте колебаний молекул, а явления получаются качественно различные. Мы совершенно согласны с тов. Франкфуртом, что психическое и физическое—качественно различные явления, но в существе качественного различия лежат количественно различные движения молекул атомов и электронов.

«Диалектическая» логика тов. Франкфурта воистину замечательна. Применяя ее, он должен признать, что так как электричество и теплота—качественно различные явления, и одно из них сводится к движению, то другое, как качественно отличное, не сводится. Однако естествознание и практика и то и другое успешно сводит к движению (паровые и электрические машины). Жизненные явления чрезвычайно отличаются от явлений в неорганической природе, что дает повод для существования витализма даже в наше время. Применяя свой метод, тов. Франкфурт должен признать, что, так как жизнь качественно отлична от процессов неживой природы и так как последние сводятся к движению, то первые, как качественно отличные, к этому движению не сводятся. Все доказательства тов. Франкфурта вытекают из предпосылки, что движения имеют только количественную характеристику, а качественной не имеют.

Вот куда приводит ложно понимаемая диалектика, т.-е. софизмы, загроможденные под диалектику.

При применении же принципа превращения количества в качество делается понятным, что мозг обладает двумя видами движений, из коих—один составляет явления нервные, неправильно называемые бессознательно психическими, ибо сознательность отличный признак психического и бессознательной психики так же, как и беззвучного звука быть не может, а другой составляет психические явления, при чем эти явления превращаются при определенных условиях друг в друга и в явления внешних физических реакций организма, входя, таким образом, как регуляторы в энергетическое хозяйство организма, а не будучи к нему бесполезным «внутренним» придатком.

### **О теоретико-познавательной предпосылке марксизма.**

Относительно основной теоретико-познавательной предпосылки марксизма необходимо отметить, что, так как субъективное не может быть противопоставлено объективному, так как является только отпа-

чительным признаком одного из многих видов объективного, т.е. движения, и что противопоставление субъективного объективному есть только следствие интроспективного познания ие коррелированного объективным познанием, то следует придать оной предпосылке более объективную форму, а именно, заменить принцип: «Не тождество объекта и субъекта, а их единство» принципом: «Не тождество явлений природы, а их единство».

Уместно здесь напомнить, что в этой теоретико-познавательной предпосылке марксизма весьма ярко отразился антропоморфизм. Рассматривание вселенной с точки зрения субъекта и объекта—более концентрированный антропоморфизм трудио и иайти. Эта предпосылка—обобщение результатов интроспекции, в результате некритического к ней отношения: субъект наблюдает объекты и наблюдает свои собственные переживания, мысли и ощущения, сравнивает первые с последними и находит, что ощущение как таковое совершенно не похоже на предмет, обусловивший его (например, оно не протяжено), и делает из этого вышеуказанное обобщение, настолько же незаконное, как и утверждение, что электричество и механическое движение абсолютно различные вещи, не сводимые друг к другу, так как они производят различные воздействия на органы наших чувств, дают различные ощущения. Однако такая логика теперь никого не убедит, потому что электростатизм трансформируют механические движения в электроток, а фабрики производят обратную трансформацию. Абсолютное же различие ощущений, которые мы получаем от электричества и от механической эиергии—не соответствуют реальности, будучи обусловлены только строением наших органов чувств. Такую же точку зрения надо применить и при решении психофизической проблемы.

### Тов. Франкфурт хочет познавать неопределимое.

«Смешное, фальсифицирующее, чудовищно странное заявление г. Окуня об агностицизме базируется, во-первых, на его механистической установке, мешающей ему понять вышеуказанную диалектику, и, во-вторых, на злоупотреблении словом «объяснить». Марксизм отказывается от сведения психики к движению, от объяснения психики движением. Но это обозначает только одно: движение и психика, как свойства организованной материи потому не сводятся и не объясняются одно другим, что это два одновременно (эта одновременность установлена только интроспекцией. — М. О.) появляющихся, принципиально различных свойства. Однако отсюда еще не вытекает отказ от объяснения психики вообще. Марксизм признает возможность и необходимость познания психики. Больше того, марксизм требует познания структуры той материи, которая обладает свойством «психичности» и тех условий, при которых она это свойство приобретает или теряет». Здесь тов. Франкфурт обнаружил свое внутреннее «диалектическое» противоречие: объяснить,—значит свести к более простому, первичному, а марксисты считают психику первичной, а потому и не подлежащей ни определению, ни объяснению; а так как психическое первично, то существует всегда и не может ни приобретаться, ни теряться.

Ленин весьма категорично подчеркивает принципиально агностическую позицию марксизма в этом вопросе: «Что значит дать определение? Это значит прежде всего подвести данное понятие под другое,

более широкое. Например, когда я определяю: осел есть животное, я подвожу понятие «осел» под более широкое понятие. Спрашивается теперь, есть ли более широкое понятие, с которыми могла бы оперировать теория познания, чем понятия: бытие и мышление, материя и ощущение, физическое и психическое. Нет... Только шарлатанство или крайнее скудоумие может требовать такого «определения» этих двух рядов предельно широких понятий, которое не состояло бы в «простом повторении», что то или другое берется за первичное».

Из вышесказанного, весьма недвусмысленного мнения явствует, что Ленин считает оба ряда явлений первичными, не подлежащими никакому определению, никаким объяснениям, т.е. непознаваемыми. Категорически опровергается возможность определить психическое, так как оно первично; тем самым опровергается и мнение тов. Франкфурта о возможности познать условия возникновения и исчезновения «психичности», ибо первичное не может «приобретаться» и «теряться», оно существует как первичное всегда и вне каких-либо условий бытия материи. А тов. Франкфурт вопреки Ленину желает познавать условия, при которых материя «это свойство («психичность») приобретает или теряет». Иными словами, он утверждает, что в данном материальном теле возникает из ничего и превращается в ничто «психичность», так как это свойство к движению не сводимо и трансформироваться в какое-либо другое, например, физико-химическое явление, не может (по мнению тов. Франкфурта). Чем такое познание, основанное на такой «диалектической» предпосылке, лучше агностической установки в вопросе изучения психики—одному тов. Франкфурту известно.

Из этого противоречия, совершенно не диалектического, выход только один: признать психическое не первичным, а вторичным, признать его результатом развития органической материи, свести к движению и тогда можно будет познавать психическое и условия его возникновения и исчезновения, т.е. условия трансформации физико-химических явлений, происходящих в мозговой ткани, в психические явления и обратно, на основе закона сохранения энергии.

В традиционно-марксистских взглядах на психику, в противовес действительности марксизма во всех других областях, ярко отразилась созерцательность, пассивность идеалистической философии. «Психика появляется одновременно с движением», «Психика и движение два свойства организованной материи», «Психика—внутреннее состояние материи» и т.д. Психика поэтому только сопутствует бытию, только определяется бытием, но никакого действительного, видоизменяющего бытие значения, она, как внутреннее переживание материи, не имеет и не может иметь. Однако практика, наш высший критерий, указывает с несомненностью, что психика не только отражает бытие, но и изменяет его. Это признается и историческим материализмом. Психика не только сопутствует поведению человека, физическим его действиям, физико-химическим процессам организма, но оказывает сильнейшее воздействие на это поведение, на эти процессы, каковое явление с точки зрения закона сохранения энергии совершенно непонятно, если психика не является видом движения, ибо только движение может видоизменять или порождать другое движение, трансформируясь в него. Эта созерцательная точка зрения есть также обобщение данных интроспекции: у самонаблюдающего свои действия субъекта

происходит раздвоение внимания между действием и, якобы, переживанием оного действия, каковое раздвоение внимания ощущается и приводит к заключению о действии и сопутствующем ему внутреннем переживании, весьма от оного действия отличным и к нему не сводящемся. Выводы, основанные на таком самонаблюдении, весьма мало достоверны. Ведь электричество и теплота дают совершенно отличные ощущения, однако, и то и другое только виды движения, легко трансформируемые один в другой.

Из изложенного ясно, насколько «фальшивы, чудовищны» и т. д. наши заявления об агностицизме марксистской психологии.

Что психическое не первично, а потому и не определимо, но вторично и подлежит определению, объяснению, явствует из того, что первичное должно быть просто, неразложимо, должно иметь минимальное количество свойств, а психическое отнюдь не просто, а весьма сложно и разнообразно. О материи, как о первичном, мы только потому можем говорить, что она состоит из простых однородных частичек, электронов, которых имеется всего два вида, — положительные (протоны) и отрицательные (собственно электроны), комбинации коих составляют все разнообразие вселенной, при чем эти два вида отличаются друг от друга только массой и знаком электрического заряда (По всей вероятности, и электроны окажутся разложимыми на более простые частицы, совершенно не отличающиеся друг от друга). Даже атомы, которые считались совершенно простыми частицами, оказались весьма сложными телами, чем и объяснились их индивидуальные свойства и зависимость оных от атомного веса. Тем менее можно говорить о первичности психических явлений, раз даже атомы оказались вторичным. Эмоция, воля, сознание, память, ощущение, чувственный тон, инстинкт, бессознательное мышление, бессознательное желание и т. д. — уже одно количество разнообразных психических явлений с разнообразными и многообразнейшими свойствами показывает, что психическое — не простое, не первичное. Перечисленные психические явления — не изменения, не комбинации какого-нибудь основного элементарного психического явления, как, например, атомы — комбинации из электронов, потому что в этом случае между всеми психическими явлениями были бы установлены границы, была бы выяснена связь между ними, они были бы определены относительно друг друга. На самом же деле этого нет, никто из психологов не мог определить сознание, установить границы между ощущением и чувственным тоном; с психологической точки зрения непонятно даже, почему бессознательное мышление сильнее сознательного; при чем не потому психологи не могут определить сознание, что оно первично, — они считают его явлением сложным, а потому, что психические явления можно определить, только сведя их к движению так же, как индивидуальные свойства атомов можно было объяснить, сведя их к электронам, сведя к более простым явлениям. Очевидно (из тысячелетий бесплодного топтания психологии на одном месте), что психическое не первично, не просто, а сложно и вторично, что психическое не отлично от движения, а является видом сложного движения высоко организованной материи.

Антропоморфизм, незаконное обобщение данных интроспекции, утверждение первичности и несводимости психики к движению, лишающее ее возможности воздействия на поведение человека, — в этом причина того, что марксистская психология столь же бесплодна,

как и идеалистическая, что психика только описывается, но не объясняется. Жизнь вступила с психологией в конфликт. Жизнь требует не описания психических явлений, а объяснения. Психиатрия, юстиция, педагогика и т. д. не довольствуются знанием того, что психика — внутреннее переживание, субъективное свойство, сопутствующее материальным движениям в мозгу, но требуют знаний о воздействии психики на действия человека и обратно, как влияют внешние материальные движения на психику, при чем знания эти должны быть точными, количественно выраженными. Математическую же форму можно придать изменениям только такого свойства, которое сводится к движению, так как изменения внутренних переживаний не могут быть измерены, потому что их сила, напряженность известны только переживающему. Конечно, о внутренних переживаниях можно было бы судить по сопутствующим внешним телесным проявлениям (мимика, слезы или смех, движение и т. д.), но сила этих телесных проявлений в большинстве случаев не соответствует силе внутреннего переживания. Культурные люди, привыкшие сдерживать внешние проявления своих эмоций, переживают их глубоко и сильно, тогда как несдерживающие оных внешних проявлений внутренние переживают далеко не столь глубоко и быстро забывают переживания.

Тот факт, что сила внутренних переживаний не соответствует степени внешних проявлений эмоций, также указывает, что психические явления — не внутренние свойства мозговых движений, сопутствующие им, а самостоятельные реакции, так как в первом случае сила внутренних переживаний нарастала бы параллельно с силой внешних проявлений, непосредственным результатом этих мозговых движений. Кроме того, марксистская психология допускает только интроспективное изучение, ибо внутренние состояния, не сводящиеся к движению, объективному изучению не поддаются по самому своему свойству «внутренних», а телесные проявления эмоций, мышления и т. д. не соответствуют силе внутренних переживаний. Интроспекций же существует столько, сколько психологов, и столько же существует более или менее художественных описаний внутреннего своего мира, и, несмотря на это, условия появления в матери «психичности» до сего времени не выяснены.

Следовательно, традиционный марксизм отдает психологию в безраздельное и полиовластное владение интроспекции, метода, себя не оправдавшего и никаких перспектив не имеющего. Это не значит, конечно, что интроспекция — метод никуда не годный, но для объяснения психического необходимо объективное изучение, которому при взгляде на психику, как на явление, к движению не сводимое, места в изучении психики нет.

Мы доказывали в своей статье, что психология обнаружила полную свою бесплодность и непригодность, при чем перечисляли несколько вопросов, совершенно для психологии не разрешимых и легко разрешимых при сведении психики к движению. Тов. Франкфурт, вместо разбора конкретных фактов, предпочел с высоты своего «диалектического» Олимпа пустить несколько звонких и пустых софизмов, обозвал Окуня механистом, дал ему несколько педагогических советов и почил на лаврах, а неисполненная благодарности психология вышла из тупика и начала плодотворно разрешать неразрешенные еще вопросы.

**Что теряет марксизм, принимая сведение психики к движению.**

Спор о спиннозизме-гиллозонизме психологических воззрений основоположников марксизма, по существу, спор академический. Важно то, что марксисты не допускают объяснения психики движением, а экспериментально-психологические работы марксистов же подрывают этот принцип. Тов. Франкфурту полагалось бы посему обрести некую дозу храбрости, а не проводить хитроумную политику страуса,—прятания от «механистической» опасности, исходящей от его ближайшего и притом марксистского начальства (проф. Корнилова), который «позволяет» себе употреблять механистические термины: «психическая работа», «физический эквивалент затраты энергии при усложнении психических реакций», «высоко развитая мыслительная деятельность, требующая значительной затраты механической энергии»; который «позволил» себе экспериментально установить «принцип однопольной траты энергии», состоящий в том, что мозг обладает в каждый данный момент строго определенным количеством энергии, которую он может использовать или для физической (психо-моторной) работы, или же для психической работы (мышления, самонаблюдения и т. д.). Конечно, гораздо легче повесить ярлык «механиста» и обругать Окуня за «неуместное использование работ Эйнштейна, Лазарева и Павлова, нежели диалектически истолковать механистические принципы марксистского профессора Корнилова, вследствие чего тов. Франкфурт благоразумно умолчал о заключительных страницах нашей статьи, посвященной работе проф. Корнилова.

Имеет ли ревизиофобия консерваторов от марксизма почву под собой? Теряет ли что-нибудь марксизм от сведения психики к движению? Несомненно, теряет, ежели можно считать потерями: 1) изгнание из марксизма некритического отношения к интроспекции; 2) допущение, что психические явления могут быть познаваемы не только интроспективно, но и объективно, т. е. путем сведения к движению и уловления оного движения соответствующей аппаратурой; 3) изгнание из психологии антропоморфизма и антропоцентризма (учение приписывают животным человеческие психические свойства или же категорически отрицают у животных наличие какой бы то ни было психики); 4) полную монистичность мировоззрения, признание у материи не двух рядов первичных свойств, психики и движения, а только одного первичного, изначального свойства—движения; 5) признание закона сохранения энергии к изучению психических явлений, т. е. установление всеобщей связи и закономерности, что введет психологию в систему естественных наук; 6) превращение психических явлений из какого-то импотентного субъективного свойства в явления, оказывающие большое влияние на ход жизненных процессов, имеющее большое значение в энергетическом хозяйстве организма.

Резюмируем аргументацию за и против сведения психики к движению.

**Аргументы «диалектика».**

1. Психика—субъективное, внутреннее свойство материи, а движение—объективное свойство материи; сведением психики к движению связывается субъективное свойство.

**Аргументы «механиста».**

1. Психика вид движения, так как:  
а) аргумент диалектика—результат чрезвычайного доверия к интроспекции, не corroborированной объективным изучением, каковое, ввиду сложности изучаемого, началось очень недавно и не дало пока общепризнанных результатов. «Принци-

пильное различие между психическим и физическим—результат строения воспринимающего аппарата (теплого и электрического) дают резко различные ощущения, однако и то и другое только виды движения; б) психическое—не субъективное свойство материи, в особый вид движения, способный трансформироваться в другие виды и поэтому оказывающий воздействие на физико-химические процессы организмов. Субъективность только отличительное свойство этого вида движения, как способность давать искры—свойство электричества.

2. Психика качественно отличается от движения.

3. Основная теоретико-познавательная предпосылка марксизма «не тождество объекта и субъекта, а их единство», а при сведении психики к движению, субъект и объект отождествляются.

4. Психическое первично, изначально так же, как и движение.

2. а) Всякое качество образуется из количества; б) все явления природы качественно отличны друг от друга и все же являются только более простым или более сложными видами движений.

3. Этот принцип в данном виде является обобщением результатов интроспекции, а потому и выражением витропоморфной философии; ему можно придать универсальный характер, лишенный к тому же витропоморфизма; «не тождество явлений природы, а их единство». Эпифоруировка делает ясным, что сведение психики к движению устанавливает их единство, но не тождество.

4. Первичное просто, а психическое явления очень сложные и многообразные, а потому, так же, как и органические, физические и химические, сложные движения материи сводятся в конечном итоге к простым механическим движениям электронов. Когда говорят о материи, мы о первичном, индифференциальном движении электронов, ибо это самое простое и дальше пока не разложимое.

Психическое, несомненно, оказывает воздействие на действия организмов и обратно; но если оно первично, изначально, а потому не сводится к движению, то это воздействие—нарушение законов сохранения энергии, так как изменить одно движение может только другое движение.

5. Психическое не протяженно, в отличие от материального.

5. а) Данный аргумент—результат объективного, а интроспективного знания. б) Время, пространство и движущаяся материя неразрывно связаны, время и пространство—неотъемлемые свойства движения материи (учение Эйнштейна о четырехмерном пространственно-временном континууме). Следовательно, утверждая, что психическое явление протекает во времени, тем самым утверждаем и его протяженность, т.е. сводим психическое к движению. в) Физические явления, напр. вращение колеса, обстреливаемые от движущегося (движущегося) тела, не занимают места в пространстве, непротяженны; напротив только объективная реальность—движущаяся материя. Установленная тов. Фришманом, в отличие от протяженности материальных явлений, пространство



ность психических явлений, является такой же голой абстракцией, так же не мыслима, как абстрагированное движение без движущегося тела. Психическое явление, как и всякое другое, непротяженно только до тех пор, пока оно абстрагировано от движения ионов в мозговой ткани, пока оно рассматривается, как абстрагированное явление без движущегося тела.

6. Сведение психики к движению—метафизический и механический материализм.

6. Все естествознание—базис философии и ее будущая замена (по Энгельсу)—механистично, ибо все сводит к движению и подчиняет закону сохранения энергии. Метафизики здесь нет, так как сведение психики к движению диалектике не противоречит, а, наоборот, является ее примесением на деле. Основная на несведении к движению психология совершенно бесплодна, поэтому необходимо перейти к противоположному принципу и проверить его на деле, на коковой путь стихийно вступает экспериментальная психология (работы Корнилова, Выгодского и т. д.).

В заключение необходимо отметить, что тов. Франкфурт снова защищал не дух, а букву марксизма, и применяя при этом методы, не соответствующие, мягко выражаясь, важности задачи, выдавая свои низкосортные софизмы за стопроцентную диалектику; он обвинил оппонента в фальсификациях, а сам так «истолковал» Маркса, Энгельса и Ленина, что иначе, чем фальсификацией, трудно назвать эти толкования. Единственным их оправданием служит высокая цель тов. Франкфурта — защитить святыню от нечестивых механистических покушений. При выполнении своего святого подвига тов. Франкфурт забыл стержень диалектики — превращение количества в качество, возвел оные категории в фетиши и маневрировал ими, как абсолютно противоположными понятиями, не имеющими никакой связи между собой. Вот к чему приводит «стопроцентная» диалектичность—к забвению основных принципов диалектики.





## Очерки по теории советского хозяйства.

### Стадии развития коммунизма<sup>1)</sup>

Я. Бертыс.

#### СТАТЬЯ III<sup>1)</sup>.

После того, как в предыдущем очерке мы довольно подробно остановились на методологических предпосылках и приемах изучения экономики переходного периода, нам остается приступить непосредственно к решению поставленного в предыдущем очерке вопроса: «через какие стадии будет проходить развитие коммунизма, т.е. того, по выражению Маркса, «реального движения», которое уничтожает теперешнее состояние», в каких формах происходит это движение и какие факторы обуславливают смену одной стадии другою, более высокой».

Путь от капитализма до конечной цели будет одновр енно путь диктатуры пролетариата, путь строительства коммунизма, который по своей продолжительности не может быть одинаковым для всех стран. Ленин в мае 1919 г. писал, напр., что «по сравнению с передовыми странами русским было легче начать великую пролетарскую революцию, но им труднее будет продолжать ее и довести до окончательной победы, в смысле полной организации социалистического общества... Советские республики стран более культурных, с большим весом и влиянием пролетариата, имеют все шансы обогатить Россию, раз они встанут на путь диктатуры»<sup>2)</sup>. Это объясняется тем, что капитализму присуще не только стремление к развитию, не только невозможность остановиться или воспроизводить хозяйственные процессы в прежних неизменных размерах, но ему также присуща невозможность равномерного развития производительных сил. Поэтому и обусловленные последними процессы обобществления труда, как внутри предприятий, так и внутри общества, совершаются неравномерно не только на отдельных участках мирового капиталистического хозяйства, но даже в отдельных отраслях народного хозяйства. Вот почему не только в разрезе мирового, но и национального хозяйства мы встречаем одновременное сосуществование различных последовательных ступеней процесса

<sup>1)</sup> См. «П. З. М.» № 1.

<sup>2)</sup> Собр. соч. т. XVI, стр. 184 и 186.

обобществления труда и средств производства, обусловленного прогрессивным движением производственных сил общества.

Организованный в государство пролетариат должен, стало быть, увязывать, точно сочетать свою созидательную работу с новейшим прогрессом капитализма, с теми достижениями в области развития производительных сил и обобществления труда и средств производства, которые оставил ему в наследство капитализм. «Социализм требует сознательного и массового движения вперед к высшей производительности труда по сравнению с капитализмом и на базе достигнутого капитализмом». <sup>1)</sup> (курсив мой.— Я. Б.). Поэтому, прежде чем говорить о стадиях коммунизма или этапах нашего строительства коммунизма, мы в нескольких словах остановимся на тех шагах, которые прodelывает процесс обобществления труда и средств производства еще в недрах товарной общественной формы, при чем здесь нас будет интересовать не количественная, а качественная сторона, не содержание, а форма процесса. Это поможет нам уяснить сущность того переворота, который мы начали с 25 октября 1917 г., определить его место в исторической цепи развития коммунизма и наметить тот путь, по которому организованный в государство пролетариат будет продвигаться вперед, осмыслить те приемы, методы и средства, при помощи которых он будет осуществлять это движение вперед к коммунизму.

«Обмен,—говорит Ленин,—выражает особую форму общественного хозяйства» <sup>2)</sup>, но форму противречивую, которая включает в себе начало раз'единяющее и начало соединяющее. Центральную ось движения товарного хозяйства образует общественное разделение труда между городом и деревней. «Один вид обработки сырья за другим, первоначально связанный с добыванием сырья, обработкой и потреблением в одно натуральное хозяйство, отрываясь от земледелия и становится самостоятельным, образуя, следовательно, индустриальное население» (Ленин). Свое полное завершение товарное хозяйство получает лишь тогда, когда и непосредственный производитель превращается в наемного рабочего, когда товарную форму принимает не только продукт, но и сама рабочая сила, занятая в производстве этого продукта. Вот в этом движении общественного разделения труда как раз выражается раз'единяющая роль рынка и обмена.

Обратной стороной этого процесса является постепенное соединение людей рынком в капиталистическую организацию общественного хозяйства, общей формой которого является товарное производство. Производители вступают между собою в меновые отношения лишь постольку, поскольку отрицается индивидуальный характер их труда, поскольку их частный труд переходит в общественный труд. Отдельные обособленные производители, поскольку они становятся товаропроизводителями, органически связываются со всем обществом в целом, превращаются в отдельных органов единого механизма общественного хозяйства и подчиняются законам движения последнего. Так что простой рост товарного производства, т.е. производства обособленных производителей, связанных между собою рынком, есть одновременно рост связи между обособленными друг от друга производителями, есть процесс превращения частного труда

<sup>1)</sup> Собр. соч., т. II, стр. 234.

<sup>2)</sup> Собр. соч., т. XV, стр. 200.

в общественный труд. Превращение частного, индивидуального труда в общественный труд посредством рынка—это первое условие и результат развития капиталистического товарного хозяйства. И этот процесс совершается в той мере, в какой неземледельческое производство развивается как самостоятельное по отношению к земледельческому производству, ибо в этой же мере и земледельческий продукт становится товаром; и в той мере он получает свое завершение, в какой капитализм превращает все производство в товарное производство. Превращение частного труда в общественный посредством рынка, это—первый шаг по пути к полному обобществлению труда и средств производства; на основе товарного производства уже вступает в свои права закон концентрации производства. «Закон о преимуществе крупных хозяйств над мелкими,—говорит Ленин,—есть закон только товарного производства»<sup>1)</sup>. Только в той мере, в какой производство—промышленность и земледелие—втягивается в товарный оборот и подчиняется рынку, только в этой мере закон о вытеснении мелкого производства крупным может быть прилажаем к хозяйствам, только в этой мере этот закон может быть отнесен к тому или иному производству или отрасли хозяйства. «Если сельскохозяйственное хозяйство мелкого крестьянина находится вне сферы товарного производства, если оно составляет только часть его домохозяйства, то оно остается и вне сферы действия централизующих тенденций современного способа производства»<sup>2)</sup>. Поэтому рост товарного производства не только соединяет людей, но одновременно расширяет сферу действия централизующих тенденций неорганизованного общественного хозяйства, приводящих к росту крупного производства за счет мелкого. Конкуренция между разрозненными производителями разоряет массу, обогащает немногих и, по выражению Ленина, «раскалывает их на двое», что оно дает одному капитал другого заставляет работать «за чужой счет»<sup>3)</sup>. Поэтому второй шаг по пути к полному обобществлению труда и превращению индивидуальных и раздробленных средств производства в общественно-концентрированные, это—отделение непосредственных производителей от их средств производства.

Когда процесс превращения непосредственных производителей в пролетариат, а условий их труда—в капитал достаточно широко и глубоко разложил старое общество, тогда закон о преимуществах крупного производства над мелким начинает выражаться в другой форме: «экспроприация распространяется здесь с непосредственных производителей на самих капиталистов мелких и средних»<sup>4)</sup>. На этой стадии развития централизующие тенденции капиталистического товарного хозяйства ведут к концентрации средств производства в руках немногих. Но одновременно третий шаг на пути к полному обобществлению средств производства и труда означает такую степень концентрации производства, когда, по выражению Энгельса, «общественная организация производства внутри отдельных фабрик развилась до такой степени, что делается несовместимой с развивающейся рядом с нею анархией производства в обществе»<sup>5)</sup>.

<sup>1)</sup> Собр. соч., т. II, стр. 91.

<sup>2)</sup> К. Каутский, Аграрный вопрос, стр. 117, изд. 1923 г.

<sup>3)</sup> Собр. соч., т. II, стр. 40.

<sup>4)</sup> Маркс, Капитал, т. III, ч. I, стр. 425, изд. 1922 г.

<sup>5)</sup> «Анти-Дюринг», стр. 192, изд. «Моск. Раб.», 1922 г.

Поэтому четвертый шаг на пути к полному обществу труда и средств производства направлен к преодолению самой товарной рыночной связи между отдельными капиталами через превращение ее в монополию. «Перед нами уже не конкурентная борьба мелких и крупных, технические отсталых и технических передовых предприятий. Перед нами удушение монополистами тех, кто не подчиняется монополии, ее гнету, ее произволу... Старая борьба мелкого и крупного капитала возобновляется на новой, неизмеримо более высокой ступени развития» <sup>1)</sup>. Это шаг уже приводит ко всестороннему обществу производству, к подрыву товарной формы производства, как основы всего хозяйства. И этот шаг в конечном счете приводит к тому, что «на известной ступени развития,—как говорит Энгельс,—и эта форма становится более не по силам капиталистам, и официальный представитель капиталистического общества, государство, вынуждено брать на себя управление производством. Подобный переход даже в руки современного государства означает экономический прогресс, подъем на новую ступень, подготовляющую переход всех производительных сил в ведение общества» <sup>2)</sup>. Это—пятый и последний, к тому же полониичатый, шаг, который делает капитализм на пути к полному обществу труда и средств производства.

Одним словом, капитализм от натурального хозяйства до своего высшего предельного развития проходит целый ряд ступеней, шаг за шагом подготавливая технико-организационные предпосылки для новой общественной формы—для коммунизма. В этой подготовке выражается та положительная, соединяющая роль обмена, как формы общественного хозяйства, которую он развивает на ряду с изначальным разединяющим. Теоретически подготовка условия для перехода к коммунизму сводится: в области промышленности к тому, что капитализм путем концентрации средств производства в немногих руках и организацией самого труда, как общественного труда (об этом см. нашу статью II) в антагонистической форме, уничтожает частную собственность и индивидуальный характер труда; в области сельского хозяйства к тому, что «он, с одной стороны, превращает земледелие из чисто эмпирических и механически наследуемых методов наименее развитой части общества в сознательное научное применение агрономии, поскольку это вообще возможно при отношениях, связанных с частной собственностью; что он, с одной стороны, вполне освобождает земельную собственность от отношений господства и подчинения, а, с другой стороны, совершенно отделяет землю как условие труда от земельной собственности и земельного собственника», для которого она не представляет ничего большего, кроме определенного денежного налога, взимаемого им благодаря его монополии с промышленного капиталиста, фермера» <sup>3)</sup>.

Практически капитализм prepares условие для перехода к коммунизму крайне неравномерно, что приходится констатировать не только об отдельных странах, но даже об отдельных отраслях народного хозяйства в одной и той же стране. Основной поток процесса обобществления народного труда и средств производства направляется по линии отделения неzemледельческого производства от земледелия. Поэтому степень индустриализации данной страны может служить основным показателем зрелости пере-

<sup>1)</sup> Ленин, Собр. соч., т. XIII, стр. 254 и 269.

<sup>2)</sup> «Анти-Дюринг», стр. 192.

<sup>3)</sup> К Маркс, Капитал, т. III, ч. 2, стр. 157, изд. 1923 г.

хода данной страны к коммунизму. Но помню этого мы имеем еще другие очень существенные обстоятельства, которые оказывают большое влияние на развитие процессов обобществления при капитализме. Среди них самым основным является монополия частной собственности на землю. Последняя исключает возможность на практике использовать все те крупные завоевания, которые современная наука и техника предоставляет в распоряжение земледелия для развития производительности труда, и этим путем создает постоянное и все возрастающее противоречие между возможной и действительной производительностью труда в сельском хозяйстве. Вследствие этого, капитализм овладевает сельскохозяйственным производством более медленным темпом, чем промышленностью; отделение производителей от средств производства и концентрация последних в руках немногих в сельском хозяйстве не поспевает за этими процессами в области промышленности. Индустриализация страны и монополия частной собственности на землю— вот два основных фактора, определяющие темп развития процессов обобществления при капитализме. Факторы, проявляющиеся с различной силой в разных странах и действующие в противоположных направлениях. В результате мы имеем неравномерную подготовку капитализмом условий для перехода к коммунизму, которая конкретно выражается, с одной стороны, в том, что разные страны находятся на самых различных ступенях индустриализации, а, с другой стороны, в том, что сельское хозяйство в своем развитии отстает от промышленности даже в самых передовых промышленных странах.

Поэтому как в разрезе мирового, так и в разрезе национального хозяйства мы в каждый данный момент застаем все выше отмеченные ступени, по которым в своем историческом движении поднимается процесс обобществления труда и средств производства. Ни в одной, даже в самой передовой, стране капитализм практически еще не разрешил задачи экспроприации всех непосредственных производителей от их средств производства, в полном объеме нигде не завершил концентрацию последних в руках немногих и нигде полностью и до конца не довел отделение собственника от самого производства. Общий исторический процесс обобществления труда и средств производства в рамках товарно-капиталистической формы общественного хозяйства ни в одной стране, даже в самой передовой, до сих пор не достиг и не может достичь такого количественного развития, чтобы стал возможным всеобщий переход количества в качество, чтобы можно было экспроприровать и прогнать всех собственников. Везде еще сохранились мелкие товаропроизводители и мелкие крестьяне. И «в большинстве капиталистических стран эти классы,—говорит Ленин,—представляют очень сильное меньшинство, приблизительно от 30 до 45% населения. Если мы присоединим к ним мелкобуржуазный элемент рабочего класса, то выйдет даже больше 50%. Их нельзя экспроприровать или прогнать, здесь борьба должна вестись иначе»<sup>1</sup>). В этом отношении нет никакого принципиального различия между передовыми и отсталыми капиталистическими странами. Различия между ними только количественные. В отсталых странах благодаря относительному отставанию процессов обобществления, мелкие производители будут занимать относительно больший удельный вес в социально-классовой структуре населения, чем передовых, и из-

<sup>1</sup>) Собр. соч. т. XVIII, ч. I, стр. 325.

оборот. Но основные формы общественного хозяйства и основные общественные силы, как говорит Ленин, в любой капиталистической стране одни и те же. «Эти основные формы общественного хозяйства: капитализм, мелкое товарное производство, коммунизм. Эти основные силы: буржуазия, мелкая буржуазия (особенно крестьянство), пролетариат»<sup>1)</sup>.

Но Россия—одна из наиболее отсталых капиталистических стран. Ленин в мае 1918 г., формулируя «очередные задачи советской власти», исходил из количественного и качественного учета элементов наличных общественно-экономических укладов, которых он установил пять: «1) патриархальное, т. е., в значительной степени натуральное крестьянское хозяйство; 2) мелкое товарное производство (сюда относятся большинство крестьян из тех, кто продает хлеб); 3) частно-хозяйственный капитализм; 4) государственный капитализм и 5) социализм»<sup>2)</sup>. Эти общественно-экономические уклады, если рассматривать их под углом зрения движения форм производительных сил, суть не что иное, как отдельные последовательные ступени движения процесса обобществления труда и средств производства, в основе которых, конечно, лежат определенные исторические ступени движения производительных сил человечества. При чем особые исторические условия развития производительных сил в России вообще, в промышленности и сельском хозяйстве, в частности,—способствовали к созданию такого количественного и качественного соотношения между отдельными ступенями, когда организованный в государство пролетариат получил в наследство от капитализма сочетание синдикацион, т. е. самых развитых форм капитализма в промышленности и 23 миллиона мелких раздробленных крестьянских хозяйств в деревнях. Мало того, в России не только громадное большинство населения является мелкими товаропроизводителями, но в ней даже сохранились элементы натурального хозяйства, т. е. мелкие самостоятельные производители, производящие в обществе, но еще не пришедшие в соприкосновение с общественным целым, не ступившие на путь превращения их частного труда в общественный через обмен, на путь обобществления труда и средств производства, и потому стоящие вне централизирующих тенденций и законов движения товарно-капиталистического общественного хозяйства.

Можно ли при подобных условиях говорить о том, что в России созрели все необходимые условия для перехода количества в качество, для революционного превращения частной собственности в общественную во всеобщем масштабе, в масштабе всей страны? Само собою разумеется, что подобная постановка вопроса даже для передовой страны, а тем более для России, исключена. И, тем не менее, единственный способ спасения общества от движения вспять, единственное средство для разрешения противоречия между производительными силами и общественной формой капитализма, к которому вплотную подвела история человечества, это—революция пролетариата, первым актом которой является экспроприация господствующего класса, класса буржуазии от государственной политической власти и передача последней в руки пролетариата, а вторым актом—экспроприация его от средств производства и превращение последних в общественную

<sup>1)</sup> Собр. соч., т. XVI, стр. 348.

<sup>2)</sup> Собр. соч., т. XVIII, ч. I, стр. 197.

собственность. Русский пролетариат 25 октября 1917 г. первый встал на такой революционный путь превращения частной собственности в общественную в форме национализации.

Первая основная задача, которую организованный в государство пролетариат должен был поставить и решить, может быть сформулирована следующим образом: если постановка вопроса о всеобщем революционном превращении частной собственности в общественную в форме национализации исключена, то как провести ту разграничительную линию, которая отделяет революцию от эволюции в области преобразования отношений частной собственности, как найти оптимальное соотношение между сферами применения революционных и эволюционных методов обобществления средств производства и труда, которое соответствовало бы уровню развития производительных сил в России. «Здесь может быть два и только два—случая,—пишет Н. Бухарин<sup>1)</sup>,—либо обобществление труда позволяет технически ввести плановую организацию, в какой бы то ни было конкретной социальной формулировке, либо процесс обобществления труда настолько слаб, труд настолько «расщеплен», что вообще технически невозможно рационализация общественно-трудового процесса. В первом случае дана «зрелость», во втором она отсутствует. Эта постановка вопроса есть общая постановка вопроса для любой формулировки сознательного и формального «обобществления». В первом случае налицо все необходимые условия для революционного превращения частной собственности в общественную в форме национализации, во втором—эти условия самим капитализмом не даны, и поэтому только эволюционным путем мыслимо дальнейшее обобществление труда и средств производства в меру подготовки организованным в государство пролетариатом необходимых для этого материально-технических и культурных предпосылок на основе проведенной национализации основных средств производства. Мимо этого вопроса не проходили ни один из основоположников и теоретиков научного социализма, так что с теоретической стороны не встречается никаких трудностей при разрешении этого вопроса. Но трудности начинаются, когда мы спускаемся с теоретических высот на практическую почву, когда теоретическую проблему ставим в плоскость практического осуществления, которое неизбежно должно учитывать конкретную обстановку, все те второстепенные приводящие моменты и обстоятельства, которые при теоретическом абстрагировании действительности исчезают из поля зрения, но которые оказывают свое порою очень существенное влияние на практическое разрешение теоретически бесспорной задачи. Проблема составляет не теоретическое, а практическое решение этой задачи, которое еще усугублялось тем обстоятельством, что русскому пролетариату и первые в истории пришлось за это дело взяться.

Обобществление средств производства в форме огосударствления или национализации есть диалектическое единство процесса разрушения и процесса создания. В своем движении вперед оно все больше развивает и усиливает процесс создания, который в силу этого на определенной ступени развития переходит из количества в качество и приобретает способность сдерживающего влияния на

<sup>1)</sup> «Экономика переходного периода», ч. I, Гиз, 1920 г., стр. 56



процесс разрушения, вводит последний в определенные рамки. И в зависимости от преобладающей роли того или другого процесса могут быть различаемы отдельные этапы национализации, каковых, напр., тов. Милютин<sup>1)</sup> намечает два: с октября 1917 г. до июня 1918 г. и с июня 1918 г. И это имеет определенное положительное значение в историческом анализе процесса. Но нас в данном случае не занимает процесс национализации в его этапах, нас не интересует история его, а процесс национализации в целом, как процесс, имеющий свое историческое начало и конец, определяемые состоянием производственных сил страны. В России этот процесс получил начало 25 октября 1917 г. Задачей организованного в государство рабочего класса стало довести процесс обобществления в форме огосударствления или национализации до его исторического конца, т.е. до той границы, которую ему ставит достигнутый капитализмом уровень производительных сил в России. Процесс обобществления производства, рассматриваемый как процесс разрушения, сводится к насильственной ломке господствующих отношений собственности, т.е. к национализации средств производства. Процесс обобществления производства, рассматриваемый как процесс создания, сводится к организации труда и производства как на предприятии, так и в обществе, к организации управления производством в узком и широком смысле этого слова. Поэтому в этих двух разрезах мы будем рассматривать единый процесс обобществления производства в его конкретном движении.

Основным мотивом всех этих главнейших мер является «объединение населения по разным профессиям, целям работы, отраслям труда»; является «контроль, надзор, учет»; является обобществление производства и распределения продуктов; «подъем всей страны на неизмеримо более высокую ступень экономической организованности».

Еще до Октябрьского переворота мы отдавали себе отчет о пределах осуществления основных мер по обобществлению средств производства в форме национализации. Ленин в своей брошюре «К пересмотру партийной программы» писал: «Мы все согласны, что основными из первых шагов на этом пути (на пути к социализму.—Я. Б.) должны быть такие меры, как национализация банков и синдикатов. Осуществим сначала их и другие подобные меры, а там видно будет. Там будет виднее, ибо наш кругозор неизмеримо расширит практический опыт, стоящий в миллион раз больше наилучших программ. Возможно, и даже вероятно, и даже несомненно, что без переходных «комбинированных типов» не обойдется и здесь; напр., мелких хозяйств с 1—2 рабочими мы сразу не сможем ни национализировать, ни даже взять под настоящий рабочий контроль»<sup>2)</sup>.

Поэтому, после 25 октября 1917 г., организованный в государство пролетариат начал осуществлять обобществление в форме национализации средств производства с крупнейших и крупных предприятий в области сельского хозяйства, промышленности, торговли и финансов, где имелись налицо все необходимые для этого технические и культурные средства и силы. Такие крупные акты советской власти, как декрет об отмене помещичьей собственности на землю от 26 октября 1917 г., декрет о национализации банков от 14 декабря 1917 г., декрет о национализации торгового флота от 26 января 1918 г., декрет о национализации внешней торговли от 22 апреля 1918 г. и декрет о

<sup>1)</sup> «История экономического развития СССР», 1917—1927, Гиз. 1928 г., стр. 108.

<sup>2)</sup> Собр. соч., т. XIV, ч. 2, стр. 168.

национализации всей крупной промышленности от 28 июня 1918 г. и др.—суть не что иное, как крупные исторические вехи, обозначающие пройденный организованным в государство пролетариатом путь в деле разрушения старых капиталистических отношений собственности, который был завершён только в течение 1920 г. И если буржуазное временное правительство не могло приступить к реализации основных мер по борьбе с разрухой «из боязни посягнуть на всевластие помещиков и капиталистов, на их безмерные, неслыханные, скандальные прибыли», то после Октябрьской революции вся обстановка благоприятствовала форсированию обобществления; «национализация развертывалась,—как говорит Сарабьянов,—вопреки воле советской власти и партии в силу, главным образом, объективных причин и условий» <sup>1)</sup>. Организованный в государство пролетариат, под давлением логики этой обстановки, зашел дальше в деле национализации, чем позволяло состояние производительных сил страны, вторгнулся в сферу мелкого производства, мелкой собственности, где объединение мелких и мельчайших хозяев встречает «серьезные трудности и технические, и культурные... вследствие крайнего раздробления их предприятий, технической примитивности, неграмотности или необразованности владельцев» <sup>2)</sup>. Так, напр., согласно постановлению президиума ВСНХ от 22 ноября 1920 г., «все промышленные предприятия, находящиеся во владении частных лиц или обществ, имеющие число рабочих свыше пяти при механическом двигателе или десяти без механического двигателя, объявляются национализированными». Останавливаясь на этом постановлении, тов. Сарабьянов замечает, что «когда пытаешься найти причины этого замечательного постановления, то иных объяснений, кроме главкистской переоценки собственных сил, не находишь. Главки управляют сотнями предприятий, не имея для них достаточного количества ни хлеба, ни фуража, ни топлива, ни сырья» <sup>3)</sup>.

Обобществление производства в форме национализации основных средств производства сводится к разрушению господствующей до сего экономической структуры общества, господствующего типа производственных отношений, в основе которого лежит определенная форма распределения средств производства в обществе, «тот особый характер и способ, каким осуществляется это соединение рабочего со средствами производства. Отрицательная или разрушительная работа организованного в государство рабочего класса в первую голову, поэтому, направляется против монополии частной собственности, против господствующей формы распределения средств производства, за новую форму их распределения, за новый «особый характер и способ» их соединения с работниками, за новый тип отношений между людьми в процессе воспроизводства общественной жизни. И в меру развертывания процесса «экспроприации экспроприаторов», в меру выталкивания их из производственно-классовой иерархии капитализма,—допается прежняя связь между личными и вещественными факторами производства, уничтожается прежняя производственная дисциплина. Поэтому, в той самой мере, в какой протекает разрушительный процесс, должен совершаться положительный или созидательный процесс: организованный в государство пролетариат должен творить новую связь между элементами

<sup>1)</sup> «Экономика и экономическая политика СССР», 1926 г., стр. 175.

<sup>2)</sup> Ленин. Собр. соч., т. XIV, ч. 2, стр. 196.

<sup>3)</sup> «Экономика и экономическая политика СССР», 1926 г., стр. 175.

производственного процесса, должен налаживать новые отношения между людьми в процессе производства, новую трудовую дисциплину. Без этого было бы немислимо продолжение процесса воспроизводства, следовательно, существование и развитие общества.

Анализ условий и содержания, отрицательной и положительной работы организованного в государство пролетариата вскрывает перед нами глубокую принципиальную разницу между буржуазной и пролетарской революциями.

Первое отличие пролетарской революции от буржуазной заключается в различной исторической подготовке внутри господствующей формы общественной организации и нового восходящего способа производства. Капиталистический способ производства, его формы организации труда и производства, формы управления производством складываются мирным экономическим путем еще в скорлупе феодального общества, до буржуазной революции. «Представляя из себя первоначально угнетенное сословие,—говорит Ф. Энгельс,—обязанное повиноваться феодальному дворянству, рекрутировавшееся из крепостных и обязанных людей всякого рода, буржуазия постепенно в продолжительной борьбе с дворянством отвоевала одну позицию за другой, пока, наконец, в наиболее развитых странах не стала господствующим классом: во Франции прямо свергнув дворянство, а в Англии—делая его все более и более буржуазным, включая часть его в свой состав, а другую превратила в свою орнаментальную верхушку. Но как же буржуазия достигла этого? Просто путем изменения «экономического положения», вслед за которым, рано или поздно, добровольно или вынужденно, совершилось изменение и политических условий. Борьба буржуазии с феодальным дворянством есть борьба города против деревни, промышленности против землевладения, денежного хозяйства против натурального, и решающим оружием буржуа в этой борьбе были их экономические средства господства, постепенно усилившиеся с развитием ремесленной промышленности, позднее превратившейся в мануфактуру, и с расширением торговли. В течение всей этой борьбы политическая сила была на стороне дворянства... В политическом отношении дворянство было всем, буржуазия—ничем; по социальному же положению буржуазия была теперь важнейшим классом в государстве; тогда как дворянство утратило все свои социальные функции и только еще в виде своих доходов возникало вознаграждение за эти исчезающие функции. При таких условиях буржуазия в сфере производства оставалась еще долго втиснутой в феодально-политические формы средневековья. Буржуазная революция положила этому конец. Но она это сделала не тем, что... приспособила экономическое положение к политическим условиям, но тем, что, наоборот, отбросила старый гнилой политический хлам и создала такие политические условия, в которых могло существовать и развиваться новое экономическое положение»<sup>1)</sup>.

Подготовка условий для перехода к новому способу производства также происходит в рамках господствующей капиталистической общественной формы. Весь многоступенчатый исторический процесс обобществления труда и производства, лежащий по ту сторону пролетарской революции, есть процесс становления нового типа соединения рабочих со средствами производства и постепенной кристаллизации, технической и культурной, новых форм организации труда и про-

<sup>1)</sup> «Анти-Дюринг», стр. 108, изд. 1922 г.

изводства, оборотной стороной которого является все большее отделение буржуазии от непосредственной производительной деятельности и выявление ее неспособности к дальнейшему управлению производительными силами общества. Но это, выражаясь словами Энгельса, «новое экономическое положение внутри буржуазного общества создается не восходящим на историческую сцену новым господствующим классом—пролетариатом, а является результатом мирного экономического развития, неизбежным продуктом слепо действующих законов, присущих капиталистическому способу производства, возникающим помимо и против воли буржуазии. «Новое экономическое положение» создается в борьбе между буржуазией и пролетариатом, создается в форме движения противоположности между организацией производства в отдельной фабрике и анархией производства во всем обществе. Поэтому создание «нового экономического положения» в данном случае происходит в форме подготовки материальных производительных сил для перехода к новому способу производства, без возникновения нового производственного отношения; в форме подготовки новых форм организации труда и производства, новых форм управления производством как на фабрике, так и в обществе, но подготовка совершается в антикапиталистической форме, совершается помимо и без участия непосредственных производителей. Поэтому пролетариат поднимается к политической власти без своего исторического опыта в области управления государством и хозяйством. Поэтому при переходе от капитализма к коммунизму не может быть выбора между добровольным или вынужденным изменением политических и экономических условий пролетариата: революционное завоевание политической власти должно быть первым актом восставшего пролетариата и послужить основным условием его экономического освобождения. И если буржуазия «просто путем изменения экономического положения» добилась «добровольно или вынужденно» изменения своего политического положения в государстве, то пролетариат насильственно изменяет свое политическое положение для того, чтобы привести экономическую надстройку в соответствие с теми материальными производительными силами, которые созданы капитализмом для перехода к новому способу производства, чтобы создать новое производственное отношение, новый способ производства. И с того момента, «когда общество, открыто, без всяких колебаний, овладевает производительными силами, управление которыми делается невозможным при помощи какого-либо другого способа» (Энгельс), когда организованный в государство пролетариат, как действительный представитель всего общества, «завладевает средствами производства от имени общества»,—только с этого момента создается новое производственное отношение и начинается исторический процесс накопления опыта пролетариатом в области организации и управления новым способом производства.

Второе, что принципиально отличает пролетарскую революцию от буржуазной, это—характер тех изменений, какие производит та или другая революция в господствующих отношениях собственности. Частная собственность являлась базой как докапиталистических, так и капиталистических отношений производства. «Соответственно этому,—пишет Н. И. Бухарин,—общественное равновесие после революции достигалось: в области экономической—лишь некоторыми поправками к тому, что было раньше, в области политической—переходом власти из рук собственников одного типа в руки соб-

ственников другого типа»<sup>1)</sup>. Или, как говорил В. И. Ленин, исторический переход от феодального к буржуазному обществу состоял в том, что «от одного эксплуататора человечество переходило к другому эксплуататору, потому что одно меньшинство грабителей и эксплуататоров народного труда уступало место другому меньшинству, тоже грабителей и тоже эксплуататоров народного труда, потому что помещики уступили это место капиталистам,—одно меньшинство другому меньшинству при подавлении широких масс трудящихся и эксплуатируемых классов»<sup>2)</sup>.

Близой производственных отношений коммунизма и капитализма являются различные формы собственности на средства производства. И отсюда переход от буржуазного общества к коммунистическому сопровождается качественным изменением господствующих отношений собственности капитализма, коренной ломкой отношений частной собственности и переходом средств производства в руки пролетариата, как действительного представителя всего общества. Основные средства производства сращиваются с организованным в государство пролетариатом. Экономическое господство переходит от эксплуататорского меньшинства к подавляющему большинству трудящегося народа. Поэтому пролетарская революция неизбежно сопровождается более глубоким разрушением производительных сил общества, результатом чего являются огромные издержки революции, нашедшие прекрасное теоретическое обоснование в «Экономике переходного периода» Н. И. Бухарина. Пролетарская революция со всей силой и настойчивостью выдвигает в порядок дня проблему организационную. Но одновременно с этим пролетарская революция впервые подводит человечество к такому пункту истории, когда новые формы организации и новые отношения между людьми в производстве начинают вырабатываться на самом деле большинством народа, миллионами трудящихся и эксплуатируемых в интересах всего общества.

Третье принципиальное различие между переходом от феодализма к капитализму и переходом от капитализма к коммунизму сводится к тем особым типам закономерностей, которые господствуют в неорганизованном капиталистическом и в организованном коммунистическом общественном хозяйстве. Отличительной особенностью присущих капиталистическому способу производства и не отделенных от него законов является, во-первых, то, что они проявляются без участия производителей и помимо их воли, как слепо действующие законы природы; и, во-вторых, то, что они «проявляются в единственной сохранившейся общественной связи,—и обнаруживают свое действие по отношению к единичным производителям, как производительные законы конкуренции»<sup>3)</sup>. Поэтому при переходе от феодализма к капитализму, представляющем борьбу буржуазии с феодальным дворянством, борьбу денежного хозяйства против натурального, «основной организующей силой анархически построенного капиталистического общества является стихийно растущий шири и вглубь рынок, национальный и интернациональный»<sup>4)</sup>.

Пролетарская же революция, в той мере, в какой происходит сращивание основных средств производства с организованным в госу-

<sup>1)</sup> «Экономика переходного периода», стр. 96, изд. 1920 г.

<sup>2)</sup> Собр. соч., т. XV, стр. 308.

<sup>3)</sup> Энгельс, Анти-Дюринг, стр. 188.

<sup>4)</sup> Ленин, Собр. соч., т. XV, стр. 194.

дарство пролетариатом и в зависимости от качественного и количественного удельного веса этих средств производства в системе общественного хозяйства,—суживает сферу действия и проявления стихийных законов капиталистического неорганизованного хозяйства и изменяет их сознательной организованной волей организованного в государство пролетариата, превращающегося в субъекта общественного хозяйства и «не знающего над собою никакого ига и никакой власти, кроме власти их собственного объединения, их собственного, более сознательного, смелого, сплоченного, революционного, выдержанного авангарда»<sup>1)</sup>.

И, наконец, если при переходе от феодализма к капитализму «сопротивление эксплуатируемых капиталом масс было тогда, в силу их распыленности и неразвитости, крайне слабо»<sup>2)</sup>, то при переходе от капитализма к коммунизму организованный в государство пролетариат встречает жесточайшее сопротивление хорошо организованной и просвещенной, опирающейся на силу всего международного капитала, буржуазии и помещиков, которая внутри страны старается опираться на высшей технической интеллигенции прежнего строя и на мелкое производство, как на свою естественную базу. При этом сопротивление приходится преодолевать в условиях глубокого упадка производительных сил, и в условиях совершенно новой работы по созданию новой общественной формы, нового способа производства, в условиях восстановления разрушенных производительных сил и их дальнейшего развития в совершенно новой общественной форме. Поэтому борьба организованного в государство пролетариата с буржуазией есть борьба за союз с мелким производителем в первую очередь, с крестьянством, борьба социализма против капитализма, крупного производства против мелкого, планового хозяйства против неорганизованного хозяйства. «И только в том случае он победит до конца, если сумеет привести к уничтожению классов вообще»<sup>3)</sup>. Решающими средствами пролетариата в этой борьбе является союз с трудящимся крестьянством, государственная власть и собственность на основные средства производства, транспорта и связи, постоянно усиливающиеся с развитием крупной машинной индустрии и укреплением планового начала над стихией рынка. «Политическое решение этой задачи может дать только конкретное изучение особых отношений между завоевавшими политическую власть особым классом, именно пролетариатом, и всей непролетарской, а также полупролетарской массой населения»<sup>4)</sup>.

Все эти отличительные особенности буржуазной и пролетарской революции говорят нам как о том, почему относительно легко и безболезненно происходил исторический переход от феодального общества к буржуазному, так и о том, почему производимый пролетарской революцией общественный переворот является несравненно более глубоким, захватывающим все стороны общественной жизни и работы, почему переход от капитализма к коммунизму происходит в гораздо более сложной и тяжелой обстановке, по более извилистому пути, требующего от пролетариата новых качеств, иного подхода, иных средств борьбы против старого за новое общество. Пролетарская революция, в отличие от буржуазной, чрезвычайно заостряет значение организационной про-

<sup>1)</sup> Ленин, Собр. соч., т. XVI, стр. 251.

<sup>2)</sup> Ленин, Собр. соч., т. XV, стр. 194.

<sup>3)</sup> Ленин, Собр. соч., т. XVII, стр. 72.

<sup>4)</sup> Ленин, Собр. соч., т. XVI, стр. 250—251.

блемы, решение которой составляет содержание всей положительной, творческой работы организованного в государство пролетариата. «Главной задачей пролетариата и руководимого им беднейшего крестьянства,—говорит Ленин,—во всякой социалистической революции,—а следовательно, и в начатой нами 25 октября 1917 г. социалистической революции в России,—является положительная или созидательная работа налажения чрезвычайно сложной и тонкой сети новых организационных отношений, охватывающих планомерное производство и распределение продуктов, необходимых для существования десятков миллионов людей»<sup>1)</sup>.

В чем собственно состоит организационная проблема социализма, решение которой составляет содержание всей положительной работы организованного в государство пролетариата? В самой общей форме ответ может быть сформулирован так, что сущность ее сводится к налаживанию коммунистических отношений производства взаимно капиталистических и докапиталистических отношений производства. Но эта общая абстрактная формулировка содержания проблемы нуждается в конкретизации, чтобы извлечь из нее какие-либо практические политико-экономические выводы.

Маркс под производственными отношениями понимал отношения между людьми в процессе общественного труда и распределения продуктов. Но эти отношения между людьми в основном могут получить двоякое определение, в зависимости от того, с какой точки зрения мы будем их рассматривать. Рассматривая их с точки зрения технической, мы будем иметь перед собою технический аппарат, скелет фабрики или общества, в зависимости от того, в каком разрезе мы рассматриваем производственные отношения: в разрезе ли фабрики или общества. Рассматривая отношения между людьми в производстве с общественной точки зрения, мы будем иметь перед своими глазами картину социально-классовой структуры фабрики или общества. Одним словом, совокупность производственных отношений обнимает не только технические отношения между людьми в процессе производства, обусловленные определенной стадией развития производительных сил, но также классовые отношения между людьми в процессе производства, обусловленные определенной формой распределения средств производства в обществе. «Категория производственных отношений,—пишет Н. И. Бухарин<sup>2)</sup>,—есть всеобщая категория, касающаяся общественного строения: сюда входят и отношения социально-классового характера (отношение рабочего и капиталиста), и отношения другого типа (напр., отношения между двумя предприятиями, отношения сотрудничества, т. е. так наз. простой кооперации и т. д.). При этом следует отметить, что производственные отношения не есть что-то отличное от технической организации труда, поскольку мы говорим об отношениях внутри непосредственного трудового процесса. Они реально сливаются».

В первой своей формулировке, т. е. технической, производственные отношения являются организацией вещественных и личных факторов производства в единый производственный процесс, направленный на достижение максимальных результатов с минимальными затратами и усилиями. Иначе говоря, производственные отношения, в этом аспекте взятые, суть форма организации труда и производства,

<sup>1)</sup> Собр. соч., т. XV, стр. 194.

<sup>2)</sup> Экономика переходного периода. Москва 1920 г., стр. 41.

как в масштабе отдельной фабрики, так и в масштабе общества. На этом основании правильнее было бы в такой формулировке говорить не о производственных, а об организационных отношениях между людьми в процессе производства и распределения продуктов. И на самом деле, если поднимемся над классовым разделением общества, то мы уже будем иметь дело только с определенной расстановкой вещественных и личных элементов на фабриках и заводах, в трестах, синдикатах и банках, на железных дорогах, почте, телеграфе и т. д., каждый из которых занимает определенное место в системе или организации производства продуктов и их распределении, несет определенную функцию, находится в определенных организационных взаимоотношениях с другими элементами системы независимо от того, является ли это системой отдельное предприятие или все общество. Перед нами будет скелет общества, технико-организационная база или вещественно-людской аппарат общественного производства и распределения продуктов. Эти организационные отношения между людьми в процессе производства и распределения продуктов или формы организации труда и производства, не могут быть рассматриваемы нами, как нечто самостоятельное и независимое от вещественных и людских элементов, участвующих в производственном процессе, иначе говоря, от производительных сил общества. Они—суть функция последних и поэтому развиваются, усовершенствуются по мере роста производительных сил. Они входят составным элементом в производительные силы общества; они передаются от поколения к поколению, от одной общественной формации к другой в том виде, в каком они развиты этой первой.

Отсюда уже не трудно определить отношение организованного в государство пролетариата к производственным отношениям капитализма в их технической формулировке, т. е. к тем организационным формам производства и распределения, которые оставил ему в наследство капитализм. Как будто не существует двух мнений на этот счет. Все согласно с тем, что организованный в государство пролетариат не должен ломать, уничтожать организационный аппарат производства и распределения передового капитализма, а овладеть им в готовом виде, приспособить к новым условиям и обстановке, и использовать в деле строительства социализма. «Здесь, как и во всем историческом творчестве,—писал Ленин в брошюре—«Удержат ли большевики государственную власть»,—пролетариат берет свое оружие у капитализма, а не «выдумывает», не «создает из ничего»... Организационную форму работы мы не выдумываем, а берем готовой у капитализма, банки, синдикаты, лучшие фабрики, опытные станции, академии и прочее; нам придется лишь заимствовать наилучшие образцы из опыта передовых стран<sup>1)</sup>. Или еще в своей брошюре «Государство и революция» Ленин пишет следующее на эту тему: «Теперь почти есть хозяйство, организованное по типу государственно-капиталистической монополии. Империализм постепенно превращает все тресты в организации подобного типа. Над «простыми» трудящимися, которые заведены работой и голодают, здесь стоит та же буржуазная бюрократия. Но механизм общественного хозяйничанья здесь уже готов. Свергнуть капиталистов, разбить железной рукой вооруженных рабочих сопротивление этих эксплуататоров, сломать бюрократическую машину современного государства—и перед нами освобожденный от «паразита» высоко-технически оборудован-

<sup>1)</sup> Собр. соч., т. XIV, ч. 2, стр. 235.



ный механизм, который вполне могут пустить в ход сами объединенные рабочие, нанимая техников, надсмотрщиков, бухгалтеров, оплачивая работу всех их, как и всех вообще «государственных чиновников, заработной платой рабочего. Вот задача, конкретная, практическая, осуществляемая тотчас по отношению ко всем трестам... Все народное хозяйство, организованное, как почта, с тем, чтобы техники, надсмотрщики, бухгалтеры, как и все должностные лица получали жалование не выше «зарплатной платы рабочего», под контролем и руководством вооруженного пролетариата,—вот наша ближайшая цель<sup>1)</sup>. Капитализм на монополистической стадии развития, как мы подчеркивали в предыдущем нашем очерке, вплотную подводит к возникновению и развитию новых форм организации труда и производства как внутри фабрики, так и в обществе, будущее которых лежит по ту сторону капиталистической общественной формы; новых организационных форм, достигающих своего высшего развития при капитализме в лице фордовской системы непрерывного, поточного производства и государственно-капиталистических монополий; новых форм, в своем дальнейшем развитии и развертывании создающих все необходимые материальные предпосылки для практического осуществления принципа оплаты всех должностных лиц жалованием не выше «зарплатной платы рабочего». Вот почему Ленин неоднократно подчеркивает, что «государственно-монополистический капитализм есть полнейшая материальная подготовка социализма, есть преддверие его, есть та ступенька исторической лестницы, между которой и ступенькой, называемой социализмом, никаких промежуточных ступеней нет... Ибо социализм есть не что иное, как ближайший шаг вперед от государственно-капиталистической монополии. Или иначе: социализм есть не что иное, как государственно-капиталистическая монополия, обращенная на пользу всего народа и постольку переставшая быть капиталистической монополией<sup>2)</sup>. И при этом надо отметить, что Ленин подчеркивает это положение свое, исходя из организационных проблем строительства социализма, из организационных отношений социализма. Следовательно, налаживание коммунистических отношений производства.—к чему, по нашему мнению, в конечном итоге, сводится вся организационная проблема социалистического хозяйственного строительства,—прежде всего, ставит перед организованным в государство пролетариатом задачу овладения организационными формами производства и распределения продуктов, созданными и оставленными ему в наследство передовым капитализмом. Организованный в государство пролетариат не только не должен разбивать технико-организационный аппарат капиталистического производства и распределения продуктов, а должен перенять его у капитализма в готовом виде, овладеть им, изучить его в процессе возникновения и развития и определять дальнейшие пути и способы его совершенствования и дальнейшего направления его изменения и движения; он должен впитывать в себя весь положительный опыт и практику передового капитализма в области организации труда, производства и распределения продуктов как в разрезе фабрики, так и всего общества, «заимствовать наилучшие образцы из опыта передовых стран» с тем, чтобы, опираясь на достигнутые капитализмом в России результаты в области организации труда и производства, проделывать

<sup>1)</sup> Ibid., стр. 337.

<sup>2)</sup> Собр. соч., т. XIV, ч. 2, стр. 207—209.

успешно дальнейшую работу, в меру роста производительных сил, по количественному расширению и качественному улучшению переданных нам в наследство от капитализма организационных форм, по приспособлению их к новым условиям строящегося социализма, чтобы не только догнать, но и перегнать передовой капитализм на фронте строительства новых организационных форм и отношений между людьми в процессе производства и распределения продуктов. «Крупные банки,—пишет Ленин,—есть тот «государственный аппарат, который нам нужен для осуществления социализма, и который мы берем готовым у капитализма, при чем нашей задачей является здесь лишь отсечь то, что капиталистически уродует этот преносходный аппарат, сделать его еще крупнее, еще демократичнее, еще всеобъемлющее. Количество перейдет в качество. Единый крупнейший из крупнейших государственных банков с отделениями в каждой волости, при каждой фабрике,—это уже девять десятых социалистического аппарата. Это—общегосударственное счетоводство, это—общегосударственный учет производства и распределения продуктов, это, так сказать, нечто в роде скелета социалистического общества»<sup>1)</sup>.

Теперь попытаемся разобраться в том, что конкретно означает овладение организацией производства и распределения продуктов, оставленной в наследство организованному в государство пролетариату от капитализма, каково содержание этой важнейшей задачи социалистического хозяйственного строительства. Чтобы найти ответ на этот вопрос, нам надо подойти к анализу производственных отношений со стороны социально-классовой. Между производственными отношениями, как техническими, и производственными отношениями, как классовыми отношениями между людьми в процессе производства и распределения продуктов, существует связь и взаимодействие, они имеют свои общие точки соприкосновения и перекрещивания. Этими общими точками соприкосновения для производственных отношений в обеих формулировках являются людские элементы, на которые они опираются, которые являются их носителями, которые определенным образом вкраплены в производственный процесс и, вместе с вещественными элементами, образуют систему или организацию этого процесса. Поэтому расстановка людей в организации производства и распределения продуктов одновременно должна сообразоваться с технической и классовой целесообразностью, должна отвечать как техническим требованиям объективного материального процесса производства и распределения продуктов, так и требованиям, диктуемым классовым строением общества, которое, в свою очередь, вырастает из определенной формы распределения средств производства.

Но было бы ошибочно отсюда делать вывод, что производственные отношения в обеих своих формулировках во всем сливаются, что данные две формулировки пустые слова, голая абстракция, не имеющие никаких корней в действительности. Между тем, это далеко не так. Сама по себе техническая организация труда и производства, к которой сводятся производственные отношения в их технической формулировке, в никакой мере не зависима от классового состава людских элементов. Этими мы хотим подчеркнуть, что хотя техническая организация производства и распределения продуктов

<sup>1)</sup> Собр. соч., т. XIV, ч. 2, стр. 231.

в своем историческом возникновении и развитии не зависимы от классовых отношений, а, наоборот, сама вместе с ростом производительных сил на определенной исторической ступени порождает классовое общество, то классовые отношения, раз возникшие, оказывают свое обратное воздействие на развитие производительных сил, в том числе технической организации производства, как их неотъемлемой функции. При социальном классовом подходе к технической организации производства и распределения продуктов далеко не безразлично, представителям каких классов, какие места в организации занимают. Здесь людские элементы уже должны быть расставлены в определенном классовом порядке, определенные классы занимают определенные места в организации производства и распределения продуктов, так что между людьми в производстве возникают определенные классовые отношения. Класс буржуазии занимал все командующие позиции в организации производства и распределения продуктов при капитализме, рабочий класс должен занимать эти позиции при диктатуре пролетариата. Буржуазия приступила к решению этой задачи еще задолго до того, как она стала в государственной власти, пролетариат же может приступить к постепенной замене представителей буржуазии в организационном аппарате производства и распределения продуктов своими собственными представителями только после завоевания государственной власти, он может разрешить эту задачу только как организованный в государство пролетариат. Буржуазия овладела этими позициями для укрепления своего классового господства, пролетариат овладевает ими для уничтожения классов вообще, для освобождения производительных сил и присущей им формы технической организации от социально-классовой формы, превратившейся из стимула в оковы для дальнейшего развития производительных сил и обусловленной им формы технической организации производства. Одним словом, если производственные отношения в своей технической формулировке есть техническая организация производства и распределения продуктов, в той или иной форме присущая всем общественным формам, то производственные отношения в своей социально-классовой формулировке являются исторически переходящей социальной формой соответствующей формы технической организации производства и распределения продуктов классового общества. И существующие между ними связь и взаимодействие может быть сведено к взаимодействию содержания и формы категории производственных отношений.

Отсюда сам собою напрашивается следующий вывод: организованный в государство пролетариат, чтобы овладеть в готовом виде технико-организационным аппаратом производства и распределения продуктов, должен совершить переворот в социально-классовой структуре этого аппарата. Организованный в государство пролетариат, не разбивая созданного капитализмом аппарата организации производства и распределения продуктов, должен «вырвать его из подчинения капиталистам, от него надо отрезать, отсечь, отрубить капиталистов с их нитями влияния...

отсечь то, что капиталистически уродует этот аппарат, его надо подчинить пролетарским советам<sup>1)</sup>. Пролетариат должен уничтожить производственные отношения капитализма в социально-классовой формулировке, освободить созданный капитализмом организационный аппарат производства и распределения продуктов от специфической капиталистической его формы, которая уже несовместима с выросшими в ее рамках производительными силами и становится поперек пути их дальнейшего развития, от формы, которая,—по выражению Н. И. Бухарина,—«из формы развития» превратилась в «оковы для развития». Решение этой задачи представляет большие трудности. Благодаря тому обстоятельству, что производственные отношения, как классовые отношения, и производственные отношения, как техническая организация труда и производства, точками своего соприкосновения имеют людские элементы системы, всякие изменения и перестройки в социально-классовой структуре аппарата производства и распределения продуктов не могут не сопровождаться ослаблением технического аппарата, нарушением нормального процесса воспроизводства и разрушением производительных сил. Решение этой задачи требует определенных жертв в виде так наз. издержек революции, прекрасный анализ причин условий и размеров которых дал Н. И. Бухарин в главе VI своей «Экономики переходного периода». Нам остается только добавить к этому, что перестройка социально-классового строения людского трудового аппарата занимает целый исторический период, поэтому источник издержек революции не иссякает в самом разгаре социалистической революции, а продолжает действовать после него, вызывая разрушение производительных сил общества в том или ином размере, в зависимости от напряжения классовой борьбы, в которую выливается вытеснение класса буржуазии и ее прислужников пролетариатом из организационного аппарата производства и распределения продуктов.

Итак, чтобы овладеть организацией производства и распределения продуктов, созданной капитализмом, организованный в государство пролетариат должен произвести качественное изменение в классовых отношениях между людьми в процессе воспроизводства, организованном как в масштабе фабрики, так и общества в целом; он должен наполнить организационный аппарат производства и распределения продуктов новым социально-классовым содержанием, он должен поставить взамен прежних людей на всех руководящих постах представителей из своего класса, уничтожить, преодолеть классовые отношения вообще, т.е. он должен из капиталистического сделать этот аппарат социалистическим. Поэтому в содержание задачи овладения технико-организационным аппаратом производства и распределения продуктов, перешедшим пролетариату в наследство от капитализма, прежде всего входит проблема подбора и подготовки нужных людей из среды пролетариата, или близких, родственных ему слоев общества, и расстановка их на надлежащие места в системе общественного производства.

<sup>1)</sup> Собр. соч., т. XIV, ч. 2, стр. 231.

Итак, мы пока установили, что организационная проблема социалистического строительства, это—проблема превращения капиталистических и докапиталистических отношений производства в коммунистические; что это превращение, в свою очередь, должно состоять в качественном изменении социально-классовой структуры технико-организационного аппарата производства и распределения продуктов как в масштабе фабрики, так и в масштабе общества; аппарата, который организованный в государство пролетариат должен перенять в тот же вид от капитализма и развивать, усовершенствовать его в меру роста производительных сил. Нам теперь остается проанализировать вопрос, с чего организованный в государство пролетариат должен начать свою работу по овладению технико-организационным аппаратом хозяйства через замену представителей прежнего класса своими представителями в этом аппарате. Какие это стратегические пункты или позиции в экономической организации фабрики и общества, овладение которыми может обеспечить организованному в государство пролетариату господство над всей организацией? Попытаемся проанализировать основные связи между отдельными людскими элементами, вкрапленными в производственный процесс, организованный в масштабе фабрики и общества.

На фабрике, а также в обществе, как и во всех работах, в которых сотрудничают десятки, сотни, тысячи и миллионы индивидуумов, «общая связь и единство процесса необходимо представлены одной управляющей волей и функциями, относящимися не к частным работам, а ко всей деятельности» <sup>1)</sup> организации. Отсюда в основном можно различить двоякого типа связи между элементами людского трудового аппарата фабрики или общества, лежащие в двух различных плоскостях. Во-первых, мы можем выделить связь между одним элементом организации, так наз. «одной управляющей волей», и организацией в целом, от которой зависит единство производственного процесса всей организации. Линия этой связи лежит в вертикальной плоскости. Во-вторых, мы можем выделить целый комплекс связей между отдельными элементами организации, линии которых расходятся в разные стороны по горизонтальной плоскости. Соответственно этому мы будем различать не три главных вида связи, как это делает П. М. Керженцев <sup>2)</sup>—руководство, подчинение и координация,—а только два, а именно: 1) руководство-подчинение и 2) координация, так как связь руководства всегда есть в то же время и связь подчинения, что признает и сам П. М. Керженцев. Линии связи руководства-подчинения идут от «одной управляющей воли» к элементам, находящимся по отношению к ней в подчиненном положении; они лежат в вертикальной плоскости. Координационные же связи объединяют те элементы организации, которые, по выражению Керженцева, «находятся на одном уровне, т.-е. не подчинены и не руководят друг другом, а находятся на положении рабочих» <sup>3)</sup>. Эти связи проходят по горизонтальной плоскости. Как те, так и другие «линии связи являются своего рода путями, по которым передается движение по организации. Это—кровеносные сосуды, которые объединяют организацию в одно целое» <sup>4)</sup>. Такими кровеносными сосудами прежде всего и больше всего являются линии связи руководства-подчинения, ибо последние

<sup>1)</sup> Маркс. Капитал. т. III, ч. I, стр. 370, изд. 1922 г.

<sup>2)</sup> Принципы организации, стр. 44, изд. 1922 г.

<sup>3)</sup> Ibid., стр. 45.

является основной связью во всякой организации, сцепляющей воедино все ее составные части, отдельные элементы или комплексы элементов. Отсюда видно, что роль отдельных людских элементов, как посетителей этих двух разных типов связи, далеко не одинакова в организации. Тот, кто владеет основной связью руководства-подчинения, держит в своих руках власть над всеми остальными элементами организации, над всей организацией; тот становится олицетворением единства и организации в целом. Поэтому владение этим типом руководящей связи в организации всегда срывается с владением собственностью на материальные условия производства, на вещественные элементы организации производства. И это обстоятельство служит основанием того факта, что основному строению связей между людскими элементами производственной организации соответствует социально-классовая структура организации фабрики и общества.

Структура основных типов организационных связей воспроизводится в социально-классовой структуре организации фабрики и общества. Основная связь руководства - подчинения, сцепляющая все элементы организации в одну систему, есть одновременно основное производственное отношение между капиталистом и наемным рабочим в рамках капиталистической общественной формы, есть одновременно тип классовой связи. Это основное производственное отношение определяет характер всех без исключения буржуазных организаций, начиная от самых мелких и кончая самой широкой организацией буржуазии, какой является государство. «Конституции» фабрики, полка, государственной канцелярии построены по одному принципу, и иерархически тип производственных отношений находит свое выражение в адекватной иерархии государственной власти, армии и т. д. Наверху — класс собственников, в самом низу — класс неимущих, в середине — целая градация переходных групп. Капиталист и директор фабрики, генерал, министр или крупный чиновник-бюрократ, — люди, приблизительно одного класса, и характер их функций один и тот же, несмотря на разницу сфер: эти функции закреплены за ними; они, следовательно, носят не просто технический, но в то же время ярко - выраженный классовый характер. Инженер, офицер, средний чиновник — это по существу опять-таки люди одного класса, и их функции однотипны. Мелкий служащий (курьер, посыльный, дворник), рабочий, солдат занимают точно так же сходное место, и иерархическая классовая система утверждает себя в качестве универсального принципа<sup>1)</sup>.

Осуществление основной связи руководства-подчинения составляет функцию управления производством. Поэтому олицетворением этой функции в рамках капитализма является капитал, класс буржуазии. В общем понятие управления производством, прежде всего, входит функция организации производства как в масштабе отдельной производственной единицы, так и в масштабе всего общества. Эта функция охватывает такие обязанности, как распланировка в пределах производственной единицы, независимо от ее размеров, вещественных и личных факторов производства, согласно требованиям совершенного производственного процесса; точное определение и разграничение функций каждого из входящих в производственную организацию элементов; установление линий руководящих и координационных связей между

<sup>1)</sup> Н. И. Бухарин, Экономика переходного периода, стр. 43.

отдельными индивидуумами, а равно и между коллективными индивидуумами в пределах одной определенной производственной организации, безразлично, будет ли этой последней фабрика или общество, и, наконец, забота о дальнейшем усовершенствовании или рационализации раз поставленного производственного процесса. Помимо этого, в понятие управления производством включается еще функция администрирования, т.е. обеспечение всей совокупности условий по линии фиксирования, снабжения, подготовки рабочей силы, сбыта и т. д., необходимых для нормального, бесперебойного течения раз приведенного в движение производственного процесса. Так что в круг обязанностей по управлению производством в масштабе фабрики или общества входит разрешение как организационных задач, так и задач административного руководства, что осуществляется через организацию или механизм управления, при помощи определенной системы административного руководства.

Нас, прежде всего, интересует вопрос, как буржуазия выполняла функцию управления производством, какую организацию или механизм она для этого создала, каково прошлое развитие функции управления производством и организации по ее выполнению и каково дальнейшее направление ее развития. Здесь уже мы должны разграничить анализ развития функции управления производством в масштабе фабрики от такового в масштабе общества, ибо это развитие шло разными путями: растущей организации производства в отдельной фабрике соответствовало усиление господствующей анархии производства во всем обществе.

Формы фабрики, как технической организации, суть функции развития производительных сил. Они развиваются, усовершенствуются вместе с ростом производительных сил, т.е. вещественных и личных факторов производства, как носителей определенной организационной связи. Развитие капиталистического способа производства постоянно отделяет умственный труд от труда физического, чтобы в дальнейшем каждый из них в отдельности разделить на все более детальные операции или функции. Как и в каких формах происходило и происходит разделение физического труда или труда производственного в узком смысле этого слова, об этом мы подробно писали в предыдущем очерке, поэтому сейчас мы будем касаться только вопроса о разделении умственного труда или труда по управлению производством и о развитии обусловленной этим разделением организации управления производством на фабрике. Предпосылкой отделения труда по управлению производством от труда по собственно производству послужила определенная ступень развития накопления капитала в руках отдельных капиталистов, определенные размеры промышленных предприятий. Пока промышленность работала на ограниченный рынок, было достаточно одного руководителя-организатора, каковым являлся сам капиталист. Его эмпирических знаний и опыта было достаточно для успешного координирования усилий рабочих в любой группе, направляя их в одно русло для достижения максимальных результатов с минимальными затратами. Однако расширение и углубление промышленных рынков, быстрое накопление капиталов и рост размеров производственных единиц,—все это приводило со временем к необходимости дальнейшего разделения труда по управлению производством, и тогда уже капиталисту одному не по силам стали все детальные функции. Он вынуждался разделять с другими агентами труд по управлению

производством. Возникает необходимость организовать управление производством, наряду с организацией самого производства. И проблема организации управления с тех пор приобретает все большее и большее значение, привлекает для разрешения не только практиков, но и ученых, теоретиков, зарождается целая научная дисциплина об организации управления предприятием. Если мы назовем случайной или простейшей формой управления ту первоначальную стадию развития, когда, как правило, сам капиталист отправлял все функции управления, то развитие форм организации управления производством начинается с момента разделения труда по управлению.

Д. С. Кимбл<sup>1)</sup>, рассматривая эволюцию организации управления производством, устанавливает три последовательные формы этой организации, которые соответствуют отдельным ступеням развития производительных сил. Первую, наиболее старую форму он называет линейной или военной. При этой форме организации линии связи руководства-подчинения представляют собою вертикали, идущие от директора к его помощнику, от последнего — на мастеров, а от мастеров — к рабочим. Развитие линейной организации происходит в результате деления труда по управлению предприятием между директором и его помощниками, между помощником директора и мастерами и т. д. Таким образом, происходит выделение, формирование, становление определенной организации или механизма управления производством в лице директора с одним или несколькими, подчиненными ему, помощниками, которым, в свою очередь, подчиняются отдельные группы рабочих через возглавляющих их мастеров. Все нити связей руководства-подчинения тянутся к директору или управляющему фабрикой, превращая его в «единую управляющую волю» в главу аппарата управления производством. Труд по осуществлению связей руководства-подчинения, т. е. труд по управлению производством, постепенно все больше и больше отделяется от труда по непосредственному производству и становится функцией особого отряда людей, образующих тело механизма управления.

В линейной организации управления связи между отдельными элементами, лежащими на разных горизонтальных плоскостях, осуществляется по одной вертикали, в чем заключается и сила и слабость этого типа организации. Достоинство или сильная сторона такой системы заключается в том, что каждый член этой организации знает только одного начальника над собою, круг обязанностей которого и ответственность за их выполнение точно определены. Слабая сторона организации состоит в том, что она возлагает на отдельное лицо чрезвычайно разносторонние обязанности и задачи, по которым оно должно инструктировать своих подчиненных. «Мастера на фабрике при этой системе, — пишет Керженцев, — должны руководить частью завода во всех деталях: составлять чертежи, вести учет работы и стоимости ее, следить за правильной работой машин и хорошим состоянием инструментов, наблюдать за наиболее соответствующим распределением работы между отдельными рабочими, следить за экономным использованием времени и т. д. без конца. На мастера таким образом возлагается такая же работа, как и на главного директора»<sup>2)</sup>.

<sup>1)</sup> D. S. Kimball, Principles of Industrial Organization, Third Edition, N.Y. 1925, Chapter VII.

<sup>2)</sup> Принципы организации, стр. 27.



Рост размеров производственных единиц, усложнение их структуры не только не устранил, а еще более усугублял эту слабость линейной организации. Силы и способности одного человека стали далеко недостаточными для осуществления руководства и контроля над всеми или даже частью выполняемых функций. В лучшем случае, очень редко можно было найти в одном лице такое сочетание широкого предпринимательского кругозора с детальными специальными познаниями во всех выполняемых функциях, какого требует современное крупное производство. Это противоречие между ростом производительных сил и формой организации управления этими последними находит свое разрешение в разделении труда по управлению производством на отдельные детальные функции, каждая из которых становится самостоятельной функцией особого лица. Например, если в предприятии, организованном по линейному типу, с ростом размеров и усложнением производственных процессов в связи с развитием техники и науки, появилась потребность в советах экспертов в области инженерного искусства и химии, то директор вместо того, чтобы пытаться получать необходимую информацию при помощи своего помощника, разделяет труд по управлению так, что теперь вместо прежнего одного помощника он будет иметь троих: один из них—специалист химик, другой—инженер, и на каждого из них возлагается функционирование—руководство работой фабрики в соответствующей специальной области, а за прежним помощником оставляется контроль за самим производством. Все трое находясь на одном уровне, никто из них в служебном отношении не выше другого, каждый из них,—высшая власть в своей специальной отрасли работы и ответственность несет только перед директором. Теперь уже каждый мастер получает приказы и инструкции из трех источников, друг от друга независимых. И функции мастеров могут делиться на эти три специальные отрасли работы. В этом случае и каждая рабочая группа или отдельный рабочий будет получать указания и советы из трех независимых друг от друга источников, будет «соприкасаться, по выражению Керженцева, со всей системой организации не через один, а через несколько пунктов, через нескольких людей, которые дают ему ежедневные специальные указания в разных отраслях работы». Такая форма организации управления известна под названием функциональной организации, так как труд по управлению здесь разделен по функциям. Функционализация труда по управлению производством есть основа так называемой научной организации управления.

Растущая организация производства в смысле его обобществления в каждой отдельной фабрике впоследствии приводит к обособлению планово-учетной работы и выделению для нее специального производственного штаба в лице планово-распределительного бюро. На планово-распределительном бюро или так называемом штабе лежит забота о наиболее целесообразном построении производственной организации и о планировании ее ежедневной работы на основании точного учета и обобщения предварительного практического опыта. «Плановое (организационное) бюро,—пишет Н. А. Витке,—принявшее на себя все задачи учета, проектирования и планирования, должно каждодневно и неустанно направлять свое внимание и свои усилия в направлении точного учета и тщательной разработки:

- 1) наиболее целесообразного использования материала,
- 2) наиболее целесообразного использования рабочих орудий,

3) наилучшей выработки качества продукта,  
 4) наилучшего способа рабочих оперативных движений,  
 5) наибольшей скорости выполнения операций,  
 6) наибольшей связности и своевременности движения обрабаточного потока предприятия»<sup>1)</sup>. Штаб непосредственно подчиняется директору фабрики и, по выражению Кержендена, является «мозгом организации».

Функциональная система является более высокой и совершенной формой организации управления по сравнению с линейной организацией. Превосходство ее заключается в том, что она обеспечивает все выгоды, вытекающие из разделения труда. Таких выгод В. Робинзон<sup>2)</sup> отмечает две: «выгода, извлекаемая из специализации усилий (effort), и выгоды, сопровождающие специализацию работы или задания (task)».

Под специализацией усилия Робинзон понимает закрепление данного лица исключительно на выполнении одной специальной, детальной функции или группы родственных функций, а под специализацией задания, — ограничение масштаба выполняемой работы непрерывным повторением немногих родственных, близких, сходных движений. Значительная экономия, вытекающая из специализации усилий, объясняется тем, что функционализация обеспечивает рабочего высококвалифицированным, специальным научным руководством в лице агентов, тщательно изучивших одну специальную отрасль работы. Только благодаря специализации усилий на одной или ограниченном числе функций возможно накопление достаточных знаний для успешного выполнения этих функций и подготовка хорошо тренированных специалистов, которые могут давать компетентные советы администрации. Далее, специализация усилий обеспечивает возможность капиталу поставить человека на соответствующее ему место (right man in the right place), ибо разделение на функции дало возможность определенно выявить круг способностей, необходимых для выполнения каждой специальной функции. При отсутствии специализации усилий часто невозможно найти человека способного, достаточно подготовленного для выполнения многочисленных разнообразных функций, вменяемых ему в обязанность. Но, когда усилия индивидуума концентрируются на одной или нескольких родственных функциях, проблема подбора и подготовки человека для несения определенной функции в системе управления теряет уже свою остроту. «Современная функциональная организация, — пишет Робинзон, — делает возможным вполне подготовить человека в сравнительно короткое время, не нарушая при этом простоты, дисциплины и согласованной работы под руководством одного лица»<sup>3)</sup>.

Благодаря специализации работы или задания «становится возможным, — как пишет Робинзон, — такие мероприятия, как стандартизация труда, изучение времени и движений и установление точных стандартов. Оно обеспечивает лучшую оценку выполнения и повышает необходимые для этого знания и способности, обеспечивая таким образом менее обученным, менее искусным рабочим возможностям выполнять задания, которые прежде требовали гораздо

<sup>1)</sup> Организация управления, изд. 1925 г., стр. 55.

<sup>2)</sup> W. Robinson, Fundamentals of Business organization, p. 43, N.-Y. 1926. First Edition.

<sup>3)</sup> Ibid., стр. 44.

более высокой квалификации труда. Но главное преимущество специализации задания, однако, то, что она ведет к замене машин ручного труда путем сведения операции к немногим повторяющимся движениям»<sup>1)</sup>. Следовательно, и в области управления производством функционализация означает возможность научного разделения функции управления на множество детальных функций, каждая из которых потом становится функцией особого лица в механизме управления; она создает науку об организации труда по управлению производством. И современная наука об организации управления производством, выросшая на основе функциональной формы организации, «дает прежде всего точные методы по изучению и учету труда, учету его во времени и пространстве... Эти методы дают возможность создать для каждой новой формы труда известный, раз навсегда установленный ч, при данных условиях, наиболее целесообразный шаблон, нормы, которые поддаются применению во всех аналогичных случаях. Труд перестает быть, таким образом, каждый раз объектом индивидуального усмотрения каждого трудящегося, а является строго обусловленным, поддающимся всегда и точному измерению, и точному закономерному регулированию... Она дает нам возможность автоматизировать трудовой процесс настолько, что характер труда перестает быть зависимым от воли его реального носителя.

Совокупность же таких изученных и автоматизированных отдельных трудовых норм и их строгая обусловленность во времени и в пространстве и по отношению друг к другу создает затем определенную систему управления всем трудовым процессом, как таковым, систему взаимно связанных человеческих действий, определенный механизм — машину, где каждый винтик на своем месте и имеет свое определенное назначение»<sup>2)</sup>.

Одним словом, организация управления производством в своей эволюции прodelывает ряд стадий, меняя одну форму свою на другую, более высокую и совершенную, по мере роста производительных сил общества. Линейная организация управления производством есть не что иное, как простая кооперация или сотрудничество, из области непосредственного производства перешедшая в область управления производством. При этой системе управления производством труд по управлению не разделен на функции, а «на мастера возлагается такая же работа, как и на главного директора». И все сказанное нами в предыдущем очерке о простой кооперации, как низкой форме организации собственного производственного, в одинаковой мере должно быть отнесено по адресу формы организации управления на стадии господства линейного типа организации управления. При функциональном типе организации управления труда по управлению уже разделен на детальные функции, он стал общественным, комбинированным трудом. Организация управления на этой стадии развитин, подобно мануфактуре, принимает форму кооперации, основанной на разделении труда. Индивидуальный руководитель превратился в коллективного, организация управления производством представляет собою «определенный механизм — ма-

<sup>1)</sup> Ibid, стр. 45.

<sup>2)</sup> Е. Розмирович, НОТ, РКИ и партия, сб. статей, стр. 69—70, Москва 1926 г.

шину, где каждый винтик на своем месте и имеет свое определенное назначение», определенный аппарат, тело коллективного руководителя, своими отдельными частями или органами влившегося в производственный механизм фабрики, сцепляющего и связывающего воедино всю организацию производства, направляющего деятельность всех составных частей производственного механизма в единый производственный поток для достижения цели строго согласованными, планомерными, быстрыми движениями, с минимальными трениями частей. Индивидуум уступает свое место коллективу не только в области собственного производства, но и в области управления производством. «Вместе с ростом размеров предприятий,—как совершенно верно подмечает Д. Кимбал,—простые личные методы руководства работой завода и контроля над людьми становились несовершенными и заменялись менее личными методами<sup>1)</sup>». Функциональная организация управления переносит руководство и контроль за детальными функциями на специалистов, более компетентных в деталях выполнения этой функции, чем сам главный директор. За последним остаются только общие административные и организаторские функции.

Одним словом, формы организации труда по управлению производством повторяют путь развития форм организации труда по непосредственному производству с той, однако, разницей, что первые во времени отстают от вторых. Фабричной кооперации в области производства соответствует пока еще мануфактурная кооперация в сфере управления производством. Разделение труда по управлению производством пока опирается на ограничившую природу человека и не имеет под собою объективной материальной базы в виде системы машины. Это общее положение дает нам основание подчеркнуть, что вторая всесоюзная конференция работников НОТ<sup>а</sup>, по докладу тов. Куйбышева, заняла совершенно правильную позицию и дала правильную методологическую установку в работе по изучению организации труда, подчеркивая тождественность задач НОТ<sup>а</sup> в управлении с задачами ее в производстве и намечая пути к усовершенствованию организации управления по тем же трем направлениям, по которым должно идти усовершенствование в области производства, а именно: 1) усовершенствование орудий труда, или путь машинизации, 2) изменение условий применения труда на основе данной техники или путь усовершенствования организации труда и производства и 3) повышение производительности живого человеческого труда.

Организованный в государство пролетариат не должен разбивать аппарат управления производством, который создан капитализмом и перешел ему в наследство от последнего. Механизм управления производством, сложившийся на основе всей этой длинной эволюции функции управления, есть результат развития производительных сил, он входит составным элементом в последние наравне с технико-организационным аппаратом собственно производства и передается от поколения к поколению, от одной общественной формации к другой в том виде, в каком он создан предшествующим поколением или общественной формой. Организованный в государство пролетариат должен в готовом виде перенять у буржуазии, у капитализма технико-органи-

<sup>1)</sup> Ibid., стр. 87.

зационный аппарат производства в целом, в том числе и аппарат или организацию управления производственным процессом, организованным в масштабе отдельной производственной единицы или фабрики. Тот, кто этого не понимает, не видит различия между функцией, выполняемой организацией или механизмом управления, и теми индивидуумами, которые, являясь отдельными винтиками этого механизма, в данный момент эту функцию олицетворяют и выполняют. Персональный состав людского аппарата управления в силу различных причин,—естественных, экономических, политических и пр.,—подвержен частым изменениям и пертурбациям от оптом, то в розницу, но выполняемые им функции от этого еще не перестают существовать. Что Иванов, а не Петров управляет машиной за № 5, это положительно не имеет никакого значения и касательства до организации и управления, как таковой. Директор только должен знать, что существует функция машины № 5, что она вместе с такими-то родственными ей функциями должна находиться под руководством и надзором такого-то мастера, такого-то заведующего цеха, отделения мастерской, и что должны быть приняты определенные меры для ее выполнения. Вопрос же о том, кто является подходящим кандидатом для выполнения этой функции, кто будет ее отправлять, это—вопрос не организации управления, а администрирования. Прежде надо определить функции производства и управления производством, а уже потом подбирать людей, годных для их выполнения. Нельзя смешивать двух разных проблем: проблему организации с проблемой администрирования, хотя решение их обоих составляет задачу управления производством. Но этим мы отнюдь не хотим сказать, что данное строение функции управления, данный механизм осуществления функции управления, данная форма организации управления производством есть неличинна раз навсегда данная и неизменная. Абсолютно прочной и устойчивой структуры или формы управления производством на свете не существует. Механизм или организация управления есть коллектив личностей, объединенных в одно целое для достижения определенных результатов при данной совокупности внутренних и внешних условий. Изменение в этих условиях, следовательно, вызывает необходимость соответствующего изменения организации управления производством.

Организованный в государство пролетариат не может декретным путем изменить, уничтожить функцию управления производством на подобие того, как оп совершил аннулирование царских долгов. Функция управления производством не обуславливается одной какой-либо определенной общественной формой, а вырастает непосредственно из материальных производственных сил и присуща всякому производству при любой общественной формации, организованному на основе сотрудничества десятков, сотен и тысяч отдельных индивидуумов. «Всякая крупная машинная индустрия,—пишет Ленин,—т.е. именно материальный производственный источник и фундамент социализма,—требует безусловного и строжайшего единства воли, направляющей сочленную работу сотен и десятков тысяч людей. И техничеки, и экономически, и исторически необходимость эта очевидна и всеми, думающими о социализме, всегда признавалась, как его условие. Но как может быть обеспечено строжайшее единство воли? Подчинением воли тысяч воле одного»<sup>1)</sup>. Организованный в государство пролетариат дол-

<sup>1)</sup> Собр. соч., т. XV, стр. 218.

жеи овладеть основной связью руководства,—подчинения между людскими элементами производственной организации и использовать ее в целях строительства социалистического общества. Он должен овладеть функцией управления производством не с целью уничтожить ее, а развивать дальше и усовершенствовать ее по мере роста производительных сил, по мере изменения совокупности тех условий, которые обусловили ее данное состояние и данную организацию по ее выводу. Организованный в государство пролетариат должен овладеть той наукой организации производства и управления производством, которая выросла на основе практики и опыта передового капитализма Европы и Америки, чтобы, вооружившись положительными историческим опытом и достижениями передового капитализма в области организации, доделывать недоделанное капитализмом в России, чтобы постепенно подготавливать необходимые объективные условия для перехода к механизации труда по управлению производством, чтобы и в этой трудной области социалистического строительства не только догнать, но и перегнать передовые капиталистические страны.

«У изс уживались рядом,—писал Ленин в своей предсмертной статье «Лучше меньше, да лучше»,—теоретическая смелость в общих построениях и поразительная робость по отношению к какой-нибудь самой незначительной канцелярской реформе. Какая-нибудь величайшая всемирная земельная революция разрабатывалась с несмелой в них государствах смелостью, а рядом не хватало фантазии на какую-нибудь десятистепенную канцелярскую реформу; не хватало фантазии или не хватало терпения применить к этой реформе те же общие положения, которые давали такие «блестящие» результаты, будучи применяемы к вопросам общим.

И поэтому наш теперешний быт соединяет в себе и поразительной степени черты отчаянно смелого с робостью мысли перед самыми мельчайшими изменениями.

Я думаю, что иначе и не бывало ни при одной действительно великой революции, потому что действительно великие революции рождаются из противоречий между старым, между направленным на разработку старого и абстрактнейшим стремлением к новому, которое должно уже быть так ново, чтобы ни одного грана старини в нем не было»<sup>1)</sup>. Мы привели эту выдержку из статьи Ленина для того, чтобы показать, что еще Ленин подчеркивал и ставил вопрос о соотношении между старым и новым в области организации управления, как он мыслит решение этой задачи. Организованный в государство пролетариат должен освободиться от представления о научной организации труда, как о некоей умозрительным путем создаваемой совершенной организации производства и управления, а усвоить тот взгляд на нее, что она есть не что иное, как процесс внесения в нашу существующую уже данную организацию производства и управления производством положительных результатов и завоеваний, добытых западно-европейской и американской практикой, и нашедших свое оформление в научных системах организации производства и управления производством. Нам приходится подчеркивать эту, казалось бы, азбучную истину еще на одиннадцатом году строительства социалистических форм хозяйства, так как она не всеми еще усвоена, не вошла, что называется, в кровь и плоть всех, привлеченных к делу социалистиче-

<sup>1)</sup> Собр. соч., т. XVIII, ч. 2, стр. 134.

ского строительства, работников. Еще на одиннадцатом году революции появляются ученические труды по организации производства, авторы которых проявляют величайшую теоретическую смелость в общих построениях, но у которых не хватает, по выражению Ленина, фантазии или не хватает терпения применить общие положения к реформе конкретной российской действительности в области организации производства и управления производством; авторы которых забегают далеко вперед, отрываются от нашей конкретной действительности, от данного в СССР состояния производительных сил, следовательно, и организации их и управления ими, и предлагают нашему вниманию такие рецепты решения организационной проблемы, которые в наших условиях никакого практического значения иметь не могут и, по меньшей мере, являются фантастическими. Необходимость изменения, реформирования организации управления производством у нас диктуется двумя обстоятельствами. С одной стороны, наша организация управления производством значительно отстала от организации труда по управлению в Европе и Америке, а, с другой стороны, советская система хозяйства в своем развитии неизбежно проходит такую стадию, когда рост производительности общественного труда, по преимуществу, определяется изменениями между людьми как в производстве, так и в управлении производством, т.е. усовершенствованием организации производства и управления производством. Но организованный в государство пролетариат исходным пунктом своей работы по усовершенствованию организации производства и управления должен брать ту организацию, которая уже существует, организацию, созданную капитализмом, и повести эту работу, строго сообразуясь как данным состоянием производительных сил, так и направлением и темпом их дальнейшего развития. Значит организованный в государство пролетариат, в первую очередь, в своей работе по усовершенствованию организации производства и управления производством должен ориентироваться на передовой капитализм, чтобы воплотить в практику социалистического строительства весь накопленный ценный положительный опыт и достижения передового капитализма в области организации управления производством, а уже потом, на основе достигнутых капитализмом результатов и на основе изучения практического опыта и результатов социалистического строительства в области создания новых форм производства и управления,—перегонять передовые капиталистические страны, систематически, твердо и уверенно продолжать работу по созданию аппарата производства и управления производством, действительно заслуживающего названия социалистического, коммунистического.

Перед организованным в государство пролетариатом, на ряду с практической работой в области организации производства и управления производством, таким образом, должна встать задача теоретически схватить, научно овладеть основной тенденцией или закономерностью развития не только форм организации производства, но и форм организации управления производством. И здесь в этой связи очень полезно будет напоминать, можно сказать, уже забытые слова Ленина, сказанные им в связи с реорганизацией Рабкринка: «Надо во-время взяться за ум. Надо проникнуться спасительным недоверием к скоропалительно быстрому движению вперед, ко

всякому хвостовству и т. д., надо задуматься над проверкой тех шагов вперед, которые мы ежедневно провозглашаем, ежедневно делаем и потом ежедневно доказываем их непрочность, несолидность и непостоянность. Вряднее всего здесь было бы спешить. Вряднее всего было бы полагаться на то, что мы хоть что-нибудь знаем, или на то, что у нас есть сколько-нибудь значительное количество элементов для построения действительно нового аппарата, действительно заслуживающего названия социалистического, советского и т. п. Нет, такого аппарата и даже элементов его у нас до смешного мало, и мы должны помнить, что для создания его не надо жалеть времени и надо затратить много, много, много лет».

Что предлагал еще тогда Ленин для создания элементов нового аппарата? «Нам надо,—продолжает там же Ленин,—во что бы то ни стало поставить себе задачей для обновления нашего госаппарата: во-первых, учиться, во-вторых, учиться и, в-третьих, учиться и затем проверять то, чтобы наука у нас не оставалась мертвой буквой на модной фразой, чтобы наука действительно входила в плоть и кровь, превращалась в составной элемент быта вполне и настоящим образом»<sup>1)</sup>. Тогда же Ленин предлагал для этого: «Объявить конкурс сейчас же на составление двух или больше учебников по организации труда вообще и специально труда управленческого. В основу можно положить имеющуюся уже у нас книгу Ерманского, хотя он, в скобках будь сказано, и отличается явным сочувствием меньшевизму и непригоден для составления учебника, подходящего для советской власти. Затем можно взять за основу недавнюю книгу Керженцева; наконец, могут пригодиться еще кое-какие из имеющихся частичных пособий. Послать несколько подготовленных и добросовестных лиц в Германию или в Англию для сбора литературы и изучения этого вопроса. Англию я называю на случай, если бы посылка в Америку или Канаду оказалась невозможной»<sup>2)</sup>. Ленин дал основную установку нашей работе в области организации производства и управления производством. Чтобы в этой области догнать и перегнать капиталистический мир, организованный в государство пролетариат, прежде всего, должен заниматься теорией этой работы. Прежде чем изменить существующую организацию управления производством, надо знать, в каком направлении вести изменения. А это невозможно знать без детального изучения и анализа существующих форм организации управления, фиксирующего исходный пункт развития, вскрывающего условия, определяющие дальнейший ход и направление этого развития, формы и логическое его завершение или конечный пункт. Теоретическое овладение вопросом организации управления есть одна из существенных предпосылок для овладения им же практически. Организованный в государство пролетариат должен, под углом зрения марксизма, проанализировать формы организации управления в их историческом развитии и чередовании в связи с изменением уровня производительных сил и размеров производственных единиц, привлекая к анализу богатейший, накопленный капитализмом, практический опыт и всю буржуазную науку об организации производства и управления производством, на этом практическом опыте выросшую. Такой теоретический анализ должен, с одной стороны, вскрыть заложенную в этом историческом развитии и чередовании форм организации управления определенную правильность, закономерность, а, с другой стороны, он должен

<sup>1)</sup> Собр. соч., т. XVIII, ч. 2, стр. 126.

<sup>2)</sup> Ibid., стр. 130.



из этого практического опыта капитализма, из буржуазной науки об организации производства выделить все, что в них есть ценного и положительного с точки зрения развития производительных сил, очистить это зерно от капиталистической скорлупы и превратить тем самым его в одного из элементов построения новых форм организации производства и управления производством в СССР. Без теоретического вскрытия основной закономерности развития форм управления производством, без изучения и освоения всего положительного опыта и практики передового капитализма и без того, чтобы все это не сделать достоянием самых широких масс трудящихся, впервые в истории привлекаемых к делу строительства новых форм жизни,—без всего этого немислима сознательная, планомерная, систематическая работа над усовершенствованием или рационализацией существующих у нас форм организации производства и управления, без этого невозможно твердое и уверенное движение вперед от старых к новым, социалистическим формам организации, без этого мы будем лишены всякой перспективы в нашей работе и находиться во власти случая. Вот к чему по существу сводится постановка этого вопроса Лениным. Только, к стыду нашему, надо сознаться, что мы оставленное нам Лениным задание в этой важнейшей области социалистического строительства далеко не выполняем в том масштабе, с той интенсивностью и серьезностью, как этого требовали и продолжают требовать интересы социалистического строительства на данном историческом этапе его развития. Организации производства и управления производством, как объект научного исследования и как объект массового изучения, не занимает того места в наших научно-исследовательских институтах, высших учебных заведениях, в школах и на курсах, она не привлекает к себе того внимания и забот со стороны власти и партии, которых требуют интересы более быстрого движения вперед к социализму.

К чему должен стремиться организованный в государство пролетариат в своей будничной работе по усовершенствованию организации труда управленческого? Куда ведет закономерность развития существующей формы организации управления производством? Мы уже выше подчеркнули, что идеал, к которому мы должны стремиться в своей работе по усовершенствованию механизма управления, это—механизация управления, подведение под функциональную форму организации управления объективного материального базиса в виде современной техники взамен господствующей субъективной основы. «Механизация управления,—как совершенно правильно пишет Розмирович,—вырисовывается как идеал, как такой порядок вещей, при котором нет больше нужды полагаться на память, аккуратность и прочие индивидуальные качества человека и где путем точного измерения, совершенствования и механизации труда создается возможность заранее учесть, рассчитать и механизировать весь ход управленческого процесса, т.е. в свою очередь механизировать и труд по управлению. При чем этот идеал в равной степени относится как к управленческому труду в производстве, в промышленности, так и к управленческому труду и всему управленческому аппарату в государственных учреждениях и всему

государственному аппарату, как таковому в целом»<sup>1)</sup>. Чтобы этот идеал достигнуть, недостаточно одного пожелания и сознания необходимости и неизбежности его достижения, а надо готовить, создавать все необходимые материальные и личные, объективные и субъективные условия для его достижения. Путь к этому идеалу ведет через функциональную форму организации управления производством, основанной на субъективной базе. Подобно тому, как мануфактура служила подготовительной ступенью для перехода к машинному производству в промышленном производстве, так существующая на субъективной основе функциональная форма организации управления является необходимым звеном в цепи развития формы организации управления и служит переходной ступенью к механизированному труду в области управления производством. Она не только prepares все необходимые объективные и субъективные условия для возможного перехода к более совершенной форме организации управления, но также порождает необходимость такого перехода.

Анализируя процесс управления производством, выделяя из него одну за другой простейшие и простейшие функции или операции и превращая последние в детальные функции особых людей, организованных в государство пролетариат тем самым сознательно и планомерно подготавливает все необходимые условия для механизации уже автоматизированных процессов управленческого труда, что случайно происходило внутри мануфактуры. Вот в этом должна заключаться основная цель и значение работы по научной организации управленческого труда на данной стадии развития. Для производства самой механизации остается только придать простейшим рабочим операциям или движениям материально-техническое выражение, в результате чего мы получим, по выражению Розмирович, «для процесса управления такую же последовательную и целостную систему и общий поток согласованных человеческих действий и движения вещей, какие мы уже имеем в развитом процессе по применению труда в промышленности». Научная организация производства и управления производством под углом зрения уничтожения классов была и остается одним из основных методов строительства коммунистических отношений производства на целом историческом этапе развития коммунизма.

Но одновременно с этим развитие функциональной формы организации управления производством на субъективной основе все больше обостряет противоречие между неограниченным развитием производительных сил и ростом размеров предприятий, с одной стороны, и ограниченной субъективной основой, на которой строится организация управления этими производительными силами в масштабе отдельного предприятия. Рост размеров предприятий влечет за собой все большее усложнение структуры организации управления. Коллективный руководитель, каким представляется механизм управления, построенный на функциональном принципе, все больше разрастается по горизонталям и вертикалям. При субъективной основе организации это неизбежно сопровождается ослаблением центростремительных сил организации, ослаблением связи руководства-подчинения, перебоями в работе аппарата, переходом устойчивого равновесия системы управления в неустойчивое. Работа аппарата управления замедляется, становится менее уверенной; притупляется его чуткость к изменяющимся окружающим условиям производства, его эластич-

<sup>1)</sup> Ibid. стр. 69—70.

ность переходит постепенно в косность. Словом, это со временем приводит к созданию объективных условий для бюрократизма, это приводит к бюрократизации аппарата управления производством, которая получает свое конкретное внешнее выражение в виде растущих накладных расходов по управлению производством, удорожающих это последнее. Это противоречие может быть разрешено только путем механизации и машинизации процесса управления наравне с процессом производства, путем перехода к новой форме организации труда по управлению, основанной на объективной материальной базе. Это разрешение вопроса пока перед нами рисуется в виде идеала, но осуществление этого идеала уже началось на Западе и в Америке, где при более высокой технике и организации механизация производства в конце концов приводит к механизации одной функции за другой в области управления производством. Такой итог развития современного индустриализма.

Новая форма организации управления производством, к которой должен стремиться организованный в государство пролетариат, будет громадным шагом вперед в развитии коммунизма. «Получающиеся в результате применения этих новых усовершенствованных способов труда как в производстве, так и в управлении, совокупность технических знаний и технических навыков создаст, — как пишет Розинерич, — в своем общем итоге то, что является определяющим пригоднось того или иного лица к занятию должностей по управлению. Однако эти навыки в силу все большего и большего совершенствования и машинизации, как самого труда, так и применяемых машин, делаются все менее и менее сложными, пока они, в конце концов, не начинают отрицать сами себя, как специальные навыки. Вот какой конечный ответ и вывод дает нам в этом отношении современная наука, одинаково как в вопросах управления, так и в вопросах производства»<sup>1)</sup>.

Через механизацию труда по управлению производством будет достигнута такая организация не только производства, но и управления производством, при которой исчезают различия между отдельными детальными функциями производства и управления, и они становятся чрезвычайно простыми и доступными для выполнения всякому грамотному человеку, при которой создаются организационно-технические условия, необходимые для привлечения к делу управления производством всего населения, при которой начинается процесс исчезновения деления труда на умственный и физический, на труд по производству и труд по управлению производством.

Но кем и как конкретно осуществляется организация производства и распределения продуктов в масштабе всего общества? Как в капиталистическом обществе устанавливается и поддерживается такая организация средств производства и рабочей силы, т.е. вещественных и личных элементов производственного процесса, в масштабе всего общества, которая, подобно всякой организации, обеспечивала бы достижение стоящей перед нею цели в наискратчайший срок с минимальными затратами, т.е. гарантировала бы производство и воспроизвод-

<sup>1)</sup> Ibid., стр. 73.

ство такого количества разнообразных продуктов, которое полностью покрывало бы все общественные потребности в общественном масштабе.

В капиталистическом обществе нет единого субъекта хозяйства, как общественного хозяйства, «одной управляющей воли», осуществляющей сверху общее руководство производственным процессом в масштабе всего общества и подобие того, как «одна управляющая воля» осуществляет функцию руководства и управления в масштабе фабрики. Капиталистическое общество в этом отношении есть неорганизованное общество. Общественное хозяйство складывается из множества частных, формально друг от друга независимых, капиталистических хозяйств, вступающих в производственный контакт только через обмен своих товаров. И формально самостоятельные частные капиталистические хозяйства проявляются как общественное хозяйство только в процессе обмена, в меру развития меновых отношений. Поэтому в капиталистическом обществе рынок заменяет «единую управляющую волю» и исполняет ее функцию руководства и управления. Рынок является «основной организующей силой анархически построенного капиталистического общества». Его руководство, его функции по осуществлению общей связи и единства всех процессов производства в общественном масштабе выливается в форме действия слепых законов конкуренции. Поэтому в товарно-капиталистическом хозяйстве не может существовать и не существует никакой необходимости, а наблюдается лишь случайная связь между всем количеством общественного труда, затраченного на данный общественный продукт, т.е. между той соответствующей частью всей рабочей силы, которую общество употребляет на производство этого продукта, следовательно, между размерами, которые производство этого продукта занимает во всем производстве, с одной стороны,—и, с другой стороны, между теми размерами, в которых общество стремится покрыть потребности, удовлетворяемую данным определенным продуктом»<sup>1)</sup>. (Курсив наш.—Я. Б.).

Но одновременно мы знаем, что вся история развития капитализма есть история консолидации общественного хозяйства, как единого целого, как системы, организации под руководством «одной управляющей воли». Этот процесс, как мы установили в начале этого очерка, прodelывает ряд последовательных шагов, поднимаясь со ступеньки на ступеньку, по направлению к обществу, как единой фабрике. Капитализм централизует капиталы и денежные доходы. Капитализм создает теснейшую связь и зависимость различных отраслей народного хозяйства, капитализм «превращает тысячи раздробленных хозяйств в единое общенациональное капиталистическое, а затем и всемирно-капиталистическое хозяйство». Из разрозненных капиталистов он постепенно складывает, формирует единого коллективного капиталиста, который начинает изучать дела отдельных капиталистов, контролировать их деятельность, направлять ее к достижению своей цели, к достижению цели данной группы, в интересах крупного и крупнейшего монополистического капитала, имеющего тенденцию все больше сращиваться с государственной властью, логически завершением какой-то тенденции было бы превращение монополистического капитала в государственно-монополистический, и его олицетворяющего коллективного капиталиста —

<sup>1)</sup> Маркс. Капитал, т. III, ч. I, стр. 166.

организованный в государство класс капиталистов. Формирующийся в качестве единого субъекта общественного хозяйства коллективный капиталист начинает равномерно распределять капитал между отдельными районами и между отдельными отраслями производства, соединять операции по производству, снабжению и распределению, начинает сознательно устанавливать связь между изолированным общественным разделением труда фазами производства общественного продукта с тем, чтобы дополняющие друг друга производства или отрасли производства могли бы совершаться непрерывно одно рядом и одновременно с другим в пространстве и времени. Подобно мануфактурному разделению труда внутри мастерской, коллективный капиталист начинает сознательно создавать прочные математические отношения между отдельными капиталами в общественном масштабе, устанавливать «количественные нормы и пропорции» в общественном процессе производства. Вследствие этого создается более высокая производительность общественного труда, более высокая степень непрерывности, согласованности, правильности и порядка, и общество начинает употреблять на производство каждого общественного продукта только общественно-необходимое рабочее время. Словом, совершается процесс становления общества в качестве «одной конторы, одной фабрики», под руководством организованного в государство класса буржуазии.

Однако частично-собственнические отношения, образующие внешнюю оболочку для этого процесса, исключают возможность полного завершения этого процесса в рамках буржуазного общества, исключают полную планомерность и организованность производства и распределения продуктов в общественном масштабе, следовательно, и возможность превращения капиталистического общества в единую фабрику, под руководством «одной управляющей воли». На фоне вечно волнующейся поверхности капиталистического хозяйства время от времени поднимаются отдельные великаны в виде могущественных капиталистических объединений, — национальных и международных, — которые стремятся распространить свое влияние и власть на всю окружающую их хозяйственную периферию. Но под разлагающим ряды капитала действием института частной собственности они то останавливаются в своем дальнейшем развитии, то падают и разрушаются задолго до того, как охватят общественное хозяйство в целом и подчинить его руководству-управлению организованного в государство класса буржуазии. Поэтому при капитализме о планомерном производстве и распределении продуктов в масштабе общества можно говорить лишь постольку, поскольку все общественное хозяйство охвачено капиталистическими монополиями в лице картелей, синдикатов, трестов, банков и т. д. Или точнее: план заменяет стихию, и плановое производство и распределение существует только внутри этих капиталистических монополий, возникает и падает вместе с ними. Таким образом, в капиталистическом обществе, благодаря частной собственности на средства производства, процесс становления общества, как единой фабрики, протекает в острых противоречиях и конкретно выливается в форме возникновения и развития крупных капиталистических монополий, каждая из которых представляет как бы общество в обществе. В лице капиталистических монополий капитализм создал и передает в наследство организованному в государство пролетариату зародышевые

формы организации производственного процесса в масштабе всего общества, под руководством «единой управляющей воли»; он подготовил отдельные элементы общественной производственной организации, отдельные типы технико-организационного скелета общественного хозяйства, но подготовил крайне неравномерно как по странам, так и по отраслям хозяйства внутри отдельных стран. Обычно самые развитые формы этой организации охватывают только верхушку промышленности, в лучшем случае только промышленность, а совсем или почти не затрагивают земледелия. Организованный в государство рабочий класс должен овладеть технико-организационным аппаратом капиталистических объединений в готовом виде во всех областях хозяйственной деятельности с тем, чтобы использовать их в качестве составных частей из элементов при построении стройной социалистической производственной организации в масштабе общества.

Но никакая организация, в том числе и организация синдикатов, трестов и пр. капиталистических объединений, немалым без основной связи руководства-подчинения и аппарата управления, через который эта связь осуществляется. Следовательно, еще в рамках капиталистической общественной формы-функция управления производственными силами и производственным процессом начинает дифференцироваться, развиваясь в двух направлениях: с одной стороны, мы уже видели, что, в меру роста производительных сил, развивается функция управления производственным процессом, организованным в масштабе отдельной фабрики, развивается управление производственными силами, организованными в горизонтальном разрезе; с другой стороны, мы теперь констатируем, что одновременно с этим развивается функция управления производственным процессом, организованным в масштабе общества, т.-е. в вертикальном разрезе. Первая из них развивается как функция индивидуального капитала, вторая — как функция коллективного капитала, имеющего тенденцию все больше сращиваться с организованным в государство классом буржуазии. И как в организации производства на фабрике основная связь руководства-подчинения есть одновременно классовая связь и отношение, так и классовой она является также в организации производственного процесса, принимающего общественные размеры, но только здесь она воспроизводится как отношение между классом рабочих и классом капиталистов. Механизм управления производственным процессом, организующийся в масштабе общества, вырастает и складывается на основе организации управления отдельными фабриками. Организация управления отдельными производственными единицами образует исторический и логический исходный пункт организации управления производственным процессом в общественном масштабе, она образует основу или жизненный этап системы экономического управления страной.

Организованный в государство пролетариат посредством национализации основных средств производства, обращения, транспорта и сношений освобождает изменившиеся общественные отношения производства от частично-собственнической оболочки, которая уже не соответствует этому новому содержанию и заранее обречена на загнивание. Одновременно с этим в той мере, в какой основные средства производства сращиваются с организованным в государство пролетариатом, — общественное хозяйство превращается в «телеологическое

единство», т.е. в систему сознательно, по определенному плану, регулирующую организованным в государство пролетариатом. Последний превращается в единого субъекта производственного процесса, организованного в масштабе национализированных средств производства и распределения продуктов, отныне он приступает к сознательному решению задачи планомерной организации производственного процесса не только в масштабе национализированных средств производства, а в масштабе всего общества. И он отныне начинает решать эту задачу, как выразился Н. И. Бухарин, как «общественно-техническую задачу построения нового общества, которую сознательно ставят и сознательно решают». И, чем дальше пойдет эволюция обобществления труда и средств производства на основе завоеванных революционным путем экономических и политических позиций пролетариата, тем шире и крепче станет материально-техническая база для сознательного планирования в масштабе всего общества, тем больше будут созреть необходимые для такого планирования субъективные предпосылки, тем более реальным и устойчивым будет становиться народно-хозяйственный план, тем полнее стихийная сила экономического развития будет укладываться в рамки желаемого, в рамки вырабатываемого организованным в государство пролетариатом народно-хозяйственного плана. План есть функция процесса обобществления труда и средств производства и развивается вместе с развитием производительных сил общества, проделывая длинный путь превращения из плана предприятия в план народного хозяйства.

При переходе от капитализма к коммунизму создание первоначального единства между рабочими и средствами производства путем национализации основных средств производства, обращения, транспорта и сношений, на созданной капитализмом материальной основе, есть исходный пункт развития коммунизма. И в той мере, в какой экспроприируются экспроприаторы организованным в государство пролетариатом, происходит сращивание последнего со средствами производства. Поэтому тот реальный процесс, в который вступают соединенные таким образом личные и вещественные факторы производства, самый процесс производства становится функцией организованного и государство пролетариата, врастающего в бесклассовое общество, — становится социалистическим производственным процессом, целью которого является не производство прибавочной стоимости, не эксплуатация чужого труда, а производство продуктов для полного удовлетворения всех общественных потребностей. И организованный в государство пролетариат, как субъект этого нового способа производства, отныне историей призван к организации производства и управления производством на коммунистических началах и можно, развивая технику открывать новую эпоху истории, совершать переворот во всей экономической структуре общества, оставляя далеко позади все предшествующие эпохи.

Отсюда перед организованным в государство пролетариатом во весь свой рост встает проблема организации коммунистического способа производства, проблема создания новых отношений между

людьми в процессе общественного производства и распределения продуктов. «Организация учета, контроль над крупнейшими предприятиями, превращение всего государственного экономического механизма в единую крупную машину, хозяйственный организм, работающий так, чтобы сотни миллионов людей руководились одним планом,— вот та гигантская организационная задача, которая легла на наши плечи»<sup>1)</sup>.

Организованному в государство пролетариату необходимо завершить процесс становления общества, как «одной конторы и одной фабрики с равенством труда и равенством платы», изначальный капитализм. Поэтому он должен, чтобы успешно справиться с этой задачей, взять у капитализма в готовом виде не только организацию производственного процесса в разрезе фабрики, но и организацию его в разрезе общества, поскольку эта последняя подготовлена капитализмом. А для овладения организацией производства он, прежде всего, должен овладеть организацией управления производством. Механизм управления производственным процессом, организованным как в разрезе фабрики, так и в разрезе общества,— вот та стратегическая командная высота, которую должен завоевать организованный в государство пролетариат, чтобы овладеть процессом производства и распределения продуктов и подчинить его своему руководству, чтобы в дальнейшем сознательно, систематически и планомерно работать над усовершенствованием полученной в наследство от капитализма организации производства и управления производством, над превращением капиталистической формы этой организации в коммунистическую. Вот почему Ленину в 1918 г. писал, что «первый раз в мировой истории социалистическая партия успела закончить в главных чертах дело завоевания власти и подавления эксплуататоров, успела подойти вплотную к задаче управления. Надо, чтобы мы оказались достойными исполнителями этой труднейшей (и благодарнейшей) задачи социалистического переворота. Надо продумать, что для успешного управления необходимо, кроме умения убедить, кроме умения победить в гражданской войне, умения практически организовать. Это—самая трудная задача, ибо дело идет об организации по-новому самых глубоких экономических основ жизни десятков и десятков миллионов людей. И это—самая благодарная задача, ибо лишь после ее решения (в главных и основных чертах) можно будет сказать, что Россия стала не только советской, но и социалистической республикой»<sup>2)</sup>.

Словом, организованный в государство пролетариат, овладевая управлением производства, создает необходимое условие для решения организационной проблемы строительства коммунизма в целом, которая, после завоевания власти, после национализации основных средств производства, была, есть и остается тем звеном в исторической цепи развития коммунизма, за которое должен ухватиться организованный в государство пролетариат, чтобы быстрыми шагами продвигаться к коммунизму во всех областях общественной жизни. Организационная проблема строительства коммунизма отлична от организационной проблемы капитализма как на его ранних стадиях развития, так и на высшей последней его стадии. При переходе от феодализма к капитализму она сводилась к преодолению изолированности процессов

<sup>1)</sup> Ленин, Собр. соч., т. XV, стр. 125.

<sup>2)</sup> Там же, стр. 196.



производства внутри мастерской и в обществе. И тогда она разрешалась превращением мастерской в организм, в систему, укрупнением ее размеров и подведением под нее объективной материальной основы в виде машинной техники. В переходный от капитализма к коммунизму период сущность организационной проблемы в основном сводится к уничтожению изолированности процессов производства в обществе, к преодолению общественного разделения труда, следовательно, преодолению рыночных отношений. И разрешение этой проблемы мыслится только в форме превращения общества в единую фабрику, в стройную организацию, основанную на объективной материально-технической базе в виде электрификации всей страны. Решение начинается с капитализмом на высшей его стадии развития, но оно протекает в противоречивой капиталистической форме. Организованный в государство пролетариат не отказывается от капиталистического наследства в этой области строительства, а только критически переосмысливает все конкретные достижения капитализма и методы его работы, чтобы продолжить решение этой основной организационной проблемы в духе принципов коммунизма до того момента, как количество перейдет в качество, как не будет создан организационный скелет социалистического общества на прочном фундаменте электрификации.

Итак, организованный в государство пролетариат берет у капитализма в готовом виде организацию управления производством для того, чтобы в готовом же виде овладеть организационной производством как в разрезе фабрики, так и в разрезе общества. Спрашивается, к чему, в таком случае, должна свестись проблема овладения аппаратом управления производственным процессом, организованным в масштабе фабрики или в масштабе общества, и как практически эта проблема разрешается? Труд по управлению производством и форма его организации выросли из «формы труда, как общественного труда, из соединения и сотрудничества многих для достижения общего результата». Поэтому они не отделены от производительных сил, а развиваются и изменяются по мере роста последних. Отсюда само собою ясно, что дальнейший рост производительных сил, обусловивших данную форму организации управления в масштабе фабрики и в масштабе общества, не представляется возможным без сохранения самой формы труда по управлению и его организации. Речь может идти только об изменении социальной формы этого труда и социально-классовой структуры его организации. «Поскольку труд капиталиста не вытекает из процесса производства только как капиталистического,—пишет Маркс,—и, следовательно, поскольку этот труд сам собою не исчезает вместе с капитализмом; поскольку он не ограничивается такой функцией, как эксплуатация чужого труда; поскольку, следовательно, он вытекает из форм труда, как общественного, из соединения и сотрудничества многих для достижения общего результата,—труд этот совершенно так же независим от капитала, как независима от него сама эта форма, раз только она сорвала с себя капиталистическую скорлупу. Утверждать, что этот труд необходим в виде капиталистического труда, в виде функции капиталиста, значит лишь одно: что *vulgus* не может представлять себе формы, развившейся в недрах капиталистического способа производства, отделенными и освобожденными от их антагонистического капиталистического характера»<sup>1)</sup>.

<sup>1)</sup> Капитал, т. III, ч. 1—стр. 373.

Задача организованного в государство пролетариата на деле доказать это бесспорное теоретическое положение, на деле показать перед капиталистическим миром свою способность управлять, руководить производственным процессом. Он должен уничтожить труд по управлению производством как функцию эксплуатации чужого труда, как капиталистический труд. Следовательно, овладение организацией управления производством в том виде, в каком она подготовлена всем предшествующим развитием капитализма, мыслимо только в форме преодоления ее капиталистической формы, только в форме замены класса капиталистов и его доверенных лиц классом рабочих в аппарате управления производством.

Как практически эта проблема разрешается? Труд по управлению производством есть функция того класса, который владеет средствами производства общества. В буржуазном обществе функция руководства или управления составляет функцию класса буржуазии. Последний осуществляет эту функцию через своих собственных представителей или представителей близкого к нему класса. В переходном, от капитализма к коммунизму, обществе эта функция становится функцией организованного в государство пролетариата. Классы меняют свое отношение к этой важнейшей общественной функции одновременно с тем, как они меняют свое отношение к собственности. В результате национализации основных средств производства, обращения, транспорта и сношений, организованный в государство пролетариат соотносится не только с средствами производства, но он соотносится также с функцией управления этими средствами производства, производительными силами, ими представляемыми. В форме национализации основных средств производства организованный в государство пролетариат насильственным путем устраняет частную собственность, мешающую быстрому сращиванию государственного аппарата с хозяйственным в пределах капитализма, и создает необходимость и возможность для себя выступать в качестве субъекта обобществленного хозяйства, в качестве «одной управляющей воли» над социалистическим производственным процессом. Политическая власть и управление сращивается с экономической властью и управлением таким образом, что отныне доминирующей функцией государственного аппарата становится функция экономического управления. «В эпоху начавшегося обобществления экспроприированных у капиталистов средств производства,— гласит § 16 программы ВКП,—государственная власть перестает быть паразитическим аппаратом, стоящим над производственным процессом: она начинает превращаться в организацию, непосредственно выполняющую функцию управления экономикой страны». А вместе с этим преодолевается в основном как «противоположение между организацией производства в отдельной фабрике и анархией производства во всем обществе», так и социальная капиталистическая форма организации управления. В основном преодолено классовое отношение между рабочим и капиталистом, и обусловленный им классовый, капиталистический характер функции руководства-управления.

В недрах капиталистического способа производства организационный прогресс протекает неорганизованно, от случая к случаю. Отдельные капиталы, подстрегаемые конкурентной борьбой, вынуждаются преследовать друг друга во всем, в том числе и в области усовершенствования организации производства и управления производством. Конкуренция является основной движительной силой организационного прогресса в рамках товарно-капиталистической общественной формы. В переходном от капитализма к коммунизму обществе организованный в государство пролетариат сознательно ставит задачи в области экономического строительства, сознательно намечает методы и пути их разрешения, систематически и планомерно подготавливает все необходимые для их разрешения условия, и систематически и неуклонно их разрешает. Место конкуренции и ее законов, чем дальше, тем больше, занимает воля организованного в государство пролетариата, как субъекта социалистического хозяйства, имеющего принять общественные размеры. В переходном от капитализма к коммунизму обществе сознательная воля организованного в государство пролетариата, — вот та сила, которая движет вперед организационный прогресс на отдельной фабрике и во всем обществе, направленный на создание новых отношений между людьми в процессе общественного производства и распределения продуктов, свободных от классового антагонизма и духа господства и подчинения, основанных на началах не формального, а действительного равенства. Разрешение этой основной задачи не мыслимо без уничтожения не только капитализма, но и его корней и его следов в виде мелкого производства и мелкой собственности, в виде прочно севшей в голове привычки, обычая и традиций прежнего капиталистического строя. Для ее разрешения требуется уничтожение всякой собственности, уничтожение классов вообще. «Если взамен старого класса пришел новый, то только в бешеной борьбе с другими классами он удержит себя, и только в том случае он победит до конца, если сумеет привести к уничтожению классов вообще» <sup>1)</sup>... А это — дело долгой упорной классовой борьбы. Поэтому классовая борьба «после разрушения буржуазного государства, после установления диктатуры пролетариата, не исчезает, а только меняет свои формы, становясь во многих отношениях еще ожесточеннее» <sup>2)</sup>.

В силу того обстоятельства, что организованный в государство пролетариат одновременно является субъектом социалистического способа производства, постепенно охватывающего все общественное производство, в силу того обстоятельства, что ему приходится вести упорную классовую борьбу в процессе строительства новых отношений между людьми, основанных на началах действительного равенства, — в силу всего этого совокупность всех мероприятий во всех областях экономического, политического и культурного строительства представляет собою систему экономической политики организованного в государство пролетариата, направленную на построение коммунистического общества; в силу этого классовый мотив пролетариата, его ставка на уничтожение классов вообще дает то принципиально новое, отличное, тот стержень, ту особую связь, которая красной нитью проходит через все отдельные акты и мероприятия, связывая их в одну

<sup>1)</sup> Ленин, Собр. соч., т. XVII, стр. 72.

<sup>2)</sup> Ibid. т. XVI, стр. 227.

систему и характеризуя последнюю как систему экономической политики организованного в государство пролетариата на всем переходном, от капитализма к коммунизму, этапе развития общества. Отсюда сам собою вытекает основной организационный принцип диктатуры пролетариата и способ его развертывания и воплощения в жизни — уничтожение капиталистической формы организации производства и управления производством, предпологает овладение аппаратом управления производством на отдельной фабрике и во всем обществе путем замены одного класса другим, путем подбора и подготовки для управления производственным процессом на фабрике и в обществе людей из того угнетенного класса, «которым обучен, объединен, воспитан, закален десятилетиями страшной и политической борьбы с капиталом,... который усвоил себе их городскую промышленную крупно-капиталистическую культуру, имеет решимость и способность отстоять ее, сохранить и развить дальше ее завоевания, сделать их доступными всему народу, всем трудящимся»<sup>1)</sup>.

«Эта способность не дана сама собой, а вырастает исторически и вырастает только из материальных условий крупного капиталистического производства. Этой способностью обладает, в начале пути от капитализма к социализму, только пролетариат»<sup>2)</sup>. Образованность государственного и хозяйственного аппарата сверху донизу, — вот организационный принцип организованного в государство пролетариата.

Поэтому первая задача, которую перед собою ставит пролетариат после захвата государственной власти, после национализации основных средств производства, в области решения организационной проблемы строительства коммунизма, это — конституирование себя в качестве единого субъекта социалистического способа производства, это — образование аппарата управления производством на отдельной фабрике и во всем обществе и образование аппарата управления распределением произведенного продукта. Эта задача не односторонняя, это задача на целый исторический этап развития. Она включает не только механическую замену представителей и попытку представителей рабочего класса, а также подбор и подготовку новых кадров руководителей, организаторов и строителей из рядов пролетариата и близких к нему классов и слоев общества, это во-первых, и, во-вторых, расстановку людей на соответствующих местах в организации производства и управления производством на отдельной фабрике и во всем обществе. «При капитализме, — писал Ленин, — отдельные хозяева старались... добывать себе хороших приказчиков, управляющих, директоров. Теперь «хозяйном» является рабоче-крестьянское государство, и оно должно поставить широко, планомерно, систематично и открыто для подбора наилучших работников по хозяйственному строительству администраторов и организаторов специального и общего местного и общегосударственного масштаба»<sup>3)</sup>.

<sup>1)</sup> Ленин, Собр. соч., т. XVI, стр. 228.

<sup>2)</sup> Ibid., стр. 249.

<sup>3)</sup> Ibid., т. XVIII ч. I, стр. 245.

Организованный в государство пролетариат посредством национализации основных средств производства и посредством замены представителей капитала своими представителями в аппарате управления производством в отдельной фабрике и во всем обществе, преодолевает, в основном и главным, классовое деление людских элементов в производственном и распределительном аппарате. Этим путем уничтожаются производственные отношения капитализма и их социально-классовой формулировке, производственные отношения, как классовые отношения, но сохраняются в форме технических отношений, обусловленных данным состоянием производительных сил и данным уровнем техники. Словом, мы здесь имеем дело с процессом сознательного преодоления капиталистической формы организации труда и производства на отдельной фабрике и во всем обществе.

Но в результате преодоления классового отношения между рабочими и капиталистом на фабрике, между рабочим классом и классом буржуазии в обществе, исчезает капитал в качестве основного источника дисциплины и источника различия различных людских элементов в дружно работающую организацию производства и распределения продуктов. Обратной стороной процесса исчезновения прежнего капиталистического источника дисциплины и объединения труда является процесс зарождения новых отношений между людьми, которые свободны от классового антагонизма, отношений «внутри-классовых», т.е. между членами одного и того же организованного в государство пролетариата, отношений, основанных на равенстве. Революционным путем совершается переход количества в качество: капиталистическая кооперация или сотрудничество переходит в социалистическое сотрудничество на отдельной фабрике, общественное разделение труда и соответственная ему форма рыночной товарной связи между отдельными производителями превращается в техническое разделение труда в обществе со свойственной ему формой организованной связи между отдельными производителями. И организованный в государство пролетариат должен стать носителем этих новых форм организации труда и производства как на фабрике, так и во всем обществе. Он должен сознательно, планомерно, систематически работать над созданием, развитием и завершением этих новых, более высоких и совершенных по сравнению с прежними, форм организации. «Во всякой социалистической революции после того, как решена задача завоевания власти пролетариатом и по мере того, как решается в основном и основном задача: экспроприировать экспроприаторов, выдвигается необходимо на первый план коренная задача создания высшего, чем капитализм, общественного уклада, именно: повышения производительности труда, а в связи с этим (и для этого) его высшая организация»<sup>1)</sup>.

Та новая форма организации труда и производства, которая в эзотеричной форме возникает в процессе национализации основных средств производства, есть коммунистическая организация труда, основанная на равенстве, которая «держится и чем дальше, тем больше будет держаться на свободной и сознательной дисциплине самих трудящихся, ... не знающих над собою никакого ига и никакой власти, кроме власти их собственного объединения, их собственного, более сознательного, смелого, сплоченного, революционного, выдержанного авангарда»<sup>2)</sup>. Создать такую организацию труда, которая дер-

<sup>1)</sup> Ленин. Собр. соч., т. XV, стр. 208.

<sup>2)</sup> Ленин. Собр. соч., т. XVI, стр. 248 и 251.

жалась бы на свободной, сознательной дисциплине самих работников, это—дело долгой и упорной работы во всех отраслях строительства коммунизма. Для этого требуется гигантский рост производительных сил и производственных возможностей, для этого надо еще проделать такой широкий и глубокий культурный подъем миллионов трудящихся, который означал бы «победу над собственной косностью, распуцённостью, мелкобуржуазным эгоизмом, над этими привычками, которые проклятый капитализм оставил в наследство рабочему и крестьянину»<sup>1)</sup>. Следовательно, между моментом возникновения новой коммунистической организации общественного труда и моментом ее завершения лежит целая историческая полоса становления новой организации труда и производства, как коммунистической организации, основанной на действительном равенстве, на полном преодолении классов.

На протяжении всей этой исторической полосы развития, которая заполнит весь переходный, от капитализма к коммунизму, период наряду с развитием, становлением нового источника дисциплины и объединения, сохранит свою силу прежний источник дисциплины и объединения. Однако теперь он проявляется в форме диктаторства, порою довольно резкого, организационного в государстве пролетариата над всеми элементами разложения старого общества, связанными преимущественно с мелкой буржуазией, но нередко также с рабочим классом. Последний не отделен китайской стеной от частнособственнической среды, которая не может не оказывать своего разлагающего влияния на ряды пролетариата. И эти элементы разложения дают о себе знать то увеличением преступлений, хулиганства, безобразия всякого рода, то падением трудовой дисциплины, пьянством, прогулами, небрежными отношениями к своим трудовым обязанностям. Для борьбы с этими явлениями «нужно время,—говорит Ленин,—и нужна железная рука»... В силу этих же условий, «идя к повышению производительности труда, надо учесть особенности переходного от капитализма к социализму времени, которые требуют, с одной стороны, чтобы были положены основы социалистического соревнования, а с другой, требуют применения принуждения так, чтобы лозунг диктатуры пролетариата не осквернялся практикой киселеобразного состояния пролетарской власти»<sup>2)</sup>.

Однако по мере решения этой важнейшей задачи—создание коммунистической организации труда—диктаторство, принуждение все больше будет отходить на задний план перед свободной дисциплиной «сознательных, объединенных, использующих передовую технику, рабочих»<sup>3)</sup>, а вместе с этим будет сокращаться удельный вес аппарата управления людьми в общей системе управления страной. «Нет никакого сомнения,—говорил в этой связи Ленин в мае 1918 г. на съезде СНХ,—что, чем дальше будут двигаться завоевания Октябрьской революции, чем глубже пойдет этот переворот, тем больше, тем выше будет становиться роль советов народного хозяйства, которым предстоит одним только из всех государственных учреждений сохранить за собою прочное место, которое будет тем более прочно, чем ближе мы будем к установлению социалистического порядка, чем меньше будет надобности в аппарате чисто административном, в аппарате, ведающем собственно только управлением. Этому аппарату суждено, после того, как сломлено будет окончательно сопротивление эксплуататоров, по-

<sup>1)</sup> Ibid., стр. 242.

<sup>2)</sup> Ленин, Собр. соч., т. XV, стр. 210.

<sup>3)</sup> Ibid., т. XVI, стр. 255.

сле того, как трудящиеся научатся организовать социалистическое производство,—этому аппарату управления в собственном тесном, узком смысле слова, аппарату старого государства суждено умереть, а аппарату типа ВСНХ суждено расти, развиваться и крепнуть, заполняя собой всю главнейшую деятельность организованного общества»<sup>1</sup>).

Поэтому организованный и государство пролетариат в целях создания новой коммунистической организации труда и производства, новой дисциплины труда в основе своей работы ставит борьбу против опрощенного и возрождающегося вновь капитализма, против следов и корней капитализма в виде мелкого производства, против деления общества на классы, за развертывание принципа равенства, за полное преодоление классов. В процессе решения этой задачи, которое потребует целой исторической эпохи, и по мере ее решения, функция управления будет постепенно освобождаться от характера принуждения, господства. И на место «антагонистического момента» структуры капитализма будет воздвигаться гармоническая структура коммунизма, процесс последовательного становления которой начинается с момента утверждения организованного в государство пролетариата в качестве субъекта общественного хозяйства.

Итак, национализация основных средств производства, обращения, транспорта и сношений, так называемая «экспроприация экспроприаторов», есть только революционный акт, насильственное разрешение назревшего конфликта между количественным ростом производительных сил и той общественной формой, в которой этот рост совершается, в данном случае, частью собственническими отношениями. Этим актом организованный в государство пролетариат очищает себе дорогу, подготавливает основные экономические условия для успешного разрешения организационной проблемы, с которой только собственно и начинается строительство коммунизма. И организационная проблема строительства коммунизма сводится к овладению капитализмом созданной организацией производства и управления производством, чтобы из нее и на ее основе воздвигать, создавать новые отношения между людьми новую более высокую коммунистическую организацию производства и управления производством, чтобы на материальной и культурной основе, подготовленной капитализмом, строить коммунистическое общество.

Но всякая новая общественная форма организации производства и управления производством предполагает определенную степень развития производительных сил общества, определенную их зрелость. Капиталистическая форма сотрудничества, как мы видели, начинает превращаться в социалистическую только на высшей стадии развития капитализма, т.е. при империализме. При чем этот переход количественно в качество начинается и превосходит крайне неравномерно. То же самое надо сказать относительно превращения рыночной товарной связи в свою противоположность. Так что революционное возникновение нового социального типа организации производства и управления производством, из элементов, подготовленных капитализмом, на созданной капитализмом же материально-технической базе, будет означать следующий пятый шаг на пути к полному обобществлению труда и средств производства в масштабе всего общества, на пути к полной развернутой форме коммунистической организации производства основанной не на формальном, а на реальном равенстве. Так что в начале пути от капита-

<sup>1</sup> Ibid., т. XV, стр. 303.

лизма к коммунизму этот шаг будет ограничен во времени и пространстве теми хозяйственными «верхушками», которые еще капитализм в материальном и культурном отношении подготовил для восприятия новой формы отношений между людьми. Чтобы эта новая форма коммунистической организации производства и управления производством стала всеобщей, приняла общественные размеры, чтобы она количественно и качественно утвердилась как общественная форма организации производства и управления производством на началах реального равенства, для этого нужно обеспечить такой гигантский рост производительных сил и обусловленный им подъем культуры миллионов масс трудящихся, который превратил бы мелкое раздробленное производство в крупное машинное производство, который уничтожил бы противоположность между городом и деревней, между умственным и физическим трудом, который уничтожил бы поистине классы, т.е. уничтожил бы разницу между рабочим и крестьянином, превратил бы их в социалистических работников.

Следовательно, организованный в государство пролетариат, конституировав себя, как единого субъекта социалистического способа производства, образующего важнейшее звено в хозяйственной системе переходного периода, должен обеспечить такой быстрый темп развития производительных сил и производительности общественного труда, который в наискратчайший исторический срок мог бы доделать недоделанное в России капитализмом, мог бы процесс обобществления труда и средств производства продвинуть через все исторические ступеньки в общественном масштабе с тем, чтобы потом общим фронтом обогнать капиталистический мир, на общем фронте вести организацию новых отношений между людьми в процессе производства на отдельной фабрике и во всем обществе. А это он сможет обеспечить «только организационной перестройкой всего общественного хозяйства, переходом от единичного, обособленного мелкого товарного хозяйства к общественному крупному хозяйству. Такой переход по необходимости чрезвычайно длителен... Ускорить этот переход можно только такой помощью крестьянину, которая бы давала ему возможность в громадных размерах улучшить всю земледельческую технику, преобразовав ее в корье»<sup>1)</sup>.

Для того, чтобы такой рост производительных сил обеспечил и воспользоваться им для подобной «организационной перестройки всего общественного хозяйства», организованный в государство пролетариат должен был решить проблему такой количественной и качественной увязки социалистических форм организации производства и распределения продуктов с отсталыми капиталистическими и докапиталистическими формами организации, которая бы создала все необходимые условия для дружного продвижения вперед всей нашей хозяйственной системы к коммунизму, на основе мирных эволюционных методов обобществления. И единственным способом установления подобного производственного контакта и взаимодействия между социалистическим способом производства, с одной стороны, и капиталистическими и докапиталистическими формами и укладами общественного хозяйства, с другой,—могло быть только сохранение обмена, рынка, рыночных отношений между ними, как той формы общественной экономической связи, которая единственно свойственна и приемлема для всех этих отсталых хозяйственных форм. Отсюда перед организованным в государство пролетариатом стала новая задача: она

<sup>1)</sup> Ленин, Собр. соч., т. XVI, стр. 352.



деть этой капиталистической формой экономической связи и использовать ее для вовлечения в оборот с социалистическим производством всех отсталых форм производства, всех мелких раздробленных производителей, для подчинения их через оборот экономическому влиянию и воздействию социалистического способа производства в целях укрепления и развития последнего, для превращения товарной рыночной связи в свою противоположность,—в организованную, планомерно-настроенную связь; одним словом, для постепенного, в меру роста производительных сил, распространения новой формы коммунистической организации производства и управления производством на все общественное производство. Построение новой коммунистической формы организации производства, построение коммунистического общества есть проблема сознательного регулирования и направления взаимодействия между количественным ростом производительных сил и формой их организации, это во-первых, и между ростом производительных сил промышленности и земледелия, это во-вторых. Такое сознательное регулирование и направление взаимодействия всех этих факторов должно быть рассчитано на достижение основной цели, это—повышение производительности общественного труда.

Какие из этих факторов, по преимуществу, определяют более высокую производительность общественного труда, по сравнению с предыдущей, на отдельных этапах развития коммунизма, т.е. того «реального движения, которое уничтожает теперешнее состояние», и, в зависимости от этого, через какие стадии проходит это развитие коммунизма?

(Окончание следует).



# Еще раз о проблеме общественного труда в экономической системе Маркса.

(Ответ на антикритику И. Рубина<sup>1)</sup>).

С. Шабс

Предсказанное автором настоящих критических заметок оживление интереса к проблеме общественного труда, которого и довало ожидать в результате появления специально посвященному вопросу работы, и особой позиции, занятой в триковке и вступило, повидимому, в преддверие своего осуществления. Недале еще только вышедшая в свет книга—«Проблема общественного труда в экономической системе Маркса», о которой здесь идет речь<sup>2)</sup> уже обратила на себя внимание критики, которая обнаружила, правда, заметное расхождение и оценке ее теоретического значения. Это, однако, лишь первые предвестники борьбы вокруг обсуждаемого вопроса. Дальнейшее развитие ее получает знаменательное начало в следующем выступлении автора «Очерков по теории стоимости Маркса» И. И. Рубина с опровержением своих критиков.

Его антикритика<sup>3)</sup> представляет тем больший интерес, что И. И. Рубин, возглавляющий опровержаемое большинством марксистов особое самостоятельное направление в рассматриваемом вопросе, использовал на этот раз последние теоретические и полемические ресурсы для защиты своей точки зрения. Это выступление И. Рубина должно поэтому, по всей вероятности, явиться последней его попыткой отстоять свою атакуемую с разных сторон систему взглядов. Такое предвидение должно считаться тем более обоснованным, что, как убедится впоследствии читатель, именно теперь И. И. Рубин особенно и нагляднейшим образом сам замыкает порочный круг своей противоречивой и беспочвенной «социологической теории абстрактного труда». Отсюда критическое усечение этого последнего и заключительного издания защиты теории общественного труда И. И. Рубина должно, повидимому, значительно приблизить нас к той основной цели, к которой со справедливым нетерпением давно стремятся все последователи Маркса, к единому и подлинно-научному пониманию этой спорной категории в экономической системе марксизма.

\* \* \*

Со всем не является, конечно, новшеством и едва ли кого-нибудь поставит перед неожиданностью такой факт, как констатирование с первых же слов в антикритике «низкого теоретического уровня

<sup>1)</sup> В порядке обсуждения.

<sup>2)</sup> Названная моя работа вышла в свет в начале текущего, 1928 года изданием Госиздата.

<sup>3)</sup> См. статью в журнале «Под Знаменем Марксизма», № 3, 1928 г.

работы критика. Это стандартное почти начало потому и находит себе столь широкое применение в полемике, что оно в особо затруднительном положении имеет свое определенное полезное назначение. Не без надобности фигурирует оно, разумеется, и во вступлении И. И. Рубина к его антикритике.

И. Рубин—как это, впрочем, обычно и бывает—не только высказал это трафаретное заверение, но и с присущей ему основательностью постарался его «доказать». Под его мастерским, почти волшебным пером вся положительная концепция критика,—которому он местами не отказывает в последовательности,—превратилась попросту в «мешанину идей», сплошную и невылазную «путаницу понятий и терминов», а все критическое построение—в «плод фантазии», либо тенденциознейшей недобросовестности противника. В некоторых случаях, и притом очень важных для теории, и оказался «жертвой» собственного «легкомыслия» и «самонадеянности», упуская из виду подозрительность наличной переводной литературы; в других—обнаруживаю и «полное» с нею «незнакомство». Сам Рубин, наоборот, воочию обнаруживает во всем этом свое явное превосходство, а в особенности по части улавливания тончайших и сокровеннейших оттенков стиля и, не в пример своему критику, добросовестнейшим и внимательнейшим образом относится к взглядам противника.

Блестящий по полемическим достоинствам экскурс И. И. Рубина, ввергающий, казалось бы, противника в полное, можно сказать, ничтожество, заканчивается, однако, неожиданно надрывным, почти скорбным самоутошением, которое высказано им в следующих выражениях: «Мы можем быть благодарны Шабсу. Он не только сам проделал за нас работу доведения до абсурда своего собственного построения. Его пример также ярко освещает тот путь, на который, повидимому, вынуждены будут ступить все физиологисты» (стр. 126; разрядка моя.—С. Ш.).

Этот итог антикритики И. Рубина, после решительного «разгрома» и осуждения моей точки зрения, содержит в себе, помимо непонятной на первый взгляд скрытой скорбной нотки, также всю логику построения этого автора. В самом деле, как можно, будучи последовательным, после раскрытия полной несостоятельности определенной системы взглядов, проричать ей такую лестную перспективу? Каким образом, спрашивается, «мешанина идей» и «сочетание азбучных истин и элементарных ошибок» может «ярко освещать путь, на который, повидимому, вынуждены будут ступить все физиологисты», т.е. подавляющее большинство марксистов? Ведь острее всего было бы ожидать, что от этого «пути» «вынуждены» будут отшатнуться «все физиологисты». Скорее следовало бы, наоборот, думать, что ни один «физиологист» не решится больше ступить на этот путь и не последует «примеру Шабса», когда,—как это «доказал» И. И. Рубин,—«эта версия (т.е. моя.—С. Ш.) противоречит основам теории стоимости Маркса» (стр. 126).

Воистину надо обладать неискоренимой верой во всемогущество «мешанины идей» и «путаницы понятий», чтобы предсказывать такой «версии» столь заманчивую перспективу. И кто же, в конце концов, опять-таки высказывает «пренебрежительное отношение» к «противникам»,—я ли, когда, в согласии с самим Рубиным, утверждаю, что физиологическая версия лишена научного основания, или И. Рубин, когда он замечает восприятие «сочетания азбучных истин и элементарных ошибок» в качестве единственного «пути», открытого для «всех» физиологистов.

Самое существенное, однако, для нас, что содержится в этом признании И. Рубина, сводится вот к чему: И. Рубин, повидимому, чувствует или смутно сознает, что в моей трактовке проблемы есть нечто такое, что ему при всех усилиях и стараниях превратить в «мешанину идей» и «путаницу понятий» в глазах вдумчивого читателя никогда не удастся. Этим самым он косвенно признал свою нескромную долю активного участия в запутывании моих взглядов в угаре полемики. Между тем, сложность вопроса и тяжелый местами стиль моего изложения в упомянутой работе поставил и без того, повидимому, в затруднение среднего марксистского читателя. Настоящим, несколько более популярным дополнением к ней я надеюсь внести полную, в пределах возможного, ясность в развитые мною прежде взгляды. Читатель легко при этом убедится, где ему приходится иметь дело с «сочетанием азбучных истин и элементарных ошибок» и кто именно «проделал работу доведения до абсурда» построения противника. И пусть И. Рубин пеняет на самого себя, если, при всем желании сохранить тот уважения к его заслуженному авторитету и научным заслугам, мне придется по своей природе «юридического фетишизма» квалифицировать по соответствующим «статьям» амальгаму из диалектической фразеологии и вульгарной софистики ее собственными и нарицательными именами.

#### **1. Азбучные истины и элементарные ошибки и виткритике И. И. Рубина.**

Вне всякого сомнения, азбучную истину, почти трюизм, составляет в марксистской экономике положение, что двойственный характер общественного процесса в товарнопроизводящем обществе выражается не только в противоположности производства и обмена, но и в противоречивости каждой сферы воспроизводства в отдельности. «Установленное уже раньше посредством анализа товара (и обмена.—С. Ш) различие между трудом, поскольку он создает потребительную стоимость, и тем же самым трудом, поскольку он создает стоимость, теперь,—говорит Маркс,—выступает как различие между различными сторонами процесса производства»<sup>1)</sup>. Этого элементарного положения, однако, не только не усвоил автор «Очерков» времен моей критики,—но, более того, он успел уже после того вписать «новую главу» в свособразное свое понимание этой азбучной истины. Вот почему далеко не безынтересно еще раз вернуться к этому вопросу.

В моей работе резко подчеркивается то положение, что «труд в своей двойственной характеристике исчерпывается уже в производстве в той его общественной форме, в которой а priori предполагает обмен как форму распределения общественного богатства...» Возникающие в производстве экономические факты,—говорится дальше,—действующие здесь еще как потенция, «становятся явными», «проявляются» в движении в сфере их реализации в обмене (стр. 37). Это утверждение, подкрепленное у меня многочисленными цитатами из трудов Маркса, достаточно обосновывается уже следующей его мыслью: «Расщепление продукта труда на полезную вещь и вещь, воплощающую стоимость, осуществляется на практике лишь тогда, когда обмен уже приобрел достаточные размеры и достаточную важность для того, чтобы полезные вещи можно было производить специально для обмена,—а поэтому характер их

<sup>1)</sup> К. Маркс, Капитал, т. I, Гиз, М.—Л. 1923 г., стр. 168.

щей как стоимостей принимается во внимание уже при самом их производстве. С этого момента частные работы производителей действительно получают двойственный общественный характер»<sup>1)</sup>. Вместе с тем устанавливается методологически определенное понимание связи «обобщения определений труда от специфического характера структуры общества» (стр. 59). А это последнее в его развитой капиталистической форме определяется как «обобществленное на антагонистической основе целое, расчлененное на частные формальные элементы, тяготеющие друг к другу на всех стадиях процесса воспроизводства материальной жизни» (стр. 47).

Приведенный тезис, обстоятельно освещенный в моей работе, завершается следующей суммарной формулировкой: «В капиталистическом обществе частное детерминировано общественным, подчиняясь в самом целенаправлении общественной необходимости. Эта господствующая власть общественного над частным преобразует в стихии общественного процесса все отношения: поскольку воспроизводство рассматривается в его круговом движении как единство производства и обмена в их взаимной обусловленности, постольку труд частного товаропроизводителя, или частный труд каждого отдельного индивида, обуславливается в самом своем функционировании всем общественным целым (доставляющим ему средства производства и эквивалент за его продукт), — потому уже непосредственно в производстве определяется в своем общественном назначении и, следовательно, общественной значимости; частный труд приобретает в то же время характер общественного, труд приобретает двойственный характер. Акт обмена только реализует этот факт, но не создает его» (стр. 54—55).

Кратко изложенная здесь концепция противопоставляется мною совершенно отличной от нее концепции автора «Очерков», И. Рубина, которая исчерпывающе сформулирована им в следующем тексте: «Частным является труд отдельного члена общества, поскольку он не связан с трудовой деятельностью других членов общества. Взаимосвязанность и взаимозависимость трудовых деятельностей отдельных членов общества превращает их частный труд в общественный. Особенность товарно-капиталистического общества состоит в том, что эта взаимосвязанность проявляется только в акте рыночного обмена, этом пункте встречи отдельных независимых товаропроизводителей... Иначе говоря, пока товаропроизводитель занят своим конкретным специальным трудом, последний представляет труд частный: общественным он становится только через посредство акта рыночного обмена... Общественный характер труда проявляется в акте отвлечения (абстрагирования) на рынке от его конкретно-технической определенности» (стр. 100—101; разрядка моя. — С. Ш.)<sup>2)</sup>. «Труд товаропроизводителя, — говорится в другом месте, — который в непосредственном процессе производства является трудом частным, конкретным, сложным... и индивидуальным, благодаря акту рыночного обмена приобретает социальные свойства,

<sup>1)</sup> Там же, стр. 40—41; разрядка моя.—С. Ш.

<sup>2)</sup> Цитирую «Очерки» И. И. Рубина здесь и в дальнейшем по 2-му изданию (Гиз, М. 1924).

характеризующие его, как труд общественный, абстрактный, простой и общественно-необходимый» (стр. 95; разрядка здесь и всюду, когда это не оговорено особо, моя.—С. Ш.).

Понятно, что И. Рубин выступает против моего понимания вопроса и прежде всего против методологического обоснования определенного труда в моей работе. По его мнению, я в своей трактовке погрешил против всех общепризнанных авторитетов в марксизме и, разумеется, общепринятого представления о трактуемом предмете. Для доказательства приводится им следующая выписка из «Введения в политическую экономию» Р. Люксембург<sup>1)</sup>: «Раньше (в организованном хозяйстве.—И. Р.) каждая пара сапог, которую изготовил наш сапожник, уже заранее на колодке представляла собой непосредственно общественный труд. Теперь его сапоги представляют, в первую голову, частный труд, который никого не касается. Затем, лишь эти сапоги на товарном рынке просеиваются, и лишь, поскольку берут в обмен, затраченный на них труд сапожника признается общественным трудом». «В качестве частного лица,—цитирует далее И. Рубин,—он (сапожник) не является членом общества, и его труд, как частный труд, не является общественным... Каждая вымененная пара сапог делает его членом общества, и каждая непроданная пара сапог снова исключает его из рядов общества» (стр. 106).

И. Рубину, не я пример другим, хорошо знакомому со всей марксистской литературой, должно быть известно и другое произведение Розы Люксембург, ее «Накопление капитала», где тот же автор по этому же вопросу высказывает прямо противоположный приведенному взгляд. «Суверенное частное бытие отдельного капитала,—читаем мы здесь,—на деле есть лишь внешняя форма, поверхностное явление хозяйственной жизни,—форма, которую только вульгарные экономисты рассматривают как сущность вещей и единственный источник познания. При всех этих явлениях, выступающих на поверхность и при всех противоречиях конкуренции, все же несомненно тот факт, что все отдельные капиталы образуют одно общественное целое, что над их бытием и движением господствуют общие общественные законы»<sup>2)</sup>.

Легко видеть, что сама же Роза Люксембург обозвала И. И. Рубина «вульгарным экономистом» как раз за то, что он усвоил исключительно ее взгляды из «Введения». «Суверенное частное бытие отдельного капитала,—по И. Рубину,—независимое частное бытие отдельного товаропроизводителя»,—это, по мнению автора «Накопления капитала», «поверхностное явление», «внешняя форма», которую только вульгарные экономисты рассматривают как сущность вещей и единственный источник познания». Для автора «Очерков» такой реприманд должен казаться столь же ошеломляющим, сколь и неожиданным. В самом деле, только что он вверил судьбу своей теории в верные руки авторитетного популяризатора Маркса Р. Люксембург,—как вдруг та же Р. Люксембург, толкователь Маркса, сама же выдала с головой его, Рубина, теорию противнику. В какое же положение поставила Р. Люксембург своего «доверителя»!

<sup>1)</sup> Цитирую по журналу «Под Знаменем Марксизма» из статьи И. Рубина.

<sup>2)</sup> Р. Люксембург. Накопление капитала, изд. 3, Гиз, М., 1924, стр. 56; разрядка моя.—С. Ш.

Читатель, однако, естественно, вполне заинтересуется вопросом: кому же в данном случае, в конце концов, должны мы отдать предпочтение: Розе ди Люксембург, популяризатору Маркса, на которого опирается И. Рубин, или, наоборот, Розе Люксембург, толкователю Маркса, взгляды которого целиком совпадают со взглядами критика И. Рубина? Этому вопросу мы ниже даем исчерпывающее и, кажется, единственно возможное объяснение. Мимоходом лишь отметим, что «осторожность» автора «Очерков», которой как будто дышит каждая строка его антикритики, с первого же шага поставила нас перед серьезным сомнением.

Не угодно ли,—И. Рубин, многократно иронизирующий над моей «легкомысленной» доверчивостью к переводчикам, сам же, оказывается, весьма легко и без оглядки доверяется популяризаторам. Между тем, если последовательно усвоить вместе с И. Рубиным приведенный из «Введения» Р. Люксембург взгляд, что «каждый» меновый акт «дела ег» товаропроизводителя «членом общества», а след за тем «исключает его из рядов общества»,—то каждого рабочего по увольнении его с работы придется «исключить из рядов общества», а безработного и вообще не придется включать в «члены общества», ибо не «выменял» он своей рабочей силы. Нечего и говорить, что безработица перестает существовать как общественное явление, а проблема «резервной рабочей армии» оказывается введенной Марксом в его экономическую систему всуе. В обобщенном выражении эта идея, взята из практики простого товарного производства, в применении к товарно-капиталистическому должна означать, что фабрики, заводы, рудники и поля со всеми их живыми и деятельными участниками «исключены» из «общества»; единственным средоточием «общества» оказывается, вульгарно выражаясь, базар.

Читатель, конечно, уже сам догадывается, что кризисы и депрессии не относятся к разряду общественных явлений. Да и существует ли капиталистическое общество во время кризисов вообще? Ведь тогда как раз почти прекращается «обмен» всяких товаров вообще, товара «рабочая сила»—в частности,—и, следовательно, все общество «исключается из рядов общества». Как далеко можно уйти с таким представлением о товарнопроизводящем обществе в исследовании закономерностей развития капиталистического общества со всеми заложенными в нем противоречиями и классовыми конфликтами, выяснять уже, конечно, не приходится. Но как мог чуждый «легкомыслию» автор «Очерков», монополично занимающий «высоты» теоретического познания,—как мог он занять себя безоговорочным приверженцем такой наивной, в лучшем случае, механической концепции общества,—это, на первый взгляд, должно казаться совершенно необъяснимым.

И. Рубин, когда это ему нужно, упрекает всех комментаторов в том, что они «некритически анализируют» Маркса. Мне же он рекомендует тут «некритически» усвоить взгляды самих комментаторов. Но если бы И. Рубин, иронизирующий над тем, что я смотрю «в корень» вещей, сам не увлекался поверхностной видимостью явлений, то он не попал бы в данном случае в столь прискорбное для него положение «вульгарного экономиста». Если бы автор «Очерков» не почитал необходимым упорствовать в отстаивании своих заблуждений и не пытался покрыть свой первородный грех, уже разоблаченный моей критикой, он мог бы уразуметь и сам, что научное мышление имеет

различные ступени развития, и что то, что на одной ступени является истинным, на другой—является заблуждением. Так, напр., в элементарной математике  $V$  — не имеет никакого смысла; напротив, на более высокой ступени науки, в алгебре, это выражение осмысливается. В представлениях начальной географии земля рисуется в виде шара; на дальнейшей ступени науки выясняется, что это не так, и почему это не так. Я, оказывается, обнаружил «легкомыслие», рассматривая «Очерки» И. И. Рубина как более высокий тип теоретической работы, в полной противоречии с их оценкой самими их автором.

Итак, И. И. Рубин, уверовавший—не знаю, по «легкомыслию» или наоборот—в «сапожника» Р. Люксембург (который, еще раз напомню, «в качестве частного лица... не является членом общества»), нам уже сам выснил основание, которое позволило ему утверждать, что «труд товаропроизводителя, который в непосредственном процессе производства является трудом частным, конкретным... и индивидуальным, благодаря акту рыночного обмена приобретает социальные свойства, характеризующие его как общественный абстрактный» и т. д. («Очерки», стр. 95). Только эта слепая вера в будущего «сапожника» дала ему основание отстанывать взгляд, будто «абстрактный труд появляется только в действительном акте рыночного обмена» (стр. 103; разрядка самого Рубина.—С. Ш.).

Но после того, как сам же И. Рубин так отчетливо, убедительно и недвусмысленно нам доказал, как мыслит себе он связь «непосредственного производства» с общественной формой, с обществом, он имеет печальное мужество возмущаться против моего вывода из анализа его концепции, что он рассматривает «по существу производство вне его общественной формы» («Проблема общественного труда», стр. 77). Я пришел к этому выводу из последовательного раскрытия этого его неправильного понимания экономической структуры товарно-капиталистического общества. Он же утверждает, что к такому выводу я мог прийти только благодаря «полному» неведению природы товаро-производящего общества вообще.

«Только благодаря грубой путанице понятий и терминов,—в словах восклицает И. Рубин,—Шабс мог прийти к утверждению, что я рассматриваю процесс производства вне его общественной формы» (стр. 107). Это нелепое обвинение Шабса объясняется тем, что он совершенно не понял, что означает слово «частный» у Маркса... Мало-мальски подготовленному читателю должно быть известно, что у Маркса термин «частный» (private) труд не имеет ничего общего с материально-техническим трудом и уже заключает в себе указание на общественную форму труда, организованного в виде товарного хозяйства. «Если я говорю,—продолжает Рубин,—что труд является «частным», то я уже утверждаю, что он организован в определенной общественной форме» (Там же, разрядка самого Рубина.—С. Ш.).

Оставим пока открытым вопрос о том, «понял» ли или «не понял» Шабс, что означает слово «частный» у Маркса; в соответствующем месте мы еще в этом разберемся. Поставим лучше в данном месте более актуальный в настоящей связи вопрос: понял ли И. И. Рубин хотя бы самого себя? В самом деле, только что он срамил меня перед широкой публикой «незнакомством» с таким «важным» положением в «Введении в политическую экономию» Р. Люксембург, как то, где пишется, что «в качестве частного лица он (сапожник) и



является членом общества» и что «его труд как частный труд не является общественным». Еще очень недавно И. Рубин собственными словами,—а не только словами Р. Люксембург,—высказывал взгляд, что «труд частный, конкретный» и т. д. в непосредственном процессе производства, лишь «благодаря акту рыночного обмена приобретает социальные свойства». Теперь он же мечет громы и молнии за то, что я ему «нелепо» якобы приписал такое как раз понимание, какое он сам только что отстаивал против меня.

Тут уж мы начинаем понимать, как представляется автору «Очерков» «субъект диалектики» в противоположность «объекту диалектики». Умудренный критикой наш автор, стоящий одной ногой еще в прошлом, а другой уже—в будущем, незаметно попал в безысходное противоречие. Здесь куда ни шагнешь,—попадешь не в ту дверь. А внюю всему—«критически» подхваченные тексты из Р. Люксембург, в особенности только что приведенный. Отказаться, однако, от второй половины цитаты нельзя без того, чтобы не отбросить и первую половину ее, ибо последняя вытекает из предыдущей. Но, отказавшись от нее целиком, И. Рубин признал правоту критика. Конечно, это никуда не годится. Но и оставаться сторонником понимания Р. Люксембург целиком уже теперь тоже никак не возможно. Ибо автор «Очерков» имел неосторожность в дальнейшей связи признать, что подобное понимание ничего общего с марксизмом не имеет. А ведь этим он опять признал правоту все того же «легкомысленного» и «самонадеянного» критика. А в конечном итоге и крик И. Рубина о «нелепом обвинении Шабса» превратился в нелепость. Ведь и так и этак остается вполне доказанным, что И. И. Рубин в своих «Очерках» из-за деревьев не видел леса и из-за «колодки сапожника» проглядел «общество».

Но далее. На чем основывается И. Рубин теперь, когда он говорит: «Я утверждаю, что в фазе непосредственного производства труд является непосредственно частным н... «потенциально общественным» (стр. 106). Ведь этим он опять-таки неблагоприятно платит черной изменой облагодетельствовавшему его только что «нашему сапожнику»! И во имя чего это, главное, делается? Оказывается, только для того, чтобы в полном небрежении к отстаивавшейся в начале против меня версии исправить пошатнувшиеся дела, вступив на почву моей трактовки, из которой с железной необходимостью вытекает, что «возникающие в производстве экономические факты, действующие здесь еще как потенция, проявляются в движении в сфере их реализации, в обмене» (стр. 37). Ведь это у его критика, а не у самого Рубина, сказано, что «анализ отношений, возникающих и действующих потенциально в производстве, наглядно помещается в процессе обмена, — этой сфере проявления и «реализации этих отношений» (стр. 81) и т. д. и т. п.

После того, как автор «Очерков» так «делкатно» обошелся со своим Россиянином, на котором он думал выехать против меня, не является уже неожиданностью та благодарность, которую он воздал набедакурившему ему критику. Этим, однако, И. Рубин окончательно фиксирует новое и притом весьма своеобразное противоречие: ибо, не порвав словесно с концепцией «Очерков», он в то же время усвоил точку зрения противника на деле; оставаясь на словах противником «органического единства» общества, он на деле похерил противоположное свое предыдущее «механическое» понимание обще-

ства<sup>1)</sup>. А если так,—а это именно так,—то кто же в действительности претерпевает на наших глазах чудесные «диалектические превращения»?

<sup>1)</sup> Конечно, было бы большой несправедливостью приписывать И. Рубину последовательное усвоение «органического единства» товаропроизводящего общества. Отсюда у него зато прорастает целый ряд недоразумений. Так, с одной стороны, И. Рубин утверждает, что «правовые отношения» являются «выражением экономических (производственных) отношений людей» (стр. 112); с другой,—он же бросает мне упрек в том, будто я «не доисследую» «атомистический характер товарного хозяйства, и именно я силу этого вынужден признать отличительной чертой последнего чисто-юридический атомизм» (стр. 115). Все это является, мне кажется, результатом неглубокого, отчасти даже пренебрежительного представления И. И. Рубина и об «атомистическом», и о «молекулярном» строении товаропроизводящего общества.

На деле «атомизм» буржуазного хозяйства сам по себе, действительно, находит свое выражение в юридической характеристике общественного производства. Наоборот, при переходе к рассмотрению молекулярного строения общества, являющийся сцепления общественных атомов, мы вступаем в непосредственную область экономических фактов, содержание которых отнюдь не определяется и не выражается «правовыми отношениями», как это полагает И. Рубин. Чтобы это положение развить с большей ясностью, разберем наиболее наглядное и наиболее распространенное в товарно капиталистическом обществе производственное отношение, отношение между капиталистом и рабочим. В нем, как и во всех других вообще, «экономическая молекула» имеет «двуатомное строение»: а, кроме того, еще состоит из разнородных элементов. Как изолированные «атомы», рабочий и капиталист стоят рядом друг с другом, как равноправные, независимые товаровладельцы прежде всего. Юридическая формула *do ut facias* выражает собою только эту наиболее общую сторону характера общественного атома в буржуазном обществе, но и выражает отчетливо характерные особенности каждого из них, как общественного индивидуума определенной категории, особого класса. Но что из себя представляет сложное экономическое образование в них—«экономическая молекула»—по содержанию, экономическое существо этого отношения,—эта формула не выражает. Более того, юридическая формулировка отношения между капиталистом и рабочим (*do ut facias*) и только не выражает экономического содержания этого производственного отношения, но и прямо его затеняет. Оспаривать это можно, только прибавив о фетишизме «заработной платы». В соответствии с этим у меня юридическая характеристика выражает собою обособленное атомное начало в обществе, экономическая—связанное молекулярное начало в нем. Ясно, конечно, что в экономическом анализе исходное и главенствующее значение имеет именно молекулярное строение общества, подавляющее экономическая сторона общественного процесса, а не односторонне-юридическая, атомистическая, немалое дело с изолированным атомом. Последняя выражает собою лишь экономическую предпосылку (исторически, но не хронологически, как исполняет И. Рубин, внешнюю форму производственного отношения, но ни в коем случае, повторю, не экономическое содержание (и экономическую форму), составляющее подлинный предмет теоретической экономики непосредственно. Следствием этого и диалектическим развитием экономического анализа и атом буржуазного общества, поскольку он рассматривается, как негредит молекулы, получает экономическую характеристику, но преимущественно, а не ограничивается одной только юридической, образующей предварительную стадию выяснения его природы. «Маркс,—скажу я тебе,—говорит о «действенном общественном характере частной работы»; иначе говоря, Маркс определяет в самом частном (формальном) труде двойственное (для экономического анализа) выражение» (стр. 62). И это—не случайно брошенная фраза, а итог систематически проведенного предварительного анализа.

Из сказанного очевидно, что утверждение И. Рубина, будто у меня имеется «разрыв» между юридическим и экономическим элементами и одностороннее и противопоставление, неверно. Юридическое вовсе не элиминировано из экономического, ибо в самом их противопоставлении по различию и находит себе выражение и их соотношение по родственному. Напротив, сам И. Рубин всегда в своих «Очерках» экономический анализ общественных определений труда в фаворе юридической концепции общества, клонит к той же ошибке и теперь, когда он склонен искать характеристики атомистического начала товарного хозяйства преимущественно в экономике, а молекулярного—в праве. А ведь к этому же существу сводятся приведенные выше его суждения, которые в таком случае далеко не непогрешимы.

ния», обретая столь уместно, но вместе с тем и причудливо, «потенцию» для своей импотентной точки зрения?

Теперь уже понятно и то, почему И. Рубин, после того, как он разделился со мною в начале полемики за подчеркиваемую мною «всестороннюю экономическую зависимость» товаропроизводителей в развитом товарнопроизводящем обществе, в дальнейшем поворачивает фронт и нападает на меня уже за то, что я игнорировал якобы то же самое в его изложении в «Очерках». Возводя мой давешний грех в свою заслугу, И. Рубин заявляет: «Если бы Шабс не оборвал нашу цитату, а продолжил ее дальше, то он прочел бы у нас сейчас же вслед за приведенными им словами следующие слова: «Зависимость производителя от рынка означает зависимость его производительной деятельности от производительной деятельности всех других членов общества» (стр. 114).

Для того, чтобы оценить по достоинству брошенное только что обвинение в недобросовестности, обоснованное тем, будто я обрывал тексты И. Рубина к явной его невыгоде для намеренного искажения его взглядов, достаточно процитировать дальнейшее изложение из моей работы, на котором так лекстатически оборвал мой текст сам же Рубин. «Необходимо отметить,—говорится в указанном месте,—что дело не обходится (у И. Рубина.—С. Ш.) без противоречий и здесь. Автор тут же рядом выясняет нам, что «зависимость производителя от рынка означает зависимость его производительной деятельности от производительности от производительной деятельности всех других членов общества». Как сочетать эту «зависимость в производительной деятельности» с «производством» в своем предприятии,—это остается тайной самого автора. Но главная беда еще в том, что как раз об этой «зависимости производителя в производительной деятельности» совершенно позабыто в главе об «Абстрактном труде». Вель основной его тезис,—что «пока товаропроизводитель занят своим конкретным трудом, последний представляет труд частный», — покончит как раз на предпосылке экономической автономности товаропроизводителя в производстве... «Особенность товарно-капиталистического общества (цитируются «Очерки».—С. Ш.) состоит в том, что эта взаимозависимость проявляется только в акте рыночного обмена». Таким образом,—заключается мое изложение,—рассмотренное нами выше определение «воли»,—относь не lapsus linguae автора «Очерков». Это представление о воле покончит на его действительном понимании структуры производства в товарно-капиталистическом хозяйстве» (стр. 52—53) <sup>1)</sup>.

<sup>1)</sup> Вполне аналогично тому, как И. Рубин упрекнул меня в игнорировании марксистских авторитетов при обсуждении вопроса о природе товаропроизводящего общества, так он теперь пытается объяснить критику его словопотребления («производл») «полным» моим «незнакомством» с марксистской литературой. У Карла Каутского, которого, в конце концов, уже никак нельзя заподозрить ни в незнакомстве с экономической литературой, ни в легкомысленной доверчивости к переводчикам, — ибо, как известно, он писал на родном языке автора «Капитала»,—встречается в его популярном изложении «Капитала» такое, напр., место: «Между прибавочной стоимостью и прибылью существует такое же различие, как между стоимостью и ценой» (начало IV главы). Хотя это выражение занимает у него место аналогичное, но спрашивается,—если бы я черпал из такого источника элементы для критики И. Рубина, то разве избежал бы я той беды, в которую он сам угодил благодаря своим увлечениям популяризаторами? Или

Разобраться в этом «добросовестно» обоснованном обвинении меня в недобросовестности будет, конечно, не трудно. Не для этого одного, однако, приведена мною эта длинная выписка из моей критики «Очерков». Читатель, вероятно, заметил, что новая протнворечная точка зрения И. Рубина, примиряющая «потенцино» «экономических фактов» в производстве с импотентной философией «исключенного из рядов общества» «сапожника», имеет своего славного предшественника в «Очерках» «предыдущего издания». Отсюда следует также уяснить себе, почему автор «Очерков» отдает предпочтение новому протнворечному построению и тут же бросает упрек критнику в «недобросовестности» за раскрытие предыдущего. Не хочется ли И. И. Рубину во что бы то ни стало отстоять в полной неприкосновенности свою ортодоксальную «мешанину идей», во всемогущество которой как мы уже указали, он питает такую неугасимую веру? Тогда «рассудку вопреки» следует ожидать, что автор «Очерков» еще когда-нибудь при случае вновь набросится на меня за «недобросовестное» раскрытие обретенного им второго, столь пикантного «сочетания азбучной истинны с элементарной ошибкой».

Впрочем, И. Рубин при всей протнворечности его новой позиции сделал, сам того не сознавая, огромный шаг вперед. Прежде абстрактный и общественный труд «рождались» только «благодаря акту рыночного обмена»; здесь главенствовала версия с «сапожником», остальное оставалось *sine usu*. Ныне, когда «непосредственное производство» обрело себе «потенциально-общественный труд», «сапожник» сохранен лишь в качестве обслуживающего на предмет посрамления «легкомысленного» протнвника. Фактическая же «власть» перешла к точке зрения критика, — хотя последняя, конечно, еще не признала *«de jure»*.

Итак, попытка И. Рубина доказать «невысокий теоретический уровень книжки Шабса» на важнейшем и решающем вопросе методологии закончилась, мягко выражаясь, полной неудачей: всякий согласится, что это ему, пожалуй, скорее удалось в отношении собственных же «Очерков». Но увенчивается этот первый «успех» И. Рубина на следующем этапе антикритики. Здесь автор совершенно для нас неожиданно попадает почти в трагическое положение, обнаруживая воочию, как на почве «азбучной истинны» можно впасть даже в удручающе грубую ошибку.

И. Рубин, конечно, весьма скептически относится к моей «прояв-

вель, что «общепринятое словоупотребление» («произвол» и т. п.), это—опознание, доведения до гиперболы подлинно-научная терминология, кахотшаяся на уровне соответствующей популярной экономической «поззии» («познание» из права, добавим). Однако до тех пор, пока сам И. Рубин не займется тем, что в переоценки теоретические достоинства его «Очерков», в высшей оценке которых сходятся пока все марксисты, невзирая на ошибки, допущенные в них—до тех пор критика обязана будет предъявлять к ним те повышенные требования, которые справедливы при данном к ним отношении.

Что же касается взятого под сомнение Рубиным моего словоупотребления, когда я заменяю марксово выражение: «характер вещей, как стоимостей (т. е. потребительных стоимостей для других, для общества), принимается во внимание при самом их производстве», выражением: «учет потребностей общества» уже в производстве,—то мне их смысл кажется вполне тождественным. Это словоупотребление было бы неудачным, если бы его кто либо мог почить так, что во «учетом потребностей общества» имеется в виду «бухгалтерский учет» ~~каждого~~ производителя потребностей всего общества. Для такого читателя, однако, и стоило бы принести в жертву отчетливое словоупотребление, соответствующее духу и смыслу определенной методологической трактовки предмета.

водственной» точке зрения. Иронизируя и по этому поводу, он известному уже моему положению, что двойные определения труда «конституируются», «возникают» уже в производстве и «реализуются» в обмене, противопоставляет как противоречащее якобы ему другое мое же утверждение, которое гласит: «Общественное отношение производства в товарном обществе осуществляется посредством обмена товарами» (стр. 82). «Если,—умозаключает И. Рубин,—общественное отношение производства осуществляется посредством обмена, то, следовательно, производство именно посредством обмена приобретает общественный характер. Если производство становится в товарном хозяйстве общественным посредством обмена, то очевидно, что и труд становится общественным и абстрактным посредством обмена... Именно это положение,—торопится он признать,—я и подчеркивал с особой силой в своих «Очерках» (стр. 101).

Тут И. Рубин *implicite* разоблачил свою неспособность устоять иногда простейшие вещи. Прежде всего поражает, разумеется, то, как превосходный переводчик с иностранных языков на русский И. Рубин так алиповато грубо переводит русский язык на «язык» его понимания. В самом деле, откуда это следует, что если «общественное отношение производства осуществляется посредством обмена», то «производство именно посредством обмена приобретает общественный характер»? Не имеем ли мы здесь дело с рецидивом «сапожничьей» философии и методологии и одновременной утратой так удачно приобретенного «потенциального» общественного труда нашим автором? И не казалось ли вновь опять-таки его неумолимое тяготение к возведению «акта рыночного обмена» в создатели абстрактного и общественного труда?

Так или иначе, плененный, повидимому, своим собственным заблуждением, будто «производство становится в товарном хозяйстве общественным посредством обмена, и что труд становится общественным и абстрактным благодаря акту рыночного обмена», И. Рубин пытается без видимого основания перебрести мост от своего непонимания существа вопроса к подлинному моему представлению о нем. А корень ошибки (именно «корень»!) И. Рубина заключается, увы, в том, казалось бы, пустяке, что никак нельзя было даже себе и представить, что автор «Очерков» на этом пункте именно будет сбиваться с пути. «В простоте душевной», выражаясь салонным стилем И. Рубина, наш автор думает, что если я скажу, что нахождение веса тела «осуществляется посредством взвешивания», то тем самым я признаю, что именно посредством взвешивания тела «приобретают» вес. Всякий школьник и нешкольник понимает, что тела потому и поддаются взвешиванию (т.е. сравнению по весу), что они имеют вес *a priori*, а не так, что тела «приобретают» вес посредством взвешивания или благодаря взвешиванию. Но этого никак не может одолеть один из наиболее образованных и видных те. ретиков политической экономии И. Рубин. По его мнению, если сказать, что тепловое состояние тел имеет своим источником молекулярные движения в материи, и рядом с этим сказать, что теплота получается посредством удара, трения, сжатия и т. д., то тем самымпадают в досаднейшее противоречие. У И. И. Рубина своеобразный подход к познанию явлений вообще. Вместо того, чтобы отправляться от познания внутренних причин явления к объяснению его внешней видности, он, наоборот, возводит самую поверхность явления в непосредственный источник их зарождения и познания.

Такой способ исследования не является, вообще говоря, новым в политической экономии. И это как раз подало Марксу повод высказаться относительно подобного подхода к научному исследованию в известном письме его к Кугельману: «Вульгарный экономист, — говорит Маркс, — думает, что делает великое открытие, когда он разъяснению внутренней связи противопоставляет тот факт, что в явлениях вещи имеют иной вид. И выходит, что он гордится тем, что пресмыкается перед видимостью, принимает видимость за конечное объяснение. К чему же тогда вообще наука?»<sup>1)</sup>), — вполне резонно ставит вопрос Маркс.

Любая наука, как известно, вынуждается прибегать в том или другом случае к гипотезе тогда, когда она не в силах найти подлинную «внутреннюю причину», «конечное объяснение» явления. И. Рубину это вовсе не нужно. Он не ставит вопроса, почему возможно приравнение товара к деньгам. Ему самое «приравнение», как пресловутая жар-птица, несет в своем клюве то «конечное объяснение», которое должно еще обосновать, обусловить самую возможность приравнивания. И тут становится до очевидности ясным, где зарыта собака всех злоключений автора «социологической теории абстрактного труда». Когда Маркс говорит: «Приравнивая... различные продукты как стоимости, они (люди) тем самым приравнивают... свои различные работы как человеческий труд»<sup>2)</sup>, И. Рубин, ничтоже сумняшеся, умозаключает, что, следовательно, отсюда, т.е. из «приравнивания» продуктов «как стоимостей», возникает абстрактный (человеческий) труд. Так трактует он наперекор Марксу, который до того в самом начале изложения ясно установил связь между абстрактным трудом и меновым отношением. «Каково бы ни было их (двух данных товаров. — С. Ш.) меновое отношение, — говорится в I разделе I тома «Капитала», — его всегда можно выразить уравнением, в котором данное количество пшеницы приравнивается известному количеству железа, например: 1 четверть пшеницы = 2 центнера железа. Что говорит нам это уравнение? Что в двух различных вещах... существует нечто общее равной величины» (стр. 3). Для того, чтобы резко подчеркнуть ту мысль, что это «нечто общее» мыслится им как предпосылка, а не результат уравнения, Маркс иллюстрирует его еще геометрическим примером. И. Рубину остается поэтому еще договориться, что два треугольника «по средством» приравнивания «приобретают» равенство из-за того только основания, что равенство треугольников устанавливается путем приравнивания.

Теперь мне не приходится уже извиняться перед читателем за то, что я задерживаю его внимание на «азбучных истинах», ибо И. Рубин, а никто другой, своими вопиющими ошибками прямо к этому вынуждает. В особенности не было бы необходимости возвращаться к этому именно вопросу после того, как в моей работе эта сторона его обоснования подверглась обстоятельнейшему освещению. Насколько далеко я шел в выводах по данному вопросу, свидетельствовать может, например, следующее место из моей работы: «Абстрактный труд не создается ни обменом, ни производ-

<sup>1)</sup> К. Маркс, Письма к Л. Кугельману, Гиз, Петербург 1920, стр. 63—64, разрядка моя.—С. Ш.

<sup>2)</sup> К. Маркс, Капитал, т. I, стр. 41; разрядка моя.—С. Ш.

ством—вот каков должен быть вывод из учения Маркса. Всеобщий, т.е. абстрактный, характер труда есть его имманентная субстанциональная природа, поскольку труд абстрагирован от особого конкретного способа, которым произведена затрата его» (стр. 154). Я хотел этим сказать, что если дан конкретный ряд разнородных объектов, то для сведения их к «общему» это «общее» должно существовать в них как воспринимаемая в мышлении предпосылка, независимо от видимого их разнообразия. И только, поскольку «общее» существует в этом ряду конкретных индивидуумов как нечто присущее им по объективной их природе, т.е. дано как предпосылка,—все они могут быть сведены к общему и приравнены на его основе. В полном согласии с Марксом я утверждаю, что до выяснения и вне выяснения характера труда, «создающего» стоимость, нельзя познать природы денег. Но после того, как характер этого труда уже выяснен, я вовсе не впадаю с этим в противоречие, когда я пишу, что «приравнение труда» в товарном обществе «осуществляется» путем «приравнивания продуктов труда». Ударение здесь не на слове «приравнивание», а на «продуктах труда», на явлении фетишизма товарных общественных отношений, «смущающих» некоторых экономистов.

Но, очевидно, лишь для того, чтобы выставить себя в самом неприглядном виде, «детски-наивный» (из словаря И. Рубина) автор «Очерков» «ловит» меня на «противоречии» здесь. «Против своей воли,—пишет он,—Шабс вынужден признать, что приравнение труда происходит через приравнивание продуктов труда как стоимостей». «Посредством продуктов труда,—цитирует меня И. Рубин,—составляется здесь и самый труд» (стр. 94). «В цене товара дано приравнение труда, затраченного на производство товара, к труду, овеществленному в товаре» (стр. 152). «Наш проницательный критик,—торжествующе заключает отсюда Рубин,—не догадывается, что он жестоко бьет самого себя» (стр. 105, примечание).

Что сказать о теоретическом уровне собственной трактовки И. И. Рубина, если в ней не укладывается необходимое разграничение познаваемой в теории «внутренней причины» явления и фетишистической практики внешнего его проявления. А ведь это же из азбуки научной методологии. И не напрасно ли И. Рубин кивает в мою сторону многократными призывами к элементарной грамотности. Во всяком случае, эти старания автора «Очерков» смутить повешенного якобы критика упоминаниями о веревке обратились на сей раз явно против него же. На деле его антикритика в методологической части действительно держится на потрепанной веревке вместо серьезной теоретической аргументации.

Тут необходимо заметить, что от серьезного обсуждения важнейших спорных пунктов теории общественного труда И. Рубин уклонился в своей антикритике. Поглощенный голым идеей реванша, без видимого интереса к действительной цели спора, си на протяжении всей антикритики изощряется лишь над тем, чтобы всеми доступными средствами посрамить своего критика в глазах читателя. Для этого сверх всяких «черевошек», которые и бедном теоретическим аргументами «хозяйстве» всегда, конечно, «пригодятся», И. Рубину служит обильный «настойный словарь» отборнейших эпитетов (куда моему тощему «карманиному» словарю!), и ним сопровождается каждая моя мысль, каждая фраза, заранее объявляемая путаницей, дабы обрести себе перед внешним миром законное оправдание за ее запутанность. Но что особенно характерно в данном случае для вну-

трениего безверия автора «Очерков» (на мой взгляд, невзирая на шумные крики: «гром победы раздавайся»,—вся его антикритика является ярким свидетельством того, что он основательно поколебался в своей твердой вере в его же собственную теорию вопроса), что он ставит противнику «коварные» вопросы, совершенно не заботясь о том, есть ли у него самого удовлетворительный на них ответ.

Собственно говоря, задача с «тремя неизвестными», которую И. Рубин мне ставит в своей антикритике, мною уже решена и в том случае, если бы объяснение, ранее данное мною, и было оспорено. Речь идет об объяснении фрагмента из раздела о «товарном фетишизме», подробно разобранным у меня в первой, а частью—в пятой главе (см. стр. 55—62 и 149—155). Я продолжаю держаться того мнения, что историческому периоду, когда люди производят «специально для обмена», Маркс мог тут противопоставить тот только период, когда производили «для обмена», но не специально, а лишь эвентуально, т.е. более раннюю ступень развития товарного производства. Противопоставление дотоварного производства натуральной формы хозяйства здесь просто не имело бы никакого смысла.

Размеры журнальной статьи не позволяют вновь подвергнуть более обстоятельному рассмотрению данный вопрос. Мы поэтому вслед за И. Рубиным рекомендуем читателю обратиться непосредственно к относящемуся к предмету спора материалу и, прежде всего, к более широкому охвату текста из раздела о «товарном фетишизме». Тут он найдет достаточно элементов для подтверждения моего объяснения; в частности периодическое возвращение от одной общественной формы к другой (что так смущает И. Рубина) встречается здесь не только при переходе от одного абзаца к другому, но и в пределах одного и того же абзаца. Пример тому абзац, начинающийся словами: «Размышление над формами человеческой жизни, а следовательно, и научный анализ этих форм, избирает, вообще говоря, путь—противоположный их действительному развитию»<sup>1)</sup> и т. д.

А перед автором «Очерков» И. Рубиным стоит неизмеримо более трудная (при его, разумеется, точке зрения) задача—объяснить, каким образом физиологически характеризуемый абстрактный труд мог уместиться рядом и в связи со стоимостью не только во взятом им под сомнение разделе о «двойном характере заключающегося в товарах труде», но также и в разделе о товарном фетишизме в одном

<sup>1)</sup> К. Маркс, Капитал, т. I, стр. 43.—У И. Рубина насчет аргумента против своего критика дела обстоит из рук вам плохо. Ему приходится поэтому рядиться в яркие одежды, густо накладывать полемическую косметiku и делать хорошую мину при плохой игре. Такой, в общем, смысл имеет «нагрузка» аргументации его глубокомысленным сопоставлением текстов из последовательных изданий «Капитала». «Приведенное толкование Шабе,—заявляет он,—не находит себе никакой опоры в тексте Маркса. Но, помимо этого, мы можем привести прямое доказательство его ложности» (стр. 106). А «прямое доказательство» он находит так, конечно, где никакого «доказательства» вообще и не найти. Сопоставив редакцию одной цитированной у меня фразы по двум изданиям (1-му и 2-му) «Капитала», он устанавливает, что «во втором издании «Капитала» Маркс совершенно изменил смысл этой фразы, с очевидным намерением подчеркнуть, что приращивание труда происходит в товарном хозяйстве только через приращивание вещей. Как же теперь выпутается Шабе,—спрашивает И. Рубин,—из своего затруднительного положения?» (стр. 106). Читатель, конечно, подумает, что я цитировала «эту фразу» по первому изданию, во первых, и, кроме того, толковала ее в духе этого 1-го первого издания, во вторых. На деле здесь не было ни того, ни другого. И в этом видит «затруднение» у меня автор «Очерков». По его мнению, из моего толкования текста по второму изданию (т.е. улучшенному, как это сам признает и И. Рубин) для меня вытекает якобы необходимость «утверждать, что в первом издании Маркс в приведенной фразе имел в виду развитое товарное хозяйство



и том же втором абзаце. При моем понимании, которое И. Рубин «добросовестно» постарался запутать,—когда я отстаиваю между абстрактным и общественным трудом связь тождества и различия,—задача разрешается более чем просто. Но пусть И. Рубин, выдавший между ними лишь одно «различие», пусть он на почве этого своего понимания попробует разрешить эту задачу. Тогда, при всей беспомощности и противоречивости его трактовки в области «азбучных истин» он может еще рассчитывать на продление ее дней. До того же у меня нет соблазна заниматься его (лингвистическими) изысканиями, и я предпочитаю перейти к следующим «слонам» его теоретических ошибок, предоставив ему безмятежное удовольствие посвятить себя охоте за лингвистическими «мухами».

## II. Азбучные истины и элементарные ошибки в «Очерках» И. И. Рубина.

Если в вышерассмотренных вопросах И. Рубин, запутавшийся сам, приписал мне все смертные грехи против азбуки марксизма и его авторитетных представителей, то в дальнейшем мне бросается упрек в том, что я сплошь и рядом грешил против элементарных правил добросовестной и добросовестной критики, подвергнув якобы преднамеренному искажению мысли критикуемого автора. «Вместо того,—пишет Рубин обо мне,—чтобы вникнуть в смысл критикуемых им положений и разобрать их во всей совокупности и в их внутренней связи, он предпочитает вырывать из текста критикуемого автора даже не отдельные фразы, а кусочки фраз и отдельные словечки. Этим вырванным из текста словам и фразам наш критик приписывает совершенно произвольный смысл» и т. д. (стр. 109). «Я доказывал,—жалуется далее И. Рубин,—что Маркс изучает производственные отношения людей, а не материально-технический процесс производства. Именно на этом основании некоторые критики несправедливо упрекали меня в игнорировании последнего; теперь Шабс бросает мне упрек противоположного характера» (стр. 108).

Прежде всего, то обстоятельство, что «некоторые критики» призывали ошибочными правильные положения И. Рубина, не может ни в коем случае вынудить меня признавать правильными его ошибочные

а по второму изданию говорит в той же фразе о первобытном периоде неразвитого обмена» (стр. 105).

Трудно сказать, чего в этом нелепом трюке больше—софистики или наивности. Меньше всего здесь, однако, здравого логики, во всяком случае. В самом деле, легко себе представить, что будущее некое поколение последователей Рубина будет биться над вопросом о том же в отношении последовательных изданий «Очерков» своего остроумного предшественника, в которых, будем надеяться, автору придется еще, в конце концов, перевернуть вверх дном не то что отдельные фразы, но и, по всей вероятности, все здание своей «социологической теории абстрактного труда». Как решит погостить эту головоломку—это вопрос, который может составить интерес, конечно, только для самого И. Рубина. Что до меня, то я для себя ее уже решил раз и навсегда. А что касается изменений в текстах Маркса о последовательных изданиях его монументального труда, над улучшением которого он неустанно работал, то здесь в объяснении этого факта я «затруднения» не и для меня, ни для кого другого. Мне думается,—и это ясно для каждого,—что неудачную фразу или неудачную мысль всегда полезно заменить улучшенной. Так, повидимому, думал и Маркс. Ибо неудачная формулировка, как и неудачная теория, одинаково не пригодна ни для объяснения различного позднейшего, ни раннего неразвитого товарного производства, да и не пригодна вообще для объяснения какой бы то ни было общественной формы хозяйства,—как это я, между прочим, доказал в своей работе относительно «теории абстрактного труда» запутавшегося в тенетах наивной софистики И. И. Рубина.

положения. Задача, которую я ставил перед собою как критиком и которую я, как мне кажется, выполнил достаточно добросовестно, как раз и заключалась в том, чтобы сквозь все колебания и противоречия, в которых развивается изложение «Очерков», выделить основную, так сказать, генеральную линию трактовки И. Рубина, отражающую, действительно, основное его построение, квинт-эссенцию его системы взглядов. Конечно, от моего внимания не ускользнула противоречивость его изложения, прежде всего. Видел я, что у автора «Очерков» на ряду с неправильными положениями тут же обретаются и некие свои кочевые остающиеся не у дел правильные высказывания. На эту противоречивость его изложения в меру необходимости я всюду указывал, местами и подчеркивал. Но, повидимому, я заслужил бы благодарность И. Рубина, если бы я довел до абсурда его построение, начав его всеми изюминками противоречий, которые у него накоплены в несладком изобилии. Однако по многим причинам я не мог и не хотел этого делать.

Разберемся, однако, бегло в существе осложненной трактовки И. Рубина. Автор признает возможность физиологически - равного труда. Он полагает, однако, что последний применим ко всякой общественной форме, и отвергает его поэтому для товаропроизводящего общества. Следовательно, «социологический абстрактный труд» не тождествен физиологическому; наоборот, он отличен от него. Если первый физиологически - равный труд мыслится в связи с производством непосредственно, — ибо не всякая общественная форма знает обмен, как господствующее явление, — то социологический «абстрактный труд создается в обмене» («Очерки», стр. 103). Поэтому общественный труд оказывается оторванным от производства; а попытка объяснить количественную сторону стоимости толкает наперекор желаниям в сторону непосредственного производства. И тут-то вследствие отсутствия абстрактного труда в производстве, стоимость неизбежно попадает в незаконную связь с трудом конкретным, частным и т. д. Нигде мы в «Очерках» не находим указания на существование «потенциально»-общественного труда, связанного с производством. Наоборот, такое допущение со стороны критики было бы произвольным и противоречило бы прямым высказываниям самого автора и только что выдвинутому доводу от «сапожника». Ведь последний вне рыночного акта обмена «исключается из рядов общества» и «качество частного лица не является членом общества». Таким образом, у автора «Очерков» нашли себе приют и убежище и живут в симбиозе две односторонние трактовки или, вернее, две линии трактования проблемы: одна — ложная технологическая, другая — бессодержательная социологическая. И нет ничего удивительного, что каждая из них время от времени подпадает под очередные удары критики.

Теперь же в полном противоречии с «сапожничьей» версией я, напоминаем, с основной подлинной трактовкой «Очерков» И. Рубина разъяснит нам, что под обменом он понимал в указанном случае не самостоятельную фазу воспроизводства, сферу обращения, а лишь форху самого производства. При этом он ссылается на последующее изложение на той же странице (откуда взята приведенная выше цитата: «абстрактный труд создается в обмене», — стр. 103), где говорится о «расширении рынка на почве расширения хозяйства» и соответствующем процессе развития характера абстрактного труда. Я и сейчас пробываю разбираться в этом «доказательстве» И. Рубина и все же пока не нашел в нем и тени доказательства. Ибо я предполагаю бы

дальнейших «оходичностей», что обмен — одинаково, идет ли речь о на-  
родном или мировом хозяйстве — не проникает в межпланетное про-  
странство, а в «хозяйстве». И, следовательно, дальнейшее изложение  
не дает ясного и вразумительного ответа на то, как мыслит автор  
«Очерков» связь именно между обменом и производством в этом «хо-  
зяйстве»: мыслит ли он обмен как форму производства или фазу  
обращения непосредственно. Я был вправе искать ответа не только  
на нижней, но и на верхней странице, но и на верхней. Что же говорится на  
той последней странице? А вот что: «Абстрактный труд появляется  
только в действительном акте рыночного обмена»  
(разрядка самого Рубина.—С. Ш.). «Последний рождается толь-  
ко в обмене». «Без акта обмена... не существует  
абстрактного труда» (Там же).

Все это, повторяю, говорится как раз, на той странице (стр. 103)  
«Очерков», на которую ссылается сам И. Рубин для обоснования своей  
тенденциозной недобросовестности,—только не на второй ее поло-  
вине, а на первой<sup>1)</sup>. И пусть читатель не подумает, что он стал «жерт-  
вой неправильного перевода»,—ибо И. Рубин, как известно, писал  
свой труд именно на родном ему русском языке. Остроумный автор  
«Очерков» в одном месте указывает, что в моем толковании текста  
Маркса я заставляю вернуть мне «на слово» и тем самым «ставлю себя  
в смешное положение». Но в сколь неизмеримо более смешное поло-  
жение ставит себя сам И. Рубин, когда он вынужден призывать к тому,  
чтобы, наоборот, не доверялись его собственным словам. В самом деле,  
если «действительный акт рыночного обмена» понимать  
как выражение «формы производства», а не как явление фазы дей-  
ствительного рыночного обращения, то для последней  
вообще перестает существовать мысленное удобопонятное опреде-  
ление. Но если человеческая речь еще может служить тем целям,  
которые она призвана обслуживать, то изложение И. Рубина на дан-  
ной странице дает изумительный образец однознейшего развития  
понятий; в начале страницы дается резко выраженный тезис, в конце—  
суетно, расплывчато выраженный антитезис, а посредине—столь же  
блуждающий и двусмысленный синтез<sup>2)</sup>. Важно, однако, подчеркнуть  
следующее: И. И. Рубин глубоко ошибается, когда думает, что этими  
своими разъяснениями он вообще спасает положение своей теории  
общественного труда. Прежде всего, кажется совершенно непонятным,  
как автор, утверждающий «тесную связь» производства с его обще-  
ственной формой, как мог он так резко и противопоставлять  
товарное производство обмену (его форме), приписывая первому  
исключительно черты частного, последнему—общественного свойства.  
И это в решающем пункте исследования, при методологическом об-  
основании своей теории абстрактного труда. Но важнее другое, а  
именно то, что внесенными поправками в свою теорию И. Рубин не  
узнал и не устранил ошибочного своего представления, будто

<sup>1)</sup> Вообще тождественные формулировки встречаются и во многих других  
местах книги И. Рубина и в частности на стр. 95, главы тринадцатой, на кото-  
рую он весьма часто ссылается. На указанной странице дважды подчеркивается  
роль «акта рыночного обмена» в качестве создателя абстрактного труда. На-  
против, «потенциально»-общественный труд ни разу нигде не упоминается.

<sup>2)</sup> Подчеркивая отсутствие элементов диалектики в построении И. Рубина,  
я, быть может, как добросовестный критик, обязан был отметить наличие у него  
этой разновидности «диалектики». Однако, «в простоте душевной», я думал, что  
многократным указанием на отсутствие логики в его изложении я косвенно вы-  
полнил и этот долг по отношению к критикуемому автору.

абстрактный труд связан и обязан своим «рождением» обмен в каком бы то ни было смысле. Эта кардинальная ошибка остается и теперь у автора «Очерков» в полной силе и неприкосновенности.

Сюда же относится упрек И. Рубина в том, что констатирование у него отождествления производительной силы с трудом и погрешка против целого ряда высказываний у него же в книге, которые и опровергают. Я не отрицаю в данном случае и не отрицаю, что у него действительно высказываются и правильные взгляды по данному вопросу. Но все дело опять-таки заключается в том, что эта дань, которую автор «Очерков» не мог не принести автору «Капитала», лежал в стороне от большой дороги его «социологической теории абстрактного труда». И, как я наметил уже в начале изложения и этой гл. и обстоятельно выяснил это в своей работе, именно к усвоению правильного понимания клонит все его построение. А что это должно у него также иметься налицо, И. Рубин сам же признал в своем докладе в РАНИОНе. «Большинство читателей,—признает здесь И. Рубин,—поняли меня в том смысле, что я под содержанием стоимости понимаю труд в его материально-технической форме. Я вполне признаю, что читатели могли понять меня именно так, ибо в моей книге «Очерки по теории стоимости Маркса» в некоторых местах даны приблизительно такие формулировки. Тем не менее,—добавляет он,—я должен отметить, что в моей книге в той же самой главе о содержании и форме стоимости не один раз, а три раза даны формулировки, которые могли бы показать, во всяком случае, что под содержанием стоимости у меня речь шла не о труде, рассматриваемом исключительно с материально-технической стороны»<sup>1)</sup>.

Странно слышать подобное признание от автора «Очерков», и груженное всеми изданиями «Капитала», да еще на всех к тому языках,—от автора, мимо которого, казалось бы, ни одна лингвистическая блоха даже не проскочит. И тщетно мы будем искать объяснение этому факту у самого И. Рубина; это объяснение можно почерпнуть только из критики его «Очерков». Но так или иначе, вместо того чтобы упрекать меня в недобросовестности за раскрытие этой путаницы, он должен был напроsto ее устранить у себя,—и тогда он, и жду прочим, сам легко убедился бы в полной несостоятельности всей его теории. Или же, на худой конец, он должен был снабдить свою книгу подробным указателем: на каких страницах у него правильные определения, на каких—неправильные, дополнив его уже загодя указаниями—как, на какой странице расположена у него «диалектическая триада».

Но без меры уважающий себя автор «Очерков» избрал вместо этого совсем другое разрешение вопроса. Он предпочитает возложить на критику «приятный труд» по части чистки обвиняемых камешей его собственных противоречий в области «азбучных истин». И то же время автор, у которого столь широкий размах в области приподнесения «элементарных ошибок», оказывается весьма скуп и сдержан

<sup>1)</sup> Журнал «Под Знаменем Марксизма» № 6, 1927 г., И. И. Рубин, «Абстрактный труд и стоимость в системе Маркса», стр. 115. В этом своем докладе И. Рубин признает, что в упомянутой главе о содержании и форме стоимости у него и считается три правильных определения стоимости; число неправильных он предоставляет подсчитывать критике. Но, мало того, при ближайшем рассмотрении оказывается, что правильные отличаются от неправильных, например, как от воды: внешняя видимость другая, а субстанция—одна и та же. Поэтому при только слегка подогреть на пламени критики «твердый кристалл» правильных определений, и от него остается родственное по субстанции «мокрое место» к правильному определению (см. у меня предисловие).

жизни и благодарностях за помощь в их устранении. «Мы с благодарностью встретили бы критику наших взглядов,—гордо заявляет Рубин,—которая побудила бы к более углубленному обсуждению спорных проблем. Но, к сожалению, критика Шабеса в большей своей части вращается вокруг элементарных вопросов» (стр. 114). Все это звучит гордо и даже презанчивающе. Однако И. Рубин почему-то не «догадался», что потому «критика Шабеса... вращается вокруг элементарных вопросов», что его, Рубина, собственное изложение «вращается вокруг элементарных», а по существу и грубейших, и вопиющих ошибок» в этих вопросах.

Яркий пример того, как слеп и глух И. Рубин к указаниям на его ошибки, представляет следующее. В моей работе я указываю, что, когда он утверждает «тесную связь общественной формы с материально-техническим процессом производства как таковым», он допускает грубейшую ошибку, так как таким трактованием он прямо умоляет к натуралистам, а через них—к психологистам. Ведь очевидно же, что если «форма» связана с производством «как таковым», то прибавочную стоимость придется рассматривать как результат функционирования натуральных элементов капитала как таковых, ренту—земли как таковой, а стоимость—потребительной стоимости как таковой. У меня ударение поставлено на слове «как таковой», а не на «тесную связь». Смысл этого критического замечания слишком ясен. А И. Рубин вместо того, чтобы обойти этот неприятный казус и молчаливо признать свою ошибку, думает, наоборот, еще и тут попробовать посрамить противника. Тут он пытается добиться реванша, казалось бы, при помощи надежного средства, противопоставляя неточному переводу труда Маркса его оригинал. Однако и это средство оказывается, к его сожалению, непригодным для защиты его заблуждений.

Так, среди значительного числа цитат из Маркса, которыми я оперировал в доказательство ошибочности взгляда И. Рубина, имеется такая: «Какова бы ни была общественная форма богатства, потребительные ценности обладают всегда своей собственной сущностью, совершенно независимой от этой формы»<sup>1)</sup>. Утверждая, что в приведенном виде это положение противоречит будто «азбуке марксизма», И. Рубин предлагает иную редакцию перевода этой фразы: «Какова бы ни была общественная форма богатства, потребительные стоимости образуют всегда его содержание, первоначально и (unabhängig) безразличное к этой форме». Таким образом, я, по мнению И. Рубина, «просто-на-просто сделался жертвою неточного перевода» (стр. 109—110).

И. И. Рубин, конечно, не ожидал, чтобы через попытку выставить меня «жертвою неточного перевода», он сам стал жертвою того же перевода,—иначе не пытался бы он при помощи этойкой «веревочки» тащить к позорному столбу своего «самонадеянного» противника. Своим «уточнением перевода» он не только довел до бессмыслицы весь абзац, из которого взята приведенная фраза из «Критики»<sup>2)</sup>, но и набросил тень бессмысленности на «азбуку марксизма»,

<sup>1)</sup> К. Маркс, К критике политической экономии, изд. 2-е. Гиз Украины, 1923 г., стр. 30.

<sup>2)</sup> Совсем не случайно переводчик позволил себе такое далекое отступление от дословного перевода с оригинала. Если не предполагать в этом случае незнакомства с явным, небрежности или «легкомыслия», то придется, очевидно, объяснить это какими-то недостаточным знакомством с учением Маркса, с духом этого учения. Конечно, если бы мы имели здесь дело с очевидной и грубой ошиб-

как понимал и трактовал ее сам Маркс. Но что И. Рубину действительно удалось доказать, так это то, как поверхностно и упрощенно он понял автора «Капитала». За примерами идти недалеко. У Маркса в разделе о товарном фетишизме говорится о «расщеплении продукта труда на полезную вещь и вещь, воплощающую стоимость»<sup>1)</sup>; «вещь» как таковая, таким образом, противопоставляется «вещи» как воплощению стоимости. В том же разделе, — который, заметим, находится в фаворе у И. Рубина, — читаем мы в другом месте: «Жемчуг или алмаз имеют стоимость как жемчуг и алмаз» (так думал Бэли. — С. Ш.). До сих пор, — иронически добавляет Маркс, — еще ни один химик не открыл в жемчуге и алмазе меновой стоимости. Однако экономисты — изобретатели этого химического вещества, обнаруживающие особое притяжение на критическую глубину мысли, находят, что... стоимость присуща им как вещам»<sup>2)</sup>. Так — то «осторожный» автор «Очерков», направляясь в «комнату» Маркса, попал к его «соседу» Бэли, с которым, как это видно уже из изложенного, у Маркса отнюдь не были сердечных добрососедских отношений. Ибо, действительно, «азбука марксизма» является положением, что «товарная форма и отношение стоимостей продуктов труда, в котором она выражается, не имеют решительно ничего общего с физическими природой вещей», т.е. с вещами, как таковыми (Капитал, т. I, стр. 40). Стоит ли после этого еще распространяться о «скучном и безтолковом споре» «некоторых экономистов» «относительно роли природы в процессе созидания меновой стоимости»?<sup>3)</sup>. Думается, что едва ли. Ограничимся, пожалуй, упоминанием излюбленного афоризма Г. В. Плеханова: «*rire bien qui rira le dernier*».

Заниматься более или менее обстоятельным опровержением И. И. Рубина по всем пунктам предмета спора не только невозможно в пределах журнальной статьи, но, пожалуй, и совершенно излишне. Ибо критикой его взглядов в моей основной работе я не только опроверг его предыдущую, но и всю его будущую аргументацию. Но и из того, если внимательно проследить антикритику автора «Очерков», не трудно убедиться, что по существу она представляет лишь одну действительную подготовку к переходу к собственной позиции на позиции противника; это не мешает И. Рубину прикрывать стратегическое на-

кой, как пытается представить дело И. Рубин, то было бы крайне странно, и при повторных изданиях и пересчетах она не бросалась в глаза. Но достаточно прочитать дальнейший текст всего абзаца, из которого взята спорная фраза, чтобы отдать предпочтение, как это ни странно, полному переводу, гораздо более близкому к правильному, чем дословный И. Рубина. Так, дальше в абзаце читаем: «По качеству пшеницы нельзя узнать, кто ее произвел: русский крепостной, французский мелкий собственник или английский капиталист... Длинный товар, как потребительная ценность, есть алмаз. По алмазу, однако, нельзя узнать, что он товар... Потребительная ценность в этом смысле безразлична к экономическим формам своего существования, т.е. потребительная ценность, как таковая, находится вне круга исследования политической экономии» (стр. 30).

Каждая фраза здесь упорно твердит о том, что И. Рубину представляется ошибочным, а, по-моему, явным образом уланчет его самого в грубейшей ошибке. Мне кажется, поэтому, что слово «*zupächst*» уместнее здесь перевести словами «ближайшим образом». В таком случае тощая «веревочка» И. Рубина превращается уже совсем в «гнилую ниточку».

<sup>1)</sup> К. Маркс, Капитал, т. I, стр. 40.

<sup>2)</sup> Там же, стр. 51.

<sup>3)</sup> Там же, стр. 50.

неуверенное, суетливое наступательное маскарэдо. Продемонстрируем высказанное на одном-двух характерных примерах.

В своих «Очерках» И. Рубин отстаивал хорошо уже знакомое читателю положение, что, дескать, «труд товаропроизводителя, который в непосредственном процессе производства является трудом частным, конкретным, сложным и индивидуальным, благодаря акту рыночного обмена приобретает социальные свойства, характеризующие его как труд общественный, абстрактный» и т. д. (стр. 95). Каза-лось бы, сам И. И. Рубин именует здесь «непосредственный процесс производства» сферой бытия частного, конкретного и т. д. труда и его именно противопоставляет фазе непосредственного обращения, где труд «приобретает социальные свойства». Мог ли бы я после этого сказать, что в непосредственном процессе производства труд, по представлениям И. Рубина, имеет «социальные свойства», когда он их только «приобретает» в фазе обращения «благодаря акту рыночного обмена»? Кажется, я погрешил бы против слов автора «Очерков». Имел ли я в таком случае основание думать, что, когда И. Рубин говорит о «частном труде», он имеет в то же время в виду труд конкретный, материально-технический? Читатель, вероятно, согласится целиком и полностью, что имел. А И. Рубин, только недавно прозревший насчет «азбучных истин», для подготовки себе отступления от разрушенной огнем критики его позиций, теперь затевает стремительную атаку против критика, сопровождая ее беспорядочной орудийной трескотней и шумным барабанным боем. «Если я утверждаю,—заявляет он с экспрессией,—что в фазе непосредственного производства труд является непосредственно частным и лишь «потенциально» — общественным, то из этого никоим образом не следует, что я рассматриваю процесс производства исключительно с материально-технической стороны. Это нелепое обвинение Шабса объясняется тем, что он совершенно не понял, что означает слово «частный» у Маркса. Шабс допускает грубую ошибку, отождествляя частный труд с материально-техническим» (стр. 107).

«Если... хорошее слово это «если»... Если я утверждаю, что в фазе непосредственного производства труд является... «потенциально» — общественным... Ну, а что, «если» утверждать, что труд «приобретает социальные свойства» только благодаря акту рыночного обмена,—как быть тогда? Но самое интересное, конечно, то, что И. Рубин не стесняется свалить с больной головы на здоровую. «Шабс совершенно не понял, что означает слово «частный» у Маркса, и поэтому «допускает грубую ошибку, отождествляя частный труд с материально-техническим»,—таков «безошибочный» вывод И. Рубина из собственного ошибочного понимания<sup>1)</sup>.

Для того, чтобы опровергнуть этот, да простится мне, вздорный вымысел автора «Очерков», достаточно будет процитировать две коротеньких выписки из моей работы. «Маркс говорит,—сказано у меня в одном месте,—о «двойственном общественном характере частных работ»; иначе говоря, Маркс определяет в самом

<sup>1)</sup> В приведенную формулировку И. Рубина необходимо, помню всего, внести поправку на точность выражения. «Отождествления» частного труда с конкретным я ему на деле не приписывал, ибо это так же несообразно, как, напр., отождествлять «имя Ишан» с носителем этого имени, отождествлять имя человека с самим человеком. Я указывал лишь, что, когда И. Рубин говорит о частном труде, он всегда разумет при этом только конкретный и т. д. труд.

частном (формально) труде двойственное (для экономического анализа) выражение» (стр. 62). В другом месте: «Двойственность процесса состоит как раз в том, что процесс труда в товарном обществе есть а priori сфера частной производительной деятельности не для себя, а для общества производство материальных благ для обмена. Поэтому в обмене обнаруживается тот факт, что все товары должны представлять потребительные стоимости для невладельцев их, т.е. что товар является общественно-вещью, заключенной в частную оболочку» (стр. 74).

Нетрудно видеть, что кто-то из «двух спорящих», действительно, «совершенно не понял», что означает слово «частный» у Маркса, и что кому-то одному, действительно, казалось еще очень недавно, что «частный труд» является в непосредственном производстве только конкретным, материально-техническим. Читатель уже знает, что зачатие новорожденного, именуемого «потенциально»-общественным трудом, относится к более позднему периоду развития — и просветления, добавим — взглядов автора «Очерков». При предложенном объективном «следственном» материале судьей сможет выступить в этом деле любой сколько-нибудь подготовленный и беспристрастный читатель.

Другой весьма характерный пример. В «Очерках», как мы видели, «обмен», «рыночный обмен», «действительный акт рыночного обмена» суть синонимы, различные наименования одного и того же понятия. Противопоставляя исходу обмена производству, отставив значение первого, как создателя абстрактного труда, и одновременно исключая это выражение труда для последнего, автор «Очерков» у кого не оставляет сомнения, что при всех различиях в словоупотреблении он всюду оперирует одним и тем же понятием «обмен» в значении формы реализации.

У меня, напротив, «обмен» употребляется в разных значениях, достаточно отчетливо, мне кажется, разграниченных. «Приращение того или иного товара к золоту, — говорится у меня, — предпосылает обмен, обуславливает акт обмена, поскольку обмен является обмен предпосылкой товарного производства» (стр. 152). — «Товар, погибший в производстве, — сказано там же, — а следовательно, уже отрешенный от рынка, и подвинуто осужденный не извещать «действительных актов рыночного обмена», — этот товар все же получает выражение... в первой очереди, в денежных единицах». — Легко видеть, что обмен фиксируется у меня, если угодно, в трех значениях: 1) в качестве предпосылки самого товарного производства (по И. Рубину — «форма производства»); 2) в значении самостоятельной фазы обращения, «рынка» и 3) как форма отчуждения, реализации продукта («действительные акты рыночного обмена»).

Казалось бы, грешному автору «Очерков» всего выгоднее было бы не грешить о мнимых чужих грехах. Так нет же. «Он заучил, — говорит И. Рубин обо мне, — не вникнув в его смысл, положение Маркса о том, что стоимость возникает в процессе производства, а не обмена. На этом основании он считает себя вправе игнорировать двойную роль обмена, который сообщает труду характер абстрактного труда» (стр. 102—103). Тут уже трудно просто провести грань между небрежностью и недобросовестностью. Но такая уже «оборонительная тактика» автора «Очерков». Интересно отметить, что И. Рубину приходится не впервые защищаться от упреков критики в этом же его упущении. Возвращаясь к этому в определенной связи и предисловии к моей работе, я указываю, что «эти различия (в понимании обмена—



С. Ш.)—всем, кстати, хорошо известные—им же самим игнорировались в «Очерках» (стр. 9). А И. И. Рубин ничтоже сумяшеся полагает, что из числа «всех» я исключил в данном случае самого себя. И это для того, очевидно, чтобы помочь автору «Очерков» обвинить меня в «путанице понятий и терминов», которой, на самом деле, грешил он же сам.

Чтобы покончить с этой наиболее «солодной» по аргументации и оригинальным полемическим приемам частью «новой главы» И. Рубина, мне придется еще в нескольких словах держать ответ по обвинению в сознательном искажении его мыслей в одном очень важном пункте теории. Автор «Очерков» обвиняет меня в совершенно необоснованном выставлении его сторонником так называемого «логического» понимания стоимости, тогда как на деле он является противником такого понимания. Я охотно верю и в этом случае уверениям И. И. Рубина. Но здесь я прежде всего констатировал у него лишь логическое противоречие в развитии изложения; а, кроме того, для подчеркивания этого противоречия у меня были вполне достаточные основания. Прочитавшем, прежде всего, «Очерки». «Без формы стоимости»,—говорится у И. Рубина,—не существует и «стоимости» в подлинном смысле слова, а остается только «стоимость» в условном смысле трудовой затраты, лишенной всякой общественной формы и свойственной всем историческим этапам» (стр. 85). И. Рубину приходится опять настаивать на том, чтобы мы не доверялись его собственным высказываниям, и, когда он говорит о стоимости «в условном смысле», «свойственной всем эпохам», мы вложили в его слова противоположный смысл, полагая, что ни о какой стоимости у него речь вовсе не идет<sup>1)</sup>. При всей противостоительности подобного требования и при всем несправедливом обвинении И. Рубина в нечестной критике на подобном основании, я мог бы счесть, однако, допустимым—при известных, конечно, условиях—вырек в мелочности, скажем, моей критики, увлеченной погоней за случайными промахами в изложении критикуемого автора, в погоне за ложными и дешевыми эффектами.

По все дело заключается в том, что за противоречиями в логике изложения И. Рубина стоит противоречивая логика понимания всей проблемы,—и что язык его в данном случае предательски выдает лишь всю логику самого его построения. А что приведенная цитата не стоит у него особым образом от его системы взглядов, убедительнейшим и неопровержимым доказательством (помимо тех, которые указаны в моей работе) могут служить следующие его рассуждения. Вслед за обоснованием своей «социологической теории абстрактного труда» и главе об «Абстрактном труде» И. Рубин заявляет: «Нам остается объяснить, почему, несмотря на ясно выраженный социальный характер понятия «абстрактный труд», Маркс в начале «Капитала», в разделе о двойственном характере труда, дает физиологическое его определение, отлекаясь от общественной формы организации труда в товарном хозяйстве. Эта загадка отчасти объясняется, если вспомнить, что в указанном месте Маркс занимается «стоимостью» в отличие от меновой стоимости, т. е., как мы выяснили

<sup>1)</sup> Надо заметить, что сконструирована у И. Рубина эта фраза исключительно криво. Трудно даже, собственно говоря, уловить смысл выражения: «стоимость в условном смысле трудовой затраты, свойственной всем историческим эпохам»; совсем это похоже на «деньги в условном смысле золота, свойственного всем историческим эпохам».

в 12-й главе, «субстанцией» или содержанием стоимости, трудовыми затратами, в отличие от формы стоимости как общественной формы организации труда. Последняя предполагается Марксом данной в начале его исследования, но при анализе содержания он на общественной форме труда не останавливается. С точки зрения содержания стоимости, отвлеченного от общественной формы, в понятии абстрактного труда на первый план выступает физиологическое равенство различных трудовых затрат» (стр. 106).

Тут уже логическая ошибка И. Рубина (из «12-й главы») находит вполне прочное и притом внутреннее обоснование, глубоко уходящее корнями в его основное построение. Уяснить себе это совсем нетрудно. У автора «Очерков», как мы уже знаем, физиологически-равный труд противопоставляется абстрактно-всеобщему (по терминологии, которой И. Рубин отдает предпочтение перед другой), как взаимосключающие друг друга категории; при этом, если последний рассматривается как явление, присущее именно товарной форме, то первый для общественной формы безразличен вообще, по его мнению. Вследствие этого всякий раз, когда у Маркса трактуется о физиологическом разделении абстрактного труда, И. Рубин вынужден вынести анализ и за пределы товарной формы. А поскольку Маркс как и никак неоднократно обсуждает вопрос о физиологически-равном труде рядом с стоимостью и в связи с нею, И. Рубину ничего не остается, как и сною стоимостью вывести за пределы товарной формы. И тут-то и обнаруживается воочью, как упорное нежелание усвоить диалектическую связь «тождества» и «различия» между абстрактным (физиологически-равным) трудом и общественным (абстрактно-всеобщим) неизбежно толкает к тому, чтобы «содержание стоимости» «отвлечь» от общественной формы, чтобы таким образом отрывать историческое содержание от исторической формы. Вот почему автор «Очерков», будучи «в душе» противником логического трактования категории «стоимости», на деле тем не менее не только не свободен от греха, который ему приписал, но и прямо вынужден отстанывать эту греховную логическую категорию всей логикой своего толкования проблемы общественного труда. Но что совсем непростительно в данном случае и за это именно я резко и нападаю на И. Рубина,—что он без какого даже малейшего основания втянул в это греховное дело автор «Капитала», надев ему чертовы рога буржуазной политической экономии.

Мы можем теперь перейти к подведению предварительных итогов. Антикритика И. Рубина, при всем ее внешнем блеске, кажущейся убедительности, основательности и полемическом задоре, содержит в себе не то, что «сочетание азбучных истин и элементарных ошибок»,—местами и совсем неожиданных—она содержит в себе элементы окончательного саморазоблачения, разоблачения той пустоты над которой витает без видимой опоры методологически надорванная, если не сокрушенная уже, его «социологическая теория абстрактного труда». Этим объясняется интенсивный процесс обновления, который явственно претерпевает его теория на наших глазах. Этим же объясняется и то, что после доведения до абсурда моей положительной трактовки проблемы общественного труда (а надо ему отдать справедливость,—эта работа выполнена им с неподражаемым мастерством) И. Рубину пришлось все-таки именно в ней признать «тот путь, на который, по видимому, вынуждены будут ступить все «физиологи»». Конечно, И. Рубин достаточно трезво оценивает положение, чтобы

питать обманчивых надежд на возможность подобного успеха для его собственной концепции. Таким образом в своей антикритике автор «Очерков» предпринял, беру на себя смелость сказать, последний и притом, заранее обреченный поход против критики его взглядов,—ибо в своем собственном арсенале он не мог найти средств для ее отражения. И. Рубин был тем самым вынужден изменить самому себе, прибегнуть к таким приемам в своей полемике, к каким, насколько нам известно, он прибегает впервые. Следует поэтому ожидать, что на почве методологии вопроса И. И. Рубину вести задорные бои в дальнейшем более не придется.

### **III. Абстрактный (физиологический) и общественный (экономический) труд по теории Маркса.**

Существеннейший и неустранимый порок «социологической теории абстрактного труда» И. И. Рубина составляет полная невозможность обрисовать на ее почве количественную сторону стоимости. Знает ли автор «Очерков» этот ее недостаток, трудно сказать. Но зато он прекрасно знает и сам, что до сих пор еще ни одному исследователю не удалось открыть ни «спектра», ни «атомного номера», ни объективного существа вообще благородного «социологического газа», который И. И. Рубин именует «социологическим абстрактным трудом». Поэтому остается также невыясненным еще до сих пор и то, почему собственно И. Рубин измеряет это «социологическое» вещество мерой времени, а не какой-либо другой,—хоти бы, например, пространства. Ведь единственное соображение, которое может быть на этот счет у самого основателя этой теории, И. Рубина, лишь то, что его понятие абстрактного труда «бесконечно». И действительно, этого качества у последнего никак нельзя снять; все говорит за то, что тщетно искать границы его определения, ибо за какой «конец» ни попытаешься ухватиться, приходится убеждаться, что «конца»-то у его «понятия» и не существует. Однако же, ведь на ряду с временем, как известно, бесконечно и пространство,—так почему же все-таки последнее отвергается? Или, быть может, И. Рубин в данном вопросе думает опереться на новейшие представления теории Эйнштейна?

При таком, казалось бы, безысходном положении его теории абстрактного труда, И. Рубин мог бы—и даже обязан был—много внимательнее отнестись в положительной части моей трактовки и если не принять ее целиком в предложенном мною виде, то внести в нее исправления, показать лучшее разрешение вопроса на той же или известным образом видоизмененной, по его разумению, основе. Он должен был прямее выяснить, как он сам относится к идее диалектической связи между подпадающим непосредственному мыслительному восприятию объективным человеческим трудом в его физиологическом выражении, в его однородности, и трудом абстрактным, функционирующим как «общественная величина», связывающая общественных производителей товаропроизводящего общества. Вместо этого автор «Очерков» предпочел вовсе уклониться от положительного обсуждения и этого решающего методологического пункта, и количественной проблемы труда, на которую он, между прочим, не отозвался ни единым словом,—а сосредоточил свои усилия лишь на доведении до абсурда построения противника, дабы хоть на время отсрочить открытое признание банкротства собственной точки зрения.

Это вынуждает меня теперь к такому популярному объяснению изложенной в моей работе теории общественного труда, которое не оставило бы места ни для абсурдных измышлений критикам, ни для затруднений или сомнений рядовому сколько-нибудь подготовленному читателю.

Начнем с вопроса, — в чем заключается основная трудность проблемы общественного труда, прежде всего. Во-первых, в том, понимая, что, будучи категорией социологической, следовательно, и исторической, общественный труд должен в то же время иметь объективную сущность, поддающуюся количественному определению. Эту объективную природу общественного труда в товарнопроизводящем обществе Маркс указал и его физиологическом характере. Но, разумеется, только указал на это выражение труда, а вовсе не изучал труда с этой стороны. Ибо изучение труда и этом его характере представляет предмет особой отрасли естествознания, так называемой науки о физиологии труда, но не предмет политической экономии. «Всякий труд, — говорит Маркс, — есть... затрата человеческой рабочей силы в физиологическом смысле слова, — и в качестве такого одинакового или абстрактно-человеческого, труд образует стоимость»<sup>1)</sup>. Для Маркса здесь важна, конечно, «одинаковость», а не физиологическое «качество» труда; физиологический характер «одинакового», абстрактного труда имеет здесь значение показателя объективной природы этого «одинакового, абстрактно-человеческого труда», который и «образует стоимость».

Но, указывая в физиологическом характере объективную природу труда, образующего стоимость, т.е. общественного труда, Маркс, во-первых, вовсе не увескал из виду, — хотя прямо и не вынесил в данном месте, — другую сторону труда, характеризующую его с общественной стороны. В другом месте мы находим у Маркса вполне ясные указания и на этот счет. Так, в «Теории прибавочной ценности», в части посвященной критике Адама Смита, у него читаем: «Мой товар, содержащий определенное количество необходимого рабочего времени, дает мне право распоряжаться всеми другими товарами равной ценности, т.е. равным количеством чужого труда, реализованного в других потребительных ценностях. Ударение здесь поставлено на приравнивании моего труда чужому труду (подчеркнуто Марксом), вызванном разделением труда и меновой ценностью, другими словами, — на общественном характере труда, но Адам не замечает, что мой труд (опять подчеркнуто Марксом), содержащийся в моем товаре, теперь определяется, как общественный, и потому существенно меняет свой характер»<sup>2)</sup>.

Понятно вполне, что если «мой труд» рассматривать как трудовую затрату в физиологическом смысле, то он сам по себе останется тем же и в соотношении его к «чужому труду»: но в то же время он в этом его отношении к «чужому труду» приобретает новые черты, черты, характеризующие его как специфическую, общественно-функциональную категорию, и тем самым «существенно изменяет свой характер», — как говорит Маркс. Чтобы яснее представить это изменение в характере труда, возьмем пример из области математики. Так, число 9, взятое само по себе, есть количество как таковое.

<sup>1)</sup> К. Маркс, Капитал, т. I, стр. 13 (разрядка моя. — С. Ш.).

<sup>2)</sup> К. Маркс, Теория прибавочной ценности, т. I, издание Комм. ун-в. в Зиньеве, Петроград 1922, стр. 95—96; разрядка моя. — С. Ш.

Но в выражении  $9 = 3^2$ , т.е. в отношении к другому количеству, оно, ставшись количеством, 9, в то же время приобретает характер специфической математической категории, становится сверх того квадратом количества 3. И как число 9 в указанном математическом выражении, в его отношении к другому числу, к  $3^2$ , становится специфической математической величиной, не перестает быть в то же время и количеством как таковым, — обуславливая этим свою математическую функцию, — точно так же и труд необходимо сохраняет свою объективную сущность и тогда, когда он функционирует в отношении к чужому (другому) труду, хотя он одновременно «существенно изменяет свой характер». Как математические отношения чисел невозможны вне их как таковых, так и общественные отношения труда невозможны вне трудовых затрат как таковых, вне труда и его объективной, следовательно, — физиологической, субстанциональной сущности.

В полном согласии с приведенными рассуждениями развиваются у меня определения труда, — абстрактного и общественного, — и их отношение друг к другу в моей работе (см. стр. 93—95). Теперь изложение там не только будет понятнее, но уместно будет в коротеньких отрывках привести в настоящей связи. «Труд в физиологическом значении, — говорится там, — представляет не что иное, как органическую функцию человека как физического существа. Поэтому будем ли мы рассматривать трудовую затрату индивида по отношению к нему, соизмеряя ее, например, с физическими особенностями его организма, или массу человеческого труда по отношению к человеческой массе, выясняя те или иные отношения между естественным человеком и его органической функцией, — трудом, мы будем иметь дело с трудом, как позитивным естественно-научным, физиологическим» (стр. 93). В отличие от этого «труд в общественном значении рассматривается как фактор, соотносимый в общественных отношениях людей друг к другу. Это и меняет характер самого труда... Тут... не отношение человека к своему труду, или наоборот (т.е. отношение труда к человеку. — С. Ш.), а отношение человека к человеку посредством отношения труда к труду является объектом рассмотрения. Труд более не просто функция человека, он — функция общественного человека» (стр. 94). Но если труд и не меняет в отношении к «чужому» труду свой характер, он все же не перестает быть в то же время самим собою, трудом, как таковым. Ибо «иное... человеческого труда как такового не существует ни его конкретно-технического проявления в материальном процессе, ни его экономического проявления в общественном процессе. Абстрактный труд как таковой, как физиологическое явление, связан с экономическим трудом диалектической связью как «различия», неотделимые от «тождества» (стр. 95).

Итак, когда я говорю, что в стоимости выражается именно общественный (экономический) труд, то у меня абстрактный труд вовсе не исчезает из мира явлений и не испаряется, — ибо вне абстрактного труда как такового мною не мыслится никакое производное его определение, в том числе и экономическое. Обратимся еще раз к примеру. В указанном математическом выражении  $9 = 3^2$  безразлична характеристика 9 как количества; здесь важно лишь его соответствие другой величине как аргументу. Количество как таковое не составляет в его всеобъемлющей, всеобщей характеристике объекта математики (элементарной, разумеется). Тем не менее функционирование числа (или его символа) в качестве материала для построения всевозможных ма-

тематических зависимостей и отношений делает число математической величиной, объектом математики. То же самое опять-таки и труд. Как таковой, в объективной физиологической характеристике своей он не представляет объекта изучения экономической теории. Но, являясь материалом, основой «построения» общественных отношений, он приобретает в экономическом рассмотрении значение экономической величины, становится экономическим трудом.

Весьма важно, с другой стороны, не упустить из виду то, что если элементарная математика и не изучает числа как такового, приходу числа, то оно все же обуславливает определенными требованиями (напр., однородностью всех единиц любого числа) способность числа к его математической функции, изучает и строит системы обозначения числовых величин, как, напр., общепринятую десятичную систему. С этой стороны число уже как таковое представляет объект математики. Точно так же теоретическая экономия занимается изучением того свойства объективного труда, которое приспособляет его для экономической, общественной по функции в товаропроизводящем обществе. Маркс, указывая и обосновывая в «Капитале», что этот объект должен обладать однородностью, «одинаковостью», находит это по следнее «качество» в физиологическом труде, в человеческом труде как таковом. «Труд есть... затрата человеческой рабочей силы в физиологическом смысле слова, и в качестве такого одинакового или абстрактно-человеческого труд образует стоимость товаров». В труде, «образующем стоимость товаров», важна, повторяю, не его физиологическая природа сама по себе, — которая, конечно, имеется налицо, — но важно присущее физиологическому труду «качество» «одинаковости» со всеми другими видами конкретного труда, ибо «в качестве одинакового труд и образует стоимость». Вот с этой стороны, со стороны «одинаковости» труд уже как таковой изучается теоретической экономией, а тем самым и становится объектом этой науки.

Чтобы последнюю сторону вопроса, доведенную Н. Рубиничем в его антикритике до абсурда, очертить еще отчетливее, возьмем еще пример из области физики. Оптика, как известно, имеет дело с оптическими стеклами. Разумеется, она не изучает стекла как такового, «эмпирема» стекла. Предмет ее изучения составляет лишь одна сторона стекла, лучепреломляемость этой прозрачной среды, т. е. то свойство, которое важно для стекла, как материала для устройства оптических приборов; короче говоря, оптика изучает стекло в оптическом отношении. Это и делает стекло в определенном отношении объектом оптики, отдела физики. Лучепреломляемость стекла, одинаковость однородности труда, — вот что делает эти объекты в непосредственно данной естественной форме их существования объектами определенных научных дисциплин; ибо вне их как таковых нельзя изучать и определенных функциональных качеств, в одном случае — оптических, в другом — экономических.

«Законы природы вообще не могут быть уничтожены, — говорит Маркс. — Измениться, в зависимости от различных исторических условий, может лишь форма, в которой эти законы проявляются»<sup>1)</sup>. Ни природа человека, субъекта общества, ни природа труда, предиката общества, не может измениться в силу изменения исторических условий общественного существования. И, тем не менее, однако, в эконо-

<sup>1)</sup> К. Маркс, Письма к Л. Кугельману, стр. 62.

мическом рассмотрении человек как таковой становится общественным человеком, как и труд как таковой—общественным трудом.

Итак, природа абстрактного и общественного (экономического) труда, их отношение друг к другу, отношение «тождества» и «различия», мне кажется, выяснены теперь более или менее «понятным языком», как того требовал И. Рубин. Стало уже вместе с тем очевидно, что утверждение И. Рубина, будто «Маркс нигде не проводит различия между абстрактным трудом и экономическим трудом», и будто «Шабс... вносит совершенно неизвестное Марксу разграничение между абстрактным и экономическим трудом» (стр. 123),—что это утверждение явно необосновано. Ведь, так или иначе, это «разграничение» Марксом в «Критике политической экономии» (во «Введении») проведено с неоспоримой выразительностью. «Труд — это наиболее простая категория,—говорит там Маркс. — Столь же древним является представление о нем в этой всеобщности, как труда вообще. Однако экономический «труд» (точнее и ближе к оригиналу—«экономически рассматриваемый труд»), взятый в этой простейшей форме, есть столь же современная категория, как и отношения, которые порождают эту простейшую абстракцию»<sup>1)</sup>.

И. Рубин не может оспаривать того, что характер «всеобщности»,—это именно и есть присущее абстрактному труду в социологическом значении основное качество. В то же время Маркс здесь говорит с подчеркнутой ясностью, что «представление» о труде «в этой всеобщности» не относится исключительно к современному, т.-е. товарнопроизводящему, обществу. Следовательно, современный общественный (экономический) труд, обладая общей основной чертой с «древней» категорией, трудом как таковым, характером «всеобщности», должен быть разграничен и действительно разграничивается Марксом с «трудом вообще». То же самое мы видели и из приведенной выше выписки из «Теории прибавочной ценности». Я, однако, не отрицаю,—и высказал это еще в своей работе,—что в трудах Маркса содержится лишь указание направления, в котором следует искать решения проблемы, но никак не самое ее решение» (стр. 15). Посильно я развил это решение в моей работе. Надеюсь, что этим беглым дополнением к ней я внес уже полную ясность в понимание данного вопроса.

Теперь остается еще только объяснить по поводу употребленного мною термина «экономический труд», как адекватного понятию общественного труда в товарнопроизводящем обществе, термина, вызвавшего несколько неожиданно для меня смущение, повидимому, среди большинства марксистских писателей. Это тем более необходимо, что противники, как, напр., И. И. Рубин, могут склониться к тому, чтобы по этому сравнительно незначительному поводу затеять большое «кровопролитие». Остроумному автору «Очерков», в частности, совершенно уверенному в моем «легкомыслии», кажется, что единственным и исключительным основанием для усвоения и употребления этого термина мне послужил лишь цитированный у меня отрывок из «Введения к критике» и т. д., где Маркс обсуждает вопрос о соотношении между абстрактным трудом, как таковым и тем же «трудом» в его экономической функции. И выходит так в общем, что подсмотрел как-то «легкомысленный» человек, как плавают по реке на бычьем пузыре и порешил понатать счастья,—пущился на этакое «аппарате» в

<sup>1)</sup> К. Маркс, К критике политической экономии, стр. 19; разрядка моя.—С. Ш.

далекое плавание, в море-океан; таково, по догадкам Н. Рубина, веро-  
ятное основание всего замысла «самоиздешнего» повтора.

На деле же основные соображения, которые побудили меня при-  
нять, а не подхватить, как это полагает Н. Рубин, термин «экономиче-  
ский труд» для обозначения абстрактного труда в его экономическом  
значении, вот каковы. Во-первых, полная аналогия между тем же  
местом, какое занимает труд в теоретической экономике и число — в ма-  
тематике. Отсюда последовательно, на мой взгляд, вытекает, что, как  
последняя фиксирует число как математическую величину, так и эко-  
номическая теория должна фиксировать труд как экономическую  
«величину». Мне кажется важным особо подчеркнуть, что «труд» —  
это не просто общественная категория в ряду других, каковы, напри-  
мер, стоимость, капитал, рента и т. д. Все последние представляют ведь раз-  
личные определенности формы самого труда. Эта универсальность  
труда, как основы всевозможных форм общественных отношений,  
превращает его в основу познания экономических отношений вообще.  
Поэтому экономически рассматриваемый «труд», т. е. труд, рассматри-  
ваемый в экономической науке как основа общественных отношений,  
должен получить формальное определение, адекватное определенности  
формы его организации. «Общественный труд — это понятие, отно-  
щееся не к определенной какой-нибудь одной общественной форме, а  
ко всякой безразлично форме общества. Термин «экономический  
труд», напротив, придает «труду» в его общественно-функциональном  
значении в товарном обществе формальную определенность, которая  
сама в себе выражает исторический характер этой категории, как ка-  
тегории данной исторической формы.

Во-вторых, количественная определенность трудных затрат,  
связанная с развитой качественной однородностью абстрагирования  
труда, получает также более отчетливое отражение в данном термине.  
Противопоставление «экономического» абстрагирования «логиче-  
скому», как оно проведено у меня в III главе («Проблемы общественного  
труда» и т. д. (стр. 112—114), имеет определенный теоретический  
смысл. Напротив, противопоставление «общественного» абстраги-  
рования логическому не могло бы иметь смысла; ибо абстрагирование  
труда в социалистическом обществе, напр., будет во всяком случае  
общественно актуально, так как количественная сторона труда из-  
рядом с качественной (видовой) потребует здесь фиксированного раз-  
витого учета. И не случайно Маркс противопоставляет «экономический»  
рассматриваемый абстрактный труд логически рассматриваемому  
рядом с ним (в «Критике» и т. д.). Ибо как раз при таком способе ра-  
смотрения грань «тождества» и «различия» между родственными, но  
не идентичными категориями, получает законченную определенность  
выражения. И уже не имеет решающего значения, употребляет ли Маркс  
при этом выражение «экономический труд» или «экономически рас-  
сматриваемый труд» — ибо экономически рассматриваемый труд есть  
труд, рассматриваемый как «экономический», т. е. экономический труд.

Наконец, казалось бы, если ничего нельзя возразить проти-  
в того, что труд, рассматриваемый в технологии, именуют техническим  
трудом, рассматриваемый в физиологии — физиологическим, то какие  
вразумительные доводы можно выставить против того, чтобы тот же  
труд, рассматриваемый как объект теоретической экономики, именовать  
экономическим трудом? Ведь этим как раз и подчеркивалось бы, что  
при единстве объективного существа труда, как такового, мы фикси-  
руем лишь соответственно различным способам рассмотрения его раз-  
личные функциональные выражения и определения труда.



Не скрою, однако, лишь в одном отношении мое убеждение в крайней целесообразности и законности этого термина ослаблено, но отнюдь не поколеблено. Речь идет о том, что естественно было ожидать, чтобы среди огромной массы марксистов введение нового термина либо создало представление, будто дело идет о введении нового понятия (заблуждение, которого, странным образом, даже И. И. Рубин избежал лишь отчасти), либо о некотором перетолковании старого понятия. На деле то и другое неверно. В действительности термин «экономический труд» должен лишь резко отобразить более отчетливо выраженное понятие, которое оставалось ранее более смутным для одних (напр., И. И. Рубина и его последователей), совершенно непонятным — другим («физиологистам»). Справедливость требует при этом указать, что в первоначальной постановке проблемы экономического труда, как проблемы *vis generis*, в марксистской литературе примат несомненно принадлежит И. И. Рубину. И в этом его огромнейшая теоретическая и критическая заслуга. Ибо только он дал решительный толчок к действительному осознанию несостоятельности названной физиологической трактовки общественного труда. Однако, так как он выяснил только «различие» между общественно-функциональным (экономическим) трудом и абстрактно-человеческим трудом как таковым, — и притом только отрицательным образом, и отверг их «единство» в то же время, — он сделал тем самым свое понимание этой категории совершенно неуплотненным, неопределенным, и потому бесплодным: так что его «социологическая» односторонность когда противостоять односторонности «физиологической» лишь как критическая версия, по ли в коем случае, как обоснованная научно-определенная и определившаяся теория вопроса. Но не странно ли, что односторонность И. И. Рубина, сбросившего среди марксистов первым «ветхие одежды» физиологической трактовки, оказалась более непримиримой с естественно развившейся, путем критического преодоления рубиновской трактовки, моей диалектической теорией общественного труда, чем окажется, по всей вероятности, физиологическая односторонняя версия? Этому вопросу мы уделим внимание в конце изложения<sup>1)</sup>.

Однако же не вправе ли я теперь, наконец, сказать: «исполнен долг, завещанный от... Рубина мне, грешному» и «легкомысленному»? Изложенное здесь, взятое как дополнение к систематическому изложению вопроса по всем его объемам в «Проблеме общественного труда» и т. д., должно, мне кажется, исчерпывающе осветить все спорное и неясное в трактуемой теории общественного труда, как я ее понял.

Но если И. Рубин и сам предвосхитил «возможность», что «путем чрезвычайных усилий (!) — С. Ш.) мне «удастся объяснить понятным языком как именно представляю я себе связь между трудом абстрактным и экономическим», — то он зато категорически уверяет, что мне «никоним образом не удастся... привести свои построения в согласии с учением Маркса. Шабс, — говорит он, — резко расходится с Марксом в двух пунктах: 1) на место категории абстрактного труда он

<sup>1)</sup> Лучшим доказательством того, что именно И. И. Рубину мы обязаны основательным пересмотром прежних представлений об общественном труде и системе марксизма, может служить хотя бы тот факт, что только на почве критического преодоления его взглядов и его же критических оружий в значительной степени, почти одновременно со мной и независимо от меня другой марксист, А. Ф. Кон, пришел приблизительно к аналогичной трактовке категории труда, образующего стоимость.

ставит две категории: абстрактного труда и экономического труда; 2) он утверждает, что стоимость является выражением экономического труда, а не абстрактного труда» (стр. 121; разрядка И. Рубина.—С. Ш.).

Отметим прежде всего, что последняя фраза должна быть дополиена окончанием «как такового». Так, между прочим, текстуально центрировано у Рубина же одной строчкой выше. Здесь сказано: «Стоимость продуктов труда является выражением экономического труда, а не абстрактного труда как такового» (стр. 120). Этим коренным образом изменяется весь смысл этой формулировки, а тем самым рушится вся цепь рассуждений, которые привел И. И. Рубин к выводу, будто «Шабс... сам проделал за нас работу доведения до абсурда своего собственного построения» (стр. 126). Ибо если у меня абстрактный труд как таковой не есть еще общественный (экономический), то зато последний, как я уже выяснил выше, тем не менее невозможен, не существует вне первого. Поэтому, когда я говорю, что стоимость выражает в себе именно экономический труд, а не абстрактный труд как таковой, я тем самым указываю лишь на то, что для стоимости безразлична естественная природа труда, физиологическая сущность абстрактно-человеческого, всеобщего труда. Но сам-то абстрактный труд вовсе не выпадает из мира явлений, не устраняется в качестве объективного носителя экономической функции. Если, грубо выражаясь, абстрактно-человеческий труд, обращенный «лицом» к человеку, как его органическая функция, повернуть «лицом» к труду другого человека как сообщественника к «чужому труду» другого производителя, то определенность функционального выражения «существенно изменится», как указывает Маркс в «Теориях»; но, тем не менее, сам по себе труд останется в обоих случаях тот же. Различие здесь заключается в том, что, при тождественности объекта, в одном случае он будет рассматриваться со стороны естественной своей природы непосредственно, в другом—в определенном обусловленно функциональном отношении, и именно общественном отношении (вспомним: 9 само по себе и  $9 = 3^2$ ).

Поэтому, когда И. Рубин, выставляя искаженный тезис, содержащий утверждение, что с моей точки зрения «стоимость не является выражением абстрактного труда», и отсюда делает заключение, что «из запутанные рассуждения и терминологические новшества Шабса привели его к выводу, что абстрактный труд: 1) не составляет объекта исследования политической экономии, и, в частности, марксовской теории стоимости и 2) не находит своего выражения в стоимости» (стр. 125; разрядка И. Рубина.—С. Ш.),—то он допускает явное искажение моих взглядов. На деле с моей точки зрения стоимость не является выражением абстрактного труда как такового, в ее физиологической определенности, еще раз повторю, но является зато выражением того же абстрактного труда в его экономической (общественной) определенности, т.е. того абстрактного труда, который отнесен не к человеку как его физиологическая функция, а к труду другого человека—сообщественника, как основа общественного отношения, и который именуется мною экономическим трудом.

Теперь, после всего того, что разъяснено у меня в этой главе, — в полном согласии с изложением вопроса в моей работе,—никто уже не согласится с автором «Очерков», будто с моей точки зрения «абстрактный труд... не составляет объекта исследования политической

экономии» и т. д. Ибо уже в указании (в моей книге), что «экономический труд» не мыслим и «не существует вне абстрактного труда как такового», что без последнего «экономический труд сам превращается в таинственный иероглиф» (стр. 109), и что обе эти категории связаны как «различия» неотделимые от «тождества», — уже в этом целиком и полностью заключается опровержение этого вывода И. Рубина. Этот его вывод свидетельствует только лишь о нежелании понять, или, быть может, непонимании моей концепции.

Однако И. Рубину всего этого еще недостаточно. Для автора «Очерков», перед которым носится кровавый призрак банкротства его теории, вполне естественно еще прибегнуть для вящего запутывания головы читателя к «мерам утешения» отлучением от Маркса. «Шабс... паслует мысль Маркса и беспощадно режет его живой текст» (стр. 105). «Шабс, благодаря созданию им терминологической путанице, должен прийти к выводу, что объектом исследования у Маркса является экономический труд, а не абстрактный труд как таковой. Зачем же новыми терминами запутывать и без того сложный и запутанный вопрос? Не лучше ли последовать примеру Маркса и применять термин «абстрактный» к экономическому труду?» (стр. 125). Принципиальный и ученый, не в пример противнику своему, И. Рубин «запутался», оказывается, не более и не менее как в элементарнейшей азбучной трактовке. По его мнению выходит, что если о выражении  $\sqrt{25} = 5$  сказать, что 5 представляет не только определенную численную величину, но и квадратный корень 25, что 5, кроме того, здесь является функцией при аргументе  $\sqrt{25}$  и что, наконец, 5 является еще математической величиной, — то тем самым допускают «путаницу понятий и терминов». Не лучше ли 5 в данном случае называть просто «пятеркой», и освободить усталую голову автора «социологической теории абстрактного труда» от непосильного труда задумываться над усилением себе «азбучных истин»? Ведь к этому вот по существу сводится клики Кассандры о «созданной» мною «терминологической путанице».

Но если И. И. Рубин, «благодаря созданной» мною якобы «терминологической путанице» так безнадежно запутался сам в вопросе о том, чье толкование ближе к букве и духу марксовой теории, если за употребленными более выдержанными терминами он оказывается не в состоянии узреть более уточненные понятия, — а уже подавно элементарным образом их связать, — то нам придется для выяснения этой стороны вопроса поступиться на минутку выдержанной терминологией. Для прекрасной Саломеи не жаль головы пророка! Пусть на место термина «экономический труд» у нас фигурирует «абстрактно-всеобщий общественный», близкий и дорогой сердцу «социологической теории» И. Рубина. Тогда трактуемые определения у Маркса, Рубина и у меня могут составить следующие три ряда<sup>1)</sup>:

**Абстрактно-человеческий труд в физиологическом выражении**

По Марксу: Абстрактный труд (стр. 14, 41, К., т. I).  
По Рубину: Абстрактный труд (предварительный) или физиол. физический труд.  
По Шабсу: Абстрактный труд как таковой).

**Абстрактно-всеобщий общественный труд<sup>2)</sup>**

Абстрактный труд и общественный труд.  
Абстрактный труд.  
Общественный (экономический) труд.

<sup>1)</sup> Для Маркса мы берем терминологию «Капитала».

<sup>2)</sup> Этот термин употребляется часто Марксом в «Теориях прибавочной ценности» и «Критике».

Легко видеть, что в первой рубрике моя терминология ближе к марксовской, чем И. Рубина; понятия же по существу совпадают. Но и у Рубина нет *rigida facie* терминологического расхождения с Марксом, как нет существенного разногласия и в понимании этой категории. Расхождение резко обнаруживается при переходе ко второй рубрике. И. И. Рубин предлагает «вместе с Марксом» (а не с Рубиным?) именовать «абстрактно-всеобщий общественный труд» просто «абстрактным трудом» (а не «общественным» или «экономическим»),— что то же самое,—как это предлагаю я), и спор будет, по его мнению, снят. Против этого имеются, однако, два столь больших препятствия, что удивительным кажется то, как их не заметил проницательный марксовед И. И. Рубин.

Во-первых, «абстрактным трудом» Маркс сам называет физиологически определяемый человеческий труд, как таковой, и в «Капитале», и в «Критике»,—и это не оставляет никаких сомнений насчет того, как мыслит себе сам Маркс связь этого термина с понятием, вложенным в него. Поэтому замена термина «общественный», «экономический» труд термином «абстрактный», как предлагает И. Рубин, должна стереть грань между двумя категориями, из которых в одной выступает прежде всего ее естественная определенность, в другой — ее общественная определенность; тут же таится явная угроза «смешения языков» и незаметного слияния с «физиологистами», чего же только «не хочется Шабу», но и самому И. И. Рубину.

Во-вторых, окрестить «по заслугам» именем «абстрактный» тот труд, который, по представлениям И. Рубина, «возникает» из «актов приравнивания вещей», для меня именно неприемлемо потому, что, по моим представлениям, здесь никакого «труда» тут вовсе и не «возникает», ведь прежде, чем «приравнивать» что-либо, объекты для приравнивания, как мы уже знаем, должны заранее быть одинаковыми, однородными, чем обуславливается самая возможность осуществления этого акта. А, следовательно, приняв мудрое решение автора «Очерков», мы действительно теряем почву под ногами, упускаем «объективную величину», объективную основу, которую Маркс ввел в свою экономическую систему для изучения ее общественно-функциональной формы в базовых отношениях в товарном обществе, и тем самым сделал этот объект,—в его определенном социально-историческом, экономическом значении, разумеется,—объектом экономической науки. Дело здесь не в терминах, значит, а в понятиях или представлениях.

Теперь И. И. Рубину должно быть уже понятно, почему «Шабу не может не признать, что физиологический труд как таковой, не образует стоимости», и почему в то же время «Шабу не хочется (как до этого «не хотелось» Марксу.—С. Ш.) отказаться от физиологического понимания абстрактного труда» (стр. 126). Дело уже яснее ясного. Пропать, которую И. Рубин отделил «предварительный абстрактный труд» от «социогического абстрактного труда», отняла у него возможность дать ответ на количественную проблему труда. Естественно поэтому, что «Шабу не хочется» последовать в данном случае примеру автора «Очерков», а, наоборот, «хочется оставаться в тесной близости к автору «Капитала». Рубину вольно предполагать, что я способен пуститься в далекое плавание на бычьем пузыре. Но не может же он, в конце концов, думать, что я решусь совершить полет на его иловом, бестелесном «аппарате легкого воздуха», имея коему «социологический абстрактный труд», «конструкция» которого никому, в том

числе и самому «конструктору» его, пока не представляется выясненной. Устанавливая, напротив, связь «тождества» и «различия» между абстрактным трудом в его объективном (физиологическом) характере и экономическим трудом (т.е. абстрактным трудом в его общественной определенности), как между различными формами одного и того же объекта, я разрешаю без всяких противоречий,—и прежде всего без противоречий с теорией основоположника,—и качественную, и количественную проблему общественного труда, а с тем вместе и всех отношений труда, производственных отношений в товаропроизводящем обществе. Этим не могут похвастать ни социологи, которые хромают на «количественную ногу», ни «физиологи», которые, наоборот, хромают на «качественную ногу».

Конечно, меня несколько не может смутить крик о том, будто я «врез» с Марксом, вместо одного понятия «абстрактного труда» вношу в марксистскую экономку еще одно, чужеродное якобы, новое понятие «экономического труда», без которого и так, мол, теории было бы хорошо. Более всего странно слышать это, конечно, со стороны И. И. Рубина, который, во всяком случае, сам также констатирует в «Капитале» Маркса два понятия труда: абстрактного (предварительного) и абстрактного труда (в социологическом значении). Если угодно, у И. Рубина,—который видит лишь «различие» этих категорий,—их самостоятельность и обособление выступает гораздо резче, чем у меня. Но когда автор «Очерков» призывает к тому, чтобы «социологический», «экономический» «труд» называть просто «абстрактным трудом», и в то же время не дает объяснения, какое значение имеет в экономической системе Маркса «предварительный абстрактный труд», то он действительно хочет вовлечь нас,—помимо указанных уже выше последствий,—в явно невылазную «путаницу понятий и терминов».

Только при утрате ясной теоретической перспективы можно настаивать на том, что наименование двух различных (хотя бы и родственных, как я думаю «врез» с И. Рубиным) понятий одним термином предпочтительнее перед наименованием каждого в отдельности определенным индивидуальным квалифицированным термином, соответствующим особой природе каждого из них<sup>1)</sup>. Всего поразительнее, однако, то, что И. И. Рубин, сделавший первый шаг вперед от «физиологистов» на правильном пути, старается нас, продвинувшихся еще на один шаг вперед от него, совлечь с ним же самым намеренной верной, но не вполне осознанной, отчасти искривленной в перспективе, дороги. После всего сказанного окончательно утрачивают свой кредит последние угрожающие слова И. И. Рубина: «Чем скорее сторонники физиологической версии абстрактного труда последуют в данном вопросе примеру Шабса, тем яснее читатель увидит, в какой мере эта версия противоречит основным теоретическим принципам Маркса» (стр. 126).

<sup>1)</sup> И. И. Рубину кажется порою совершенно недостаточным ограничиться тем только, чтобы показать, «где раки зимуют», непосредственному своему противнику. Ему хочется походить посрамить еще прославленного главу софистов, Протагора. Для этого он прибегает к изысканным софизмам, которые для усиления эффекта облачаются в нарядные костюмы диалектической фразеологии. Вот такой один образец. «Чтобы несколько смягчить свое расхождение с терминологией Маркса,—заявляет И. Рубин,—Шабс иногда вместо названия «экономический» труд употребляет термин «общественный» труд. Но и «то» не спасает Шабса. Различие между абстрактным и общественным трудом имеет у Маркса и у Шабса совершенно различный смысл. У Маркса абстрактный труд есть разновидность общественного труда, а именно общественный труд в той специфической форме, которую он имеет в товарном хозяйстве. У Шабса же дело обстоит как раз наоборот: общественный (т.е. экономический) труд есть разновидность абстракт-

### Заключение.

Законно будет, думается, остановиться еще и нескольких словах на известном уже читателю заключительном пророчестве И. И. Рубина. «Пример Шабеа,—говорит он,—ярко освещает тот путь, на который, повидимому, вынуждены будут ступить все физиологисты» (стр. 126). Имеет ли подобная перспектива под собою серьезные основания? И почему «все физиологисты», и только «физиологисты»? Из чего вытекает неизбежность такого ограничения?

Конечно, то обстоятельство, что это признание исходит от противника моей концепции, весьма знаменательно. Относительно «физиологистов», повидимому, действительно не может быть двух мнений,—ибо для них иного «пути» и не существует. Их, в конце концов, на этот путь толкают не только экономисты, но и физиологи. Так, К. Кекчеев в своей «Физиологии труда» высказывает следующую мысль, по его мнению совершенно очевидную: «С экономикой физиология труда сталкивается довольно часто; но так как и подходы и методы их резко отличаются друг от друга, то разграничить их нетрудно»<sup>1)</sup>. Странно будет, если «физиологисты» будут продолжать оставаться *plus royaliste que le roi-même*. Если «социологическая», по существу безобъективная, теория абстрактного труда И. И. Рубина закрывала путь для освоения социальной природы этого объекта,—ибо переход от физиологической версии к quasi-социологической представлял собою прыжок в неизвестное,—то развитая у меня трактовка, мне кажется, действительно «освещает путь», на который *могут*, во всяком случае, ступить «физиологисты».

Но нельзя ли этого также сказать и относительно «социологистов»? На этот счет у самого главы и основателя этого направления, И. И. Рубина, прямого ответа нельзя найти. Однако многое уже говорит за то,—и я себе позволю нескромно верить в это,—что и «социологисты» «вынуждены будут ступить» на этот же путь. Пример тому сам И. И. Рубин. В сущности гонимый, и методологии вопроса автор «Очерков» уже сделал решительный шаг к сближению с моей точкой зрения, совершенно напрасно приплетая сюда остатки «греховных» заблуждений прошлого. Усвоив понятие «потенциально-общественного труда» И. Рубин на деле сам отрекся от методологии «сапожника»,—противопоставляющей сапожника «с колодкой» в производстве, как «исключенного из рядов общества», сапожнику «с парой сапог» на рынке в каче-

ного труда, а именно абстрактный труд в той специфической форме, которую он имеет в товарном хозяйстве. В данном вопросе, как и во многих других, Шабе имеет клирикуру на Маркса и заявляет, что это и есть настоящий Маркс» (стр. 123, примечание).

И. И. Рубину следовало бы не забывать, что и как никак на ряду с абстрактным трудом многократно указывал и на конкретный труд, как на носителя общественной функции при определенной форме хозяйства. С другой стороны, ему на этот раз было бы весьма полезно вспомнить, что им самим докладывал в РАНИОН<sup>2)</sup> (см. «Под Знаменем Марксизма» 1927 г., № 6) установленный целью три «разновидности» абстрактного труда: «физиологически-равный», «социально-уравненный» и «абстрактно-всеобщий» (стр. 41), из коих последний предназначался в намерение его «социологической теории абстрактного труда». Если бы И. И. Рубин сверх того все это сигнализировал надлежащим образом, то он избег бы двойной несприятности: во-первых, не стал бы он писать «клирикуру на... Шабеа», чтобы беспардонно провозгласить ее подлинником (что, вероятно, не входило в его намерения); а кроме того, и это для него гораздо важнее,—не посрамил бы он одновременно с Протагором, улы, и самого же И. И. Рубина.

<sup>1)</sup> К. Кекчеев, Физиология труда (Современные проблемы естествознания), Гиз, 1925, стр. 3.

стве вновь рожденного для общества товаропроизводителя. Только по недоразумению, позволяю я себе утверждать, И. Рубин солидаризировался с мыслью Р. Люксембург, высказанной во «Введении», будто «в качестве частного лица он (сапожник) не является членом общества». Эта мысль, во всяком случае, не мирится со всем тем, что И. И. Рубин во многих местах своей статьи настойчиво развивает в методологической части изложения вопроса, отстаивая на этот раз действительную связь производства с общественной формой (а не мнимую, лишь на словах,—как она по существу оформилась в «Очерках» предыдущей формации). Тем самым он,—хочет ли того или не хочет, сознает или не сознает,—признал «органическое единство» общества в противовес предыдущему «механическому»; по меньшей мере И. Рубин к такому пониманию подошел вплотную. Меньше всего верится, конечно, чтобы И. Рубин настаивал и в дальнейшем на том, что «равенство» товары «приобретают» только «путем приравнивания вещей» (нес—при посредстве взвешивания). Остается, наконец, И. Рубину, «социологистам», его последователям вообще, открыто признаться перед самими собою, что при отрицании связи «тождества» «предварительного абстрактного труда» с его производной, функциональной социологической формой, с общественным (экономическим) трудом немисливо разрешение количественной проблемы общественного труда,—и все предпосылки для достижения единства взглядов в данном вопросе теории уже налицо. Перефразируя И. Рубина, я поэтому сказал бы, что «чем скорее сторонники социологической версии последуют в данном вопросе» на указываемый мною путь разрешения проблемы общественного труда, тем скорее освободятся они от всех противоречий с теорией К. Маркса, на которых их еще удерживает поколебленная в своих основах теория И. И. Рубина, им самим уже подвергнутая серьезнейшим сомнениям.



## К спорам о характере сложного труда

Ш. Лиф.

Проблема редукции занимает в экономической литературе свое образное место. Особый интерес она привлекла к себе после того, как так называемое психологическое направление, а также ряд других буржуазных экономистов, сделали из нее мишень для нападков на теоретическую концепцию Маркса. Вопрос ставился следующим образом: если товары продаются по их стоимостям, то часть труда, затраченного на производство товара должна найти свой эквивалент в материальном объекте иного вида, создание которого потребовало бы, того же количества труда. Однако в действительности различная сложность труда приводит к иным пропорциям обмена. Как правило, сложный труд в равный отрезок времени создает большую величину стоимости, чем труд простой или менее сложный. Но если это так, то колеблется основа теории трудовой стоимости.

Указания же Маркса на тот факт, что сложный труд выступает как труд помноженный простой, считались критиками, в лучшем случае, мало обоснованными.

Постепенно из этой проблемы буржуазными экономистами был сделан узловой пункт, исходя из которого предпринимались и пряная критика марксистской политической экономии и разного рода ревизии ее.

В настоящее время мы уже имеем ответ из марксистского лагеря, при чем в большинстве «курсов» проблеме редукции уделяются даже специальные главы. Марксистская экономическая наука, признавая наличие пробелов в этой проблеме у Маркса, делала ряд попыток самостоятельной разработки этого вопроса.

Результаты, к которым пришли исследователи-марксисты, в области выведения законов редукции, находятся вне сферы нашей работы. Задача, стоящая перед нами, ограничена критическим разбором различных трактовок самого понятия сложного труда и его места в системе Маркса. При этом особое внимание пришлось уделять трактовке этого понятия представителями так называемой физиологической версии.

Сложный труд выступает в качестве стоимости образовательного фактора, а, следовательно, в качестве труда абстрактного. Этим свойством он обладает в силу заключенного в нем двойственного характера его труда.

Поэтому правильное понимание сложного труда возможно лишь при правильном понимании той роли, которую выполняет абстрактный труд. А так как последний является одной из самых основных категорий политической экономии, то, стало быть, данная частная проблема редукции не может быть правильно не только разрешена, но и поставлена без правильного понимания категории абстрактного труда.

Как известно, «физиологи» исходят из трактовки абстрактного труда, как отвлеченного от конкретных целеустремленных форм



затрат человеческой энергии. Но, в таком случае, большее или меньшее расходование энергии и выражает собой определенность величины абстрактного труда. Иначе говоря, последний различается лишь степенью интенсивности. Следует отметить, что сторонники этого направления при определении причин создания сложным трудом больших величин стоимостей ссылаются на различие в степени предварительной специальной подготовки.

Однако при ближайшем рассмотрении оказывается, что сложность труда ими отождествляется с интенсивностью, благодаря чему неравномерность в получении предварительного специального обучения не оказывает влияния на процесс образования стоимости.

Последнее приводит к тому, что отрицается само понятие сложного труда, как труда, обладающего специальной подготовкой, и факт его общественного распределения.

Давая, по видимости, разработку вопроса о сложном труде, они, по сути дела, ликвидируют проблему редукции и отсекают возможность понимания своеобразной роли сложного труда в теории стоимости Маркса. Вообще же утверждение сложного труда, как труда, требующего большего расходования энергии, более интенсивного, противоречит действительности. Измерение энергии и установление сравнительной таблицы этих затрат выявляют некоторые интересные факты из области физиологии, отнюдь не подтверждающие предположения физиологистов.

Но, оставаясь последовательными своим исходным посылкам, физиологисты не могут иначе трактовать сложный труд, как увеличенную затрату энергии, так как в противном случае они не были бы в состоянии ответить на вопрос,—почему сложный труд выступает, как создатель больших величин стоимостей.

Таким образом, проблема редукции является лучшим показателем методологической необоснованности физиологического понимания абстрактного труда. Ошибка, допущенная в понимании абстрактного характера труда, находит себе отклик во всех смежных проблемах, и, в частности, в проблеме сложного труда.

Наша работа и посвящается выяснению самого понятия сложного труда и его роли в теории стоимости Маркса.

### **Простой и сложный труд в системе Маркса.**

Метод Маркса—восхождение от абстрактного к конкретному.

В начале первого тома конструируется фундамент политической экономии—теории стоимости. Объектом служит простое товарное хозяйство, законы развития которого, однако, являются действительными для товарно-капиталистического общества.

Уже на первых страницах «Капитала» исследование подводит читателя к абстракции, непонимание которой с необходимостью искажает категории политической экономии: мы имеем в виду категорию абстрактного труда.

Этим следует объяснить дискуссию последних лет в марксистском лагере, приведшую к пониманию данной категории к двум противоположным направлениям: физиологическому и социологическому.

Разногласия в понимании категории абстрактного труда привели к различному пониманию других категорий политической экономии и, в частности, категории простого и сложного труда.

Определяя конкретное как «единство в многообразии», Маркс обрисовывает путь научного исследования этого конкретного. Он указывает, что вначале из конкретного путем отвлечения мы получаем наиболее общее, являющееся вместе с тем и самым основным. Такова категория абстрактного труда. Но далее: «абстрактные определения ведут к воспроизведению конкретного путем мышления»<sup>1)</sup>.

А это конкретное—товарное общество, характеризуется, в частности, тем, что в нем различную роль играет труд простой и труд сложный.

Дав общую характеристику этих категорий, Маркс в первом томе «Капитала» предупреждает, что, в целях упрощения, дальнейшее исследование будет предполагать труд как затрату простой рабочей силы и этим устраняется одно из тех «множеств определений», которыми богато конкретное—объект изучения политической экономии—товарно-капиталистическое общество.

В «Критике политической экономии», в главе о товаре, Маркс дает общую характеристику категорий простого и сложного труда, не останавливаясь на законах приведения, ибо «тут еще не место рассматривать законы, управляющие этим приведением»<sup>2)</sup>.

Такое положение послужило сигналом для критического обстрела «узкого» места, результатом чего перед экономистами стал вопрос о возможности выведения законов редукции.

Критика в лице Бем-Баверка, Буха и проч. считала, что при такой теоретической концепции Маркса устраняется возможность приведения сложного труда к простому.

Большая часть марксистов решала вопрос в положительном смысле, но, искажая понятие сложного труда, они тем самым фактически аннулировали проблему.

Простой труд есть затрата рабочей силы, не обладающей никакой специальной подготовкой.

Такой труд в состоянии выполнить в той или иной форме каждый обыкновенный человек, обладающий средними способностями.

Труд простой следует рассматривать как труд нулевой квалификации, не требующий никакой предварительной специальной подготовки.

Только при таком понимании достигается в реальности безразличное отношение к определенному виду труда, соответствующее общественной форме, «при которой виднвиды с легкостью переходят от одного вида труда к другому, и при которой определенный вид труда является для них случайным и потому безразличным»<sup>3)</sup>.

Несколько иное толкование этой категории дает А. Кон. Он пишет: «Простым трудом мы называем такой труд, который требует для своего выполнения наименьшей из всех наличных видов труда предварительной подготовки работника»<sup>4)</sup>.

Не трудно видеть, что трактовка Коня не совпадает с определением Маркса. «Наименьшая» подготовка не адекватна «никакой».

<sup>1)</sup> К. Маркс, К критике политической экономии, стр. 25, изд. «Московский Рабочий», 1922 г.

<sup>2)</sup> Там же, стр. 45.

<sup>3)</sup> К. Маркс, К критике полит. экономии, стр. 28.

<sup>4)</sup> А. Кон, Теория промышленного капитализма, Гиз, 1925 г., стр. 17.—Мы не останавливаемся в настоящей статье на допускаемые рядом авторов неправильные отождествления, понятия предварительной подготовки вообще и предварительной подготовки специальной.

В отличие от простого труд сложный характеризуется как труд, требующий специальной предварительной подготовки.

Аллегорическое изображение Марксом того положения, что в буржуазном обществе генерал играет большую роль, чем «просто человек», означает в то же время, что труд сложный обладает большим удельным весом, чем простой, то-есть создает большие стоимости в соответствии одинаковый промежуток времени.

Будин полагает, что, «когда квалифицированный труд становится настолько распространенным, что его можно получить в достаточном количестве для производства и воспроизведения потребного количества товаров, он перестает быть «квалифицированным», перестает производить больше ценности, чем всякий средний труд»<sup>1)</sup>.

Определение Будина ставит категорию сложного труда в зависимость от спроса и предложения, а не от предварительной подготовки.

Можно предположить, что труд определенного вида, скажем монтера, требовавший специальной подготовки, рассчитанной на несколько лет, в дальнейшем, в силу поднятия технической грамотности населения и пр. причины,—дисквалифицируется, превратится в труд простой<sup>2)</sup>.

Происходит это, однако, не в силу достаточного для общества числа квалифицированных рабочих на рынке (это не дисквалифицирует труд), а в силу устранения необходимости в предварительной специальной подготовке.

Возможен и такой случай, когда функционирует рабочая сила квалификации n-ой, то-есть, более низкого уровня, чем простая рабочая сила, принимаемая в данном случае за единицу. Это происходит тогда, когда применяемая рабочая сила обладает меньшей подготовкой, чем средняя функционирующая в данной стране. Последняя тогда выступает как носитель специальной подготовки.

Труд простой и труд сложный свойственны всем историческим эпохам. Однако не во всех исторических эпохах эти виды труда обладают двойственным характером и могут создавать товарные стоимости.

Категория простого и сложного труда в своем свойстве создавать потребительные стоимости присущи всем историческим эпохам, ибо являются необходимым условием существования людей, но как источники стоимости присущи лишь одной товарно-капиталистической.

Так, например, труд портного, являющийся и в дотоварном обществе несомненно трудом сложным, в своем конкретном применении «производит одежду, а не ее меновую ценность. Последнюю он производит не как труд портного, но как отвлеченный всеобщий труд, а этот труд зависит от общественного строя, которого портной не произвел»<sup>3)</sup>.

Простой и сложный труд как создатели стоимости выступают не во всех исторических эпохах, а лишь в одной, исторически определенной.

<sup>1)</sup> Л. Будин. Теоретическая система К. Маркса, стр. 128, изд. «Новый Мир», 1918 г.

<sup>2)</sup> К. Диль полагает, что без субъективных факторов даже «приблизиться (?) к решению проблемы никак не удастся». Труд может быть высшим «единственно потому, что указанный труд удовлетворяет желаниям и запросам покупателей в большей мере, чем другой» (Комментарий к Основным началам Д. Рикардо, стр. 90). Оригинальное всего то, что Диль находит подтверждение своей точки зрения у... Маркса в его примечании о простом и сложном труде (см. Капитал, т. I, стр. 169, Гиз).

<sup>3)</sup> Маркс К. Критике полит. экономии, стр. 50.

В «Капитале» Марксом исследуется определенная историческая формация — буржуазное общество. Все категории, исследуемые политической экономией, носят исторический характер и дают нам возможность познания определенных производственных отношений и их совокупность, называемую экономическим строем. Поэтому мы рассмотрим категории простого и сложного труда в пределах лишь товарной эпохи, где все затраты труда обладают свойством выступать в качестве труда конкретного и абстрактного.

Как продукты различных видов конкретного труда, потребительные стоимости противостоят друг другу на рынке, как несоизмеримые величины, независимо от того, являются ли они продуктами простого или сложного труда.

Соизмеримыми друг с другом их делает содержащийся в товаре абстрактный труд.

Однако, продукты сложного труда обладают большей стоимостью, чем продукты простого труда, и, следовательно, большим количеством овеиествленного абстрактного труда.

В процессе обмена различные виды сложного труда стихийно сводятся в различных пропорциях к труду простому, как к единице измерения, последние же «для каждого определенного общества представляют величину данную» <sup>1)</sup>.

«Различные пропорции, в которых различные виды труда сводятся к простому труду, как к единице их измерения, устанавливаются общественным процессом за спиной производителей и потому кажутся последним установленным обычаем» <sup>2)</sup>.

В данном положении Маркс выдвигает три важных пункта:

1) процесс сведения труда сложного к простому существует в реальной действительности; 2) этот процесс происходит стихийно, без сознательного регулирования со стороны товаропроизводителей и 3) простой труд служит единицей измерения для различных видов сложного труда.

До сих пор простой труд нами рассматривался как источник стоимости, теперь же он выступает в новой роли единицы измерения сложного труда. Можно поставить вопрос: почему именно простой труд выступает в данной роли?

Марксово понимание этой категории дает полную возможность для правильного ответа.

Абстрактный труд, воплощенный в продуктах простого труда, выступает как труд, количественно ограниченный рамками обычного, не обладающего никакой специальностью человека. Именно количественной определенности абстрактно-простого труда и его соизмеримости лежит объяснение того, что абстрактно простой труд выступает как единица измерения сложного труда.

С точки зрения образования стоимости сложный труд представляется как кратное количество абстрактно-простого труда. «Средннтельно сложный труд есть только возведенный в степень или, скорее, помноженный простой труд, так что меньшее количество сложного труда равняется большему количеству простого» <sup>3)</sup>.

Сложный труд, таким образом, отличается от труда простого тем, что в соответственно одинаковый отрезок времени создает сто-

<sup>1)</sup> Маркс, Капитал, т. I, стр. 11, изд. Гиз. 1923 г.

<sup>2)</sup> Там же, стр. 11.

<sup>3)</sup> Капитал, т. I, стр. 11.

мость большей величины, при чем это вызвано не большей интенсивностью или производительностью труда, а большей профессиональной обученностью и подготовкой работников.

Сложный труд создает большую стоимость вне всякой зависимости от интенсивности или производительности труда.

Для измерения величины стоимости продуктов труда различной сложности недостаточно редукции сложного труда к простому. Для этого абстрактно простой труд, полученный в результате редукции, должен быть подвергнут измерению общественно необходимым трудом или временем.

Таким образом, в процессе обмена, за спиной товаропроизводителей, выявляются две единицы измерения:

1) Простой труд—для сведения всех видов труда к общественному, качественно-одинаковому труду, представляющему только количественные различия.

2) Общественно-необходимый труд—для определения величины стоимости товаров.

Что именно так понимал вопрос Маркс, можно видеть из следующих его рассуждений: «Чтобы можно было измерять ценность товаров рабочим временем, которое в них заключено, нужно сначала свести различные виды труда к однородному, не представляющему никаких различий, простому труду,—короче, к труду, который качественно одинаков и представляет только количественные различия»<sup>1)</sup>.

Обычная трактовка роли простого труда ограничивается выявлением его в качестве единицы измерения различной степени сложного труда, благодаря чему проблема редукции приобретает характер самостоятельного экскурса, не увязанного со всей теоретической системой Маркса. Это можно видеть на примере почти всех интерпретаторов, уделявших внимание этой проблеме и игнорировавших роль простого труда в качестве объекта измерения<sup>2)</sup>.

Следует отметить, что в «Критике полит. экономии» Маркс особо тщательно и глубоко осветил вопрос о роли категории общественно-необходимого времени, выступающего в товарном хозяйстве мерным стоимостью, и как таковой измеряющий труд уже уравниваемый, качественно однородный.

Исходя из указанных соображений, нам представляется неправильным утверждение И. И. Рубина, «что в «Критике политической экономии» Маркс еще не проводит между ними достаточно ясного различия и стирает границы между трудом абстрактным, простым и общественно необходимым»<sup>3)</sup>.

В конкретном товарном хозяйстве общественное разделение труда характеризуется не только различием видов конкретного труда одинаковой обученности, но и различной степенью сложности различных видов труда. Назовем первый вид разделения труда—разделением по горизонтальной линии, а второй—разделением по вертикальной линии. Различие видов труда, а следовательно, и товаров, является необходимым условием обмена, но в то же время лишь его предпосылочным моментом.

Только после сведения различных видов труда по вертикали к труду простому, однородному, абстрактно-всеобщему, между различ-

<sup>1)</sup> Маркс, К критике политической экономии, стр. 44.

<sup>2)</sup> Некоторым исключением является А. Кош.

<sup>3)</sup> И. Рубин, Очерки по теории стоимости Маркса, стр. 95, Гиз, 1924 г.

ными видами труда стихийно устанавливаются коэффициенты обменности.

Коэффициенты устанавливаются таким образом, — и иначе устанавливаться не могут, — что компенсируются избыточные затраты, связанные с производством продуктов сложного труда. Различная сложность труда выражается в неодинаковом количестве абстрактно-простого общественно-необходимого труда.

Если же предположить, что определенная скала по вертикали будет соответствовать коэффициенту, учитывающему избыточные затраты, связанные с производством продукта сложного труда, нная этот учет окажется меньше и не соответствующим действительным затратам, — в таком случае закон трудовой стоимости проявится в том, что начнется отлив труда из отраслей, требующих применения более сложного труда, в отрасли, требующие менее обученных работников. В данном случае, мы будем иметь нарушение относительного равновесия в системе общественного распределения труда.

Но очевидно, что товарное хозяйство, как целостный общественный организм, было бы даже теоретически немислимо, если бы наличие дисгармоничного элемента не вызывало бы тенденции обратного порядка. В действительности такова и существует.

Благодаря особому характеру товарного хозяйства, выражающемуся в том, что чрезмерный прилив труда в данную отрасль производства влечет за собой переполнение рынка товарами данного вида и, как следствие, продажу их ниже стоимости, что обречает на сокращение масштаба производства. На ряду с этим существует тенденция к восстановлению равновесия.

Общественный труд перераспределяется на новой основе, соответствующей существующим общественным условиям.

Среди этих постоянных отклонений цены от стоимости, последний выступает в качестве стихийного регулятора общественных затрат. «Лишь как внутренний закон, как слепой закон природы выступает в глазах отдельных деятелей производства закон стоимости и осуществляет общественное равновесие производства среди случайно колебаний» <sup>1)</sup>.

В условиях товарного хозяйства закон стоимости выступает в только в качестве регулятора коэффициентов обменности различных видов труда, но и распределяет труд различной сложности по различным частям хозяйственного организма. Совершенно правильно указывает И. И. Рубин, что «проблема квалифицированного труда сводится к изучению условий равновесия между различными видами труда, отличающимися различной квалификацией» <sup>2)</sup>.

Мнение критиков Маркса, что большая стоимость продукта сложного труда находится в противоречии с законом стоимости, основано на ошибочном представлении как самого понятия труда, так и регулирующего значения трудовой стоимости.

Изложенное показало, что повышенная стоимость продукта сложного труда не только не противоречит концепции Маркса, но является обязательным условием, без которого не мыслимо никакое распределение труда по вертикали в товарном обществе. Деление общественного труда по вертикали должно неизбежно выразиться в опре-

<sup>1)</sup> Маркс, Капитал, т. III, ч. 2, стр. 410, Гиз, 1928 г.

<sup>2)</sup> И. И. Рубин, Очерки, стр. 119.

деленных скалах стоимостеобразовательного характера, должно предполагать определенные коэффициенты редукции между различными видами труда.

Утверждение Буха и других, предлагающих физиологическое понимание категорий абстрактного труда, искажает действительные законы товарного и товарно-капиталистического развития, так как ограничивает сферу приложения законов трудовой стоимости.

Забегая вперед, отметим, что при физиологическом понимании абстрактного труда простой и сложный труд, при прочих равных условиях, не могут различаться как стоимостеобразовательные факторы. Они могут различаться лишь количеством затраченного труда в единицу времени, то-есть степенью интенсивности. Но это противоречит положению Маркса, что продукты сложного труда обладают большей стоимостью, чем продукты простого труда. Кроме того, становится совершенно непонятным, каким законам подчиняется общественное распределение труда по вертикальной линии. Эта проблема, при последовательном физиологическом понимании абстрактного труда, аннулируется, и роль стоимости, как регулятора общественных затрат по вертикальной линии, искажается.

Если же исходить из социологического понимания абстрактного труда, считающего, что различные виды труда в товарном обществе приравниваются в такой пропорции, при которой гарантируется известное состояние равновесия, вне зависимости от непосредственных физиологических затрат,—мы будем иметь принципиально иную установку в решении этой проблемы.

Продукт сложного труда приравнивается к продукту простого труда в такой пропорции, при которой общественное равновесие между различными видами труда не нарушается.

Лишь только при таком понимании абстрактного труда существуют все условия, при которых закон стоимости может определить, «какую часть находящегося в распоряжении общества рабочего времени оно в состоянии затратить на производство каждого данного товарного вида»<sup>1)</sup>.

### Труд абстрактный и труд сложный.

Поскольку сложный труд выступает в качестве стоимостеобразовательного фактора и, этим самым, в качестве труда абстрактного, следует особо разобрать взаимоотношение этих двух категорий.

Система Маркса явилась дальнейшим этапом в развитии экономической мысли. Отправной его точкой была классическая политическая экономия.

Остановимся поэтому прежде всего на вопросе о преемственности связи в понимании категории сложного труда у Маркса от классиков.

Некоторые исследователи полагают, что понятие сложного труда у классиков вошло без всяких изменений в теорию стоимости Маркса.

Так, например, В. Р. Чернышев пишет: «Свое построение сложного труда, как умноженного простого К. Маркс произвел, прямо опираясь на А. Смита и Д. Рикардо<sup>2)</sup>. (Разрядка моя.—Ш. Л.).

<sup>1)</sup> Капитал, т. I, стр. 334.

<sup>2)</sup> В. Р. Чернышев, Рикардо и Маркс, стр. 54, изд. «Прибой», 1925 г. Таково же мнение и И. Розенберга.

Однако знакомство с марксовой методологией и ее особенностями ставит под сомнение подобное утверждение. Маркс не мог в данном вопросе опираться на классиков, ибо в данной проблеме нагляднее всего проявляется недооценка классиками общественной формы товарного производства. Если, пользуясь аналитическим методом, классики вскрыли содержание стоимости, то при понимании труда, как явления природы, они не могли не только поставить вопрос «почему труд выражается в стоимости», но не могли правильно понять и категорию сложного труда, ибо последнюю можно понять лишь при учете общественной формы труда, благодаря которой выявляется большая стоимость продуктов сложного труда и сохраняется общественное равновесие труда между различными отраслями производства. Так, у Рикардо «качественные различия труда» не находятся в связи со сложностью труда, а зависят «от относительного искусства рабочего и напряженности выполняемого труда»<sup>1)</sup>.

В анализе сложного труда К. Диль видит в теории стоимости Маркса решающий провал; лишь у Буха «дело идет о единственной серьезной попытке разрешить такую проблему, которую Рикардо и Маркс оставили совершенно не разрешенною».

Это приводит нас к Буху, чтобы доказать именно его, а не марксизму преимущество от классиков.

В различии методов классиков и Маркса И. Рубин видит, отчасти, основание к различному пониманию категории абстрактного труда «разногласия между социологическим пониманием абстрактного труда и физиологическим пониманием абстрактного труда отчасти сводится именно к различию этих двух методов, диалектического и аналитического. Если с точки зрения аналитического метода можно еще с большим или меньшим успехом отстаивать физиологическое понимание абстрактного труда, то с точки зрения диалектического метода это понятие труда заранее обречено на неудачу, ибо из понятия труда в физиологическом смысле вы никакого представления о стоимости, как о необходимой социальной форме продуктов труда, вывести невозможно»<sup>2)</sup>.

Однако, в отношении категории сложного труда, физиологисты терпят фиаско, даже при применении аналитического метода, ибо, переходя от категории стоимости к абстрактному труду, невозможно понять, почему большая стоимость продуктов сложного труда сводится к меньшему количеству физиологического труда. Последнее можно понять, лишь исходя из социальной формы труда в товарном хозяйстве. Если физиологисты, при применении аналитического метода исследования, могут отстаивать в большей или меньшей степени свои позиции в отношении абстрактного труда, то в отношении сложного труда эти попытки не могут быть удачными.

Так, например, Бух не может согласиться с подразделением труда на сложный и простой, если целью этого подразделения является выяснение момента сложности труда, как фактора, оказывающего влияние на величину стоимости. «Ведь сам автор «Капитала», — пишет Бух — настаивает на том, что стоимостеобразовательным является труд абстрактный, смысле этого слова. А с точки зрения последнего как труд простого рабочего, так и труд более развитого рабочего представляются нам совершенно тождественными процессами про-

<sup>1)</sup> Цит. по Чернышеву, Рикардо и Маркс, стр. 53.

<sup>2)</sup> «Под Знаменем Марксизма» № 6, 1927 г., ст. И. Рубина, стр. 90.



вращения потенциальной энергии принятой пищи и выдыхаемого кислорода в механическую работу» (Разрядка наша.—Ш. Л.)<sup>1)</sup>.

По мнению Буха, следовательно, всякий труд, независимо от того, является ли он простым или сложным, представляет собой совершение одинаковый процесс превращения потенциальной энергии в механическую работу, то-есть при всех прочих равных условиях образует стоимость одинаковой величины.

Путем такого доказательства Бух приходит к заключению, что с точки зрения образования стоимости нет никакой разницы между затратой простой и сложной рабочей силы, а, следовательно, никакой проблемы редукции не существует.

По-своему Бух логичен. Он ликвидировал понятие сложного труда, как стоимостеобразовательного фактора и тем самым проблему редукции, поскольку ею занимается теория трудовой стоимости, ибо, исходя из физиологического понимания труда, невозможно объяснить то явление, что, скажем, труд токаря создает большую ценность, чем труд чернорабочего, тратящего во всяком случае не меньшее количество физиологической энергии.

Если простой и сложный труд обладают способностью в единицу времени создавать одинаковые стоимости, то, в таком случае, никакой количественной разницы между этими видами труда провести нельзя.

Но, в таком случае, Бух не может, как он и сам признается, не впадая в противоречие, утверждать, что «стоимость товаров определяется количеством простого труда (например, трудом батрака), так как понятие о простом труде, вытекая не из абстракции, а из классификации (два класса, простой и сложный труд),—ничего не имеет общего с нашим представлением об абстрактном труде» (разрядка наша.—Ш. Л.)<sup>2)</sup>.

Мысль Буха, по существу, закончена. Понятия простого и сложного труда стоят вне теории стоимости. Они вытекают из различия труда в его конкретных проявлениях и к абстрактному труду отношения не имеют.

Мы знаем, что Маркс рассматривал труд с двух точек зрения: как труд конкретный и абстрактный. Сложный и простой труд должны также обладать этим двойственным характером. Сводя же их целиком к труду конкретному, Бух тем самым подрывает основу теории трудовой стоимости и теряет возможность проведения чисто количественной разницы между простым и сложным трудом.

Подобное же отрицание двойственного характера труда мы встречаем и у другого критика Маркса—главы психологического направления, Бем-Баверка. Он также относит простой и сложный труд к различным конкретным его видам и, исходя из этого, ставит отсюда под знак сомнения самую возможность теоретического разрешения проблемы редукции.

Беря, в виде примера, обмен продуктов труда скульптора и камнетеса, Бем выражает изумление, каким образом, исходя из основ теории стоимости, можно утверждать, что пятидневная работа камнетеса имеет своим выражением один день работы скульптора.

Подобный факт, по мнению Бема, обнаруживает всю несостоятельность основ теории стоимости Маркса. «Но, вынужив хладнокровию,—пишет он,—найдем, что это еще менее подходит, так как

<sup>1)</sup> Л. Бух, стр. 151.

<sup>2)</sup> Л. Бух, стр. 151.

в продукте скульптора вовсе не воплощается «простои работа», и говоря уже о простой работе в том же количестве, что и в продукте пятидневной работы каменотеса. Точная истина, попросту, состоит в том, что оба продукта воплощают в себе труд разного вида и в разном количестве»<sup>1)</sup>.

Разница между обоими авторами заключается в том, что в то время, как Бух признает, например, правильность учения Маркса о двойственном характере труда, Бем-Баверк вообще считает всю теоретическую концепцию Маркса ловкой игрой диалектической мысли.

У Буха здесь любопытная «модификация». Будучи «совершенно согласен» с Марксом, что труд обладает двойственным характером, он упускает из виду, что в конкретности труд проявляется как труд неоднородный по своей сложности и что, следовательно, этот двойственным характером должен обладать и сложный труд.

Родственную такому пониманию категории абстрактного труда теоретическую схему мы находим у профессора Л. Любимова. По его мнению, абстрактный труд может отличаться только степенью напряженности. Большая степень напряженности труда соответствует и большей величине создаваемых стоимостей. Иных качеств абстрактный труд не имеет. «Труд абстрактный, как мы помним, не может отличаться по своим качествам, но он может различаться по своей напряженности (интенсивности)»<sup>2)</sup>.

Но в таком случае становится непонятной роль сложного труда. Действительно, если абстрактный труд отличается лишь степенью напряженности, то фактор сложности, оставленный в стороне, делается равнодушным зрителем к процессу созидания стоимости. Но подобная постановка вопроса уже была сделана Бухом, который должен был как последствие, подвергнуть сомнению учение о двойственном характере труда. И для Любимова, при соблюдении логичности в построении, оставался бы лишь путь Буха.

Мы были бы вправе ожидать от Любимова утверждения, что различная сложность труда характеризует собою различную форму существования конкретных видов труда и связана не с двойственным характером, а с классификацией труда, как определенной полезной сущности.

Но Любимов совершает небольшой «маневр», в результате чего рассуждения его принимают иной характер. Он рассматривает сложность труда как его интенсивность, отождествляет эти понятия.

Если бы абстрактный труд не отличался никакими иными качествами, кроме интенсивности, то продукты сложного труда могли бы обмениваться на продукты простого труда и без всякого предварительного сведения, то-есть самая проблема редукции не имела бы вообще места в действительности.

«Для того, чтобы товары измерялись заключенным в них количеством труда,—а мерилом для количества труда служит время,—все виды разнородного труда, заключенного в товарах, должны быть сведены к одинаковому простому труду, среднему труду, обычному, простому (unskilled) труду. Лишь тогда количество содержащегося в них труда может измеряться временем, одинаковым мерлом»<sup>3)</sup>.

<sup>1)</sup> Бем-Баверк, Теория Карла Маркса и ее критика, стр. 84, изд. 1891.

<sup>2)</sup> Лев Любимов, Курс политической экономии, т. I, вып. I, стр. 68, Гл. 1924 г.

<sup>3)</sup> Маркс, Теория прибавочной стоимости, т. III, стр. 115, изд. «Профгиз» 1924 г.

Маркс в данном случае указывает нам, что проблема редукции предшествует процессу выявления количественной пропорции. Прежде чем измерять труд (как абстрактный) общественно-необходимым временем, он должен выступить качественно однородным, не только в смысле отвращения от своих конкретных свойств, но и в смысле отвращения от различной степени сложности.

Мыслимо ли вообще измерение абстрактного труда временем, если он, с одной стороны, выступает, как абстрактно помноженный, а с другой стороны, абстрактно-простой труд?

Должно быть ясным, что поскольку отвращение от конкретных свойств труда выражает собою еще многообразие черт по степени сложности, постольку однородною сущностью измеримо быть не может.

Несколько отличное понимание абстрактного труда мы встречаем у А. Богданова. Им проводится полное отождествление понятий абстрактного и простого труда. Несмотря на то, что Бухом отрицается связь между абстрактным и простым трудом, оба автора приходят к пониманию понятия сложного труда к одинаковым, по существу, выводам.

«Чтобы говорить о сумме производительного труда, как об определенной величине, для этого надо все конкретно различные виды труда представлять себе сведенными к некоторой общей единице измерения. Такой единицей измерения для теоретического анализа является «абстрактный» или «простой» труд<sup>1)</sup>.

Хотя простой труд может выступать и в качестве абстрактного труда, но целиком и полностью отождествлять эти понятия нельзя, ибо при этом отбрасывается конкретный характер простого труда.

Кроме того, вряд ли можно считать правильным непосредственное сведение «конкретно различных видов труда» к труду абстрактному или простому, как к единице измерения. Богданов здесь несколько забегает вперед и тем самым искажает последовательность хода развития процессов товарного общества. Правильнее будет утверждение, что простой труд является мерилом различной сложности труда. Но, будучи сведенным к абстрактно-простому труду, последний измеряется уже определенным количеством абстрактного труда, то-есть общественно-необходимым трудом или временем.

Соавтор «Курса»—И. Степанов, очевидно, полностью разделяет концепцию Богданова, выставляя понятия сложного и интенсивного труда, как понятия идентичные.

Для краткости приведем лишь одну цитату, в достаточной мере подтверждающую наше мнение. В своем «Курсе» И. Степанов пишет: «Для того, чтобы сделать трудовые затраты.—Ш. Л.) вообще соизмеримыми, необходимо более сложный труд или более интенсивный труд (разрядка моя.—Ш. Л.) свести к простому, труду»<sup>2)</sup>.

Концепции Богданова ближе всего стоит к Либкнехту. Несмотря на ряд неправильностей и искажений, допускаемых Либкнехтом, единственным, не вызывающим возражений, нам представляется его собственное замечание о том, что свою точку зрения по данному вопросу он признает гипотетичной и недоказуемой.

<sup>1)</sup> А. Богданов и И. Степанов, Курс политической экономики, т. II, вып. 4, стр. 18, изд. 1918 г., «Коммунист».

<sup>2)</sup> А. Богданов и И. Степанов, Курс, т. II, вып. 2, стр. 57.



Эти слова с успехом можно ставить эпиграфом к работам представителей данного направления.

Проблема редукции Либкнехтом запутывается характерным для всей этой плеяды экономистов утверждением, что существует «тенденция к совпадению сложности и интенсивности труда, хотя на первый взгляд это кажется не так»<sup>1)</sup>.

### **Труд сложный и труд интенсивный.**

Выше нами был разобран вопрос о том, каким образом при физиологическом понимании абстрактного труда ликвидируется категория сложного труда. Таково обязательное последствие при извращении взятой исходной посылке. Но очевидно, что одной ликвидацией, при желании обрисовать процессы товарного хозяйства, обойтись невозможно. Понятие сложного труда должно быть заменено каким-то другим понятием. На самом же деле оно заменяется целым винегретом понятий. Выяснить содержание этих заменяющих понятий представляет известный интерес, тем более, что исследователи, сторонники физиологической версии, проводят эту ликвидацию в завуалированной форме. Некоторым исключением в данном случае нам представляется Л. Бух, прямо и последовательно, со своей точки зрения, устранивший категорию сложного труда в качестве стоимостеобразовательного фактора.

Напрасно В. Позняков полагает, что Бух отождествляет понятие труда сложного и труда интенсивного. Позняков пишет: «Л. Бух, сводит, таким образом, различия между простым и сложным (квалифицированным) трудом к различию между более и менее интенсивным трудом, отождествляет труд сложный с трудом более интенсивным (курсив мой.—Ш. Л.), то-есть, другими словами, отрицает само понятие более сложного (квалифицированного) труда, как труда, создающего большую ценность»<sup>2)</sup>.

Когда Позняков констатирует отрицание Бухом роли сложного труда как создателя большей величины стоимости, это не может встретить возражения.

Другое дело—вопрос об отождествлении Бухом категории сложного и интенсивного труда. Подобная трактовка противоречит всей теоретической концепции последнего. Бух отрицает всякую связь этих категорий, так как, по его мнению, они находятся в различных плоскостях научного анализа. В то время, как понятие сложного труда вытекает из классификации и соотносимо с конкретной формой труда, понятие интенсивности труда вытекает из абстрактного характера труда и является стоимостеобразовательным фактором. Бух чрезвычайно резко расчленяет эти понятия.

Исключительная роль интенсивного труда выдвинута тем, что качественное различие в проявлении абстрактного труда характеризуется исключительно его напряженностью (курсив мой.—Ш. Л.). Таким образом, труд, как стоимостеобразовательная субстанция, бывает различен по своей интенсивности, и это, как мы убедимся, необходимо постоянно иметь в виду для отыскания правильного способа определения величины стоимости товаров»<sup>3)</sup>.

<sup>1)</sup> В. Либкнехт, История теории стоимости в Англии в учение Маркса, стр. 153, Гиз, 1924 г.

<sup>2)</sup> В. Позняков, Квалифицированный труд и теория ценности Маркса, стр. 39, 2-е изд. Комм. ун-та им. Я. Свердлова.

<sup>3)</sup> Л. Бух, стр. 149.

Своеобразное «интенсификаторское» понимание абстрактного труда, приведшее Буха к принципиальному отрицанию категории сложного труда, выдвинуло задачу объяснить большую стоимость товаров лишь интенсивным характером труда.

В самом деле, если быть последовательным, то при условии, что труд рабочих неодинаков по качеству, и отличается лишь только тем, что «один рабочий, в единицу времени, производит: более механической работы, а другой сравнительно менее»<sup>1)</sup>, нужно прийти к выводу, что чем больше в один и тот же отрезок времени затрачивается труда рабочим, то-есть чем интенсивнее его труд, тем больше стоимости он должен создать.

Если абстрактный труд различается не степенью сложности, а только степенью интенсивности труда, то, следовательно, для определения величины стоимости товаров необходимо исходить из продолжительности и интенсивности затраченного труда.

Вопреки мнению Дила, вопрос о влиянии большей интенсивности труда на величину стоимости достаточно полно разработан Марксом в главе «Соотношение между ценой рабочей силы и величиной рабочей силы»<sup>2)</sup>. Маркс поясняет, что «при неизменном количестве рабочих часов более интенсивный день воплощается в более высокой вновь созданной стоимости»<sup>3)</sup>.

Однако влияние интенсивности труда на величину стоимости единицы товара совершенно иное, чем влияние сложного труда. В то время как сложный труд повышает стоимость единицы товара, труд интенсивный стоимость единицы товара не изменяет. Большая интенсивность труда находит свое выражение лишь в большей массе товаров, фигурирующих как стоимости на рынке.

У Маркса проблемы интенсивного и сложного труда не исключают взаимно друг друга. Они охватывают лишь различные процессы товарного хозяйства. Не будучи связанным «марксистскими узами», Бух свое отрицание понятия сложного труда выдвинул в качестве одного из центральных пунктов критики Маркса.

В неизмеримо худшем положении находятся исследователи, разделяющие в данном вопросе точку зрения Л. Буха, но, в той или иной степени, считающие себя марксистами. Для них уже ясно, что по-Буховски, отрицать теорию сложного труда представляется невозможным. Это привилегия лишь критиков Маркса.

Но так как физиологическое понимание труда обязывает к известным выводам, то-есть все же к отрицанию этой категории, то приходится путем эклектических комбинаций маневрировать. Особенно наглядно эти «маневры» проявляются у А. Богданова, Л. Любимова и других физиологистов.

В отличие от Буха, А. Богданов не отрицает проблемы редукции сложного труда к простому, но в понимании этих категорий им вкладывается «столько» иное содержание. Он лишь указывает, что: «Сложный и простой труд существуют не только в менсвом, а во всяком обществе, и надо найти основу сведения их к соизмеримости для всякой экономической организации»<sup>4)</sup>.

Если иметь в виду, как уже выше было нами отмечено, что исследование проблемы о соизмеримости простого и сложного труда

<sup>1)</sup> Л. Бух, стр. 151.

<sup>2)</sup> Капитал, т. I, стр. 499.

<sup>3)</sup> Капитал, т. I, стр. 505.

<sup>4)</sup> Богданов и Степанов, т. II, вы. 4, стр. 19.

возможно лишь в плоскости абстрактного труда, то делается ясным, что, ставя вопрос об их соизмеримости во «всякой экономической организации», А. Богданов тем самым превращает абстрактный труд в логическую категорию.

Но, в таком случае, мы имеем здесь дело ни с чем иным, как с Буховским общечеловеческим трудом, в котором абстрагируются «различия полезных форм», то-есть с физиологическим трудом, отличным от своих конкретных особенностей и присущий всем экономическим эпохам.

И дальше, если быть логичным, то при таком понимании абстрактного труда Богданов неизбежно должен был, как и Буд, прийти к отрицанию проблемы редукции сложного труда. Однако Богданов открыто не признает себя ликвидатором. Методологически он делает обходный маневр. Связывая проблему приведения сложного труда к простому с проблемой приведения более интенсивного труда к труду одинаковой интенсивности, Богданов приходит к «косвенному», окольному отрицанию понятия сложного труда.

«Различные виды работы с их неодинаковой сложностью являются результатом неодинакового обучения работников и следовательно неодинакового развития организмов. Более сложный вид труда соответствует большему развитию, более простой — меньшему. Но очевидно, что организм более развитой при работе затрачивает в одинаковое время больше трудовой энергии, чем менее развитой. Поэтому труд более сложный должен рассматриваться, как большая затрата энергии по сравнению с менее сложным; первый равняется умноженному второму (курсив мой.—Ш. Л.)»<sup>1)</sup>.

Таким образом, по-Богданову, более сложный труд обязательно должен быть и более интенсивным, то-есть должен рассматриваться как большая затрата энергии. Следовательно, если предположить, что высококвалифицированный мастер в определенный отрезок времени тратит соответственно меньшее количество трудовой энергии, чем в тот же промежуток времени тратится простым чернорабочим, то, по концепции Богданова, мы сможем утверждать, что первый рабочий тратит менее сложный труд, чем рабочий необученный, а, стало быть, и создает меньшую стоимость.

Далее, принимая временно на веру то, что более интенсивный труд с необходимостью связан с большим количеством затрачиваемой энергии, мы все же не можем не отметить в данном вопросе противоречия. Ведь, совершенно очевидно, что мы имеем смешение двух принципиально-отличных проблем: сложного и интенсивного труда.

Для Маркса проблема интенсивного труда входит и полностью разрешается учением об общественно-необходимом труде, предполагающий средний для данного общества уровень умелости и интенсивности труда.

Если же данный индивидуальный товарпроизводитель работает с большей или меньшей интенсивностью, то индивидуальная величина вновь создаваемой им стоимости получает на рынке соответствующие коррективы в ту или иную сторону. «Изменяется ли количество затраченного труда экстенсивно или интенсивно,—пишет Маркс,—изменению этой величины во всяком случае соответствует изменение

<sup>1)</sup> Богданов, Краткий курс, стр. 57, изд. «Моск. Раб.», 1922 г.

величины вновь создаваемой стоимости, какова бы ни была природа тех предметов, в которых эта стоимость воплощается»<sup>1)</sup>.

Изложенное показало, что вопрос о большей степени интенсивности труда разрешается в рамках общественно необходимого труда, в то время как решения вопроса о сложном труде в пределах этой проблемы мы не находим.

Но верна ли вообще постановка Богдановым вопроса о соизмеримости труда сложного и простого с точки зрения количества затраченной энергии?

На этот вопрос мы должны дать отрицательный ответ, научные данные физиологии опрокидывают это положение Богданова.

Так как Богданов оперирует трудом в физиологическом смысле и так как этот труд поддается учету калориметра, то, изменив этот труд, мы можем выяснить, насколько правильно утверждение, что «час работы ученого по количеству затраченной энергии соответствует, может быть, трем часам механика и двенадцати часам черно-рабочего»<sup>2)</sup>.

В брошюре профессора Б. И. Слоцова о «Питании и работе» приводится ряд любопытных данных о затрате представителями различных профессий калорий тепла при выполнении ими работы»<sup>3)</sup>.

Калорические эквиваленты некоторых форм работы след:

	Кал.
Здоровый, мало работающий физически человек . . .	2.400
Служащий по письменной части (бухгалтер) . . .	2.500
Школьный учитель . . .	2.600
Швея, работающая из рук . . .	2.700
Писец или машинистка - н. респичница . . .	2.800
Литограф . . .	2.900
Переплетчик . . .	3.000
Рабочий металлист . . .	3.300
Плечка . . .	3.400
Ломовик . . .	3.500
Башмачник . . .	3.600
Жнец . . .	4.000
Косильщик . . .	4.400
Каменотес . . .	4.800
Плхарь . . .	5.000
Дровосек . . .	6.000
Переносчик кирпича . . .	8.300
Гонщик-велосипедист . . .	9.000

Итак, если прав Богданов, то нам придется считать труд каменотеса или дровосека, как известно не требующего большого предварительного специального обучения, трудом более сложным, чем труд школьного учителя или бухгалтера, а труд переносчика кирпичей попадает в разряд наиболее сложного труда.

Очевидно, все же дело обстоит несколько иначе. Установление прямой функциональной связи между сложным и интенсивным трудом противоречит действительности<sup>4)</sup>.

Ведь совершенно очевидно, что труд может быть высшего удельного веса и, однако, по количеству затрачиваемой энергии стоять ниже уровня простого труда.

<sup>1)</sup> Капитал, т. I, стр. 505.

<sup>2)</sup> А. Богданов, Краткий курс, стр. 57.

<sup>3)</sup> Б. И. Слоцова, Питание и работа, изд. Л. Д. Френкеля, 1924 г., стр. 16.

<sup>4)</sup> Если и можно установить связь между трудом сложным и интенсивным, то в порядке обратном, чем полагает А. Богданов.

Это искусственное сращивание понятий сложного и интенсивного труда необходимо было Богданову для того, чтобы полностью свести проблему сложного труда к интенсивному, и, таким образом, ликвидировать эту проблему.

Если «более сложный труд должен рассматриваться, как большая затрата энергии»,—то вполне понятно, что речь может идти лишь о степени интенсивности труда.

Богданов в этом вопросе развил крайне-легковесный взгляд свернув в своих выводах все же к Буху, хотя трактовка Богданова несколько отличается от Буховского понимания.

Формально, признавая сложный труд результатом неодинакового обучения, способного благодаря этому создавать в единицу времени большую стоимость, чем простой, необученный труд, Богданов вступает, повидимому, в противоречие с Бухом. Но это только на первый взгляд, в действительности же Богданов изнужден и своих выводах притти к Буху. Физиологическая трактовка категории абстрактного труда могла лишь путем искусственных методологических ухищрений привести к пониманию категории сложного труда, именно по нашему мнению у Богданова лишь иное терминологическое обозначение понятия интенсивного труда.

#### **Новейшие течения в физиологическом понимании сложного труда**

Л. Любимов посвящает в своей книге специальную главу проблеме редукции. Целью этой главы является показать, что стоимость продуктов сложного труда может быть объяснима полностью и целиком теорией трудовой стоимости. Как утверждает Любимов, и стоимость продуктов невоспроизводимого труда не представляет собой такого экономического явления, перед которым становилась бы в типичной теоретической системе Маркса<sup>1)</sup>.

Автор считает, что различная сложность труда оказывает влияние на величину стоимости, но так как, по его мнению, абстрактный труд—это единственная стоимостеобразовательная субстанция, различается только по степени интенсивности, то и сложный труд выступает как абстрактный лишь потому, что теснейшим образом связан с моментом интенсивности.

Взгляд автора можно было бы наилучшим образом сформулировать, если сказать, что сложность труда, как определяющей величине стоимости фактор, выступает постольку, поскольку он связан с интенсивностью труда. Как «физиологист», Любимов трактует абстрактный труд в виде затраты человеческой энергии в ее отвлеченном от конкретного характера виде.

Но если, скажем, Богданов, исходя из такой же установки, относит действие категории абстрактного труда ко всем временам и пространствам, то Любимов, наоборот, считает ее выразителем системы товарного хозяйства. Затрата человеческой энергии «вообще» рассматривается им, как затрата энергии в товарном хозяйстве, благодаря чему понятие абстрактного труда выступает как понятие историческое, отражающее общественный характер товарного производства. Он пишет: «абстрактный труд с точки зрения экономиста—производитель»

<sup>1)</sup> Мы здесь не останавливаемся на проводимом Любимовым отождествлении труда сложного с трудом невоспроизводимым, ибо эта интересная проблема требует особого исследования.



ная затрата человеческого мозга, мускулов, нервов, рук и т. д., со стороны членов менового общества»<sup>1)</sup>.

В этом и заключается «новшество» Любимова. Под давлением представителей социологической версии он вынужден был понятие абстрактного труда ограничить рамками товарного хозяйства.

Подобная трактовка является шагом вперед, по сравнению с Богдановым и Бухом, не учитывавших специфический, общественный характер товарного общества, ибо «труд образует ценность только при известном способе организации общественного процесса производства»<sup>2)</sup>.

Однако дойти до понимания категории сложного труда Любимов не мог. Для того, чтобы установить функциональную связь между интенсивностью и сложностью труда, Любимов вводит промежуточное звено в виде умелости труда, его «хорошести», «достоинства», отождествляя это свойство труда со сложностью. «Гораздо сложнее и несравненно больше значения имеет теперь различие в квалификации труда, т. е. различие в степени его «достоинства», «хорошести» (Курсив мой.—Ш. Л.)»<sup>3)</sup>.

Так как различные мастера отличаются различной степенью умелости (хороший мастер, недоучка), то труд их, следовательно, выступает в качестве представителя различных видов сложного труда.

Следует отметить, что момент умелости оказывает влияние на процесс создания стоимостей. Так, стоимость продуктов, произведенных хорошим мастером, при прочих равных условиях в равном отрезке времени, действительно будет большая, чем стоимость продукта недоучки. Но ведь понятие умелости точно так же, как и понятие интенсивности труда рассматривается политической экономией по другой линии общественно-экономических процессов, в учении об общественно-необходимом труде. Умелость труда никакого отношения к труду сложному не имеет. Труд плохого токаря может выступить в качестве создателя больших величин стоимостей, чем труд хорошего, умелого землекопа. Здесь возможны различные сочетания, но теоретически необоснованно выводить какую-то зависимость.

Следует отметить, что умелость труда требует с своей стороны также затрат на обучение и образование. Однако последнее несколько иного характера, чем для квалификации, хотя издержки, затраченные на обучение, входят в круг, определяющий стоимость рабочей силы.

Отличие между обучением, получаемым для поднятия квалификации и умелости, заключается в том, что в первом случае мы предполагаем переход с данной (нижней) специальности к другой—вышей, в то время, как во втором случае это обучение направлено к приобретению данной рабочей силы опытности в пределах определенной отрасли производства.

Издержки, затраченные для получения опыта и умелости, тем выше, чем сложнее применяемый вид труда. Так, например, токарю требуется затратить гораздо больше средств для приобретения опытности в пределах своей профессии, чем землекопу. Однако смешивать эти два разнородных вопроса не вызывается никакой необходимостью и методологически неправильно.

<sup>1)</sup> «Под Знаменем Марксизма» № 12, 1927 г.

<sup>2)</sup> Р. Гильфердинг, Бем-Баверк как критик Маркса М. 1919 г., стр. 15.

<sup>3)</sup> Л. Любимов, Курс, стр. 70.

Смешением и отождествлением понятий умелости и сложности труда Любимов получил необходимую для него связь между трудом сложным и интенсивным. Он пишет:

«... оба эти вида различия (интенсивность и квалификация) часто более или менее тесно переплетаются друг с другом, а нередко и сливаются, так как чем больше продолжается предварительное обучение рабочего, тем квалификация и, обычно, интенсивнее труд его»<sup>1)</sup>.

Примерно, такого же порядка смешение понятий мы наблюдаем у другого комментатора Маркса, Будина. И. Рубин не совсем прав, когда указывает, что Будин со сложным трудом смешивает только труд умелый. Сложный труд отождествляется им не только с умелостью, но и с производительной силой труда.

«Квалифицированный искусный труд, все равно, зависит ли его квалифицированность от личного искусства производителя, приобретенного обучением и соответствующей дрессировкой, или от усовершенствованных орудий (курсив мой. — Ш. Л.), производительнее простого»<sup>2)</sup>.

Историческое развитие хозяйственных процессов дает нам эмпирическое доказательство того положения, что повышение уровня производительных сил, прогресс техники сопутствует все большему выравниванию в степени сложности применяемого труда. Эта квалификация перекладывается на «плечи» машины. Вместе с этим все в большей мере применяется простой труд.

В «Ницше философии» — произведении, писавшемся в период, когда уже наметились основные тенденции развития капитализма, Маркс указывал на этот факт: «На фабрике, работающей с помощью машин, труд одного работника почти ничем не отличается от труда другого»<sup>3)</sup>.

Таким образом, выставлением положения о зависимости квалификации от развития производительных сил Будин вводит в противоречие с действительностью.

В качестве новейшего представителя современной экономической литературы физиологического направления выступает А. Кон. Он учитывает остроту вопроса в постановке так называемой «социологической версии» и, поэтому, ставит перед собой задачу дополнительного подкрепления уже имеющегося арсенала доказательств правомерности физиологического понимания.

В проблеме редукции основным вопросом для него, как и для всех физиологов, является доказательство необходимости связи между количеством затрачиваемой энергии в единицу времени и степенью сложности.

В своей работе «Теория промышленного капитализма» автор еще не видит нужды в каких-то новых доказательствах и поэтому ограничивается следующим догматическим утверждением:

«Всякие два вида труда, взятые абстрактно, могут отличаться друг от друга только по количеству энергии, которое каждый из них овеществляет в товаре в единицу времени. Рассматриваемые с точки зрения количества абстрактного труда, овеществляемого в единицу времени, все виды труда могут быть располо-

<sup>1)</sup> Л. Любимов, Курс, стр. 70.

<sup>2)</sup> Л. Будин, Система Маркса, стр. 127.

<sup>3)</sup> Маркс. Ницше философия, стр. 24, изд. 1906 г.

жены по убывающей прогрессии, первым членом которой является простой труд, а последним—наиболее сложный труд данного общества»<sup>1</sup>).

Кои последовательно утверждает, что простой труд выступает первым, низшим членом восходящей прогрессии, следовательно, затраты его характеризуется минимальным расходом энергии в единицу времени. Наоборот, максимум расходования производится трудом наиболее сложным, выражающем высший член прогрессии. По сравнению с Бухом, Богдановым и др. физиологистами, Кои в данном рассуждении ничем не отличается от них.<sup>2</sup>

В своем курсе Кои, оставаясь на прежних позициях, пишет: «...различные конкретные виды труда не одинаково воздействуют на организм. Так, физический (мускульный) труд вызывает гораздо большую утечку энергии из организма, чем труд умственный»<sup>3</sup>).

Однако в дальнейшем Кои противоречит самому себе, полагая, что «профессор затрачивает в 1 час больше труда, чем дровосек, и притом не только потому, что его труд более сложен, но также и потому, что его труд более интенсивен»<sup>4</sup>).

Теперь уже труд умственный выступает, вопреки сказанному ранее, как труд более сложный и интенсивный, чем труд физический. Противоречие у автора совершенно явное.

Для того, чтобы подкрепить себя в возможности такого утверждения, Кои выдвигает теорию неравномерности изнашивания клеток организма представителей различных профессий. Исходя из того, что... «при умственном труде в гораздо большей степени, чем при физическом труде, разрушаются клетки нервной и мозговой ткани, очень трудно поддается восстановлению»<sup>5</sup>), — он и пришел к своему последнему выводу.

Профессор, как затрачивающий при работе наибольшее количество клеток нервной и мозговой ткани, получает свойства представителей сложного труда.

Для выяснения правильности этого нового критерия интенсивности труда мы обратимся к данным современной науки, изучающей условия труда. Так, комментируя исследование Альфреда Вебера, Ерманский пишет, что у механиков и ткачей в процессе работы «больше всего напрягается вся нервная система; тут рабочие изнашиваются быстрее, чем во всех остальных категориях труда (курсив мой.—Ш. Л.), и наблюдается падение работоспособности рабочего уже на третьем десятке лет его жизни»<sup>6</sup>).

Нет надобности приводить других подтверждений. История развития капитализма дает нам лучшие объяснения по этому вопросу. Вымирание целыми областями, вырождение, дегенерация, — все это результат колоссального изнашивания организма. Современная техника требует от рабочего максимума умственного и нервного напряжения. Интенсификация, тайлоризм, система конвейера, — все это ведет

<sup>1</sup>) А. Кои, Теория промышленного капитализма, стр. 17.—Отметим некоторую неточность. Прогрессия, о которой пишет А. Кои, есть, очевидно, прогрессия нисходящая, а не убывающая, что вытекает из общего контекста его рассуждений.

<sup>2</sup>) А. Кои, Курс, стр. 26, Гиз, 1928 г. Курсив мой.—Ш. Л.

<sup>3</sup>) Там же, стр. 27. Курсив мой.—Ш. Л.

<sup>4</sup>) Там же, стр. 26.

<sup>5</sup>) О. Ерманский. Научная организация труда и система тайлоризма. Гиз, 1922 г., стр. 56.

к преждевременному изнашиванию всех клеток организма и, в этом отношении, является спорным утверждение Кона, что труд профессора требует наибольшей растраты «трудно поддаваемых восстановлению» клеток. У квалифицированных промышленных рабочих степень разрушения клеток нервной и умственной тканей может быть значительно выше, чем у неквалифицированных рабочих, но в то же время и выше, чем у представителей более квалифицированных профессий.

То обстоятельство, что разрушение организма у рабочих крупной индустрии происходит быстрее, чем у работников высшей квалификации, — интеллигентного труда, подкрепляет факт «быстрого исчезновения» пролетариата, начиная с 35-летнего возраста<sup>1)</sup>.

Если определять сложность труда по степени разрушения клеток нервной и мозговой ткани, то выше упомянутый профессор окажется менее квалифицированным, чем механик машиностроительного завода, с чем вряд ли можно согласиться.

Но, и помимо этого, включение Коном в понятие интенсивности труда степени разрушения человеческих тканей произвольно. Этот факт не находится в прямой зависимости от степени интенсивности труда. Ведь и при интенсивной работе ткани могут разрушаться в меньшей степени, чем при экстенсивной форме труда представители особо вредных профессий. Таким образом, степень разрушения человеческих тканей сама по себе не является показателем ни интенсивности, ни сложности труда.

Помимо этого, схема Кона устраняет для нас возможность внимания не только принципов распределения труда по его сложности, но также и по его интенсивности. Так как степень разрушения человеческого организма не поддается точному учету, а иногда происходит в скрытой форме, то встает вопрос: каким образом происходят перемены труда в различных отраслях производства? Для того, чтобы иметь необходимость в переходе рабочих из одной отрасли труда в другую, требуется осознание причин и стимулов этого перехода. Если и такие кроются «в глубине физиологических процессов» и не проявляются явно во внешнем (до сих пор нет у физиологии данных об объективном разрушении человеческих тканей в различных отраслях труда), — то переход из одной отрасли в другую будет ничем не детерминирован и общество перестанет быть тем «искусным бухгалтером», который распределяет труд по различным отраслям производства. Таким образом, введенный Коном новый показатель для определения степени сложности и интенсивности труда не показывает нам того объективного критерия, который устанавливает в стихии рынка равновесие в распределении общественного труда по вертикали и горизонтали. Так как «закон разрушения клеток» не входит в категорию стоимости, то он не может играть и подсобной роли в проблеме редукции.

Более того, подобного рода доказательства, если их последовательно применить не только в отношении частной проблемы, — придут к весьма плачевным результатам. Этим мы политическую экономию, как науку о законах движения товарно-капиталистического общества, превращаем в смесь из естественно-медицинских, психологических и др. дисциплин.

<sup>1)</sup> Там же, стр. 53.

Отметим, что даже Диль считает физиологическое объяснение не решающим для категории абстрактного труда. Верный, однако, своим принципам, он ищет выхода в мотивах полезности товара<sup>1)</sup>.

К числу новейших физиологистов следует отнести также и С. Шабеа. Касаясь проблемы редукции, Шабеа считает, что понятие сгущенности труда, как выражающее его сложность, не может иметь основания ни в какой его трактовке; говори о социальной сгущенности труда, Рубин одинаково неправ, как и те физиологисты, которые утверждают понятие физиологической сгущенности, ибо в этом случае сложный труд должен с необходимостью отождествляться с трудом интенсивным.

Когда Маркс говорит о том, что сложный труд выступает как труд помноженный простой, то, естественно, здесь говорится, не о чем ином, как о сгущенности, потенцированности труда.

Вопрос заключается лишь в том, как понимать эту сгущенность. Если при физиологическом понимании труда понятие сгущенности неизбежно предполагает именно интенсивность труда, то при социологическом понимании эти понятия не предполагают друг друга. В последнем случае лишь констатируется тот факт, что продукт сложного труда, несмотря на свою физиологическую несгущенность, выступает как труд, конденсирующий в себе большее количество абстрактного труда.

Указывая, что термин социальной сгущенности труда представляет собой не соответствующие действительности понятия, Шабеа считает, что игнорированием физиологического характера труда делается непонятным и интенсивность труда. Он полагает, что для Рубина создается безвыходное затруднение при переходе к интенсивности труда.

Шабеа не понимает того обстоятельства, что труд, как физиологический процесс, Рубиным не вычеркивается, но как явление природы и независимое от общественных форм он не подлежит рассмотрению политической экономии и фиксируется в ней постольку, поскольку вне материальной субстанции—потребительной стоимости нет и меновой стоимости.

Мы разобрали главнейших представителей физиологической версии. Мы видели, что понятие сложного труда и, следовательно, вся проблема редукции терпит свое значение при подобном ее комментировании.

Опираясь термином сложного труда, физиологисты лишь внешне проявляют свое согласие с Марксом, в то время как вкладываемое в этот термин содержание находится с его концепцией в явном противоречии.

Попытки объяснить большую стоимость продуктов сложного труда, исходя из физиологической природы категории абстрактного труда, обречены на неудачу.

В одном случае (Бух) роль сложного труда как стоимостеобразовательного фактора совершенно отрицается, в другом случае (Богданов, Любимов, Либкнехт и др.) отождествляется с трудом интенсивным и только через это посредство мыслится сложный труд, как создатель больших неличных стоимостей.

<sup>1)</sup> «Но даже, если бы затрата нервной силы была измерима, для экономического значения труда все это не было бы определяющим» (К. Диль, Комментарий, стр. 95).



## Роза Люксембург о пролетарской революции<sup>1)</sup>.

*И. Альтер.*

Давая общую оценку воззрениям Розы Люксембург на пролетарскую революцию, следует остерегаться двух крайностей.

Прежде всего, нельзя судить механически о событиях прошлого, подходя к ним с меркой постановлений последнего партийного съезда или последнего конгресса Коминтерна. Такой подход к истории приводит к той вульгарной и пошлой критике, образцами которой в свое время обогатил нас Ганс Нейман и другие. Чтобы не впасть в этот формально-логический схематизм, чтобы не упустить ни на минуту правильной исторической перспективы,—необходимо каждый раз делать поправку на состояние революционной идеологии как передовых вождей пролетариата, так и основных рабочих масс. Необходимо также помнить о различных условиях, в которых развертывалась революционная борьба на Западе и в России.

В противоположную крайность впадают те, кто выгадет, исходя из «особых» условий Запада, из затяжной мирной эпохи, выведет полное оправдание взглядов Розы.

Истина лежит по середине, в стороне и от критиков вульгаризаторов, и от некритических апологетов. Взятая в общем виде теория революции Розы Люксембург отражает процесс большевизации<sup>2)</sup> западно-европейского пролетариата со всеми его противоречиями и основным разрешенными лишь в огне Ноябрьской революции 1918 года.

Попытаемся это доказать.

<sup>1)</sup> Глава из работы о Розе Люксембург, подготовленной к печати и снятой с 10-летнего смертного приговора Р. Л. под редакцией Истпарта ЦК ВКП(б). Настоящая глава резюмирует ряд предыдущих глав, излагавших отдельные этапы борьбы Розы с реформизмом и ее позиции в революции 1905 и 1917—1918 гг.

<sup>2)</sup> Под большевизацией в применении к довоенной эпохе я понимаю процесс революционизирования партии II Интернационала, процесс создания левого крыла под влиянием растущих противоречий империализма. Этот процесс мы вправе, я полагаю, называть большевизацией, так как большевики еще до войны наиболее резко и верно поставили важнейшие проблемы революции (о вооруженном восстании и диктатуре пролетариата, о крестьянстве, организационный вопрос, идеологический, о борьбе с меньшевиками, о борьбе с политикой захватов, о связи между войной и революцией и др.) и так как большевики как опыт революции 1905 года послужили водоразделом между революционными элементами II Интернационала и всем лагерем открыток и скрытых оппортунистов. Т. о. большевики, формально мало влиявшие на судьбы II Интернационала, фактически своей боевой революционной идеологией становились ведущим левым крылом. Но лишь во время войны это руководство начало левыми признаваться формально.

### 1. Пути большевизации.

Роза в Германии стояла, собственно говоря, перед такой же задачей, как и Ленин в России: создать в недрах II Интернационала подлинно революционное течение. Но у нее было во много раз меньше возможностей и больше трудностей. Ей приходилось не строить на чистом месте в условиях абсолютизма новую организацию, а тараном революционной пропаганды пробивать брешь в огромной старой социал-демократической крепости, поросшей ихом рутины, казенного благополучия, самодовольства, беззаботности. Ей приходилось встречаться не только с консерватизмом руководства, но и с консерватизмом масс, до сознания которых противоречия империализма доходили лишь весьма медленно. Ей приходилось противостоять волне мешающего, карьеризма, разложения, вытекавших из всех пор капиталистической Германии, которая с немовой быстрой развивала свои производительные силы и умножала свои миллионы.

В таких условиях революционный марксизм, представлявший лишь тенденцию развития, лишь нарождающихся бойцов, естественно должен был быть слабее «официального марксизма», сочетавшего старые революционные слова со ставкой на организованного, спокойного, относительно обеспеченного рабочего, на его худшие инстинкты, на медленный, безболезненный рост социал-демократии. В таких-то условиях надо было произвести переоценку старых ценностей, выявить тенденцию новой эпохи, извлечь уроки из опыта новых массовых движений, создать на их основе новую тактику, неустанно борясь с оппортунизмом. Роза, в первую очередь, все свое внимание уделяет анализу эпохи мировон политики и мирового хозяйства. Сквозь призму новой эпохи она пересматривает все экономические и политические проблемы. Ей становится все яснее, что империализм есть последний этап капитализма, за которым стучится уже социализм. Таким образом выплывает проблема социалистической революции, под углом зрения которой Роза смотрит на все явления. Эта революционная целеустремленность больше всего роднит ее с Лениным.

Рост милитаризма и колониальных захватов, рост таможенных пошлин, налогов, дороговизны, обнищания масс и безработицы, рост классовых противоречий и разложение буржуазной демократии и либерализма, рост агрессивности буржуазного государства и приближение угрозы войны—все это для Розы звенья одной исторической цепи.—Ничего здесь не выразишь, все историей обосновано, никакими пацифистскими мечтаниями и сверхимпериалистическими построениями этих тенденций не замаскишь. Ясное понимание эпохи рождает ясную программу действий: это борьба с империализмом и с милитаризмом, с обнаглевшей реакцией и с прокрадывающимся в ряды рабочей партии социал-патриотизмом. Боевой клич превращения империалистической войны в революцию, милитаристической системы в миллионную, требование революционной пропаганды в армии режет ухо благонамеренных и благовоспитанных социал-демократов.

Но настоятельная и последовательная борьба с империализмом не означает еще правильного теоретического анализа проблемы. Правда, «Накопление капитала» по своим политическим устремлениям продолжает дело борьбы с буржуазными и мелкобуржуазными утопиями за революционное понимание эпохи; правда, полемика, завязавшаяся накануне войны вокруг этой книги, была прямым продолжением борьбы между двумя основными политическими течениями внутри с.-д.; правда, сама работа эта есть плод вполне назревшей потребности

развить дальнейшие мысли Маркса об экономических границах капитализма. Однако положения, которые Роза высказывает в своей книге неверны. Они могут привести к таким парадоксальным выводам, как напр., утверждение, что эксплуатации рабочих при капитализме немыслима без эксплуатации крестьянства и мелкой буржуазии, т.е. что эксплуатация мелкой буржуазии есть *conditio sine qua non* эксплуатации пролетариата. В самом деле, отрицая возможность реализации в чистом капитализме, Роза рассматривает не только эпоху капитализма, но и эпоху империализма, как состояние перманентного первоначального капиталистического накопления с его насильственным обогащением мелкобуржуазных и крестьянских масс. Таким образом, захватка и поглощение производимой пролетариатом прибавочной стоимости превращается в какой-то «побочный продукт» капиталистической эксплуатации.

Благодаря неверной характеристике империализма, неправильно разрешена и основная задача книги: вопрос об экономических предельных рамках социалистической революции. Теоретически Роза не сумела объяснить неизбежный в эпоху империализма рост экономических и политических противоречий. Но в своей практике этим тезисом она всегда неуклонно руководилась. Отсюда вытекали правильные, в общем, взгляды Розы на буржуазную демократию.

Она видела растущее разложение буржуазной демократии, парламентаризма и либерализма и переход государства еще накануне войны к методу прямого насилия. Насилие, говорила она, вот истинная и допущенная так называемой буржуазной законностью. Но и то же время насилие есть высший закон классовой борьбы. Методы революции это — методы насилия. Поэтому просвещение и организация масс — подготовительная ступень к революции, а не средства самой борьбы. Поэтому социал-демократический парламентаризм получает весь свой смысл и значение лишь во внепарламентском действии масс. Поэтому массовое движение — верховный критерий и контролер всех прочих методов борьбы. Но Роза не имела вполне законченных и безошибочных взглядов на пролетарскую демократию и насилие. Мы помним и подчас неверные формулировки в дискуссии с Бернштейном об отношении между формой и сущностью пролетарской революции и о близклизне. Мы знаем о ее ошибках в трактовке технической подготовки революции. Мы видели ее колебания насчет соотношения между буржуазной и пролетарской демократией в тюремной брошюре о России. Мы отмечали также неслаженности даже в Спартаковской программе, где насилие и террор до некоторой степени противопоставлены.

Роза не всегда умела ясно расшифровать понятие насилия, она временно выдвигала лозунг вооруженного восстания, подготовила массы к идее неизбежности длительной и упорной гражданской войны, к идее о диктатуре пролетариата, достаточно быстро повернула к методам пролетарской демократии.

Но если она не всегда говорила полным голосом, если взгляды ее были незавершенными, если в них чувствовалась неуверенность и давление господствующего социал-демократического общественного мнения, которое жило под знаком по-реформистски истолкованного «Предисловия» Энгельса 1895 г., — то в основном, свое неверие в буржуазную демократию и в буржуазный парламентаризм она всегда отличала и от реформистов, и от центристов.

На основе этих общих взглядов на эпоху и на буржуазную демократию составлялись идеи Розы о новой тактике. Эти идеи черпали свое содержание из опыта массового движения, из опыта русско-



движения в первую очередь. Еще в 1902 г., в разгоревшемся вокруг бельгийской всеобщей стачки споре с Вандервельде, Роза формулировала свои взгляды на политические стачки. Она увидела в них не декоративные подспорье к парламентским сделкам, а подлинное оружие новой эпохи классовых битв, переходную форму, связывающую будни политической борьбы с пролетарской революцией. В революциях 1905 г. и начавшихся на Западе встречных революционных движениях окончательно оформились идеи Розы. Роза показала связь между легальными парламентскими и массовыми уличными формами борьбы, между стачкой и партией, между стачкой и вооруженным восстанием, как высшим пунктом ее развития, между экономическими и политическими забастовками. Она была по анархистской левой фразе о всеобщей стачке, по реформистским представлениям о бюрократической стачке организованных, по профсоюзным худителям и прагам стачки.

Борьба за всеобщую политическую стачку была ничем иным, как борьбой за революцию. В самом деле, разве все неликие акты русских революций готовились не через всеобщие стачки? Разве Ноябрьская революция в Германии не возмалась на плечах всеобщих политических стачек 1918 года? Разве великая всеобщая стачка 1926 года в Англии не была преддверием к великой английской революции, составной усилениям объединенного лагеря оппортунистов? И разве эта последняя стачка вновь не подтвердила, возмещенного Розой Л. четверть века перед тем, закона о том, что всякая экономическая стачка логикой движения превращается в условиях революционного подъема в политическую?

Вдохновенная защита политических стачек была ничем иным, как защитой русской революции и ее методов. Еще в начале 90-х годов своей борьбой с мензесовским неверьем и русское революционное движение Роза начала первые авангардные бои за революционную Россию. В дальнейшем, особенно начиная с 1905 года, русский вопрос стал оселком, на котором проверялась мера революционности социал-демократических вождей и теоретиков. Россия стала для законов революции тем, чем Англия для законов капитализма. И как ни прятались оппортунисты за «своеобразие» Запада по сравнению с Востоком, за более крепкую и умную европейскую буржуазию, за более реакционную мелкую буржуазию, за более «культурный», читай: более пассивный и более развращенный оппортунизмом, пролетариат, — от «русских методов», от «русской политики», от «русского языка» невозможно было им отнестись. «Русские» законы о демократии и диктатуре, о советах, о пролетарской гегемонии, о борьбе за промежуточные классы становились международными законами. Центристы, правда, до поры до времени признавали русскую революцию 1905 г., но лишь постольку, поскольку она не тянула за собой их собственной страны, поскольку она не вынуждала ни к каким действиям. В дальнейшем, изведая заражающее действие русского движения, они все решительнее отгораживались от опыта этой «варварской» и «отсталой» страны, чтобы в 1917 году окончательно с ней порвать. Роза Люксембург стала на Западе передовым агитатором русского революционного опыта. Она первая популяризировала уроки 1905 г., показала двойственный характер и международное значение этой революции, руководящую роль пролетариата в ней. Русская революция 1905 г., говорила она, начинает новую эпоху войн и революций. Отсюда вытекала решительная критика меньшевистской тактики по всем вопросам революции и эпохи реакции. В 1917 г. Роза признала зрелость России для социалистической революции. Жесткая подчас критика, которой она подвергла

опыт Октябрьской революции (в тюремной брошюре), не переходя за пределы этого общего признания, была критикой союзника, а не врага.

На опыте тех же массовых стачек и русского движения Роза блестяще иллюстрировала свое огромное умение проделывать самое трудное: анализ текущих исторических событий, и свое глубокое понимание принципа перманентности революционного движения. С огромной остротой умела она отделять основное от случайного, разоблачать политическую мишуру и декорацию, отличать минимую борьбу групп и группировок от подлинной классовой борьбы. Она превосходно боролась за разнервирование массового движения, требуя выдвижения и более решительных лозунгов, концентрации из них массовой энергии, чтобы поднимать массы со ступеньки на ступеньку все выше, доводя их до предельного пункта развития революции. Ибо партия перед собой должна поставить и последней отступать. Эта тактика перманентности была вызвана глубокой верой в революционный энтузиазм и революционную мощь масс тем революционным оптимизмом, без которого никакое революционное руководство не возможно. Но огромные успехи в области новой революционной тактики и в оценке движущих сил революции не уберегли Розу и от ряда ошибок. Растущее противоречие между буржуазией и пролетариатом она пыталась свести к борьбе между единой реакционной массой и все более изолируемым этническим пролетариатом. Для России Роза признавала, правда, огромную роль крестьянства и многократно звала к работе в деревне и в армии. Она не допускала, однако, возможности сотрудничества крестьянства с пролетариатом во временном революционном правительстве, отвергала большевистский лозунг демократической диктатуры пролетариата и крестьянства. Еще более узко и неверно Роза обобщала опыт Германии и Польши в отношении крестьянства. Она недооценила возможную революционную роль мелкой буржуазии, крестьянства как до революции, так и на следующий день после захвата власти пролетариатом.

Таким образом, изолированность западно-европейского пролетариата в эпоху борьбы за власть была ею возведена в догму. Тем самым упускалась из виду важнейшая проблема борьбы за промежуточные классы, за национально-революционные движения. В крестьянском, национальном, организационном вопросе и в вопросе о технической подготовке революции Роза отдавала еще не малую дань старым социал-демократическим традициям.

Борьба за интернационализм, рядом с борьбой за новое понимание эпохи, за новое понимание буржуазной демократии и за новую тактику была одним из стержневых пунктов деятельности Розы.

Интернационализм едва ли не самая характерная ее черта. Весь теоретический и тактический вопрос рассматривался ею с точки зрения международных интересов рабочего класса. Всякое национальное движение она пыталась сочетать с интернациональным. Социал-национализм она всегда рассматривала как наиболее опасную форму перехода рабочей партии на буржуазную политику.

Отсюда глубоко интернациональная политика с.-д. Ц. П. и Л. сформировавшейся с русским рабочим движением против П. П. С. Отсюда последовательная борьба с немецким социал-национализмом, начиная еще с дискуссии о пошлинах и о торговой политике в 1898—1900 г. Отсюда правильная интернационалистская позиция в вопросе о национальной политике в 1907 году и решительная борьба со всякими видами оборончества с первых же дней мировой войны. Роза резко

реагировала не только на открытый социал-национализм, но и на все полупатриотические отклонения от марксистской политики, имевшие место у официального руководства и во время китайской войны 1900 года, и в вопросе об усмирении племен Герреро, и в ряде марокканских конфликтов, и в вопросах подготовки к войне. Занимаясь польским, русским, немецким, французским, бельгийским, английским рабочим движением, Роза всякий раз пыталась найти объединяющие их моменты, обобщить революционный опыт каждой из стран, найти законы международного массового движения. Но слишком упрощенное понимание отношения между национальным и интернациональным движением привело Розу к ряду неправильных теоретических взглядов, которые отразились и на национальной политике польской социал-демократии, и на отношениях этой партии с большевиками, и на оценке Розой Октябрьской революции. Суть этих ошибок состояла в неправильном, слишком прямом обобщении ряда положений, выдвинутых против П. П. С. и верных лишь как оружие борьбы с социал-патриотизмом и известных исторических условиях. Отрицая принцип самоопределения народов и возможность на Западе национальных войн, Роза ослабляла ту самую борьбу с империализмом, которой посвятила столько усилий.

Борьба с реформизмом, в течение которой Роза развернула все упомянутые идеи, глубоко отвечала боевому темпераменту этой революционерки. Эта борьба заполнила весь ее жизненный путь. Люксембургизм и по своему содержанию, и по своей методологии есть, в первую очередь, антиреформизм. Это и вполне понятно, если принять во внимание, что всякий шаг вперед революционного движения осуществляется в эпоху империализма лишь ценой жестокой борьбы с оппортунизмом и что победа социализма вообще возможна лишь на основе предварительной победы над реформизмом.

Путь к торжеству коммунизма в эпоху империализма ведет через труп реформизма подобно тому, как путь к торжеству марксизма в ряды рабочего класса в эпоху Маркса вел через победу над утопическим социализмом.

Роза не упустила из виду ни одного оппортунистического уклона. Особенно частые и сильные удары ее падали в сторону профсоюзной бюрократии, в которой она справедливо видела застрельщика, организатора и главную опору всего реформистского движения в Германии. В борьбе с профбюрократами Роза развернула критику теории нейтральности. Она показала, как профсоюзы из органов рабочей аристократии можно и должно превратить в органы борьбы с цеховой разобщенностью, с противоречиями, существующими внутри рабочего класса. В борьбе с Рексенбергерами, Гуэ, Леймпетерсами она отстаивала столь законное, казалось бы, право рабочих на празднование 1 мая.

Но особая заслуга Розы в борьбе с реформизмом состояла в том, что она не ограничилась систематическим обстрелом наиболее открытой и вульгарной формы ее в лице берштинянцев, но что она пошла дальше, переноса борьбу на центризм. Лишь доведениа до этой грани борьба с реформизмом становится знаменем революционного марксизма. Разногласия с центризмом выросли у Розы Люксембург и у левых радикалов еще до войны в целое особое тактическое и теоретическое течение. В отличие от центристов Роза решительно боролась с империализмом, а потом и с мелкобуржуазной пацифистской ее теорией, выдуманной Каутским. В отличие от центристов, она отказывалась видеть в легальных парламентско-просветительских формах борьбы основное содержание с.-демократической деятельности. В отли-

что от центристов она видела в революции взрыв массовой стихии, а не бюрократическо-парламентскую чисто-политическую передвинку верхушечных сил. В отличие от центристов она действительно признала русскую революцию и обобщила ее опыт для Запада. В отличие от центристов она беспощадно преследовала всякие полунационалистические и полупатриотические уступки и проводила политику последовательного интернационализма. В отличие от центристов она требовала активной пропаганды в армии и сама ее вела. В отличие от центристов, наконец, она, не ограничиваясь теоретическим лишь и словесным опровержением реформизма, а продолжала его преследовать и в области ежедневной практики.

Во время войны все эти разногласия, доведенные до крайних пределов, должны были в конечном счете привести к расколу и к созданию коммунистической партии. Однако Роза в своей борьбе с реформизмом и социал-империализмом не пошла до конца. Противоречие между реформой и революцией чаще всего она представляла себе, как противоречие, свойственное всякому рабочему движению, как противоречие между самим движением и его конечными целями. Роза надеялась, что оно будет преодолено самими рабочими, что колеблющиеся вожди будут опрокинуты штурмующими массами. Она не видела всей огромной роли партийного аппарата, как орудия оппортунизма, не связала организационного вопроса с тактическим и с империализмом, как главным источником экономической мощи оппортунизма. Отсюда ее ошибочное суждение о внутрипартийной борьбе в РСДРП, отсюда ее неправильная организационная политика в отношении к центристам во время войны и запоздалый раскол с ними. Отсюда также известная недооценка опасности оппортунизма и преувеличенная надежда на свержение партийной бюрократии в процессе самого движения. Роза представляла себе рабочий класс слишком однородным и не достаточно учитывала, что раскол наверху в сильной степени связан также с известным расколом внизу, что растет и консолидируется довольно большой и влиятельный слой рабочей аристократии и окружающей ее периферии<sup>1)</sup>. Все это вместе взятое приводило к известному организационному ингибизму, к известной недооценке роли партийного руководства в революции, несмотря на то, что роль эту теоретически Роза прекрасно понимала, что она рассматривала всегда партию, как авангард класса, что она требовала всегда от марксистской теории, чтобы эта теория приходила не пост-фактум, а руководила движением и предсказывала его перспективы.

Можно без преувеличения сказать, что проблема раскола висела над немецким рабочим движением с самого момента его перехода на социал-демократические рельсы. Сочетав в себе две разнородные функции: партии социального переворота и партии мелкобуржуазной оппозиции, продолжившей традиции буржуазного либерализма, немецкая социал-демократия не сумела функций этих связать вместе на основе интересов революции. Энгельс еще в 1878—1882 гг. предсказывал неизбежность раскола в партии в случае решающих событий, какими может быть в первую очередь возникновение международной войны. И, действительно, проблема раскола, замазываемая долгое время центром, во время войны всплыла на поверхность жизни во всей своей остроте.

Идеи Энгельса о расколе не были продуманы Розой и не были охвачены ею теорией. Таким образом, в одном из важнейших вопросов

<sup>1)</sup> Нельзя, однако, утверждать, чтобы она этого процесса совсем не видела. См., напр., ее «Введение в политическую экономию», изд. «Прибой», стр. 216.

теории пролетарской революции, в вопросе о неизбежности раскола в рабочем движении в эпоху империализма, теория Розы страдала существенным недостатком. И этот недостаток особенно ярко проявился в организационной слабости спартаковцев в Ноябрьской революции.

Таково беглое и схематическое изложение основных идей Розы Люксембург, лежавших в основе ее деятельности вплоть до ноября 1918 г. Если принимать во внимание особые условия Запада, то, вне всякого сомнения, мы имеем здесь дело с процессом большевизации старой социал-демократической идеологии. Но в то же время в каждом почти вопросе мы встречаемся с характерным явлением: с незавершенностью, а порой и противоречивостью отдельных постановок, отражавшей еще влияние старых с.-д. традиций и слабую дифференциацию в самом рабочем классе. Поэтому идейный путь Розы Люксембург мы и охарактеризовали лишь как путь к большевизму <sup>1)</sup>. Чтобы еще отчетливее подчеркнуть эту особенность, остановимся на теории стихийности Розы Люксембург, тем более, что проблема эта в нашей среде встречает различные толкования.

## 2. Теория стихийности.

Роза правильно рассматривала революцию, как стихию. Она боролась с реформистским представлением о делании революции сверху по бюрократическому заказу, без всякого риска, когда все будет уже «готово». Она говорила о неизбежности временных поражений, о накладных расходах революции. Она глубоко проникла в динамику революции, понимала революционное творчество с его трудностями, с многогранностью, иовизией протарниваемых им путей.

«Всякая революция,—говорила она в 1908 г.,—есть социальная революция, т.е. представляет собой период чрезвычайно напряженного внутреннего созревания общества: период быстрого формирования, дифференциации и самосознания классов. Непосредственный ход политического переворота перекрещивается и осложняется этим процессом классового созревания, который периодически тормозит революционное действие извне, чтобы переварить его результаты и подготовить материал для дальнейшей борьбы» <sup>2)</sup>.

Роза понимала, что стихийное движение отнюдь не означает чего-то хаотического, беспланиового, необузданного, лишенного руководства. Она понимала, что в процессе революции партия должна завоевывать себе руководящую роль и уметь использовать как победу, так и поражения.

«Задача с.-д. и ее вождей,—писала Роза в 1913 г.,—состоит не в том, чтобы быть усыпленными событиями, а чтобы им сознательно предшествовать, чтобы предвидеть основное направление развития и бег его, путем сознательного воздействия, сократить и ускорить» <sup>3)</sup>. И в критике центростской тактики Роза шла всегда против излишней пассивности и хвостизма вождей во время массовых кампаний. И все же именно недооценка роли руководства и переоценка стихийности движения лежит в основе всех организационных, тактических и некоторых теоретических ошибок Розы.

<sup>1)</sup> Вопрос о большевистском характере С.-Д. Ц. П. и Л. обсужден нами особо, в другом месте.

<sup>2)</sup> «Nauki tvzecz Dum», «Pzegląd Socialdemokratyczny» 1908 г., № 8, стр. 180.

<sup>3)</sup> «Das Ofiziosentum der Theorie», Ges. Werke IV, стр. 669.

Впрочем, взгляд этот многими оспаривается. Так, Поль Фрейлих, комментируя недавно вышедший IV том собрания сочинений Розы Люксембург, приходит к выводу, что приписываемая ей теория стихийности есть не что иное, как «мифология стихийности»<sup>1)</sup>. В подтверждение Фрейлих выдвигает три рода доказательств: 1) критики Розы злоупотребляют цитатами, случайно выдернутыми из текста и неправильно комментируемыми, 2) огромная роль стихийного в теории Розы вполне оправдывается основной задачей, стоявшей перед Розой, задачей борьбы с бюрократизмом руководства, и 3) взгляды Розы на партию в то время, правда, на уровне сегодняшнего дня, но они не противостоят нашим взглядам, а лишь не соответствуют им. Это, однако, объясняется в основном тем, что в то время, как перед Лениным стояли непосредственно задачи надвигающейся революции, Роза вплоть до 1914 г. работала в Германии, в совершенно иной, мирной обстановке.

С Фрейлихом можно согласиться лишь в той степени, в какой оно ополчается против вульгаризированной критики Розы. В предыдущих изложениях мы сами неоднократно такую грубую упрощенную критику отвергали. Верно, что Роза в общем понимала роль партии в революции. Верно, что ее основная задача до войны должна была состоять в борьбе за развертывание массового движения, за признание стихийности и внимание к улице, внепарламентским действиям, движениям не только организованных, но и неорганизованных. Неверно, что Роза все руководство движением отдавала массам, что она по-синдикалистски смотрела на роль партии в революции. Роза понимала роль руководства и неоднократно на нем заостряла внимание партийных масс. За это, именно оппортунисты, начиная с Бернштейна и профбюрократов и кончая Каутским, неоднократно, еще задолго до войны, обрушивались на Розу, обвиняя ее в бланкизме, путчизме, анархизме, вспышечности, тельстве в прочих смертных грехах. Все это так. Однако, эти правдивые, в основном, взгляды на партию сочетались с неправильной характеристикой отношений между стихией и руководством.

Начнем с цитат. Вот несколько из них, взятых из различных периодов деятельности Розы.

В статье по поводу «Организационных вопросов русской с.-д. об'ясняя пассивное отношение немецкой с.-д. демократии к новым тактическим лозунгам, в частности к предложению Парвуса на случай отмены всеобщего избирательного права, Роза говорит: «Эта инертность в значительной степени объясняется тем, что очень трудно в пустом пространстве абстрактных построений представить себе конкретные формы еще не существующей и, следовательно, воображаемой политической конъюнктуры»<sup>2)</sup>. Так обосновывается Розой положение о том, что тактические лозунги должны следовать за движением, рождаться из него.

Вскоре после взрыва революции 1905 г. Роза пишет по этому поводу в «Форвертсе»: «Овладесть и руководить не началом революционного взрыва, а его концом, его результатом—такова единственная разумная цель, какую может ставить себе политическая партия, если не хочет впасть ни в фантастический иллюзион, переоценивая свои силы, ни в бессильный несмизмизм»<sup>3)</sup>.

<sup>1)</sup> R. Luxemburg, Gesammelte Werke, B. IV, стр. 75—79.

<sup>2)</sup> «Organisationsfrage der russischen Sozialdemokratie», «N. Z.» 1903—04, т. I, стр. 491.

<sup>3)</sup> «Политический переворот в России», «Форвертс», 9—10 февраля 1905 г. Цит. по Wybuch rewolucji w carstwie Wydawnictwo Komunistyczne «Trybuna», стр. 179. Курсив наш.—И. А.

Эту же идею она развивает в «Массовой стачке и с.-д.». Массовые стачки, правда, делаются рабочими. Их решимость, как и руководство организованным и наиболее сознательного с.-д. ядра пролетариата играет здесь немаловажную роль. «Однако поле действия этой инициативы и этого руководства ограничивается обыкновенно областью отдельных актов, отдельных стачек, при наступлении уже революционного периода, и даже, большею частью, в пределах одного города. Так, например, мы видели, что социал-демократия неоднократно с успехом давала непосредственный сигнал к массовой стачке в Баку, Варшаве, Лодзи и один раз в Петербурге. Результат этот достигается гораздо труднее по отношению к общим выступлениям всего пролетариата. Кроме того, здесь инициативе и сознательному руководству поставлены совершенно определенные границы. Именно, во время революции какому-нибудь руководящему органу пролетарского движения крайне трудно предвидеть и предопределять, какие поводы и какие моменты могут привести к взрыву и какие нет. И здесь инициатива и руководство выражаются не в произвольном командовании, а в возможно более удачном применении к обстоятельствам и возможно более тесном соприкосновении с настроением масс... Момент возникновения массовой стачки и вычисление и покрытие ее расходов зависят от революционного периода, которому в этом смысле принадлежит руководство»<sup>1)</sup>.

Несколько лет спустя в речи, произнесенной во Франкфурте на Майне по поводу прусской выборной кампании, Роза, между прочим, говорила:—«Мы должны сегодня, среди широчайших слоев пролетариата неутомимо распространять полное понимание положения вещей, будить в массах сознание собственной силы, укреплять в них боевую энергию и сеять полной горстью семена социализма. Остальное мы смело предоставляем ходу вещей, с твердой уверенностью, что история работает нам на руку и что мы, социал-демократы, в этой борьбе, как и на всяком этапе нашего продвижения к социализму, останемся, несмотря на все, победителями»<sup>2)</sup>.

В одном из писем «Спартак» Роза пишет: «Революции, к сожалению, не делаются по команде. Но это и не есть задача социалистической партии. Ее обязанностью является лишь всегда смело «сказать, что есть», т. е. давать массам ясное и четкое представление об их задачах в данный исторический момент, давать политическую программу действия и лозунги, которые из этой ситуации вытекают. Заботу же о том, свяжется ли и когда массовый революционный подъем с этими лозунгами, социализм должен спокойно предоставить самой истории»<sup>3)</sup>.

Как ни смягчать смысл цитированных мест, противопоставляя им другие, из коих явственно следует огромная роль партии в революции, все же нельзя здесь не заметить целого ряда ограничений, которые Роза ставит руководству.

Это, во-первых, ограничения, касающиеся предвидения конкретного хода революции. Нельзя так категорически, как это делает Роза,

<sup>1)</sup> «Massenstreik. Partei und Gewerkschaften», G. W., IV, стр. 444, 445. Подчеркнуто нами.

<sup>2)</sup> «Aus der Rede über den preussischen Wahlrechtskampf in Frankfurt a/M am 17 April 1910». Цит. по «Redner der Revolution. Rosa Luxemburg», 1928 г., стр. 70. Подчеркнуто нами.

<sup>3)</sup> «Brennende Zeitfragen», Spartacus Briefe. № 6, август 1917 г., стр. 118—119. Подчеркнуто нами.

отвергать возможности этого предвидения, отсылая заинтересованность к будущим событиям, к будущему творчеству масс, к истории. Наоборот, накопление революционного опыта означает не что иное, как в больший прогресс в области предвидения конкретного хода революции, предвидения будущего поведения отдельных классов и сил в ней, предвидения форм, средств, лозунгов будущей гражданской войны, предвидения возможных колебаний и затруднений в собственных рядах. Итак, рост революционного опыта есть не что иное, и рост революционного предвидения.

Во-вторых, Роза ограничивает деятельность руководства во времени и пространстве. Загнилостизированная стихийностью, с какой происходит первый взрыв революции, она отрицает возможность предсказать начало революции, участвовать в его сознательной подготовке. Руководство партии начинается—по Розе—после взрыва, и оно не может быть распространено на всю страну в целом. Но это есть не что иное, как теоретическое увековечение слабости руководства в революции 1905 г. Запаздывание партии в целом ряде моментов, начиная с бытия 9-го января, разрозненность выступлений в декабре 1905 г. и прочее возводятся такими взглядами в какой-то неизбежный закон революции. Но можно ли назначить взрыв революции на определенный день?

Несомненно, революция есть и всегда будет уравнищем со всеми силами неизвестными. Она не разрешается вообще, как чистая математическая задача. Но пролетарская революция есть революция, возглавляемая партией во все моменты своего развертывания. Поскольку это так можно говорить и о более или менее точном назначении сроков отдельных массовых выступлений. Если революция не может искусственно вызвана, если причины ее коренятся каждый раз в глубоких экономических и политических противоречиях,—то сам ход ее во все моменты, от начала до конца, может и должен быть выведен в железные рамки руководства, может и должен быть противопоставлен искусством делания революции, искусством воспитания.

Но, может быть, приведенные цитаты из Розы не отражают истинных взглядов? Может быть, дело сводится здесь к нескольким случайно оброненным, неудачным формулировкам? Вспомним же проблем, непосредственно связанных с теорией стихийности.

Организационный вопрос. Фрейлих утверждает, что Ленин накануне войны недооценивал оппортунизма II Интернационала и переоценивал революционность масс. Это верно. Но дело в том, что Роза эти ошибочные практические оценки освящала неверной теорией. Когда Ленин в 1903 г. заговорил об организационном оппортунизме, о социально-политическом значении организационной политики партии, то Роза решительно выступила против него в защиту меньшевистских организационных взглядов. Она требовала демократического, свободного, не стесняемого деспотизмом Цека, развития организации. Она доказывала, что «логика объективного процесса превосходит логику его носителей». Не случайно поэтому, начав обсуждение Каутского раньше Ленина, Роза после 4 августа долго еще продолжала порывать с ним организационно<sup>1)</sup>. Если Ленин, вооруженный

<sup>1)</sup> Защиту позднего раскола с независимыми интересами тактики единого фронта, т.е. желанием находиться в контакте и завоевать массы рабочих и крестьян, не выдерживает, как мы это раньше показали, никакой критики. Любое разногласие между двумя лагерями затрагивают основные принципиальные вопросы, то дальнейшее организационное сожительство с противником и в этот момент неизбежно приводит левых вместо завоевания масс к подчинению и хвостизму.



правильной теорией партии, смог в один день сделать крутой поворот и сразу исправить свои преувеличенные надежды на немецкий центр, то Роза должна была еще пережить целый период, в течение которого она освобождалась от известного организационного игилизма, тесно переплетенного, впрочем, с организационным фетишизмом. А организационный игилизм, как и организационный фетишизм, непосредственно вытекал у левых радикалов из их теории стихийности.

Из этой же теории, несомненно, проистекают и ошибки Розы в вопросе о технической подготовке революции. Разбирая основной документ, в котором Роза наиболее ярко излагает свои взгляды на эту тему, статью «Что дальше»<sup>1)</sup>, мы видели, с каким пренебрежением она отнеслась к проблеме вооружения рабочей массы, как резко противопоставила она техническим задачам революции политические ее задачи, как иронически отнеслась она к отдельным попыткам революционеров достать за границей оружие и заранее подготовиться к будущей борьбе. Не следует, говорила тогда Роза, играть роль «опекуна рабочего класса», не следует «за плечами рабочей массы» искать для нее вооружения. Только рабочие массы сами могут это вооружение добыть, не какой-либо «партийный комитет», а лишь они сами смогут «в самом процессе уличных боев» создать собственные методы борьбы. Нельзя, по Розе, «заранее вырабатывая» эти методы, подготавливать «массы к вооруженным столкновениям с правительством»<sup>2)</sup>.

Отказ от технической подготовки революции означает узкополитический подход к ее задачам; он вел в дальнейшем к недооценке роли вооруженного восстания, к слишком упрощенному представлению об эпохе гражданской войны и т.п.

Наконец, та же теория стихийности наложила свою печать и на представления Розы о переходной эпохе. Социализм, говорила Роза в своей брошюре о «Русской революции», нельзя строить сверху, ибо он есть плод стихийного творчества масс. В этой же брошюре критику свою большевистского террора и большевистской демократии Роза обосновывает апелляцией к правам масс. Здесь политические задачи революции она подчиняет по-доктринерски понятиям правам демократии. Непосредственные задачи революции в переходную эпоху Роза смешивает с задачами непосредственного введения социализма. Поэтому она отказывается от большевистской социализации земли и от большевистского самоопределения народов. И скупость высказываний Розы по вопросу о конкретных формах диктатуры, также и о государстве переходного периода, представляется нам, имеет аналогичный источник: уверенность в том, что все эти проблемы будут разрешены в самом процессе революции.

Но, может быть, Роза, работавшая в условиях мирного развития немецкого капитализма, не в состоянии была и не вправе была раз-

<sup>1)</sup> «Co dalej», выпущено в приложении к апрельскому номеру «Czerwony Standard» за 1905 г.

<sup>2)</sup> Делегаты С.-Д. Ц. П. и Л., писала редакционная передовица «Красного Знамени» в июле 1912 г., на всех партийных общерусских конференциях и на Стокгольмском и Лондонском съездах, в фактических вопросах самым категорическим образом боролись всегда с ленинскими идеями «технической подготовки», «революции», «экспроприации» и подобных им прекрасных «идей», которые мы находим также у «фряков» (правых петшевцев.—И. А.) и которые мы безжалостно кстребляли» («Красное Знамя» № 188, июль 1912 г.). Здесь вполне ясно введен источник вражды ленинских с.-д. к технической подготовке революции: это была обобщенная вражда к идее вооруженного восстания, которая у петшевцев заслоняла все остальные задачи революции.

вивать проблемы, требовавшие наличия живого революционного опыта? Может быть, Ленин был в этом отношении в особо привилегированных условиях? Так ставить вопрос—значит недооценивать огромную революционную роль левых радикалов и их вождя в истории германской и всей западной с.-демократии. Левые радикалы те и отличались от всех остальных с.-демократов, что они предвидели надвигающуюся революцию, что они стали связаны с ней вопросы и что они для этого использовали опыт русской революции сначала 1905 г., а потом и 1917 года. Ошибки Розы в области организационно-тактической, при наличии соответствующего русского опыта, не могут быть оправданы «особыми» условиями Германии и Запада. Если Роза Люксембург и левые радикалы могли воспринять русский урок в области массовой стачки, пролетарской гегемонии и пр., то они могли распространить их и на другие области. Сохранение «западной европейской» точки зрения на эти проблемы и стало в дальнейшем источником ряда крупных практических ошибок.

Не оправдывается ли, наконец, теория стихийности Розы заданием борьбы с бюрократизмом? Не была ли она результатом известного перегиба палки, необходимого для выпрямления общей линии?

Теория стихийности, как оружие борьбы с оппортунизмом сыграла свою большую роль, такую же большую, как интернационалистский подход левых с.-демократов к польскому рабочему движению, помогший создать революционную партию и оказать решительный отпор социал-патриотизму. Но это был лишь первый шаг, лишь протест против оппортунизма. Победа над ним возможна была только на основе вполне разработанной стратегии и тактики борьбы. И чем раньше партия вооружена этой стратегией, тем больше шансов на победу. Так обстояло дело с теорией стихийности и точно так же с национальным вопросом. Одним интернационализмом нельзя победить социал-патриотизма. Для этого нужна значительно более конкретная и гибкая, хотя и принципиальная, национальная политика. Вот этого-то умения сочетать общие принципы с меняющейся обстановкой, стратегию с тактикой, умения маневрировать порой у Розы Люксембург и не хватало.

При чем дело шло здесь не о специальном немецком случае. Свое понимание роли стихийного Роза применяла не только к Германии но и к русскому движению, которое как раз страдало излишним стихийностью и недостатком сознательного централизованного руководства. Таким образом, мы имели здесь дело с рядом общих принципов, а не только с тактическим лозунгом, вызванным особой бюрократической обстановкой немецкой с.-демократии, как это представляло Фрейлиху. И эти-то именно неверные принципы мешали в дальнейшем Розе своевременно перейти на более высокую ступень понимания роли руководства в революции.

Итак, теория стихийности Розы Люксембург не была, как думает Фрейлих, какой-то «мифологией», какой-то выдумкой, произвольно приписываемой ей непонятливыми критиками. Она существовала. Она означала этап на пути к большевистской идеологии, этап, отражавший слабость лево-радикального движения, неуверенность в своих собственных силах и известную еще зависимость его от старой с.-демократии.

Но в наше время подготовлены уже все основные объективные предпосылки для социалистического переворота. Основная проблема, в которую упирается революционное движение, это—субъективная зрелость руководства. Основные капиталистические страны техниче-

и экономически уже созрели для социалистического переворота; массы уже прошли практическую школу борьбы в ряде восстаний и стихийных взрывов. Центр тяжести вопроса сейчас поэтому лежит уже не в доказательствах значения стихийных движений, не в голых призывах к «социалистическому революционизированию духа», к «воле к действию», к «вере в собственную силу». Сейчас на первое место выдвигается вопрос о сознательности партии и ее руководителей, об умении выбрать подходящий момент, организовать штаб, повести, не колеблясь, массы в бой. Таким образом, проблемы руководства, проблемы революционной тактики и стратегии естественно выдвигаются на авансцену истории.

### 3. Место Розы Люксембург в истории рабочего движения.

Мы видели, что Роза поставила почти все основные проблемы новой империалистической эпохи. В этом смысле она подошла к теории революции несравненно диалектичнее, чем старые социал-демократы. Но мы видели также, что ей не всегда удавалось с должной быстротой рвать со старыми предрассудками, что в ряде вопросов она обнаруживала свою зависимость от социал-демократической идеологии, и что она не всегда понимала всю противоречивость и сложность проблем революции. Эти особенности ее идеологии не позволяют нам люксембургизм отождествлять с большевизмом.

Но еще более неправильно отождествлять люксембургизм с меньшевизмом. Люксембургизм—этап к большевизму, течение, во многом совпадавшее с большевизмом, но в некоторых вопросах сохранявшее старые идеи, или же не додумавшее новых революционных положений до конца. Отсюда и вытекает сложность всякой оценки ошибок Розы Люксембург. Конечно, если к этому делу подойти грубо, поверхностным образом, то с Розой можно было бы разделиться в два счета. Достаточно для этого взять таких два кардинальных вопроса революции, как организационный и крестьянский, показать на них близость Розы к меньшевикам, и отсюда вывести, что люксембургизм есть не что иное, как некоторая разновидность меньшевизма.

На всем протяжении нашего анализа мы пытались показать, что дело решается отнюдь не так просто. В основных и кардинальнейших вопросах революции 1905 г.—о гегемонии пролетариата и об отношении к буржуазии, а также в вопросе о соблюдении принципа перманентности в руководстве революцией—Роза была большевичкой. И именно в силу этого даже ее ошибочные взгляды на организацию и на крестьянство носили особый характер. Две даже одинаковые вещи, но сказанные различными людьми бывают нередко двумя разными вещами. Нельзя из общего революционного мировоззрения вырывать один момент и рассматривать его изолированно. Возьмем, хотя бы, статьи Розы в «Спартак» о русской революции 1917 г. Она говорит там, что революция в одной стране не может победить. Она утверждает далее, что конец войны будет концом русской революции. Так приблизительно думали и меньшевики. Но какие из этого положения делали выводы они и какие Роза Люксембург? Меньшевики считали, что социалистическая революция для России преждевременна, что не надо было, следовательно, браться за оружие. Роза же из этого трагического положения русской революции заключала, что необходима скорейшая мобилизация западно-европейского пролетариата в помощь русскому пролетариату. Из трудностей русской революции она не делала ликви-

даторских, пораженческих выводов, а лишь заключение об ответственности немецких рабочих и немецкой социал-демократии перед революционной Россией.

Возьмем другой пример. Роза в споре с Лениным по организационному вопросу была скорее на стороне меньшевиков. И, однако же, не было более заклятого врага партийного бюрократизма, этой основной формы оппортунизма в организационном вопросе, чем та же Роза.

На этих примерах видно, к каким ложным выводам ведут такие поверхностные аналогии.

С какого же типа ошибками мы встречаемся у Розы Люксембург?

Обычно мы отличаем два основных типа ошибок: тактические и стратегические. Тактические ошибки,—если они не вытекают из неправильной стратегии,—чаще всего возникают на почве недостаточной осведомленности, незнания фактов, отсутствия или недостатка соответствующего опыта. Поскольку всякое движение и всякая революция есть уравнение со многими неизвестными, постольку этот тип ошибок всегда неизбежен. «Представление о революционной политике без ошибок,—говорит Роза,—столь пошло, что оно достойно лишь немецкого школьного учителя». Подобных ошибок из незнания, ошибок предвидений (о сроках революции, о судьбах отдельных наций, об отношении к буржуазному парламентаризму в переходные моменты революции и пр.) мы можем не мало встретить как у Маркса и Энгельса, так и у Ленина.

На них не раз спекулировали буржуазные и мелкобуржуазные критики. Мы знаем, что революционер-практик не может не ошибаться. Но если уже о революционных вождях судить по количеству сделанных ими правильных и неправильных предвидений и оценок, то нужно ставить вопрос об общем балансе. При таком расчете вожди революционного марксизма, и Роза Люксембург в том числе, окажутся людьми победителями.

Второй тип ошибок вызван неправильной стратегией. Он затрагивает уже не отдельные сроки и отдельные оценки, а всю линию в целом, движущие силы и направление революции. Стратегические ошибки обычно перерастают в теоретические. Но этот второй тип ошибок имеет много разновидностей, радикально отличающихся друг от друга. Бывают стратегические ошибки чисто оппортунистического типа. Они связаны с желанием везде смягчить остроту классовых противоречий, ослабить борьбу с классовым врагом, преувеличивая силу противника и преуменьшая силы пролетариата. Таковы классические ошибки меньшевиков в революции 1905 года.

Излишне говорить, что Роза Люксембург, революционер с ног до головы, ничего общего с такого рода ошибками не имеет. «Опасность, что мы наши силы недооцениваем,—говорила она,—больше, чем опасность переоценки наших сил». Собачьей болезнью боязни революционных трудностей Роза никогда не страдала.

Роза делала стратегические и теоретические ошибки. Но особенность ее ошибок состоит в том, что они на опыте революции исправлялись. Роза умела гениально учиться у революции. Под влиянием опыта Роза с бесконечной легкостью сбрасывала с себя, как это лучше всего показали ноябрьские дни, груз наиболее застарелых и длительных заблуждений. Поэтому в процессе самой революции она умела быть до конца революционным вождем, вдохновителем и руководителем масс. Роза, если можно так выразиться, была революционером органически. Она находилась с революционной стихией в самой раз-

ственной, интимной связи. Поэтому она умела в самом процессе борьбы исправлять не только свои тактические, но и стратегические ошибки. На первый взгляд может показаться, что всякая ошибка безлична, что она не пахнет, что любая из них может, поэтому, привести революцию к крушению. Однако же было бы величайшим заблуждением забывать о субъективной подоплеке, о конкретном носителе ошибок. Ибо дело идет не только о сегодняшнем дне, но и о завтрашнем. А завтрашний день и поведение в нем революционера определяется субъективным моментом. Субъективная же революционность является общей гарантией возможного исправления ошибок. Субъективная революционность Розы спасала ее в решительные моменты от ошибочной революционной практики.

\* \* \*

Мы рассматривали люксембургианство как своеобразную форму западно-европейского большевизма, или, вернее, как этап к большевизму, этап, пройденный в основном германскими левыми радикалами, а потом спартаковцами в 1918 году, когда создалась коммунистическая партия. Этот факт идеологической близости левого радикализма к большевизму имеет огромное международное значение. Он показывает, что большевизм был международным течением еще до войны. Он доказывает, что законы, изложенные Лениным, обязательны для всех стран. Россия, как мы уже говорили, имеет для законов революции такое же значение, как Англия для законов капитализма. Опыт русских революций находится приблизительно в таком же отношении, в смысле построения теории пролетарской революции, как опыт Великой Французской революции для буржуазных революций. Он должен лечь в основу всякой будущей пролетарской революции.

Это, однако, наиболее неприемлемая из большевистских истин для мировой социал-демократии. Соц.-демократы делают все, чтобы спастись от большевистской революции, а, значит, и от участи меньшевистских в ней вождей. Они прилагают огромные усилия, чтобы вычлени из истории германской с.-д. все, что хотя бы отдаленно похоже на большевизм. По отношению к Розе Люксембург и левым радикалам они применяют для этого два метода. Во-первых, им хочется доказать, что Роза Люксембург и левые радикалы ничего общего не имеют с большевиками. С этой целью они ссылаются на наши с Розой теоретические споры, не виная при этом ни в суть этих споров, ни в характер и размеры разногласий<sup>1)</sup>. Для этой же цели они используют не предназначавшуюся для печати рукопись Розы о русской революции, истолковывая ее по-своему.

Второй метод — это всяческие попытки умалить роль левого радикализма и западно-европейского коммунизма, показать сверхординарный характер их появления. Однако мы знаем, что у левых радикалов была довольно серьезная рабочая база. Последние предвоенные годы их лозунги встречали горячую поддержку среди рабочих наиболее промышленных городов и районов Германии: Берлина, Лейпцига, Дрездена, Бремена, Штутгарта, Гамбурга, Рура и др. Выступления Розы встречались там с неизменным восторгом. Но уже тогда социал-демократы Розу Люксембург и весь левый радикализм изображали как напосный с Востока элемент, как агентуру России. На этом-то «основании» реформисты еще во время первой дискуссии с Бернштейном сфабрико-

<sup>1)</sup> См., напр., статью М. Werner «Der Sovietmarxismus», «Gesellschaft», Juli 1927.

вали о Розе клевету, как о русской шпионке, и с тех пор неизменно ее муссировали.

Но и теперь Э. Дран и др. социал-демократы продолжают повторять подобного рода «марксистские» объяснения появления левых радикалов. «Недостаток журналистов,—пишет Дран в недавней выпущенной очерке,—пополнился иностранцами, особенно русскими, которые «уже сами по себе из национальных соображений были противниками Германии»<sup>1)</sup>. Для Драна «*Leipziger Volkszeitung*» и «*Sächsische Arbeiterzeitung*»,—были органы русских, «*Vorwärts*»—орган австро-марксистов, а «*Bremer Bürgerzeitung*» отражал голландско-галицийское влияние. Таким образом, расчистив себе путь, Дран легко уже приходит к выводу, что единственным нормальным, национальным путем развития в немецком социализме был путь реформизма. Впрочем, Каутский в своих нападках против Розы, уже начиная с 1910 г., пошел по той же линии размежевки в иностранным, и в первую очередь с русским революционным движением, с «русскими методами»<sup>2)</sup>.

Сполезание к оппортунизму, как правило, сопровождалось отходом от революционной России. Как и наоборот, революционный интернационализм левых радикалов означал обогащение немецкого рабочего движения русским опытом. Не случайно, поэтому, Каутский в последние предвоенные годы заговорил о национальном марксизме, об обособлении независимом от других опыте каждой страны в отдельности. Впрочем, в дальнейшем защищавшийся им особый «немецкий» метод постепенно превратился в старый испытанный английский. И различие этих двух методов мышления Каутский характеризовал различие двух течений в рабочем классе. «Русское революционное мышление,—писал Каутский на следующий день после гибели К. Либкнехта и Р. Люксембург,—было для К. Либкнехта столь же решающим, как для отца его английское... и то же самое относится к Розе Люксембург»<sup>3)</sup>.

С тех пор Каутский и все с.-д. не перестают петь о противоречии между Востоком и Западом<sup>4)</sup>, между английским и русским методами. Но большего нам и не нужно. Чтобы расшифровать социально-политический смысл этого противопоставления, не надо напоминать ни старой марксовой критики английского тред-юнионизма, ни более поздних статей того же Каутского начала XX века на интересующую нас тему. Он понятен и без этого. Впрочем, некоему реформистскому профсоюзному вождю Никишу не терпится. Он хочет раскрыть секрет полицейского. И он доводит взгляды Каутского до их логического конца, когда заявляет, что марксизм в Германии был вообще прехитрым состоянием, признаком ее отсталости<sup>5)</sup>. Да, если бы Германия не имела никого других вождей кроме ориентировавшегося на английскую «рабочую буржуазию» Бернштейна, а потом следовавшего за ним Каутского, то первое из этих положений было бы в значительной степени верно.

Эту же идею о случайности левого радикализма перебежчик из лагеря левых радикалов Курт Гейер хочет объяснить «социологически» и «психологически». Наворотив массу ученых цитат из книг буржуазных ученых о психологии масс (Лебон, Сигеле, Стефенс, Фирканд, Вилас и др.), Гейер приходит к выводу о том, что левый радикализм это—

<sup>1)</sup> E. Dran, Die deutsche Sozialdemokratie, Mularsche Verlag, München 1933.

<sup>2)</sup> Еще в 1906 г. Каутский рядом со статьями в защиту революционной России вслед за Бебелем пытается отгородить Германию от русского опыта.

<sup>3)</sup> «Karl Libknecht und Rosa Luxemburg zum Gedächtniss», «Der Sozial Unabhängige Sozialdemokratische Wochenschrift», 24 Januar 1919, стр. 54.

<sup>4)</sup> См., напр., его последнюю статью «Ein Verfechter der Einheitsfront» «Kampf», August-September 1928.

<sup>5)</sup> Nikisch.

лишь вспышка левых настроений, это нетерпеливое желание перескочить через медленно развивающуюся фазу истории, это фетишизация массового движения, независимо от его результатов, это сектантство и мистическая вера в массовый инстинкт, стоящий выше рассудка и т. п., и т. д. <sup>1)</sup> Так же приблизительно объясняет дело Макс Адлер, рассматривающий поведение Розы Люксембург в Ноябрьской революции, как немарксистский революционаризм <sup>2)</sup>. В этот же круг идей попадает и академик Тарле, когда хочет левый радикализм трактовать, как заранее обреченное на гибель течение. Тарле смешивает оппортунистическое руководство партийных масс с этими массами. Он считает, что Германия совершенно не противилась империалистической политике и «к Розе Люксембург, Карлу Либкнехту, Лео Иогнхесу и их товарищам стали немножко больше прислушиваться не потому, что убедились в несостоятельности войны захвату колоний с принципами социализма, но потому, что начинали понимать, что при подобных Вильгельму руководителях имперской политики Германская империя может потерпеть поражение» <sup>3)</sup>. Это извращенное представление об истинных настроениях немецких рабочих, это карикатурное объяснение корней левого радикализма неспособностью Вильгельма руководить империалистической политикой, и приводит Тарле к его фантастическому выводу о том, что «поражение революционного меньшинства было predetermined отмеченными выше особенностями исторической обстановки Германии» <sup>4)</sup>. По смыслу рассуждения этот вывод, относящийся к январскому восстанию 1919 года касается и всего левого радикализма, а значит и вырастающего из него коммунистического движения. Но это — типичная философия истории всех реформистов. Согласно ей, всякое революционное движение — случайно, всякое же его поражение — закономерно. Реформизм — нормальный, естественный путь развития рабочего движения на Западе, его не преjdeши. Коммунизм же, поскольку он существует, есть лишь пена на революционной волне, исчезающая вместе с революцией. Коммунисты — партия революции. Им не место в «нормальное» время. Они представляют сейчас лишь тень прошлого инфляционного периода, периода распада. Все, что совершилось (если это только не победа революции, как в России), должно было совершиться, заложено было в объективных условиях. Эта «философия» никакого места самостоятельному движению рабочих масс, вернее: революционному движению, в схеме исторического развития не оставляет. Для этой философии всякому революционному движению заранее уже приуготовлена кличка бланкизма, путчизма и проч. Реформисты боролись против веры левых радикалов в революционный инстинкт масс и болтали о реакционности этих масс. Это освящало их борьбу против стихийного движения, против всеобщей стачки. Но когда нужно было, они с такой же самоуверенностью заговорили о беспомощности руководства перед массовой стихией. Это оправдывало их бездеятельность и пассивность в моменты шовинистического удара. Так объясняли центристы сдачу своих позиций в вопросе о войне. А что массы в начале войны были вожжами обмануты, что они были оглушены внезапностью и стремительностью патриотической пропаганды, что сознание их было убито тысячами ловких софизмов, что с первой секунды объявления войны они были связаны по рукам и ногам военным положением

<sup>1)</sup> K. Ceyer, Der Radikalismus in der deutscher Arbeiterbewegung.

<sup>2)</sup> M. Adler, K. Liebknecht u. R. Luxemburg, Wien 1919.

<sup>3)</sup> Е. Тарле. Европа в эпоху империализма, стр. 79.

<sup>4)</sup> Там же, стр. 435.

и всей мощью государственного аппарата, умноженного на партийный и профсоюзный аппарат, об этом подобные историки молчат. Это понимать им неудобно. Поэтому непонятно им и следующее заявление Ленина на обсуждаемую тему: «... Мы знаем с достоверностью, что «защитники отечества» в империалистической войне представляют лишь меньшинство. И наш долг поэтому, если мы хотим остаться социалистами, идти ниже и глубже к настоящим массам: в этом все значение борьбы с оппортунизмом, все содержание этой борьбы»<sup>1)</sup>.

Историки этн не поймут, что не все то, что говорится от имени масс, что изображается как их воля и их убеждение, есть действительная мысль, воля, желание этих масс. Левый радикализм был «истинной» немецкой рабочей движением, но истиной нереализованной, т.е. не победившей еще. Здесь старые социал-демократические традиции и историческая обстановка играли огромную роль, но не меньшую роль играло и предательство официального руководства, воспользовавшегося войной, чтобы удушить в самом зародыше всякую революционную оппозицию. Смешивать все воедино, предательство вождей с временной пассивностью и беспомощностью масс, сводить все субъективное без остатка к объективному, доказывать, что «иначе быть не могло», это специальность оппортунистической философии. Революционный марксизм подобный трусливо-фаталистический подход к истории не соответствующий действительному ее ходу, самым решительным образом отвергает<sup>2)</sup>.

Люксембургизм, левый радикализм, движение спартаковцев — вполне закономерные течения, отражавшие процесс революционизирования, процесс большевизации рабочего класса в эпоху империализма.

Роза Люксембург — их вождь и идеолог. Этнм высказано все огромное значение, вся огромная роль этой революционерки в истории международного рабочего движения. Этнм определяется место левого радикализма в деле подготовки III Интернационала. Ибо, чем же была защита русской революции и ее методов, борьба с реформизмом и центризмом, борьба с социал-патриотизмом и с империализмом, как же подготовка и идеологии, и кадров для будущего Коммунистического Интернационала?

Все, что было лучшего, наиболее здорового, революционного в германской социал-демократии за последнее десятилетие перед Ноябрьской революцией, связано с именем Розы Люксембург.

Не кто иной, как Роза Люксембург и группировавшиеся вокруг нее революционеры спасли честь немецкого и всего западно-европейского марксизма.

Нельзя изучать революционного движения конца XIX и начал XX века без Розы Люксембург. И не только потому, что она была активнейшим деятелем этого движения, но также и потому, что она была крупнейшим, талантливейшим его историком. Роза Люксембург, как историк, еще до сих пор не получила должного признания.

<sup>1)</sup> Ленин, т. XIII, стр. 482.

<sup>2)</sup> Здесь мы не высказываемся специально по вопросу о январском восстании, которое действительно было обречено на гибель, правда, не потому, что в спартаковцах не было совсем масс. Одной из главных причин неуспеха была ясность цели этого движения, преждевременная попытка захватить власть, попытка к тому же скованная теми же независимыми социалистами, которые стояли во главе движения. Наша критика касается лишь метода, с каким академик Тарле и подобные ему подходят к этим историческим событиям.



Но самое важное и самое ценное для мирового рабочего движения—это тот громадный запас революционного пафоса, революционного энтузиазма, нескончаемой революционной веры, какой заражают нас деятельность и писания Розы Люксембург. Она, как никто на Западе, проявила подлинную большевистскую твердокаменность взглядов, подлинную принципиальность во всем, чего бы ни касалось ее перо или ее слово. Она была крупнейшим умом и самым горячим сердцем польского, немецкого и западно-европейского рабочего движения.



---

<sup>1)</sup> К. Реннер. Что такое марксизм: идеология или наука? «Кампф» 1929.

## Публицистическая деятельность Антоновича до ареста Чернышевского.

(Из истории русской общественной мысли).

*В. Кирпотин.*

На фоне шестидесятых годов, богатых крупными и яркими деятелями, Антонович был фигурой второстепенной. Его быстро забудем более, что он скоро вынужден был удалиться с руководящих постов журналистики,—несмотря на то, что жил он долго—он почти не занимался, а либеральные историки, вообще-то забывавшие шестидесятые годы с кисло-сладкой улыбкой, интересовавшиеся Антоновичем лишь как критиком, не пожалели черных красок для изображения его невежества, его грубости, его неблагородности, его будто бы постыдной роли в литературе. В самом деле, в его позднейшей полемике с «Русским Словом» и с «Временем» был целый ряд безтактистей и преувеличений. Роль первой скрипки в «Современнике» была ему слишком трудна, но все же он был литератором способным и полезным. Под руководством Чернышевского, до повольного ухода последнего с журнальной арены, угловатые стороны способностей Антоновича не были заметны, не давали себя знать и допущенные им впоследствии некоторые перебои в проведении принципиальной линии журнала. Чернышевский был им доволен и печатно отзывался о нем очень тепло, как о даровании молодом и свежем, достаточно сильном, чтобы за себя постоять.

Либеральные и эстетствующие историки русской критики (Иванов, например, или Волюнский), как на самый яркий пример бездарности Антоновича приводят его разбор тургеневских «Отцов и детей»<sup>1)</sup>. В этом разборе Антонович отказывает роману Тургенева в каких бы то ни было художественных достоинствах, доказывает, что он является тенденциозным пасквилем на молодое поколение и под конец проводит параллель между произведением Тургенева и, за несколько лет перед тем вышедшим романом Асоченского, погромно характеризующего писателя и журналиста 60-х годов.

И тем не менее статья Антоновича была вовсе не глупой статьей. Не надо лишь забывать, что Антонович был не только критиком, а в те годы журнал для публициста заменял трибуны партийную, и парламентскую, да и проводить свои взгляды приходилось под цензурным гнетом по поводу случаев, к политике и публицистике часто прямого отношения не имевших. Тургенев и сравнительно недавно перед тем порвал с «Современником», не с

<sup>1)</sup> «Современник» за 1862 г., кн. III, ст. «Асмодей нашего времени».

дядя с ним в направлениях, и сблизился с Катковым. Статья Чернышевского «Антропологический принцип в философии», бывшая философским исповеданием веры публицистов, группировавшихся вокруг «Современника», попала уже под частый журнальный обстрел, в котором главным аргументом против Чернышевского выступалось обвинение в ожождствлении им сознания с движением материи. Тургенев же изобразил бюхиерову «Силу и материю», если не евангелием, то настольной книгой молодого поколения. Между тем и Чернышевский, самый влиятельный публицист эпохи, и «Современник», любимейший журнал «детей», проводил феиербахианское направление. Антонович должен был показать, что Тургенев не донял философского направления детей, он имел право с'язвить по его адресу: «Автор направляет стрелы своего таланта против того, в сущность чего он не проник... В своем простодушии он вообразил, что понял бюхиерову Kraft und Stoff, что в нем заключается последнее слово современной дремудрости, и что он, значит, понял современную премудрость всю, как она есть» <sup>1)</sup>. Отвергая приписанный Тургеневым молодому поколению философский авторитет, он защищал себя и свое направление от упрека в философской вульгарности.

Одним из лозугов эпохи была эмансипация женщин. Женщина рвала старые домостроевские оковы и завоевывала себе права человеческого достоинства. Крепостничество в семье рушилось раньше, чем крепостничество в стране. В ответ из лагеря реакции шло дикое улюлюканье с обвинением в распутстве. Достаточно было некой г-же Толмачевой прочесть на благотворительном вечере отрывок из «Египетских ночей» Пушкина, как ее обвинили в разврате. Ту же ноту тянул Катков, редактор и издатель журнала, в котором печатались «Отцы и дети». В такой обстановке образ Eudoxie Кукушиной, да некоторые черточки в сцене объяснения Базарова с Одинцовой воспринимались, естественно, как выпад против движения, хотя Кукушина была лишь прордней на м о д у на «нигилизм». К тому же мракобесы всех степеней не преминули воспользоваться изображением Кукушиной в подтверждение своих нападков против эмансипационного течения. «Госпож Кукушинных развелось тоже довольно и в столицах, и в губерниях,— писал Катков в статье, посвященной тургеньевскому роману.—Хищные (т.е. Базаровы, нигилисты.—В. К.) очень хорошо понимают их, и умеют ими пользоваться» <sup>2)</sup>.

И не тупость, и не бессмысленная травля, а голос человеческого достоинства звучал в статье Антоновича, когда он писал: «И без того много терний и препятствий встречают на пути молодые женщины, желающие учиться посерьезнее; и без того злоязычные сестры их колют им глаза «стиними чулками»; и без того у нас есть много тупых и грязных господ, которые тоже, подобно вам, укоряют их за растрепанность и отсутствие кринолинов, надеваются пад их нечистыми воротничками и над их ногтями, не имеющими той хрустальной прозрачности, до которой довел свои ногти ваш милый Павел Петрович. Довольно и этого; а вы напрягаете свое остроумие на придумывание для них новых оскорбительных прозянц, и хотите пустить в ход Eudoxie Кукушину. Или вы в самом деле думаете, что эмансипированные женщины хлопочут только о шампанском, папиросках и студентах, или о нескольких единовременных мужьях, как вообразает ваш собрат по искусству г. Безрылов <sup>3)</sup>. Это еще хуже, потому что набрасывают не-

<sup>1)</sup> «Современник» 1862 г., кн. III, стр. 102.

<sup>2)</sup> «Русский Вестник» 1862 г., кн. 5, стр. 400.

<sup>3)</sup> Псевдоним Писемского в «Библиотеке для Чтения».

годную тень на вашу философскую сообразительность; но и другая — тоже хорошо, потому что заставляет сомневаться в ваших симпатии всему разумному и справедливому. Мы лично расположились в пользу первого предположения»<sup>1)</sup>.

Подобных упреков Тургеневу Антонович набрал очень много — вплоть до того, что автор «Отцов и детей» приписал молодому человеку, через Базарова, скептическое отношение к умению крепостных пользоваться своей свободой.

Оценка художественных достоинств «Отцов и детей» со стороны Антоновича была ошибкой; неверно было также его мнение, что Базаров представляет собой только поклев на молодое поколение. Неправота Антоновича видна хотя бы уже из того, что Катков, мечтавший писать, на основе разбора романа Тургенева, статью против «инглистов», вынужден был с'ехать с характеристики Базарова и характеристику тех и тех в обществе, типическим отражением которых должен был быть Базаров.

Должны ли мы, однако, осуждать Антоновича за чисто публицистический подход к произведению влиятельного писателя, когда которого так много значил на весах общественного мнения? Ведь это было уже в 1862 году, когда начались первые зрелые, когда революционная партия ушла в подполье, когда ждали взрыва народного гнева, как летом следующего года — накануне заточения Чернышевского. В такой момент представитель крайнего лагеря, естественно, заботился о разъяснении истинного смысла своего направления, о устранении всего того, что может невыгодно для его дела отразиться в общественном мнении. Если при этом совершена была ошибка против художественного вкуса, то это еще не достаточное основание для обвинений в тупости и невежестве. Никто же не назовет Писарева бездарностью, хотя он и отрицал какой бы то ни было талант за Щербиным и рекомендовал ему заняться писанием популярных естественнонаучных книжек.

Что же касается до сопоставления Тургенева с Аскоковским, то это было как бы возвращением комплимента назад: Катков, все в той же «Русском Вестнике», первый употребил этот сомнительный прием, доказывая, что радикальное крыло русской журналистики и Аскоковский суть ягоды с одного поля (май 1861 года, статья «Одного поля ягоды»).

Антонович был, однако, не только критиком. Его перу принадлежит ряд статей на философские темы, написанных умно, с пониманием дела, с четко проведенным направлением — иногда только несколько угловатых по манере шутить. В 1860 году Чернышевский опубликовал свой «Антропологический принцип в философии». Статья эта написана в ответ на книжку Петра Лаврова: «Очерки вопросов практической философии». В «Очерках» своих Лавров обосновал революционную позицию по отношению к русским тогдашним порядкам философскими аргументами эклектического и идеалистического толка. Чернышевский в ответ доказывал, что удовлетворительное обоснование революционных задач может быть дано только материалистической феербахизанской философией. В своем возращении Чернышевский тщательно подчеркивал важность выдержанных философских воззрений, ибо «теоретическая лож непременно ведет к практическому вреду»<sup>2)</sup>. «Антропологический принцип» был как бы фило-

<sup>1)</sup> «Современник» 1862 г., кн. III, стр. 96.

<sup>2)</sup> Чернышевский, Сочин., т. VI, стр. 182.

софским манифестом направления, но Чернышевскому, занятому эконо-  
мическими и политическими вопросами, некогда было заниматься про-  
пагандой и длительным разъяснением своих философских воззрений.  
Эту задачу взял на себя Антонович.

Антонович делил всех современных ему философов на два на-  
правления, на философов старых и философов новых. Старые фило-  
софы—это, собственно, не философы, а церковники, рядящиеся в  
философскую одежду. В русской литературе к ним относят Гоголь-  
кий, Карпов, Новичский и Юркевич, основной оппонент реакционеров  
против Чернышевского. В их философии, по сути дела, нет ничего но-  
вого, в сравнении с катехизисом. Вот, например, философский лекси-  
кон С. Гогоцкого. «Этот труд, — пишет Антонович, — по нашему  
искреннему убеждению, совершенно излишний и бесполезный... Ко-  
нечно, составитель проповедует истины высокие и благотворные для  
каждого; против этого никто не может спорить, и мы вовсе не это  
имеем в виду, называя «лексикон» делом излишним. Но он излишен  
потому, что истины, им проповедуемые, давным давно известны  
всем православным христианам из «Православного катехизиса»; кто за-  
хочет изучать их глубже и основательнее, тот обратится к «Догмати-  
ческому богословию» преосвящ. Антония, или к подробнейшему  
«Богословию» преосвященного Макария, где эти истины изложены  
гораздо проще, популярнее и обстоятельнее, и где они имеют более  
значения и авторитета»<sup>1)</sup>.

Как видите, несмотря на обвинения в исключительной топсио-  
сти и грубости, Антонович, как видно из вышеприведенного отрывка,  
никогда был способен и на тонкую иронию.

В шестидесятые годы старые философы имели перед собой ауди-  
торию новую и необычную. Чтобы иметь успех во «взбаламученном  
мире» русской общности, мало было сослаться на авторитет  
святых отцов. Новые идеи надо было преследовать на их почве, на  
почве изучения современной философии и современной науки. Анто-  
нович показывает, что клерикальные мыслители и изучали новых фило-  
софов не для того, чтобы понять их системы и проникнуть в круг  
их мыслей, а для того, чтобы заимствовать аргументы против мате-  
риализма, чтобы изощрить свои полемические способности. Поэтому,  
в итоге всех их старательных трудов, результаты получались все же  
весьма убогие, нередко забавные. «Старые философы принимали  
никогда и что-нибудь новое, но соединяли с ним ограниченный, букваль-  
ный смысл своей системы... А некоторые из них—ну, уж эти счита-  
лись всеобъемлющими гениями—не робели перед философией, и при-  
нимались вырывать из разных философских учений то, что годилось  
для них, что подходило под их понятия; и этикие разнородные клочки,  
они пристегивали к своей системе»<sup>2)</sup>. С арсеналом с бору по сосенке,  
подобранных аргументов выступал против Чернышевского Юркевич;  
например.

С такими-то данными старые философы шли в поход против  
материализма, против все еще не пораженного «гордого против-  
ника»—Фейербаха. Обычный метод опровержения материализма со-  
стоял у них в хуле и ругне по адресу всей материалистической кон-  
цепции и в опровержении отдельных мелочей и частности в ней. Та-  
кой метод естественно не мог привести к победе. «Материалисты сами

<sup>1)</sup> «Современник» 1861 г., февраль, статья «Современная философия», стр. 260

<sup>2)</sup> «Современник» 1861 г., кн. 4, статья «Два типа современных философов», стр. 352.

не придают этим частностям большой цены, они уходят дальше и глубже в свою систему, оставляя частные позиции, сосредоточиваясь в общем сборном пункте, держатся за свое общее доказательство. Они указывают на всю совокупность естествоведения, на общий строй естественных наук, на тот, принадлежащий всем им, внутренний характер, по которому все они составляют одну многообъемлющую науку о целом мироздании. Они говорят, что их принцип есть необходимый результат всей совокупности выводов, добытых частными отраслями естествознания, и что современная степень наших знаний о всем космосе, о мире и человеке приводит к их воззрениям»<sup>1)</sup>.

Под новыми философами Антонович разумеет представителей всех современных ему философских направлений, базировавшихся на существование не на мистицизме, не на полуповице, а на науке, не связанных непосредственно с религиозной проповедью. В России к ним, кроме материалистического лагеря, он относит, если не считать Стрехова, одного только Лаврова, «потому что он верно рассуждает о Одних (т.е. о божестве.—В. К.) и опровергает большую и самую существенную часть того, что признают старые философы»<sup>2)</sup>. Однако отрицание бога, абсолюта и религиозного обоснования философов сами по себе еще не дают мышлению выхода на правильную дорогу. Наоборот, «отрицание абсолютного—само по себе дело хорошее—было настоящей бедою для наших новых философов; не признавая абсолютного, а потом и никакого значения ни за одним из философских принципов, они не принимают ни одного из них и не придерживаются ни одной философской системы, или, лучше сказать, придерживаются всех понемножку»<sup>3)</sup>.

Точно также всех систем понемножку придерживался и Лавров. Он полагал, что материализм, как и всякая иная метафизическая система, неполона. Тому доказательство—опровержение исторически возникших материалистических систем последующим развитием философии, существование, на ряду с современным материализмом, и других направлений в философии. Поэтому нельзя держать одного материализма, а нужно его рассматривать лишь как один из кирпичей для построения истинного философского здания.

Антонович, по справедливости, считает такую аргументацию ложной и наивной. Системы одна за другой разрушаются, материализм XVIII века отжил, еще более жестокая участь ожидает систему Лаврова, которая увянет и истлеет еще быстрее, оставив значительно меньше следов. Смена философских направлений есть непреложное условие философской жизни, философского развития. Абсолютной истины нет и не может быть. То, что было когда-то высшей истиной, высшим достижением человеческой мысли, сегодня оказывается в заблуждении. Та же участь постигнет и наши сегодняшние убеждения. И все же «истина есть и должна быть для нас и в настоящее время. «Всякая философская система, какова бы она ни была, подлежит, как и все существующее, законам тления, разрушения и смерти; стареется, молодое растет; но, в свою очередь, тоже состарится, померкнет и уступит место новому, новому системе и учению; но следует ли из этого, что не нужно держаться ни одной системы, не принимать никакого учения»<sup>4)</sup>.

<sup>1)</sup> «Современник» 1861 г., кн. 2, стр. 267.

<sup>2)</sup> «Современник» 1862 г., кн. II, ст. «Современная физиология и философия».

<sup>3)</sup> «Современник» 1861 г., I, с. кн. 4, стр. 365.

<sup>4)</sup> «Современник» 1861 г., кн. 4, I, с., стр. 404.

Абсолютной истины нет, но есть истина объективная. Это вполне достаточное основание для того, чтобы, с одной стороны, избежать, основанного на кантаизме субъективизма, проповедуемого Лавровым, а с другой стороны, его же эклектизма. «Никто не смеет укорять вас за то, что у вас нет всецелой и самостоятельной системы; она явится у вас, так сказать, сама собою, вы только постарайтесь выработать определенный и твердый принцип, да еще непременно метод. Но при этом помните, что абсолютной истины нет; вселенской, общечеловеческой философской системы не может быть, так же точно, как и бессмертной и вечной; а лучше всего берегитесь эклектизма. Не соблазняйте тремя или четырьмя с первого раза поировавшимися философскими принципами, совершенно противоположными; выбирайте какой-нибудь один, а если и выберете несколько, то непременно примиряйте и объединяйте их, соединяйте в каком-нибудь одном высшем и общем принципе, а иначе непременно вы не справитесь с ними, собьетесь и запутаетесь»<sup>1)</sup>, — поучает он Лаврова.

Источник единства и цельности философствования Антонович находит в антропологическом принципе, разумею, однако, не кантовский, как его толковал Лавров, а по Фейербаху. Вслед за Чернышевским, он чрезвычайно дельно подчеркивает общее значение антропологического принципа. Для человека ближе, известнее и доступнее сам человек; поэтому с человека удобнее и доступнее повести доказательство основ материалистического мирозерцания. Доказав единство человеческой природы, показав, что человеческое сознание происходит и зависит от человеческого организма, легко уже доказать единство всего бытия, отсутствие в мире другого мира, подчиненного нематериальным законам. Философия из человека, как на точке опоры, «должна установить свой архимедовский рычаг, имея в виду, посредством его, обнять и сдвинуть весь мир, а не заниматься своим рычагом и мечтами о том, какие бы дать ему красивые позы не для чего-нибудь другого, а так, ради собственной потехи: вот, дескать, на основании своих законов мышления, своим рычагом я могу выкидывать какие штуки, могу мыслить об известном предмете так, могу мыслить и этак, могу даже и вот этак и т. д. Как человек есть часть природы, так и наука о нем должна быть частью естествознания; психологию<sup>2)</sup> нужно вырвать из мертвых рук метафизики, соединить ее с физиологией и весьма хорошо было бы присматривать за нею, чтобы она снова не пустилась в метафизику, когда ей позволять быть особо, самостоятельно, да отдельно»<sup>3)</sup>.

Вопросы психологии в тогдашней полемике играли большую роль уже самой постановкой спора. И Лавров, и Чернышевский вводили в суть своего мирозерцания через антропологический принцип, Юркевич, имя вдруг получившее большое значение, не соответствовавшее, впрочем, его дарованиям, озаглавил свою работу против Чернышевского: «Из науки о человеческом духе». Антонович, естественно, не мог не высказать своего мнения о предмете психологии. Он стоит за объективную психологию, против субъективной. Он отказывается признать душу, самосознание, простой, неизменной, всегда себе тождественной субстанции. «Я» не существует отдельно от частных сознательных представлений и других психических актов. Содержание сознания не возникает самопроизвольно, а есть результат воздействия внешнего мира на нашу психику. Единство в общей сово-

<sup>1)</sup> Ibid., стр. 415.

<sup>2)</sup> «Современник» 1861 г., кн. IV, I, с., стр. 417.

купности содержания человеческой психики существует, но оно в субстанционального характера, а дается единством организма, носителя сознания. Самосознание не неизменно, а способно к развитию и осуществляет эту способность. О постоянстве его можно говорить лишь в том условном и отвлеченном смысле, о котором мы говорили допустим, о постоянстве какого-либо учреждения. «Уездный суд там остается тождественным и саморавным, несмотря на то, что переменяются служащие в нем, помещенные, порядок делопроизводства и проч.»<sup>1)</sup>.

Мысль, разделявшаяся Антоновичем о необходимости контроля со стороны философии над психологией, как отдельной естественной наукой, была правильной мыслью. Ее неодинократно подчеркивал Чернышевский. Она не потеряла всей своей ценности и в наши дни. Он помогал Антоновичу, да и всему лагерю, к которому он принадлежал, правильно разбираться в объективных результатах трудов специалистов-естественников.

В течение 1861 и 1862 годов в Москве вышел перевод сочинения Льюиса «Физиология обыденной жизни». Реакционный лагерь в философии — и не только в философии — ухватился за эту книгу, за несомненность в ней агностические и идеалистические места, для того чтобы противопоставить авторитету Чернышевского и Антоновича авторитет еврейской науки. В статье «Современная физиология и философия» («Современник» 1862 г., кн. 2) Антонович исчерпывающе доказывает, что, если судить об этой книге не по отдельным ее фразам, не по отдельным отрывкам, а по всему строю психо-физиологических воззрений, выраженных в ней, то она является доказательством в пользу, а не в пользу его противников. Антонович твердо стоял на почве естественно-научных воззрений века и дельным применением к делу подтверждением своих позиций, был своих antagonists.

Обосновывая свой материализм достижениями современного естествознания, Антонович не впадал в вульгаризм; он, не подменял психическое физиологическим, не отождествлял одного с другим. Обвинение в идентификации мышления и материи, в незаконном перенесении законов явлений одного качества в совершенно иную качественную область, основное обвинение, выдвинутое против Чернышевского и Антоновича, совершенно не попадало в цель. В своей, уже неоднократно нами цитировавшейся, статье против Лаврова («Два типа современных философов»), Антонович, доказывая объективность внешнего мира, доказывая теснейшую связь между явлениями сознания материального мира, требуя, поэтому, чтобы психология опиралась на физиологию, на физику и вообще на естествоведение, в то же время поясняет: «Материализм вовсе не отрицает психических явлений, признает их относительную самостоятельность и отдельность и говорит, что они так же не походят на все физические явления, как тепло на механическую работу. Пусть ученые сколько угодно занимаются психологическими исследованиями; но только они должны помнить, что изучаемые ими явления суть цветок и плод растения, корень которого и все питательные вещества, заключаются в органической и в тех явлениях, которые изучаются физиологией и естественными науками вообще»<sup>2)</sup>.

Пока мы все имели дело с сильными сторонами философии воззрений Антоновича. Но Антонович, вместе с сильными сторонами

<sup>1)</sup> «Современник» 1861 г., кн. II, стр. 272.

<sup>2)</sup> «Современник» 1861 г., кн. IV, стр. 387.



разделял и слабые стороны своего направления. Или, вернее будет сказать, слабые стороны русского фейербахианства выступали в нем сильнее, чем у Чернышевского. Он хуже последнего понимал (а возможно и знал) Гегеля, ошибочней последнего оценивал значение диалектики. Объективное значение мышления у Гегеля, подведение идеи под категорию действительности Антонович понимал таким образом, что по Гегелю любая произвольная мысль обладает свойством действительности. «Если кто-нибудь, движимый чувством человеколюбия, мысленно и идеально положил в карман бедняка сто рублей серебром, то это значит, по обыкновенному разумению, что он ровню ничего не положил, а кармане ничего нет, он абсолютно пуст, а по воззрению Гегеля выйдет, что в кармане хоть и нет ста рублей материальных, но он и не пустой, в него положена мысль, которая и лежит там, как лежали бы и действительные сто рублей, и из которой, при известных условиях, действительно могут развиться настоящие материальные рубль»<sup>1)</sup> — так толкует известный, еще Кантом приводившийся, пример со ста талерами у Гегеля. Диалектику он представляет как извортянность мысли, как нгру в понятия, лишь в понятии и имеющую некоторую применимость, но мало вероятную в области действительности. «Скажет он (Гегель) что-нибудь, — просто невероятно, не хочется верить; но начнет он играть мыслями, разбирает, раскладывает их, потом опять соединяет и перекладывает, — и вы соглашаетесь с ним; а, может быть, и правда в самом деле, что он говорит, подумаете. Тут-то выступает на сцену пресловутый гегелевский метод с своим диалектическим моментом; он состоит из трех моментов: существует сначала одно понятие, единица, какое-нибудь положение, тезис; затем оно само собою, по своей внутренней природе, распадается на две части, из него сами собою выходят, или рождаются, два совершенно противоположные понятия, которые в нем заключались, — это есть противоположение, антитезис; наконец, противоположности снова возвращаются к единству, примиряются и оставляют новую единицу, новое понятие, уже более развитое и определенное. Диалектический момент заключается в противоположении, диалектика одному и тому же понятию или предмету придает два предиката, два свойства, совершенно противоположные; напр., этот предмет и конечен и бесконечен, и сложен и прост, имеет начало и не имеет его, душа есть и субстанция и явление; в этом смысле известные антиномии Канта можно назвать диалектическими. По воззрению Гегеля каждое понятие, всякая мысль, даже всякий предмет диалектичны, то-есть непременно заключают в себе две противоположности; чтобы развить понятие и образовать из него новую мысль, нужно только вывести заключающиеся в нем противоположности и потом соединить их снова. Представить себе подобную диалектику в предметах довольно трудно, чтобы, например, известная вещь была черною и белую, и простою и сложною, и горячею и холодною; но относительно понятий это имеет некоторый вид вероятности... Но ведь это так делается у нас в голове, в области мысли, в сфере отвлечения; но Гегель, придав мысли объективное значение, и диалектику перевел в объект, самым предметам приписал способность развиваться, производить и рождать друг друга диалектически»<sup>2)</sup>.

<sup>1)</sup> «Современник» 1861 г., кн. VIII, ст. «О гегелевской философии» (о книге Гайка: «Гегель и его время»), стр. 218.

<sup>2)</sup> Ibid., стр. 221—222.

Таковы воззрения Антоновича на гегелеву диалектику. Он по-мал ее хуже Чернышевского, ибо, хотя Чернышевский и склонен бы считать ее более способом исследования, нежели способом бытия предмета, он все же никогда не считал ее произвольной игрой ума, не пожимал противоречия, как внешнего приписывания вещи двух противоположных определений, не считал триаду простым техническим приемом мыслительных выкладок.

Однако нельзя не отметить, что о гегелевой диалектике Антонович говорит с некоторой осторожностью, как бы с известной опаской («представить себе подобную диалектику в предметах довольно трудно... но относительно понятий это имеет некоторый вид вероятности»). Эта осторожность вытекает у Антоновича из сознания недостатков метафизического способа мышления. Не признавая диалектики в его гегелевской разработке, из-за идеализма и реакционных выводов систем великого немецкого мыслителя, относясь недоверчиво ко всему содержанию его трудов, Антонович, однако, не удовлетворяется уже формально-логической структурой мышления. Лавров считает понятия материалистов о силе и материи метафизическими, ибо они не соответствуют «никакой особи, единственному предмету наблюдения». Истинник этой ошибки Лаврова, объясняет Антонович, кроется во вздорном пустяковом построении формальной логики, полагающей, что быть возможны построения из одних только форм, независимых от содержания. Лишь в воображении формально-логическом можно просто волюю строить общие понятия. Если общее понятие составилось верно, то в нем есть непременно содержание, заимствованное из материального мира, соответствующее если не одной, то целым совокупности особей. Даже математические истины имеют объективное, а не чисто формальное значение. «Так же точно и понятия материалистов о веществе и силе не суть только пустые логические формы, без всякого содержания, но настоящие, живые и действительные понятия, имеющие реальное содержание, заимствованное от действительных, определенных предметов и явлений; они, конечно, не соответствуют одной особи, одному определенному предмету, но зато соответствуют всем особям, всем предметам, подлежащим нашему наблюдению... А метафизики и формальная логика стараются вырвать из понятия всякую реальность, цельное понятие о веществе и силе они разбивают на части, подвергают формальным операциям, вынимают из него всякий жизненный смысл, уничтожают всякое содержание; остается одна логическая неуловимая форма; они и суют ее всякому под нос, вот: «дескать, кумир предлагаемый нам для обожания», и в своей наивности и не воображает, что это кумир—их собственная выдумка»<sup>1)</sup>.

Приведенная выписка свидетельствует о понимании недостатков метафизического способа мышления, он содержит в себе недостатки, правда, осознанное стремление к материалистической диалектике, вращению формулу которой Антонович с некоторыми предосторожностями осудил в «гегелизме». Но все же после Белинского, Герцена, даже Чернышевского мы в Антоновиче наблюдаем не приближение к пониманию диалектического способа мышления, а известное отдаление от него.

Мы указывали выше, что Чернышевский выступил против Лаврова с философской статьей, в целях лучшего обоснования своей революционной программы—социализма и демократизма. Такова же задача философских выступлений Антоновича. Говоря о Лаврове, он по-

<sup>1)</sup> «Современник» 1861 г., кн. IV, стр. 391 и 392.

подчеркивает, что практические правила философии первого заслуживают полного уважения и делают ему большую честь, что неудовлетворительными являются лишь метафизические обоснования, из которых выведены эти правила. В начинавшейся полемике с «Времени»<sup>4)</sup> он прямо сводит все отвлеченные вопросы к конкретному политическому вопросу, с чего начать сближение с «почвой», с народом. В противоположность Страхову, критику «Времени»; считавшего главным средством выполнения этой задачи распространение грамотности в народе, да отчасти изменение собственных воззрений образованного меньшинства, Антонович подчиняет эти задачи изменению материально-правового положения крестьян. В эту точку он сводит все нити своих разногласий со Страховым, шедших также и по философской линии.

К рассмотрению полемики Антоновича со Страховым мы и перейдем сейчас. Полемика эта продолжалась и после ареста Чернышевского, по возобновлении приостановленного на восемь месяцев «Современника». В нашей статье мы остановимся на ней только кончая 1862 годом, годом насильственного удаления Чернышевского с публицистической арены. Это диктуется нам теми рамками, которые мы себе поставили в заглавии; это имеет свой смысл и свой интерес, ибо в рассматриваемый период, повторяем, все вопросы общественной и публицистической жизни сводились к одному пункту, к одной проблеме: к революционной постановке крестьянского вопроса, или к отказу во что бы то ни стало от революционных путей преобразования русской действительности. С этой точки зрения мы и рассмотрим столкновение мнений Антоновича и Страхова.

Журнал «Время» был основан в Петербурге в 1861 г. Основателями и руководителями журнала были братья Достоевские, видную роль в нем играл публицист и критик, переводчик Куно Фишера, Страхов. Журнал имел успех быстрый и заметный. По числу подписчиков он сразу занял одно из первых мест среди русских периодических изданий. Руководители журнала внешне повели себя независимо от имевшихся общественных направлений. Они уже в объявлении о выходе журнала заявили о своем критическом отношении к авторитетам. Ниспровержением авторитетов занимался и «Современник», против авторитетов направил всю силу своих ударов к этому времени выходивший на свою настоящую дорогу Писарев. В этом почти всеобщем ниспровержении авторитетов «Время» думало занять самостоятельную позицию. Оно хотело бить не только вправо, но и влево, по авторитетам не только «Русского Вестника» и «Отечественных Записок», но и по авторитетам «Современника» и «Русского Слова». В этом оно видело утверждение себе права на самостоятельную физиономию, на самостоятельное положение в русской журналистике. Краеугольным камнем убеждений «Времени» была приверженность к «почве». За публицистами «Времени» так и осталась характеризующая их кличка «почвенников». Под неопределенным термином «почва» разумеался народ и органические устои народной жизни. «Время» считало основным пороком русской жизни отрыв ее интеллигенции, ее культурного слоя, да и вообще всех верхних слоев русского общества от этой «почвы», — а вместе с тем оно считало и всю русскую цивилизацию элементом привозным, чуждым, неукоренившимся, а потому и не имеющим в таковом ее виде будущего. Программу своей деятельности деятели «Времени»

<sup>4)</sup> См. «Современник» 1861 г., кн. XII: О почве; «Современник» 1862 г., кн. IV: «О духе «Времени» и о г. Косице, как янлущем его выражении».

видели в пропаганде сближения русских культурных слоев с «почвой, с народом, с изначальными основами его жизни. Конкретными мероприятием, должствующим помочь пониманию и сближению разобщенного народа и интеллигенции, они считали обучение народа грамотности. Проповедь грамотности занимала видное место в общей концепции «Времени». Поскольку «Время» выступало за сближение с народом, оно свидетельствовало о некоторой (впрочем, не очень значительной) подержанности демократическим идеям века. Да это чувствовалось и в его критике «Русского Вестника» и «Отечественных Записок». Катков и «Русском Вестнике» относил новый петербургский журнал к «свистунам», к нигилистическому лагерю, и обрушивался на него с полемическими выпадами, собранными в один букет с полемическими красотами против «Современника». Поскольку же «Время» твердило о признании характера воспринятой нами с Запада цивилизации и рекомендовало ее коренную реформу на началах исконно-русских, народных, оно было проводником славянофильских идей. Впрочем, должно отметить, что само «Время» старалось отгородиться от крайностей славянофильства и готово было принять некоторые положительные стороны западничества, хотя бы его уважение к науке. Но соединение некоторых западных идей со славянофильством удавалось плохо «Времени». При был Антонович: «Понимая г. А. Григорьева, само «Время» никак не может примирить славянофильство с западниками; оно воображает, что идет посредине между ними, в на самом деле оно «выводит мыслеть» и делает зыблени, ударяясь то в ту, то в другую сторону. Славянофильство и западничество — Сцилла и Харибда; избежавши одной, неизбежно попадешь в другую. Чтобы избавиться от них, нужно идти не посредине между ними, а обогнуть их и оставить совершенно в стороне. Как только один раз станешь на ту общую точку зрения, из которой выходят и славянофилы и западники, как только признаешь положительным критерием народность, непременно придешь или к тем или к другим, или будешь слоняться туда и сюда. Если вы признаете вашим критерием народность, а другое какое-нибудь понятие, тогда только могут установиться самые естественные отношения и к славянофилам, и к западникам; «Время» же, установившись на почве, думает сохранять между ними средину; это дело невозможное, как показывает неудачный опыт самого же «Времени»<sup>1)</sup>. Самонадеянное противопоставление «Времени» своих взглядов каким бы ни было авторитетам не было обосновано. Чтобы с успехом противостоять всеческим внешним авторитетам, нужно было иметь нечто действительно особое, на что можно было бы опереться. «Современник» бил по авторитетам, безошибочно отягав врагов от друзей, признавая и передовые успехи западной науки, и общинное землевладение, не впадая в эклектизм и непоследовательность (поскольку это возможно до марксизма), потому что он твердо стоял в точке зрения феербаховски обоснованного социализма и демократизма. Воззрения же «Времени», в итоге своем, были лишь славянофильством, окрашенным в реакционно-демократические тона. При том общественно-политические воззрения «Времени» были чрезвычайно туманны, неоформленны и неопределенно-общие. Каждый раз, когда у «Времени» или у Стрехова не хватало точных мыслей и программных целей, на сцену выдвигалась неопределенная ссылка на «справу» или на «народность». Антонович, в своей полемике против Стрехова, и требовал, прежде всего, ясности, требовал предъявления публи-

<sup>1)</sup> «Современник» 1862 г., кн. IV: «О духе «Времени» и о г. Косце (псевдоним Стрехова). — В. К.), как наилучшем его выражении», стр. 251.

не слов, а определенной системы убеждений. Такое требование Страхов был бессилен выполнить. Нельзя же в самом деле считать за ответ рассуждения подобного рода, например: «Под именем почвы разумеются те коренные и своеобразные силы народа, в которых заключаются зародыши всех его органических проявлений. Какое бы явление ни представляла история, современная или будущая жизнь народа, будет ли это песня, сказка, обычай, частная или гражданская форма, все это признается законом, имеющим действительный смысл—настолько, насколько органически связано с народной сущностью. А это не так легко решить. Самые, повидимому, ненормальные и уродливые формы народной жизни могут быть органическими; и, наоборот, самые, повидимому, правильные и стройные явления могут оказаться мечуждими механических примесей и чужеродных элементов. Таким образом, вместо того, чтобы судить народ по какой-нибудь нашей мерке, нужно стараться везде открыть его собственную мерку, ту единственную и нормальную мерку, которая определяется самою сущностью каждого народного явления. Это значит—нужно понять народ»<sup>1)</sup>.

Нужно сознаться—это очень неопределенно. Антонович имел право недоумевать. Однако Антонович сумел совершенно правильно расшифровать политическую физиономию Страхова и определить его место в общей расстановке общественных направлений того периода. Первым делом Страхов основные удары свои наносил влево. В течение всего 1861 года он против «Русского Вестника» и «Отечественных Записок» не написал ни одной статьи, изредка лишь намеком, лишь попутной вылазкой выражая им свое сдержанное недовольство. Против же Чернышевского и Писарева он проводит последовательную и настойчивую кампанию. Он обвиняет их в чистом нигилизме, в отрицании ради отрицания, в страсти к разрушению, не обоснованной никакими положительными идеалами. Оценивая появившиеся одновременно (в мае 1861 г.) статьи Чернышевского «О причинах падения Рима» и Писарева «Схоластика XIX века», он приходит к выводу, что они суть проявления одного и того же духа отрицания во что бы то ни стало, отрицания как принципа. Чернышевский, по мнению Страхова, отрицает историю, Писарев отрицает философию. Не взгляды того или иного историка, того или иного философа, а именно историю и философию как таковые. По поводу названных статей Страхов приходит к следующему выводу относительно положения дел в русской литературе. «Авторитеты, в том смысле, как я их разумею,—рассуждает он,—вообще разделяются на общие и частные. Например, общий авторитет—поэзия, частный авторитет—Пушкин; общий авторитет—критика, частный авторитет—Белинский и т. д. Теперь заметьте, что одна из отличительных черт настоящей литературы есть именно отрицание общих авторитетов. Например, отвергается не просто Пушкин или другой поэт, а отвергается поэзия вообще; отвергается не просто Гизо, а вся история и т. д. Разница между таким отрицанием общего авторитета и отрицанием какого-нибудь частного авторитета чрезвычайно большая. Истинный авторитет, если отвергается, то должен быть отвергаем не иначе, как во имя общего; так что общий становится от этого только выше и крепче. Так человек с развитым эстетическим вкусом не признает многого, чем восхищается толпа, но тем выше ценит то, что признает. Если он приходит к убеждению, что авторитет, который он признавал, есть авторитет фальшивый, то это отрицание есть только очищение, возвы-

<sup>1)</sup> Страхов. Пример апатии.—Сборник статей. Из истории литературного нигилизма, стр. 113 («Время» за 1862 г., кн. I).

шение его понятия о красоте, и совершается во имя этого более чистого и высокого понимания. Так точно, философ отвергается во имя философии, историк—во имя истории, поэт—во имя поэзии. Вот почему отрицание частных авторитетов есть всегда успех, вот почему он возбуждает к себе такое горячее сочувствие. Мы задумываемся каждый раз, когда падает фальшивый авторитет, потому что уверены, что он заслуживает нам общий, и что, с падением его, нам будут доступны свет и теплота истинных авторитетов. Но у нас в литературе дело идет совершенно наоборот. Частный авторитет не признается потому, что отвергается общий. Так, в бесчисленных толках о Пушкине обнаружилось, наконец, вполне ясно, что он отвергается только потому, что не признается самая поэзия, что отвергается поэзия вообще. Если поэзия вздор, то, разумеется, и Пушкин вздор. Так точно, историков и философов не признают потому, что отвергают историю и философию<sup>1)</sup>.

Смысл всего вышеприведенного рассуждения сводится к тому, что левому лагерю нечего противопоставить разрушаемому. Он отвергает все, «чем красна и тепла наша жизнь». Представители левого лагеря несут с собой лишь опустошение, подобно дикарям или варварам, отрицающим значения образования и ценностей культуры. При таком взгляде на направление «Современника» и «Русского Слова» линия в соглашение с ними была исключена. Но линия «Современника» и «Русского Слова» была линией революции и революционного решения крестьянского вопроса. Безоговорочное осуждение революционного лагеря было в то же время безоговорочным осуждением их методов борьбы.

Правда, Страхов в самом «Времени» представлял более правый оттенок редакции. Достоевский иногда одергивал его, подчеркивая, при расхождении воззрений, известные положительные заслуги «Современника». Но, поскольку дело касалось политической ориентировки, Страхов все же несомненно отражал основную ориентацию «Времени». Тут разница была в слишком незначительных нюансах. Страхов был против революции и против революционных методов преобразования. Он был за медленные «органические» изменения. Материальные изменения он считал побочными и производными от изменений в сознании общества и народа; Страхов звал от интересов низших, материальных—забот о пище, одежде, здоровье—к интересам возвышенным, содержащим в себе абстрактную постановку вопроса о цели жизни, добре и красоте.

Антонович, вслед за Чернышевским, также полагал, что мнения правят миром. Но у Антоновича правильные мнения о характере устройства материальных начал народной жизни должны были послужить для действительного осуществления желаемого преобразования, путем распространения программы этого преобразования интеллигентной молодежи среди масс, путем насильственного низвержения тех препятствий, которые станут поперек дороги новым началам. Страхов же звал от забот о переустройстве материальной народной жизни к отвлеченным воздыханиям идеалистической морали.

Отвечая Страхову, Антонович, не составив против основного конкретного мероприятия «почвенников» о необходимости распространения в народе грамотности, поставил вопрос о зависимости между материальным благосостоянием и образованием народа. Страхов сходящим образом ответил на этот вопрос: «Вопрос о материальном бы-

<sup>1)</sup> Ibid., стр. 20—22, ст.: «Еще о петербургской литературе» («Время» 1861 г. июнь).

госостоянии и вообще об устранении страданий, которым подвержено человечество, есть, как известно, самый живой современный вопрос. Но поднят он уже давно; о нем говорится в Евангелии, и сказано там именно следующее: ищите прежде царствия Божия, и вся сия приложатся вам. Мне кажется, и ныне нет нужды изменять этого решения»... «Вы говорите о нуждах; но люди во все времена показывали способность терпеть, не жадничать и быть довольными малым. Вы говорите о смерти, голодной, или кровавой? Но опять-таки во все времена люди показывали расположение рисковать своею жизнью и гибнуть безропотно. Да и странную бы поправку вы сделали в человеческой природе, вычеркнувши из нее идеализм. Хотите ли вы ее изменить? Хотите ли вы, чтобы люди больше дорожили хлебом и жизнью, чем дорожат теперь? Едва ли кто согласится на это»... «Уже из того, что идеализм есть самая крепкая из сил человеческой жизни, друзья человечества, люди, сострадающие его бедствиям, должны были убедиться, что в этой силе заключается самое могущественное и единственное средство исцеления и возрождения как прежде, так и ныне. Исцелить и спасти мир нельзя ни хлебом, ни порохом и ни чем другим, кроме благой вести»<sup>1)</sup> (Курсив наш.—В. К.).

В те годы вопрос об устроении материального быта народа вовсе не был отвлеченным вопросом. Крестьянство, поскольку оно смогло выразить свои чаяния, не принимало царской воли. Шли крестьянские волнения. Для всякого непредубежденного взгляда было ясно, что проведение в жизнь правительственного закона об уничтожении крепостного права ничего в сущности не изменяло в материальном положении мужика, ставшего юридически свободным, и в то же время абсолютно стало ясно, что только победоносная революция сможет внести существенные изменения в материальный быт народа. При таких обстоятельствах отнесение вопросов материального быта на задний план, с заменой их морализированием на евангельские темы, было явной ориентацией против революции. «Как прежде, так и ныне исцелить и спасти мир нельзя ни хлебом, ни порохом и ни чем другим, кроме благой вести» — это звучало совсем недвусмысленно, когда вопрос о сытом количестве хлеба для крестьян был первым вопросом литературы и общественной жизни, когда прокламации звали к топору и пороху.

Антонович на страницах «Современника» сумел достаточно внятно показать, о чем же в конце-то концов идет речь. В аргументациях Страхова была проведена мысль о том, что мы всю западную цивилизацию уже испытали, и она нам не принесла исцеления, не помогла нам в наших бедах. На это Антонович отвечал, что испытать,—значит не прочитать в книжке, а испробовать на деле. «Мы знаем, например, историю Англии в XVII веке и историю Франции в XVIII веке; но это не значит, что мы совершили и пережили те перевороты, которыми ознаменовались эти века. Нужно ли нам переживать на деле подобные перевороты или нет — это другой вопрос, на него ответит жизнь. Но во всяком случае мы не должны хвастаться, что мы исторически закончили эти перевороты, потому что знаем о них; пусть даже они не нужны и бесполезны для нас, но все-таки исторически, в жизни мы не пережили их. Зачем говорить пустяки и небылицы, что мы испробовали все»<sup>2)</sup>. Это было достаточно откровенно,—насколько только возможна была откровенность эта в легальной печати, в атмосфере начавшихся арестов, накануне закрытия «Современника». Антонович напирал и подчеркивал, что

<sup>1)</sup> Ibid., Пример апатии, стр. 122, 124, 125 («Время» 1862 г., январь).

<sup>2)</sup> Антонович, «Современник» 1862 г., кн. 4, стр. 262.

не Страховым и не «Временем» выдвинута задача сближения с пародом, и что не у них, не в их руках секрет этого сближения. «Не упускайте из виду и того, что люди всегда собственно желали сближения с пародом, прежде чем вы «провозгласили сближение», сочувствовали его страданиям и старались облегчить их; но им мешали другие люди полурасцивилизованные или вовсе не расцивилизованные. Кроме того, вы имели слишком поверхностное понятие о средствах сближения двух разорвавшихся частей нашего общества и воображаете, что пропасть, разделяющая их, может быть рассыпана случайно, по щучьему повелению, по Иванушкиному прошению; слишком много от него надеетесь»<sup>1)</sup>.

Катков напрасно относил журнал, в котором, сотрудничал Страхов, к «свинстунам». «Свинстуны» и Страхов прекрасно понимали, что и не по пути—они были по разные стороны баррикады.

Антонович же, отказываясь от легких решений, напирал на неизбежность трудного революционного действия для решения крестьянской проблемы и всех связанных с ней вопросов. То, что в Англии произошло в XVII веке и во Франции в XVIII в., того самого добился Антонович для России в XIX столетии. Антонович сумел выразить в своих публицистических выступлениях периода проведения в жизнь крестьянской реформы Александра II революционную тенденцию. Правда, после удаления Чернышевского, опираясь только на свои силы, он не сумел уберечь чистоты направления старого «Современника», но при Чернышевском он был ему весьма полезным помощником в деле распространения материалистических и революционных идей.

<sup>1)</sup> Ibid., стр. 269





## О бихэвноризме и материализме<sup>1)</sup>.

В. Баровский.

9

1. Как известно, существуют два главных способа полемики с враждебным учением. Либо приписывают ему такие собственные измышления, которых оно никогда не утверждало, и затем, блестяще опровергнув эти нелепости, трубят об одержанной победе и полном изложении противника. Либо заявляют, что с этим учением, в сущности, можно помириться, оно, правда, кое в чем увлекается, но если срезать и сгладить острые углы, подправить и подкрасить, то оно, собственно говоря, ни в чем не противоречит привычным теориям. Оба эти испятанных метода усердно применялись и применяются против бихэвноризма. В этом случае второй метод часто принимает такую, например, форму. Бихэвноризм, заявляют «друзья», имеет кое-что ценное, но он является только одним из течений в психологии, на ряду с ним имеется много других течений, частью даже более новых и, особенно, более умеренных и симпатичных, вполне уживающихся с традиционными теориями и все же вносящих важные поправки в прежнее психологию. «Бихэвноризм кое-что дал, но он уже ein überwundener Standpunkt». Не нужно видеть в подобных утверждениях тот род полнотки, который злая клевета человека приписывает страусу<sup>2)</sup>. Нет, это сознательное «затирание» нежелательного учения. Прием знакомый?

Посмотрим теперь, на какой базе возник бихэвноризм, что вызвало его к жизни. А надо сказать, что появился он одновременно в разных местах, у нескольких ученых: философов и психологов, работавших независимо друг от друга. На вопрос о том, откуда возникло новое учение, бихэвнористы дают совершенно недвусмысленный ответ: оно возникло из запросов практической жизни. «Нам было совершенно необходимо видеть,—говорит Уотсон,—что в соседних науках, как в медицине, в химии, в физике, каждое новое открытие сейчас же давало возможность новых практических шагов, каждый успех науки немедленно использовался практикой». «Мы предпочитали вовсе отказаться от психологии, чтобы только не иметь больше дел с недоступными и неисчислимыми предметами». Отсюда—программа бихэвноризма: изучать только то, что реально можно наблюдать, т. е. все, что человек делает и что он говорит, иначе изучать поведение человека.

<sup>1)</sup> Печатается в качестве материала к марксистской оценке бихэвноризма. Р. д.

<sup>2)</sup> Позвольте заступиться за страуса. Когда человек при надвигавшейся неизбежной опасности закрывает руками лицо или голову, то это у него естественный жест для защиты наиболее важных органов. Когда страус при таких же обстоятельствах прячет голову под крыло, то он, видите ли, «думает», что он этим спрячется от опасности. Говорят в этом случае о «глупости» страуса, но она всецело на стороне наблюдателя, наобравшего эту легенду.

Значит ли это, что бихевиоризм не признает ничего, кроме поведения? Отнюдь не значит. Когда бихевиорист заявляет, что он хочет изучать только поведение человека, он этим хочет сказать, что явления из области какой бы то ни было деятельности человека он будет изучать в их внешних проявлениях. Для познания того, что имеется у животного в так называемых «душевных явлениях», о которых говорил умозрительная психология, бихевиоризм ставит себе задачей изучить совокупность объективных данных, включая сюда как организм, так и окружающую его среду, в которой этот организм живет и действует. Мы не утверждаем,—заявляет де-Лагуна<sup>1)</sup>,—что психические явления должны быть отождествлены с теми объективными условиями, которыми они определяются (стр. 126). Итак, психика не отрицается и отождествляется с объективными явлениями, но бихевиорист не берется определять ее иначе, как через посредство объективно изученных взаимоотношений между организмом и его средой.

Взаимоотношения эти бихевиорист представляет себе, приблизительно, следующим образом. Предположим, что в данный момент имеются оптимальные условия для организма. Тогда все его жизненные процессы протекают с оптимальными ритмами и также оптимальна корреляция между ритмами. Но в динамической живой системе никакое данное взаимоотношение не может сохраниться более одного мгновения,—в следующий момент наступит отклонение в ту или другую сторону, т. е. нарушение нормальных ритмов или их нормальной корреляции. Очевидно, что для организма выгодно как можно скорее в этих условиях полностью восстановить оптимальные условия; все жизненные шансы на стороне того организма, который проделывает это лучше других. Так что вполне понятно, что организм в ответ на нарушение производит какие-то действия. Эти действия могут быть двоякими. Либо они только уводят (в широком смысле) организм из пределов воздействия нарушающего фактора, благодаря чему могут восстановиться нормальные ритмы. Либо они приводят организм под действие нового фактора, противодействующего первому, и тем самым компенсирующего неблагоприятные условия. В том и другом случае организм производит какие-то действия, имеющие в результате установление нормальных, т. е. физиологически-благоприятных ритмов. Такой акт, приводящийся вследствие нарушения равновесия и приводящий к его установлению, бихевиорист рассматривает как функциональную единицу поведения.

2. При этом безразлично, было ли нарушение корреляции ритмов вызвано изменением организма (внутренним фактором) или же изменением среды (внешним фактором). В первом случае охотно говорят о спонтанных действиях организма, противопоставляя их ответным движениям. С точки зрения бихевиориста раздражитель не что иное, как изменение ситуации, т. е. изменение соотношения между внутренними и внешними факторами. В принципиальном отношении безразлично, возникло ли изменение в связи с первым или со вторым. «Спонтанные» акты отличаются меньшей наглядностью их возникновения, и если мы говорим об их причинных связях, то в глубокой основе их не найдем разницы между так называемыми спонтанными актами и всеми прочими, так как в том и в другом случае мы имеем дело с установлением нарушенных ритмов. Я здесь для иллюстрации приведу два примера таких явлений:

<sup>1)</sup> Де-Лагуна—последовательница одного из первых бихевиористов Эд. Сепера мл. (цитата из Grace de-Laguna: Speech its function and development).

а) В наших водоемах довольно распространены мелкие пресноводные рачки из рода дафний, так называемые водяные блохи. Если их половить и перенести в аквариум в лабораторию, то легко убедиться, что они совершенно индифферентны по отношению к свету. Если аквариум осветить с одной стороны, то они,—независимо от направления света,—будут плавать во всех направлениях, даже если они предвзвешенно сутки простояли в темноте (в проточной воде). Теперь прибавим к воде, в которой они находятся 5—10% какой-нибудь углекислой воды (сельтерской, нарзана), и поведение наших рачков резко изменится: через несколько секунд почти все они повернут в одну сторону, поплывут к наиболее освещенной стороне аквариума и соберутся у его стеклянной стенки. Почему? Чем вызвана такая перемена их отношения к свету. Показателем ритма некоторых физиологических процессов в организме дафний может служить темп их сердцебиения. И вот оказывается<sup>1)</sup>, что под влиянием углекислой воды темп сердцебиения сильно замедляется (может быть на 30%). С другой стороны, свет оказывает ускоряющее влияние на то же сердцебиение. Тогда совершенно понятно, что естественный отбор выработал у дафний появление положительной реакции на свет (закрывающийся—по Лебу—в фотохимических процессах, действующих на центральную нервную систему, а через нее на напряжение двигательных мышц), так как благодаря этой реакции восстанавливается их нормальная жизнедеятельность. Процент содержания углекислоты в водоемах меняется и в естественных условиях жизни дафний. Повышение концентрации  $\text{CO}_2$ , как мы узнали, отражается на организме (не только дафний) замедлением жизненных процессов (по крайней мере, некоторых), т.е. нормальные ритмы нарушены. Появляется особое поведение организма, приводящее его к сдвигу, т.е. в такие условия, при которых нарушение компенсируется.

в) Другим примером может служить очень известное явление ритмических сокращений кишечника у голодного организма (человека или другого позвоночного)<sup>2)</sup>. Когда организм в течение достаточно долгого времени не получал пищи, то желудок и кишечник его начинают производить ритмические сокращения: это нарушение нормальной корреляции между ритмами. Появляется особое поведение животного; а именно, до тех пор, пока происходят ритмические сокращения, оно производит разнообразные действия, в результате которых оно, в конце концов, добудет пищу и проглотит ее. Тогда сокращения кишечника прекратятся и нарушение будет компенсировано.

В других случаях нарушение может выразиться в усиленной секреции какой-нибудь железы или, наоборот, в задержке ее нормальной секреции, или в развитии какого-нибудь нового органа, для которого требуется питание, т.е. упражнение. Но всегда и везде п р и ч и н ы каких-либо действий организма бихевиорист ищет в а л и ч и я х нарушениях нормальных корреляций. Такой единый принцип должен дать правильный подход к проблемам, подобно тому как в другой области дает его принцип изучения развития производительных сил; при том или несколько не уничтожается сложность проблем, так как возможности их реальных проявлений бесконечно разнообразны. Но такой подход бихевиориста, такая его позиция стоит в непримн-

<sup>1)</sup> В. М. Боровский, О реакциях дафний на различные части спектра. «Русск. физиол. журнал», т. X, 1927 г.

<sup>2)</sup> Вопрос изложен подробнее в моей книге: «Основы сравнительной рефлексологии» по работам Кэннона.

римой противоположности к спекулятивным психологизмам всех тех, которые считают движущими факторами поступков организма влечения, стремления, инстинкты, в смысле некоторой мистической силы. Причинность противопоставится целеустремленности.

3. Выше мы пришли к представлению о функциональных актах поведения, как о каких-то цельных актах; мы говорим о функциональных единицах, потому что эти акты, с точки зрения наблюдателя, выполняют определенную функцию. Каждый такой акт может состоять из целого ряда отдельных действий, все еще довольно сложных. Если мы весь акт в целом считаем реакцией на какое-либо нарушение, то и слагающие его действия, одновременные и последовательные, также будут реакциями. Менее сложные реакции могут быть соизмеримыми с какими-нибудь физиологическими категориями, категориями рефлексов. О сложном акте мы, вообще говоря, не можем этого утверждать, так как восстановление корреляции может быть, например, достигнуто в середине какого-нибудь физиологического процесса, продолжение которого потребует уже новой компенсации.

И еще одно замечание. Механизм физиологического процесса для бихевиориста не имеет большой важности. Ему безразлично, какие химические процессы происходят хотя бы в клетках центральной нервной системы, лишь бы эта система в целом выполняла свою функцию. «Вместо того, чтобы пытаться изучить под микроскопом нервную клетку,—говорит де-Лагуна,—бихевиорист будет стремиться изобрести такую точку зрения, которая даст ему возможность обнять всю нервную систему в целом, так и целый организм в окружающей его ситуации»<sup>1)</sup>. Если бихевиоризм в своем понятии о функциональных единицах подчеркивает цельность соответствующих актов поведения, то в этом пункте он не расходится с общим направлением в психологии. Наоборот, надо сказать, что здесь он примыкает к общей тенденции существующей в психологии со времен Джемса. Не следует тогда никоим образом смешивать бихевиористское представление о целых актах поведения с принципиально неразложимыми трансцендентными Gestalt'ами некоторых современных немецких спекулятивно-психологических школ.

Химию нервных клеток бихевиорист не считает для своих целей первостепенно важной, инсколькo не отрицая, конечно, ее значимости в другой связи. Зато категорически враждебно относится он к алхимии и того типа, который представляет себе в каком-то месте (в мозгу чаще всего) таинственный переход нервной энергии в потустороннюю психическую. Не додумывая до конца своих представлений об особых психических явлениях, процессах, механизмах и т. п., многие психологи не сознают, что они, в сущности, такие же алхимики. С другой стороны, можно было бы привести сколько угодно цитат, в которых бихевиористы подчеркивают принципиальный монизм своего учения.

4. Принципиальное расхождение между бихевиоризмом и традиционной психологической во взглядах на общие факторы, определяющие поведение (причина—нарушение, а не стремление), обусловлено, как мы видели, тем, что бихевиорист исходит из реально наблюдаемых фактов. Дальше он пытается установить причинную зависимость между фактами и вывести ее законы. И следующим его шагом будет применение вновь выведенных законов к практике. По Уотсону, задача бихеви-

<sup>1)</sup> Там же, стр. 131.

ризма—предсказывать поведение человека при известных условиях и указывать, как можно руководить этим поведением.

Отмеченное принципиальное расхождение между бихэвиоризмом и традиционной психологией заходит очень глубоко. Монизм первого несовместим с коренным дуализмом (или идеализмом) второй. Психология (традиционная) по существу умозрительна и спекулятивна. Даже, например, экспериментальная психология в том виде, как она практиковалась у Вундта, была умозрительной: толкования и рассуждения совершенно затопляли и подавляли те небольшие фактические данные, которые доставлял эксперимент. Последний играл, собственно говоря, роль повода для умозрительных построений. Такой подход к эксперименту не способствовал его совершенству, и бихэвиорист, стремясь, конечно, использовать в своих целях весь фактический материал, хотя бы добытый руками спекулятивных психологов, находит у последних немного действительно ценного.

Подлиная противоположность между взглядами Вундта, например, и бихэвиоризмом очень хорошо освещена де-Лагуа на проблеме развития речи. По мнению бихэвиориста, развитие речи есть одно сложное сложного процесса усовершенствования орудий первобытным общественным человеком, оно вызвано потребностью в этом усовершенствовании и, в свою очередь, способствовало ему. Вот первоначальная основная функция речи, из которой дальше развились: скрытая речь, «образное мышление», «представления» и проч. Стало быть, опыт исход из наличной общественной потребности. По Вундту, основная функция речи—это выражение мыслей, представлений, а наряду с этим, между прочим, как побочный результат, сообщение их другим людям <sup>1)</sup>. Тут сначала идеи, выношенные внутри отдельного индивида, а потом выражение их.

Но даже и сейчас мы наблюдаем, что для человека, воспитанного на спекулятивной психологии, абсолютно невозможно стать на точку зрения исхода от реально существующего, от наличных условий. Он проходит мимо фактов, так как между ним и фактами стоит экран метафизических построений. Попытаемся проследить это явление на примере об изучении личности и связанном с ним вопросе о роли так называемых психологических тестов.

5. Отношение к факту рождения человека, или млекопитающего вообще, у многих людей до сих пор сохранило какой-то легкий мистический оттенок. Конечно, развитие в утробе матери происходит в хороших защитных условиях, но все же внешние факторы: социальная обстановка, режим работы и питания матери и т. п. влияют на будущего человека с момента его зачатия. Индивидуальные различия между новорожденными зависят не только от комбинации наследственного материала, полученного ребенком (зародышем) от матери и отца, но и от перечисленных внешних факторов. Никто, конечно, не отрицает, наличности индивидуальных особенностей, но бихэвиорист видит их происхождение не только в свойствах наследственного материала, но и в той всегда индивидуальной обстановке, в которой развивался последний.

Многие вариации могут не влиять существенно на возможности для развития индивида. Сюда относятся такие, как цвет кожи: белый, черный, желтый и пр., рост, форма черепа и т. д. Биологические различия между расами сравнительно невелики. Все так назыв. расовые особенности имеют не большее значение, чем индивидуальные отклонения

<sup>1)</sup> Там же, гл. I, на стр. 13, цитата из «Die Sprache» Вундта.

внутри одной расы. Вредный разговор о «низших» расах, повидимому, должен быть оставлен окончательно. К сожалению, приходится сознаться, что у нас пока мало фактов, непосредственно доказывающих полную эквивалентность ребят, под какой широтой и в каком общественном классе они бы ни родились (отвлекаясь от индивидуальных отклонений). Но Уотсон правильно говорит, что еще меньше фактов у представителей противоположных воззрений. Уотсон убежден, что если бы нам попал в руки новорожденный египтянин времен постройки пирамид и мы воспитали бы его в современной школе, то он ничем не отличался бы от всех прочих школьников. Повторяю, основная теза здесь та, что межрасовые отличия не больше, чем внутривидовые отклонения. Уотсон принял к такому убеждению после своих длительных наблюдений и экспериментов над белыми и черными младенцами, но, как сказано, он считает фактический материал недостаточным для широкого обобщения. Надо было бы, по крайней мере, настолько же изучить детей всех существующих рас.

С первой тезой стоит в тесной связи другая. По мнению бихэвнириста, все в поведении взрослого человека социально обусловлено, т.е. обусловлено теми навыками, которые приняла ему социальная среда, окружавшая его с первого момента. Отчасти самое строение взрослого организма зависит от условий, в которых он вырос, почему и придается такое большое значение физкультуре. Но нас сейчас более интересует развитие функциональных черт, так как здесь опять коренное расхождение между бихэвниристами и всеми прочими психологами. «Под именем старой психологии способности»<sup>1)</sup> продолжают говорить о наследственных талантах, наклонностях, способностях и пр. Бихэвнизм категорически отрицает существование таких прироченных черт, считая его абсолютно недоказуемым. У бихэвнириста тут трудная позиция, — против него не только традиционная психология и расовое чванство, но и все предрассудки «хорошего общества». «Из мужика три поколения не сделают джентльмена», «как волка ни корми, он все в лес глядит» — говорят бихэвнисту. «Дайте эксперимент» — может он только ответить на это. «Дайте мне дюжину здоровых, физически хорошо выработанных детей и среду по моему указанию, для того, чтобы их взрастить, и я гарантирую, что я возьму наугад любого и вытренирую его в такого специалиста, какого намерю, — врача, юриста, артиста, дельца, а если угодно, нищего или вора независимо от их талантов, наклонностей, способностей происхождения и расы их предков. Я признаю, что перехожу границы того, что дано имеющимися у меня фактами. Но то же делают защитники противоположного, и они делают это много тысяч лет. Заметьте, пожалуйста, что в этом эксперименте мне должна быть предоставлена возможность точно указать, как их надо вырастить и в какой среде они должны жить»<sup>2)</sup>. Такое утверждение звучит парадоксально и лишено необходимых ограничений. Однако основная мысль здесь та, что социальные влияния и те возможности, которые оно может предоставить для развития наследственного материала, имеют для окончательного результата большее значение, чем свойства этого самого материала. «Может предоставить, — не надо понимать: «всегда предоставляет». Отрицается не «талант», например, а доказанность чисто наследственного происхождения тех качеств человека, которые обозначаются этим словом.

<sup>1)</sup> F. B. Watson, Behaviorism, lect. V, p. 73.

<sup>2)</sup> Watson, там же, стр. 76.

Итак, биохвиорист считает, что для разрешения своих основных задач (предсказания и руководства поведением) он должен—1) точно установить при помощи эксперимента и наблюдения в контролируемой обстановке все поведение, с которыми дети фактически появляются на свет, по возможности отвлекаясь от индивидуальных различий, если они окажутся здесь сравнительно небольшими, 2) изучить, как на основе того приращенного (с оговоркой) поведения с первого момента строятся навыки, другими словами, точно изучить историю развития поведения в данной среде. Не нужны биохвиористу рассуждения о природе человека вообще, наследственных способностях, предполагаемых инстинктах, которых по Джемсу, например, у человека оказывалось более, чем у всех других животных. Все такие рассуждения неизбежно спекулятивны в виду недостаточности фактического фонда.

Не так надо подходить к проблеме. Предположим, что мы хотим изучить действия, которые мы называем улыбкой. «Она наблюдается от рождения и вызывается внутренними стимулами и прикосновением. Очень быстро с ней связываются условные раздражители, ее вызывает вид матери, потом голосовые стимулы, наконец картины, затем слова и жизненные ситуации, которые человек видит, о которых он слышит или читает. Понятно, что то, над чем или над кем мы смеемся, или с кем мы смеемся, определяется историей развития всех наших условных реакций. Для ее объяснения требуется только систематическое наблюдение фактов развития. Или возьмем манипуляцию. Она начинается со 120-го дня, становится гибкой, точной и легкой к шести месяцам. Ее можно развить в тысяче разных направлений, в зависимости от предоставленного времени, от игрушек, с которыми ребенок играет, от громких звуков, которых он часто мог пугаться при обращении с игрушками. Утверждать здесь так называемый «конструктивно-строительный инстинкт», независимый от ранней тренировки, это значит уйти из мира фактов»<sup>1)</sup>. Также и все прочие так называемые человеческие инстинкты представляют собой навыки, общие для известного класса людей. Пишут об инстинктах человека, по словам Уотсона, люди, никогда не имевшие дела с поведением животных и не наблюдавшие систематически младенцев со дня их рождения. Спекулятивный психолог берет какой-нибудь факт из поведения взрослого человека, обобщает его, не считаясь с законными границами, и строит утверждения о поведении ребенка, которые только случайно могут оказаться удачными.

С одной стороны, нет двух новорожденных младенцев, даже близнецов, которые в чем-нибудь были бы совершенно одинаковыми. С другой стороны, все известные нам факты говорят за то, что возможности для образования навыков у всех, приблизительно, одинаковы. Отвлекаясь, конечно, от приращенных органических недостатков, в роде хромоты, или безрукости, или неправильности в секретиции, или в нервных связях, или, может-быть, последствий внутриутробной инфекции<sup>2)</sup>. С такой оговоркой, с точки зрения биохвиориста, все люди при рождении потенциально равны, все дальнейшее зависит от сочетания условий развития. Вслед за рождением вокруг каждой приращенной функциональной единицы поведения, начинают строиться группы навыков, которые ее заменяют, так что в своей первоначальной форме она впоследствии нормально вовсе не проявляется.

<sup>1)</sup> Там же, стр. 97—98.

<sup>2)</sup> Уотсон, стр. 76.

Представим себе, что мы проследили образование всех навыков у данного индивида с момента его рождения, и, предположим, до тридцати лет <sup>1)</sup>. Тогда мы, наверное, сможем ответить на каждый вопрос относительно этого индивида: сможем предсказать, что он будет делать в любых условиях, «из что он годится, на что он не годится, и что для него годится». Это, с точки зрения бихевиориста, и значит изучить личность данного индивида, при чем бихевиорист всегда подчеркивает, что «человек цельное животное», хотя мы, между прочим, пытаемся изучить его и по частям. Личность—это продукт совокупности навыков; для того, чтобы в ней разобраться, приходится пытаться как-нибудь сравнить и классифицировать различные группы навыков. Проект такой классификации предложил Уэйсс <sup>2)</sup>, но, конечно, надо смотреть на него, как на первую попытку разрешить эту сложную и ответственную задачу. Нас здесь интересует только метод подхода. Уэйсс исходит из положения, что изучение личности имеет целью определить сравнительную, общественно-полезную ценность индивида, его общественный удельный вес. Для этого необходимо, прежде всего, установить основные линии (категории) его поведения. Если мы могли бы установить все линии, по которым протекает деятельность данного индивида и дать ему оценку по каждой из этих линий, то мы, тем самым, определили бы его личность с точки зрения ее общественной ценности. Конечно, предварительно нужно было бы оценить и общественную полезность каждой из (пяти) категорий. Далее пойдут подразделения внутри отдельных категорий. Тройная задача: 1) разделить категории (и подкатегории) поведения по их общественной полезности, 2) охватить поведение индивида полным разложением его по категориям и 3) определить его степень внутри данной группы—неимоверно трудно. Сейчас за два первых пункта мы еще не пытаемся приняться, и неясен даже путь, по которому идти. Кто общественно-полезнее: хороший администратор, хороший врач или хороший спортсмен и т. д.? Или врач, юрист или кузнец? Если же нам надо дать ответ на третий пункт, т.е. кто из двух кузнецов или судовых механиков выше по степени выполнения его специфической,—в данном примере—профессиональной,—функции, то здесь мы имеем метод для подхода, а именно так называемый метод тестов.

Для бихевиориста метод тестов представляет собой инструмент для измерения степени эффективности выполнения индивидом данной общественной функции: будь то умножение в уме или составление проектов, или пилка дров и т. д. (Очевидно, здесь бихевиорист опять расходится с обычными до сего времени взглядами на тест, так как, за исключением некоторых специальных промышленных тестов, традиционная психология ищет в тестах средства для определения «общей умственной одаренности» и других мифических душевных способностей. А так как фактически каждый тест, конечно, демонстрирует определенный род деятельности, то дальше приходится гадать насчет того, насколько эта деятельность типична (репрезентативна) для такой-то предполагаемой способности. Порочный круг этих лжепроблем является серьезным препятствием для развития тестов, в то время как бихевиоризм отводит им вполне реальную и очень важную задачу. Вместо того, чтобы сначала приписывать человеку какие-то душевные способности, затем искать характерного для каждой из них проявления, и через него выводить заключения об этой спо-

<sup>1)</sup> Там же, стр. 213 и сл.

<sup>2)</sup> A. P. Weiss, A theoretical basis of human behavior



снбности, бихэвиорист предлагает пользоваться тестами для выявления большей или меньшей успешности выполнения известных заданий<sup>1)</sup>, что должно отвечать на один из трех вышеуказанных пунктов, необходимых для определения социального удельного веса индивида. Как видим, и здесь у бихэвиориста исход от реальных потребностей социальной жизни.

6. Теперь достаточно выяснено, что точки зрения бихэвиоризма совершенно непримиримы со взглядами спекулятивных психологий всех типов. На самом деле, бихэвиористы так и ставят вопрос: бихэвиоризм призван заменить собой всякую иную психологию.

Может быть, здесь уместно сказать об отношении бихэвиоризма к так наз. интроспективному методу в психологии. Бихэвиорист не признает научной ценности за пережевыванием собственных мнущихся ощущений, как таковым; но он ставит себе одной из задач изучить интроспективное поведение, т.е. реакции человека на определенную ситуацию, вызвавшую у него сначала некое нарушение корреляции, скрытые процессы речевые и прочие, вылившиеся затем в речевой реакции. Поскольку интроспективное поведение проявляется во вне, т.е. поскольку оно имеет биосоциальную ценность, бихэвиорист не может пройти мимо него. Если и поскольку интроспективное поведение и как не проявляется во вне, оно не интересует бихэвиориста, как бы важным оно ни казалось самому субъекту. Не субъективный момент важен бихэвиористу, а биосоциальная ценность определенного поведения. Изучение биосоциальной стороны, социальных взаимоотношений и факторов вообще, дает необходимый корректив к преувеличенному биологизму в понимании поведения, а отнюдь не эклектическое примешивание к программе бихэвиоризма идеалистических пережитков субъективной психологии.

Конечно, никто не воображает, что бихэвиоризм уже принял свою окончательную форму, сказал свое последнее слово. Как раз наоборот, всегда подчеркивается, что все еще *впереди*, что система только еще строится, намечены только исходные точки и основные методы. Как было сказано в начале, бихэвиоризм одновременно возник в разных местах и до сих пор в нем не слились воедино различные течения, имеются и болезни роста или «уклоны». Не объединены три основных русла—бихэвиоризм философский, естественно-научный и социологический.

Бихэвиоризму в современной Америке близко родственны неореализм в философии, а в социологии также, например, явление, как книга проф. Отгари о социальных переменах<sup>2)</sup>, в которой мы читаем (стр. 195—196): «Здесь выдвигается тезис, что источником большинства современных социальных изменений является материальная культура. Эти материально-культурные изменения влекут за собой изменения в других культурных областях, как общественном устройстве и быте, но последние области меняются не так скоро». Для нас в этом нет ничего нового, но любопытно, что в Соед. Штатах книга с 1922 г. вышла и 1927 г. четвертым изданием.

Конечно, разговоры о том, что бихэвиоризм—«одно из направлений» будет продолжаться... до тех пор, пока для них имеется соответствующий социальный базис.

<sup>1)</sup> Метод тестов имеет не только прикладное значение, но может также быть применен к исследованию важнейших теоретических проблем психологии (движущие «причины»: поведение, его форма и внутренняя структура).—Р е д.

<sup>2)</sup> W. F. Ogburn, Social change.

Однако если бихэвизм материалистичен, то мы ~~можем~~ (и должны) спросить—последователен ли он в своем материализме. Или проще, что может дать бихэвизм психологу-марксисту?

Прежде всего, несомненно близок марксисту основной исход от реально существующего, искание базиса изучаемых явлений в наличных взаимоотношениях наблюдаемых фактов. Ближе к марксисту установка на примерку к практике, к тем проблемам, которые отвечают на запросы практической жизни. Эти два принципа должны страховать психологию от уклонов в спекуляцию. Задачу психологии бихэвизм правильно определяет, и изучение поведения организма для возможности предсказания и управления этого поведения.

С другой стороны—1) Нет такого течения в бихэвизме, которое было бы целиком приемлемым для материалиста-диалектика. Философский бихэвизм, как мы видели, совершенно правильно отмечает допустимость отождествления психики с объективными явлениями. Такая позиция, однако, еще не означает признания принципов психофизического монизма и обязывает к сугубой осторожности по отношению к идеализму. Надо признать, что представители этого течения свободны от идеалистических элементов. Другое течение, представителем которого Уотсоном, хочет быть эмпиризмом и только эмпиризмом. Эта чуждая философия, неприемлемая для марксиста. Уэйсс, на ряду с симпатичным для марксиста подчеркиванием социальных моментов, в своем обобщении грешит механистичностью, игнорирует качественное отличие различных групп явлений, как раз социальное влияние полагает в общем слишком механистично. В итоге надо сказать, что ни один бихэвист не дошел до последовательного диалектически-материалистического мировоззрения. Материализм есть, но не диалектический, стало быть, не последовательный, не выдержанный. 2) Если психолог-марксист, несомненно, многое возьмет для себя у бихэвизма, то и соперничающих с ним течений он тоже найдет полезные моменты. В качестве примеров укажу Удс'орта, который в своей «Динамической психологии» во главу угла ставит принцип динамичности явлений, и, как подчеркиваемый и марксистами. У Уоррена, на ряду с преувеличением роли центральной нервной системы и эклектичностью, мы находим формулировки, полностью совпадающие со взглядами, высказываемыми некоторыми нашими марксистами.

Наш вывод. Бихэвизм, здоровое в корне и материалистическое по существу учение, только тогда сможет заменить собою всякую психологию и перестанет быть «одним из течений», когда он дозреет до последовательно-материалистического мировоззрения, когда он примет вид психологии, построенной на принципах диалектического материализма.





## Кризис современной медицины.

*Ф. Бордудин.*

**«Западная Европа обратилась к философии».**

Среди разногласного шума той критики, которая за последние годы так стремительно разразилась под «заштилевшим морем» медицины, группа авторитетнейших представителей германской медицины выступила с определенной программой действий, пытающейся дать объективный анализ причин этого критического движения, и—на основе этого анализа—наметить спасительные вехи, указующие путь к «истинному знанию».

Попытки внести это организующее начало, наметившиеся в работах Зауэрбруха, Гольдшейдера, Бира, цюрихского врача Муральта и полнее всего выраженные Крелем в его «Основных пунктах внутренней медицины»<sup>1)</sup>, относятся по времени к тому же 1926—27 году, что и работы Лика, Эрнста, Муха, Федорова, Франка и многих других, выносивших свои сомнения на суд гласности не под влиянием модных идей, или не только под этим влиянием, но под влиянием непосредственного осознания уродств медицины и искреннего возмущения недостатками современного—механистического—врачебного мышления.

Появление в столь ранний период ясно сформулированной программы, с чьей бы стороны она ни исходила, указывает прежде всего, что эта программа есть не произведение данного времени, но продукт более ранних лет.

Какая же более ранняя школа, научная, или более широкая—философская, могла, на Западе, столь быстро ориентироваться в этом «стихийном возмущении наук», чтобы с первым голосом недовольства выступить в качестве организующего и направляющего центра?

Хотя общим мотивом всех выступлений, посвященных современному состоянию медицины, является критика механистического воззрения, что дает удобный повод для выступления диалектиков-материалистов, но как раз о них именно меньше всего может идти речь.

С высоты профессорской кафедры в Европе, если и может идти речь о диалектическом материализме, то не о противопоставлении его чему-нибудь, а о противопоставлении ему чего-нибудь.

Гораздо более вероятным может быть предположение о выступлении школы виталистов. История медицины показывает, что попытки критики механизма витализмом уже и ранее имели место. Во второй половине XIX века механизм восторжествовал в медицине, отнюдь не принудив виталистов к капитуляции. Еще в 80-х годах механизм выдерживал атаку вновь окрепшего витализма («нео-витализм» Рейнкес, Кд. Бернара, Дриша и др.). Наконец, телеологизм, которому некоторые наши современники обязаны признанными научными теориями, представляет не более, как последнюю модификацию старого витализма.

<sup>1)</sup> L. v. Krehl «Über Standpunkte in der inneren Medizin». Sondernabur. V. «Munch. med. Woch.», 1926.

При такой живучести этого направления, и исторической на этой почве «вражде» с механизмом, может быть и современное критическое движение идет из этого виталистического Назарета?

Но в данном случае, хотя платформа Креля — Зауэрбруха несомненно грешит витализмом, хотя свое учение о «естественной терапии», противопоставляемое сейчас искусственному лекарственному лечению, Гольдшейдер, несомненно облек в телеологическую форму, все же было бы слишком поспешным шагом видеть исторические корни этой платформы только в витализме. Витализм, как показывает история естествознания (и о чем иногда умалчивает история медицины), выступает и изолированно, но вместе и в логической связи с теми глубокими сдвигами, которые захватывают все естествознание в критические периоды его развития. Так было в 60-х годах. Так было в 80-90-х годах. Конечно, в периоды этих сдвигов, этих переворотов естествознания могут и должны иметь место обострения борьбы отдельных научных школ и направлений, но не ими исчерпывается сущность движения. Эта борьба направлений — лишь попутное явление, всплывающее на поверхность более глубоких процессов. В наше время необходимо также учесть, что наряду с критикой современной медицины весьма широкое распространение получила критика всего естествознания. Издательства в Европе наводняются трудами под поучительными заглавиями «Der grosse Irrtum in unserer Weltanschauung», «Der Zusammenbruch der Wissenschaft und der Primat der Philosophie», «Weltanschauungskrisis und die Wege zu ihrer Lösung», «Zur gegenwärtigen Krisis der Wissenschaft» и т. д., принадлежащими перу не только врачей, но физиков, химиков и философов.

Таким образом, и в наше время критическое движение в медицине не есть движение изолированное, местное, но отголосок того движения, в которое пришел весь ряд наук естествознания. Крель и Зауэрбрух и др. хотя и пытаются возлечь на это движение на участке медицины под старым знаменем витализма, но этим отнюдь не могут исчерпать его объективное содержание, а платят лишь дань своим историческим традициям и своим субъективным убеждениям. Поскольку, далее, для каждого, кто знаком с перечисленной литературой, очевидно, что это критическое движение в значительной мере стигматизировано философией, которая откровенно пытается стать во главе его, то в философии и следует искать — не говоря о виталистических традициях — первого виновника той платформы, вокруг которой Крель пытается сплотить взбудораженную врачебную массу.

«... Западная Европа, — пишет С. П. Федоров, имея в виду западно-европейскую медицину, — обратилась к философии».

Следовало бы сказать: философия обращает к себе медицину, равно как физику и химию, удовлетворяет их, велемудро забрасывает их в замутнившееся море наук.

Но, поскольку речь свелась к философии, быть может не вредно заглянуть, что представляет собой эта философия и что она обещает наукам. Не забываясь в дебри, мы приведем всего лишь один отрывок из Николая Бердяева, в котором он излагает сущность этой философии и притом, что особенно для нас ценно, в ее связи с естествознанием (так называемым «Фаустовским естествознанием»). Названному автору мы с тем большей готовностью доверяем книги в руки, чем меньше его можно заподозрить в сознательном искажении сущности излагаемого им вопроса:

«Для нашей научной эпохи,—пишет Бердяев,—характерно большее развитие физики. В физике происходит настоящая революция. Но открытия, которые делает физика нашей эпохи, характерны для заката культуры. Энтропия, связанная с вторым законом термодинамики, радиоактивность и распадение атомов материи, закон относительности— все это колеблет прочность и неизбежность физико-математического мирозерцания, подрывает веру в длительное существование нашего мира... Физика наших дней может быть названа предсмертной мыслью Фауста. Прочности нельзя искать в физическом миропорядке. Физика становится смертным приговором миру. Мир гибнет в равномерном распределении тепловой энергии во всемирной, энергии, не обратимой в другие формы энергии. Энергии творческие, создающие многообразие космоса, идут на убыль. Мир погибает от неотвратимого и непреодолимого стремления к физическому равенству. И не есть ли стремление к равенству в мире социальном та же энтропия, та же гибель социального космоса и культуры в равномерном распределении тепловой энергии, не обратимой в энергию, творящую культуру... Но горечь этих мыслей не должна быть безысходной и мрачной. Не только физике, но и социологии не принадлежит последнее слово в решении судеб мира и человека. Утеря неизбежности физической не есть безвозвратная утеря. В духовном мире нужно искать неизбежности. В глубине нужно искать точных опор» (курсив мой.—Ф. Б.).

Другой философ той же школы,—Федор Степун<sup>1)</sup>,—любезно спешит разъяснить, что изложенного взгляда фаустовской философии на судьбы и дальнейшие пути развития культуры и, следовательно, науки придерживается не только Шпенглер, но сам Гете и Ницше, что с ним созвучны Риккерт и Бергсон, что философия заката принадлежит к одному из распространеннейших на Западе философских направлений—релятивизму, и что, наконец, талантливый пророк ее,—Шпенглер,—дал новое лишь «по звуку, а не по мысли», мысль же фаустовская питает философию Европы уже к шестидесятым годам.

Степун кроме того со всей возможной ясностью объясняет, какие средства предлагает наукам эта философия для изыскания «опор в глубине».

«Ученая книга Шпенглера,—пишет Степун,—явный вызов науке... Успех этого вызова психологически предполагает некую утрату веры в науку, как в верховную силу культуры, очевидно, означает происходящий во многих европейских душах кризис религии науки... И вот на ее место ученым и критиком Шпенглером выдвигается дух искусства, дух гадания и пророчества...» (курсив мой.—Ф. Б.).

Наконец, С. Франк<sup>2)</sup> ставит последнюю точку и говорит, что в философии заката «дух искусства, дух гадания и пророчества», это есть не что иное, как интуиция Гете, интуиция, для которой «все предлежащее только символ» и «вечный покой в боге».

Таковы, кратко говоря, те сокровища, которые уготованы фаустовской философией для каждой выбитой из колен и ищущей нового метода науки, независимо от того, обратится ли эта наука сама к философии заката или философия заката обратит эту науку к себе.

<sup>1)</sup> Сборник «Остальд Шпенглер и Закат Европы», Москва, 1922.

<sup>2)</sup> Ibid.

Если действительно платформа Креля строится на принципах этой философии, то в ней необходимо должны заключаться утерянная наука, противопоставление медицины как науки—медицине, искусства, противопоставление «божественного прозрения», жития сознательному знанию.

Показать это—задача последующих строк.

### Платформа Креля.

В то время, как во многих работах современное состояние медицины характеризуется еще неопределенными терминами вроде «путя», «искания путей», «тупика», Крель с прямойот незаинтересованного ума, свойственной всем его суждениям, определяет его как «кризис».

С той же прямоот, без церемонных оговорок, ставит он вопрос о причинах кризиса.

Нельзя сказать, чтобы суждения его в этом вопросе отличались единством анализа.

В начале статьи он, отдавая дань философии заката, склоняется к тому, чтобы в ставших столь распространенными «размышлениях» в результате нашей исторической дряхлости: «Свежий, здоровый человек призвание которого есть жизнь, пользуется такоот, не задумываясь о последних основаниях его деятельности. Ибо рефлексия—удел дряхлости и усталости». Поэтому «в конце живет человек общими мыслями, а каждый, кто исследует процессы природы, требует связи с последними основаниями, какова бы ни была форма этой связи—материалистическая или спиритуалистическая, простая или сложная».

Практическая ценность такой философии, на посторонний взгляд не велика. Дряхлость—по терминологии Шпенглера—предвещает «гибель», по Крелю—«конец». В чаянии такой перспективы «превание последних оснований»—если оно действительно не каприз дряхлости—по меньшей мере бесцельно. Равным образом, некоторые факты из истории противоречат предположению Креля относительно «разницы между жизнью «свежего, здорового человека»: на заре современной европейской культуры здоровая юность Беркли и цветущий возраст Декарта отнюдь не препятствовали им искать последней связи мира.

Но шпенглеровская формула видимо и самому Крелю не дает достаточной опоры для раскрытия причин кризиса. Поэтому он обращается к обоснованиям историческим.

Исходным пунктом развития внутренней медицины является учение Морганни, указавшего на анатомическую основу различных болезненных процессов. Биша, Рокитанский и Вирchow распространили это учение на ткани и клетку. Во второй половине XIX века на смену этому морфологическому (или патолого-анатомическому) направлению пришло функциональное (или физиологическое) классическое выражение которого дал Навинн. Оба эти направления, по определению Креля, «прибрали к рукам» клинику, и клиницизм стало «органофизиологическим».

Сколь ни полезны для клиники пат.-анатомия и физиология, «столпы» медицины, все же подчинение им клинического мышления заключало в себе вредные последствия.

Во-первых, потому, что медицина, с одной стороны, патология и физиология, с другой, суть науки различного характера. Последние две суть продукт позднейшего естествознания. Они жились под влиянием тех «форм мышления», с которыми работало новое естествознание. Что же касается медицины, то большие изменения

цисты всегда подчеркивали и всячески отстаивали ее своеобразие по отношению к естествознанию. Исторически она восходит своими корнями к гораздо более глубокому прошлому, чем современное естествознание вместе с патологической анатомией и физиологией. Ее «формы мышления» складывались не в кабинетах философов и не в научных лабораториях, а у постели больного. В силу исторической давности и особенностей «формы мышления» в ней сложились свои «прочные традиции» в понимании болезненных процессов, например, воспаления, лихорадки, конституции.

И когда патологическая анатомия и физиология наложили руку на клинику они встретили науку более древнюю, чем они сами, науку, мировоззрения и понятия которой, в силу своеобразия «форм мышления», под влиянием которых они сложились, не могли быть настолько спаянными с понятиями нового естествознания, чтобы образовалось нечто единое.

В чем состоит своеобразие «форм мышления» старой клиники по сравнению с науками позднейшего естествознания?

Эту разницу Крель выявляет, говоря о реформе медицины, произведенной в середине XIX века под влиянием Иоганна Мюллера и Гельмгольца. В результате этой реформы «спекулятивные системы» медицины XVII и XVIII веков были заменены индуктивным наблюдением вещей природы, согласно учению Бэкона. Говоря об индукции, Крель пишет: «Это было ново и неново. Неново, разумеется, для той клиники, которая в согласии с основными положениями, так называемого гиппократизма исходила из наблюдения больного...». «Новым был способ, которым устанавливались законы жизненных явлений: они сводились к законам, управляющим мертвым миром, к законам физики и химии».

Если не считать другого своеобразия старой клиники, именно — «приобретенной» через наблюдение старой греческой, гиппократово-платоновской веры в целебную силу природы» и в «своеобразную жизненную силу» (что «было отвергнуто новым направлением, как не необходимое и индуктивно не наблюдаемое»), то различие «форм мышления» состояло, следовательно, лишь в том, что в старой клинике индукция опиралась на наблюдение у постели больного, а в новой — на законы физики и химии, или, как это яснее видно из страниц 8 и 9, на экспериментальные строго-физические и химические методы.

Как ни тонко проведено здесь различие между клиникой и естествознанием, между «старой» и «новой» индукцией, как ни мягко проведена здесь линия отчуждения между «врачебным наблюдением» и «экспериментом», все же эти намеки достаточно выражают тенденцию Креля оторвать медицину от наук естествознания.

Первым следствием разнородности медицины, с одной стороны, и патологической анатомии и физиологии, с другой, было то, что ряд существеннейших клинических проблем, поднятых еще Гиппократом — проблема конституции, наследственности, *consensus partium* — был отодвинут назад. Если старая клиника была по преимуществу конституциональной, если раскрытие проблемы конституции было ее главной задачей, то с подчинением ее патологической анатомии и физиологии клиника стала органо-физиологической. Проблемы старой клиники оказались не по росту новым физико-химическим приемам исследования, новая клиника пошла по линии изучения отдельных частей организма, развилось чрезмерное специализирование (*Spezialitätentum*). В этом направлении особенно неудачной была попытка переносить на человека — в целях понимания

процессов его организма—данных опытов, получаемых на живом. Это приводило к схематическому и совсем ложному представлению патологии; патология с новым направлением далеко отошла от логики Мажанди, Траубе, Конгейма и Набинна: «в конце живет человек общими мыслями».

Стремление к отысканию «последних оснований», «последних связей в природе» столкнулось с раздробленной медициной, с медициной, углубившейся в узкие частные проблемы, с чрезмерным специализированием, «заботливо и ревниво отодвигавшим назад» все общие проблемы прошлого. При таком положении «неизбежно должна была наступить реакция». Эта реакция на смену частности временной медицины поставила большие проблемы древности, «и как и проблемы более позднего времени — душевных заболеваний, гипноза, и психотерапии, иммунитета и единства организма, индивидуальности и личности», и когда выступили эти проблемы, «когда почувствовалось, что физиологическая форма разграничения в действительности вертится около старой врачебной и спаяна с ней достаточно тесно, тогда наступил кризис, и этот кризис мы сейчас переживаем» (стр. 9).

Итак, выбросив врачебное наблюдение у постели больного, физиологическая клиника вместе с тем выбросила ключ к медицине.

Новая «форма рассмотрения», опиравшаяся на физику и химию, лишь вертелась около старой врачебной, но не могла проникнуть в самое существо медицинских проблем и повела врачебное мышление на ложный путь.

По изложению Креля, заметим попутно, выходит так, что не возникши «требование последних связей», ложное направление медицины осталось бы незамеченным, не было бы повода к критике, и наше медицинское бытие не было бы признано критическим. Но это подчинение всего комплекса факторов, обусловивших кризис фактору чисто - идеалистического порядка (стремлению разума к последним основаниям),—это дань официальной европейской философии, по которой из сознание всегда и неукоснительно возникает трудная задача определять бытие.

Что же касается объективных и реальных факторов,—утраты врачебного наблюдения и нескритического использования экспериментов обусловивших, по Крелю, кризис, то, рискуя обнаружить «дряхлость», мы в свою очередь откажемся потребовать последних оснований и спросить: почему была утеряна способность врачебного наблюдения и каким обстоятельствам обязан своим расстройством «спекулятивный эксперимент»? <sup>4)</sup>

Крель не дает ответа на этот вопрос. Ссылка на успехи успехов естествознания («в радости от необыкновенных результатов, которые принесло в медицину механистическое естествознание, легко забываем, что практическое врачебное искусство не только существование; мы часто забываем его своеобразие»), отнюдь не решает дело. Тем более, что врачи, как указывает сам Крель, забыли об этом своеобразии еще более чем за 200 лет до того, как ушли естествознанием. В самом деле, естествознание «наложило руку» на клинику в середине XIX века, а уже «системы практической медицины XVII, XVIII и начала XIX века ни наблюдением не были, ни индукцией не подтверждались. Они витали в воздухе». «Эти системы приобретались индукцией, но измышлялись дедуктивно» (стр. 8).

<sup>4)</sup> Выражение Креля. См. дальше.



При таком положении, как его рисует Крель, может быть ясно только одно:

1) Что гиппократово наблюдение у постели больного было вытеснено не современным естествознанием, а еще средневековой метафизикой; что эти дедуктивные системы в свою очередь были вытеснены в середине XIX века естествознанием и экспериментом; что эксперимент, следовательно, получил развитие не за счет врачебного наблюдения, а за счет именно этих дедуктивных, «витавших в воздухе» систем средневековья; и что сейчас слишком не точно и исторически несправедливо обвинять естествознание в порче врачебного чутья экспериментом.

С другой стороны, Крель писал, что в момент, когда клиника подчинилась современному естествознанию, она имела уже свои веками устоявшиеся «прочные традиции», свои «формы мышления» и пр. Достойно всяческого удивления, как медицина сумела сохранить эти гиппократовы традиции в период господства спекулятивных систем в XVII, XVIII и начале XIX века, и в первоначальной чистоте донести их до момента подчинения повому естествознанию. Не говоря уже об историках медицины, Мольер в своих комедиях подметил, что медицинские системы XVII, XVIII века мало сохранили от учения Гиппократовых, что известно и Крелю.

Наконец, если допустить, что традиции действительно были сохранены, как объясняет Крель, то непростительное слабование, с которым медицина—при столь «прочных традициях»—подчинилась: 1) метафизике средневековья, 2) естествознанию нашего времени.

А если медицина столь податливая наука и в прошлом, откуда в ней в наши дни столь резкая критика естествознания и столь бурное стремление отделаться от его влияния? Откуда вдруг такая самостоятельность?

Но мы не будем сейчас останавливаться на этих противоречиях.

Объективная и действительная причина кризиса выявлена Крелем достаточно четко: причина кризиса, если не говорить о «дрялости»,—несостоятельность и недостаточность индукции, как метода познания.

Положения Креля получают свое развитие и заострение у Зауэрбруха<sup>1)</sup>. Если Крель лишь подчеркивает своеобразие клиники по отношению к естествознанию, то Зауэрбрух уже ребром ставит вопрос—есть ли медицина наука, или искусство—и решает его, понятно, в пользу последнего. Если—у Креля взаимоотношения «старой» и «новой» индукции лишь ставятся в подозрительную связь в смысле вытеснения первой последнюю, то у Зауэрбруха этот вопрос решен со всей определенностью: «Ум молодых врачей направлен более не на наивное созерцание посредством души, не на впечатление у постели больного, но на вычурную научную медицину... Артистический способ понимания в настоящее время в образовании и деятельности врачей сходит на-нет и заглушается чрезмерным разрастанием индуктивной формы рассмотрения природы... Науки естествознания, по Зауэрбруху, завели медицину в тупик, а научное исследование не выдерживает никакого сравнения с «искусством впечатления у постели больного»; развитие последнего должно быть положено в основу учебного плана; искусство наблюдения студенту и врачу «пригодится больше, чем науки и исследования».

<sup>1)</sup> Sauerbruch. —Münch. med. Woche, № 2, 1926.

Достойно внимания, что положения Креля — через Зауэрбруха — шаг за шагом повторяет проф. С. П. Федоров<sup>1)</sup>:

«XIX век был расцветом медицинской науки, таким, какой знал только старая Греция и Александрия,—цитирует Федоров Зауэрбруха.—И так же, как тогда, после блестящих успехов наступили годы истощения, утомления и бедности, так и теперь после XIX века следует период покоя, утомления».

«Не есть ли это действительно упадок научной мысли?»—задумывается С. П. Федоров.

Крелевская идея кризиса медицины, как следствия подчинения пат.-анатомии и физиологии, интерпретируется Федоровым в несколько иной форме. Как хирург, он, подобно Зауэрбруху, в пару с пат.-анатом. ставит бактериологию. Базируясь на этих двух науках,—говорит Федоров,—хирургия, взяла от них все или почти все, что было возможно и нужно, и, взявши это, «остановилась в распутии». Здесь нет укора наукам естествознания, как у Креля, и зато слышится чисто-Крелевская мысль о медицине, как о чем-то своеобразном и далеком естествознанию, живущем своей особой жизнью.

В анализе причин современного кризиса та же Крелевская экспансивность... С одной стороны, совсем как у Креля, Шпенглеровское «истощение, утомление XX века»; подобно судьбе древней культуры, развитие современной культуры естественным порядком, к неисповедимой воле провидения, идет на ущерб. С другой стороны, тупик вследствие исчерпания возможностей, дававшихся наукам естествознания,—с неизбежными следствиями: дроблением медицины, специализированием, «перенесением экспериментальных результатов: животных на человека», спекулятивным извращением опыта, необдуманным развитием механистического мышления и т. д.

Так же, как Крель и Зауэрбрух, Федоров нащупывает, наконец, основную пружину кризиса в крахе метода современного эмпирического естествознания. «... Я вполне разделяю,—говорит он,—взгляд Лериша, который говорит, что, в сущности, мы остались эмпириками, работая так, как будто у каждого из нас есть особый дар, и не заботясь о том, чтобы оставить нашим ученикам и последователям хорошо обоснованную базу, платформу, от которой они могли бы идти выше и дальше, чем мы... Мы не должны продолжать работать так, без метода, имея о разных вещах отрывочные сведения и ожидая всего от нашего личного опыта».

Лериш вводит здесь Федорова в заблуждение, говоря, что, будучи эмпириками, мы работаем без метода. Подмеченная самим Леришем «отрывочность сведений», «ожидание всего от нашего опыта», «отсутствие базы» и т. д., столь характерные для «ползущей эмпирии», как раз есть следствие того метода, с которым всегда работает «ползучий» эмпиризм, то-есть метода «чистой» индукции.

Физик Динглер<sup>2)</sup> тоже жалуется на отсутствие базы для ступило,—пишет он,—состояние..., где нет более действительно достоверного, все возможно и все одинаково утверждается, где нет никакого базиса и никакой направляющей линии, где нет ничего, из чего, что было бы достоверно,—одним словом хаос, крах, и он тут же заявляет, что этот крах постиг нас на «дороге индуктивного естествознания, эксперимента»; что он состоит «в крахе веры в дости-

<sup>1)</sup> С. П. Федоров—«Хирургия на распутье».

<sup>2)</sup> Dingler—«Zusammenbruch der Wissenschaft», Мюнхен, 1926.

верность экспериментального принципа». Равным образом Крель, называя древнюю медицину «чистой эмпирией», говорит, что «индукция была методом древней медицины».

Но оболочка Лериша вполне искупается ее исторической правдивостью: индукция в том виде, как она нами применяется, настолько бедна качествами научного метода, что врачи отказываются признать ее за метод.

Но надо отдать С. П. Федорову справедливость: разделяя мотивы Креля и Зауэрбруха, он воздерживается разделить их выводы.

Возвращаясь к последним, мы должны сказать, что допустили бы большую неточность, если бы в учении Креля усмотрели только банкротство индукции и просмотрели бы те гибельные следствия, кои из этого факта вытекают. Значение же этого факта в том, что крах индукции представляет собой не простой крах индукции, а крах последнего метода сознательного изучения природы.

Опыт древности показал невозможность познания путем чисто дедуктивных заключений.

Надежда была на индукцию. Но вековой опыт применения индукции привел к «хаосу», «кризису», «краху», завел в «тупик», «поставил на распутье с завязанными глазами». Исчерпана таким образом вторая и последняя возможность сознательного, разумного, кортикального изучения природы.

Антика, говорит Фаустовская философия и наука, погибла вследствие крушения веры и познавательную силу разума. Нам суждено погибнуть вследствие крушения веры в достоверность эксперимента, опыта. Или, за исчерпанием кортикальных возможностей, обратиться к вере в... субкортикальные возможности, к вере в чудесное, непознаваемое, «бессознательное» (Unbewusste), то, «что,—как пишет Крель,—не охватить понятиями разума, не описать также и словами». Несмотря на столь неизъяснимую природу этого удивительного орудия познания, Крель все же пытается дать по этому вопросу некоторые разъяснения: «Я убежден,—пишет Крель,—что останки прежних переживаний, покоящиеся в бессознательном, в любой момент могут переходить в сознательное. Мы знаем, сколь необыкновенное значение имеют эти процессы в их различных формах для нашей сущности и характера».

Отсылая, далее, за подробными сведениями о характере этих процессов к Мебиусу и Фрейдю, Крель продолжает: Здесь, в этих процессах, «мы встречаем... общий корень художественного и научного творчества... Как мне кажется, глубоко, оригинальные и великие деяния людей вытекают именно из этого источника».

«Гельмгольц,—поясняет далее Крель,—обсуждал эти процессы в его блестящем сообщении о гетевском предчувствии грядущих естественно-научных идей. Он указывает там, что это есть форма знания, которая не обращается к данным сложных процессов мышления и не обращается только к использованию наблюдений. Он обозначает этот род душевной деятельности, которой осуществляется без усилий, быстро и без размышления, названием «прозрения» (Anschauung)»<sup>1)</sup>.

«Сюда,—говорит Крель,—принадлежит художественная деятельность. Но и всегда, как в научном исследовании, так и в жизни мы не только изредка, но весьма часто поступаем на основании чув-

<sup>1)</sup> Anschauung—обычно переводится словом «осозерцание». В данном случае перевод словом «прозрение» точнее выражает смысл.

ствениого прозрения, которое действует на нас помимо сознания, без душевного напряжения, мгновенно... В этом, не через мышление приобретаемом чувственном прозрении так же суть элементы наблюдения, но они указывают на тип явлений, а не на их частности).

«Для разбора и лечения больных людей эта форма прозрения, разумеется, имеет величайшее значение (курсив мой.—Ф. Б.).»

В заключение Крель решается дать этому прозрению название «художественной интуиции».

Зауэрбрух пытается с своей стороны уточнить понятие интуиции. «Интуиция,—говорит он,—есть особый род знания, нам врожденный, одному больше, другому меньше. Может быть, позволительно сказать, что он есть усовершенствованная в процессе человеческого развития форма инстинкта. Переработка впечатления, его внедрение в личное есть ее сущность. Воспоминание, память, пластичное представление играют большую роль, сильное зрительное впечатление является особенно важным при этом».

Итак, от разума и опыта к «прозрению», совершающемуся без усилий, быстро и без размышлений, к «усовершенствованному инстинкту», к «художественной интуиции». От медицины-науки к медицине-искусству, секрет овладения которым не в знании методов точных исследований, но во врожденной одаренности, которая действует «помимо сознания», «без душевного напряжения».

Бердяев и Степун могут быть довольны: дух искусства, гадания и пророчества и гетевская интуиция действительно пришли на смену науки.

Хотя учение об интуиции, как методе научного знания, уже давно и назойливо требует рассмотрения (взять хотя бы статьи В. Хорошко, «Русская Мысль», февраль 1915 г.), но этот вопрос слишком громоздок, чтобы из нем останавливаться сейчас. Нашей задачей было показать зависимость платформы Креля от фаустовской философии, что мы и постарались в меру возможности выполнить.

Теперь обратимся к расследованию объективной сущности современного кризиса медицины, скрывающейся под этой платформой.

### **Краткая справка из истории о кризисах в естествознании и медицине**

В 1907 году французский писатель по философским вопросам, как его называл Лейбн, — Абель Рей, в книге «Теория физики у современных физиков» сделал богатую сводку французской, немецкой и английской литературы по вопросу о кризисе, который переживала физика конца XIX—начала XX века.

Как и в наши дни, в основе кризиса того времени лежал такой «крах традиционного механизма» и раздавались клики о «кризисе «руинах», «всеобщем разгроме принципов» и т. д. Наука, по признанию физиков, в силу ее механистического направления, превратилась в средство лишь «искусственного воздействия на природу», а не в средство познания природы.

А если так, заключали физики (Пуанкаре, Пирсон, Освальд, Дюгем и друг.), то «познание реального надо искать другими средствами: надо идти другим путем, надо вернуть субъективной интуиции, мистическому чувству реал»

ности, одним словом таинственному то, что считалось у них отнятым наукой» (разрядка моя.—Ф. Б. Цит. по Ленину<sup>1</sup>).

Напомним, что в этот кризис 80—90-х годов была вовлечена также медицина, которая в ее виталистическом крыле пришла тогда в точности к таким же выводам в смысле метода познания, что и вышеизванные физики.

Мы ограничимся ссылкой лишь на Бунге, базельского физиолога, виднейшего представителя витализма, который, говоря во множественном числе («мы берем» и т. д.), имеет в виду не одного себя, а весь представляемый им витализм. Он писал: «... внешний мир есть для нас книга за семью печатями<sup>2</sup>), но единственно доступное для нашего наблюдения и познания представляет состояние и процессы нашего собственного сознания... мы берем единственно верный путь к знанию: мы исходим от известного—от мира внутреннего, чтобы объяснить неизвестное—внешний мир» (разрядка моя.—Ф. Б.<sup>3</sup>).

Орудием же познания служит «самонаблюдение, внутреннее чувство».

Можно видеть таким образом, что физики и медики в 90-х годах и в наше время исходят из одних и тех же положений, идут по одним и тем же путям, приходят к одним и тем же выводам: «в духовном мире надо искать неизбытности, в глубине нужно искать точку опоры».

Роль модной фаустовской философии, давшей этот лозунг современной нам физике и медицине, в 90-х годах сыграл не менее для того времени модный эмпириокритицизм, выросший из того же корня, что и современный фаустовский объективизм. Не безынтересно отметить, что О. Бючли еще в 1901 году нащупал этот корень.

Единственно нам известное,—говорил Бунге,—наш внутренний мир, наше «я», «состояние и процессы нашего собственного сознания»; это—единственно верный путь к знанию».

«Если,—писал Бючли,—мы исходим от «я» и его элементов сознания, как от чего-то единственно и непосредственно данного, то нам никак не удастся доказать, что мир объектов действительно существует отдельно от этого «я» и что все, что это «я» попросту воспринимает в качестве объектов, не является лишь элементами его сознания. Опровержение этой точки зрения, правда, никогда не получавшей практического применения—отвержение этого, так называемого, теоретического эгоизма или солипсизма,—невозможно» (курсив Бючли).

В 1908 году этот же корень—в философской дискуссии с эмпириокритицизмом—был обнаружен в науках конца XIX и начале XX века Лениным: «...новая физика,—писал Ленин,—колеблется бессознательно и стихийно между диалектическим материализмом, который остается неизвестным для буржуазных ученых и «феноменализмом» с его неизбежными субъективистскими (и далее и прямо фидеистическими) выводами» (курсив мой.—Ф. Б.).<sup>4</sup>

В 1878 году, т.-е. как раз накануне вышеописанного кризиса, Энгельс уловил уже признаки надвигающегося неблагополучия и вместе с тем указал, что это затруднение переживает наука не в первый раз. После революции 1848 года, в Германии, когда было «вы-

<sup>1</sup>) «Эмпириокритицизм», ГИЗ, 1920, стр. 259.

<sup>2</sup>) Кантовская «вещь в себе»?—Ф. Б.

<sup>3</sup>) G. V. Bunge. «Lehrbuch der Physiologie», 1901, Kap. I.

брошено за борт» гегельянство, естествознание тоже переживало затруднение, состоявшее в том, что в результате «мощного подъема естествознания» (время Иоганна Мюллера и Гельмгольца) стала «непреодолимо навязываться» мысль о необходимости установления внутренней связи. Но, так как вместе с гегельянством была выброшена за борт диалектика, которая «одна представляет аналог и значит, метод объяснения происходящих в природе процессов развития, для всеобщих связей природы, для переходов от одной области исследования к другой», то и естествоиспытатели с н о в а<sup>1)</sup> оказались беспомощными жертвами старой метафизики». «После того, как, естествознание в своих теоретических поисках не нашло никакого удовлетворения у (этой.—Ф. Б.) ходячей эклектической метафизики, начались новые затруднения, новые поиски, вылившиеся в проявления кризиса 80—90-х годов.

Если теперь в 1926 году при всех этих условиях врачи и физики вновь говорят о затруднениях в науке, о кризисе, крахе естествознания, то следует иметь в виду, что этот кризис явление отнюдь не исключительного порядка, что за последние 70 лет мы испытываем затруднения уже в третий раз, что затруднения естествознания, в том числе и медицины, носят периодический характер.

#### **Причина периодичности кризисов в естествознании и медицине.**

Считается общепризнанным, что причиной кризиса конца XIX века и начала XX века были «успехи естествознания». Ленин, разбирая причины кризиса в физике, соглашается с мнением Рея и видит здесь «болезнь роста, вызванную больше всего крутой ломкой старых устоявшихся понятий». Такой же процесс он считает причиной затруднений в 50-х годах, когда Иоганн Мюллер и Гельмгольц под влиянием накопившихся эмпирических материалов предали ауто-да-фе теоретические системы XVII и XVIII веков и вызвали к жизни исключительно-эмпирический метод познания.

Энгельс, разбирая в 70-х годах причины надвигающегося кризиса, писал в старом предисловии к «Анти-Дюрингу»:

«С некоторых пор философские системы, в особенности натур-философские системы, растут в Германии, как грибы после дождя, и говоря уже о бесчисленных новых системах в политике, политической экономии и т. п. Точно так же, повидимому, обстоит дело с наукой. Каждый может писать обо всем и «свобода науки» понимается как право человека писать обо всем, чего он не изучил и выдавать это за единственный строго научный метод».

В чем же причина этого, как определил Энгельс, «пустозвонство»?

Энгельс отвечает:

«Эмпирическое естествознание накопило такую необъятную массу положительного материала, что необходимость систематизировать его в каждой отдельной области исследования и расположить с точки зрения внутренней связи стала неустраиваемой.

Точно так же стало неизбежным привести между собой в правильную связь отдельные области познания. Но, занявшись этим, естествознание попадает в теоретическую область, а здесь методы эмпиризма оказываются бессильными, здесь может оказать помощь только теоретическое мышление».

<sup>1)</sup> Снова—значит, после господства метафизических систем XVII—XIX веков.

Что касается затруднений 50-х годов, то причиной их Энгельс видел также необходимость установления внутренней связи в результате «мощного подъема естествознания», с одной стороны, и непригодность методов эмпирии к установлению этой связи, с другой.

Итак, необходимость систематизирования накопленных материалов, необходимость расположить их с точки зрения «внутренней связи», привести в правильную связь между собой отдельные области познания,—все это в результате успехов науки, в результате накопления «необъятной массы положительного материала», такова причина кризисов середины XIX столетия и кризиса конца XIX и начала XX века, если не касаться пока другого—привходящего—момента: непригодности методов эмпирии к осмыслению этих результатов.

Следует признать, что и нашего времени кризис явление того же порядка. Хотя в работах, посвященных современному состоянию медицины говорится не столько об успехах, сколько о «тупиках», об «исчерпании возможностей» и т. п., но по сути дела и здесь перед нами признаки огромного успеха медицины, содержание которого в том прежде всего, что он показывает недостаточность ранее установленных форм понимания, необходимость их пересмотра, дополнения, ведет к ломке установления понятий», как и в 90-х годах. Объективное доказательство успеха—и накопления материалов, не укладывающихся в рамки старых понятий, перерастающих их, требующих новых форм рассмотрения. Тот же Крель, хотя и ставит на первое место отодвигание назад древних проблем, вынужден—вступая в новое противоречие с своей теорией декаданса—назвать 8 новых проблем, рожденных по его собственному признанию в последнее время.

Но в таком случае теория декаданса теряет силу доказательности. Она становится в очевидное противоречие с историей и современной действительностью. Самые «крахи» наук, ведя к ломке старого, свидетельствуют о неуклонном развитии наук.

Но если естествознание благодаря нашей собственной деятельности неуклонно идет вперед, то совершенно очевидно, что оно и впредь будет ставить нас перед задачей перестройки внутренней связи и вынуждать нас к ломке прежних понятий, если последние не будут достаточно гибки, чтобы безболезненно перестраиваться в соответствии с требованиями накапливаемых материалов.

В таких условиях, впадая в очередной крах, думается, следует винить не естествознание, но нас самих, слишком уверенных в прочности установленных нами законов и теорий и теряющихся всякий раз, когда эти законы и теории начинают рушиться «благодаря просто силе самих естественно-научных открытий, не уместающихся более в старом метафизическом Прокрустовом ложе».

Естествознание в этих случаях само исправляет нашу ошибку, напоминая, что бывают моменты, когда не естествоиспытатель направляет науку, но наука сама подчиняет себе естествоиспытателя и управляет им.

В нежелании понять этот двусторонний, диалектический процесс развития науки заключается наша вина и источник наших ошибок.

Если в эксперименте, в опыте мы играем направляющую роль, то скоро наступает момент, когда наука, обогащенная новыми, нами же найденными фактами, подчиняет нас себе, ломает прежние наши понятия, вынуждая к исканию новых форм связи. Устанавливая после этой ломки новые понятия, мы нагромождаем в доказательство их

истинности кучу фактов и мним себя владетелями «вечных» законов, забывая опять, что мы лишь калифы на час, что при первом крахе мы опять очутимся на «руинах» наших законов и смиренно подчинимся тем новым формам связи, которые продиктуют нам сами же накопленные материалы.

Процесс развития необходимо включает в себя взаимодействие человека и природы, естествоиспытателя и естествознание.

В этом взаимодействии именно кроется та сила, которая дает движение, развитие.

В силу этого взаимодействия процесс развития непременно сопровождается переворотами. А если так, то крайне неточно в каждом перевороте видеть только повод, приведший к перевороту (кризис дедукции, кризис эксперимента и т. п.). В этом надо видеть логическую и естественную причину: проявление самого процесса развития науки, диалектику ее развития. А это-то как раз и не позволяют видеть традиционные шоры эволюции.

Еще в 1915 году виднейший историк медицины писал: «Ход развития не совпадает с границами столетий, сами произвольно установленными. Начало XIX века ознаменовалось, может быть, началом новой политической эры, но не научной. Подтверждается старое наблюдение, что каждый переход совершается в природе постепенно» (Патель).

Разумеется, темп развития полноты может не совпадать с темпом развития науки. Но хороша постепенность, которая за 70 лет трижды нарушается «крахами», сверху донизу потрясающими науку

### Медицина — наука или искусство?

Но если объективный ход науки есть процесс взаимодействия, в котором то естествоиспытатель своей деятельностью, своим умением влияет на науку, то наука влияет на естествоиспытателя, вынуждая его менять его представления и приемы его искусства, то отсюда ясна неправильность постановки вопроса: является ли медицина наукой, или искусством. Искусство в своем развитии идет к науке, наука направляет, открывает новые пути искусству. Без этого взаимодействия нет прогресса. Не надо кроме того забывать, что такое искусство, как врачебное, рождается не из пены морской, а из скучной житейской потребности и «инзменного» ремесла, и что видеть оди «искусство» можно либо при слабом зрении в даль истории, либо сквозь кривые очки интуиции, этого аристократического «дара богов».

Мы не сомневаемся, что современное механистическое естествознание более чем несовершенно. Но если это несовершенство пытаются нейтрализовать отречением от естествознания, провозглашением медицины только искусством, то думается, что этим мы ставим себя в противоестественное положение, оставляя себя глаз на глаз только с врожденными в нас способностями, выключая себя из взаимодействия с результатами наших собственных трудов и опыта прошлого. Искусство настоящего должно пользоваться опытом прошлого, а следовательно, изучать его. Но где начинается изучение, там начинается наука. Так волей-неволей искусство, если оно хочет двигаться вперед, вступает во взаимодействие с наукой.

В своем отречении, наконец, от науки Крель и Зауэрбрух в точности повторяют маневр восьми-девятнадцатников, которые, как правильно подметил Рей, «от отрицания механизма в науке заключили к отрицанию науки вообще». Крах 1926—27 года показал, что это заключение осталось не осуществленным. Старые знамена надо развешивать, но надо очищать их от плесени столетий.



**Борьба за вечность законов и тактика естествоиспытателей.**

При «скачкообразном» ходе развития науки мы вынуждены в периоды этих скачков разбивать установленные на основе прежнего опыта представления и перестраивать их заново в соответствии с требованиями новых эмпирических фактов. Это—необходимое свойство процесса научного развития, обусловленное самым фактом нашей деятельности, обусловленное взаимодействием между естествоиспытателем и результатами его собственных трудов. В этих условиях недолговечность наших законов, зависимость их от накапливаемых нами материалов, относительность их, подсказывается всей историей естествознания.

«Вечные законы природы,—писал Энгельс еще в 1873—1876 годах,—превращаются все более и более в исторические законы... Если мы желаем говорить о всеобщих законах природы, применяемых ко всем телам, начиная с туманного пятна и кончая человеком, то нам остается только тяжест и, пожалуй, наиболее общая формулировка теории превращения энергии — *vilgo* механическая теория теплоты. Но сама эта теория превращается, если последовательно применить ее ко всем явлениям, в историческое изображение происходящих в какой-нибудь мировой системе, от ее зарождения до гибели, изменений, т.е. превращается в историю, на каждой ступени которой господствуют другие законы, т.е. другие формы проявления одного и того же универсального движения,—и, таким образом, абсолютно всеобщим значением обладает лишь одно движение».

Однако, при всей четкости, с которой Энгельс дал здесь формулировку относительности законов, идея относительности не нашла должного места в нашей, медицинской, методологии.

Эта относительность подвергает сейчас в растерянность вождей европейской медицины.

«Процессы в организме,—жалуется Крель,—оказываются все более сложными». Они не укладываются в «формы мышления», заимствованные нами от естествознания. Сложим, поэтому, орудия сознательного знания и предадим себя «бессознательному»!

Гольдштейн раздражается целым рядом жалоб:

«Организмы управляют ни по закону *similia similibus*, ни по закону *contraria contrariis*, ни вообще по каким-либо абстрагированным законам», а поэтому долой терапию, да будет ингибизм в медицине!

— До сего времени полагали, что адреналин лишь суживает сосуды, но теперь, оказывается, он может и расширять их; пусть же организм сам управляет собой, без вмешательства врачей!

— Углекислота ваны повышают давление у здоровых, но понижают, оказывается, у гипертоников,—откажемся от выводов, предадимся «*experimentu naturae*!» И т. д.

Относительность наших знаний, как и приучает нас к этой мысли естествознание своими крахами, каждый раз оказывается для нас громом с ясного неба, повергающим в крелевское «бессознательное», в гольдштейновскую катаlepsию.

Нельзя сказать, чтобы принцип относительности знаний совсем не существовал для современного естествознания. Как раз в периоды крахов мы, сбивые с позиции «вечных» законов, каждый раз приходим к признанию относительности. Но—ирония истории—начинаем тогда признавать ее такой же абсолютной, раз навсегда данной истиной, какою только что считали наши поверженные в прах законы.

Так, физики и врачи 90-х годов, скатившись после Гельмгольца опять к старой метафизике, и, потерпев на этой почве крах,—пришли к выводу: «Все старые истины, вплоть до оставшихся бесспорными и неизбывными, оказываются относительными истинами,—значит, никакой объективной истины, не зависящей от человеческого ума, быть не может».

То же говорил Бунге. Как в 1926 г. Динглер формулировал свои впечатления, было уже показано в одной из предыдущих глав. А что представляет собой гольдшнейдеровский ингилизм и крелевское Unbewusste, как не абсолютный отказ от достоверности нашего знания, как не абсолютный релятивизм?

Но признание относительности вечным и неизбывным законом, годным на все времена, для всех эпох, возводит ее самое в разряд законов метафизических, отрицает, если так можно сказать, относительность самой относительности. Относительность в таком метафизическом понимании теряет сама свой преходящий, зависимый характер, становится вечным абсолютном.

Относительность, понимаемая как всеобъемлющий и вечный закон, закрывает нам глаза на то, «что в каждой научной истине, несмотря на ее относительность, есть элемент абсолютной истины, что из суммирования относительных истин в их развитии складывается абсолютная истина,—что относительные истины представляют из себя относительно первые отражения независимого от человеческого объекта, что эти отражения становятся все более верными».

Абсолютный релятивизм закрывает нам, таким образом, доступ к тому, что является как раз целью науки—к истине.

Отметим, наконец, что абсолютный релятивизм на практике столь же невозможен, как солипсизм. Исповедание релятивизма восьмидесятилетиями не помешало им и нам опять вернуться к вере в вечные законы и вновь оплакивать их «крах» в 1927 году.

Естественное, таким образом, само исправляет наши крайности объективным ходом своего развития сбивая нас с нашей методологической позиции. Ибо, независимо от того, обнажаем ли мы эту позицию откровенным признанием «вечных» законов или маскируем ее признанием абсолютного релятивизма, эта позиция остается все той же метафизической и, следовательно, все на одном и том же месте становится поперек развития науки.

Этим объясняется то упорство, с которым нас бьет естественное каждые 25—30 лет. Не надо быть пророком, чтобы сказать, что чем энергичнее мы будем работать, чем быстрее будем добывать новые факты, тем чаще мы будем испытывать эти удары, ибо тем чаще будем опровергаться наши законы.

В этих условиях столь упорно отстаиваемая нами позиция «вечных» законов становится явно невыгодной. Тактика естественствителей требует по всем признакам существенных коррективов.

А если так, то как нельзя более кстати помнить утверждение Энгельса, что:

«Истина и заблуждение имеют абсолютное значение только для крайне ограниченной области. Как только мы применением противополжности между истинной и заблуждением вне ограниченной узкой области, она становится относительной и потому непригодной для точного научного употребления. Если же мы попытаемся признать это понятие вне указанных пределов, как нечто имеющее абсолютное значение, то тут-то мы и попадаем настоящим образом впро-

сак: оба полюса противоположности меняются местами, истина становится заблуждением, а заблуждение истинной» («Анти-Дюринг», 80).

Таково происхождение гольдшейдеровских парадоксов (с адреналином, расширяющим сосуды, и т. д.). Таково происхождение наших диагностических парадоксов, когда, при всем разнообразии проявлений данного вида заболевания, мы пытаемся находить один и те же, раз установленные формулы и симптомы, когда отказываемся признать болезнь за то, что она есть, лишь потому, что она не укладывается в наши «патогномоничные» признаки. Таково происхождение парадоксов с нашими специфическими реакциями и пробами (Вассерман, раковые реакции и т. д.).

Мы робко решаемся на диагностику «атипических» случаев, но робко требуем, чтобы каждый процесс, при всем неисчислимом разнообразии его течения, при всем разнообразии условий, в которых он протекает, обязательно укладывался в немногие, описанные классиками, формы.

### Наша методология.

Если метафизические приемы нашего метода познания мешают нам, как показано выше, видеть относительность наших законов и теорий, превращают самую относительность в метафизическую универсальность, то эта же метафизичность мешает нам правильно оценить роль наших орудий познания—роль разума и опыта. Мы либо обеими руками держимся за раз избранный метод (рационализм, эмпиризм), либо обеими же руками отбрасываем его, отрицая за ним всякую относительную полезность, и с такой же односторонностью ухватываемся за что-либо третье (гетевская интуиция), доказывая, что только это третье, и одно оно, может дать нам истинное знание. Заслуживает всяческого осуждения, что и здесь мы никак не можем даже поставить вопрос о взаимодействии разума и опыта, несмотря на то, что по всей своей практике познания мы постоянно имеем дело с этим взаимодействием. Мы строим наши выводы на известной сумме фактов, проверяем эти выводы другими фактами, следовательно, управляем ими, но вслед за тем новая сумма фактов вынуждает нас вносить в наши выводы те или иные изменения. Если сейчас мы мышлением организуем эксперимент, ожидая от него подтверждения наших выводов, то завтра эксперимент даст новую установку мышлению, толкая его к иным выводам, следовательно, подчиняя его себе.

Курьез нашей современности в том, что, не видя взаимодействия опыта и разума, мы требуем, чтобы эксперимент в сегда подчинялся нашим ожиданиям<sup>1)</sup>. Сколько трудов стоит в этих условиях бедному эксперименту, чтобы пробить метафизическую кору нашего мышления и показать, что в природе, в организме не все и не всегда протекает так, как угодно нашим планам. Сколько экспериментальных данных мы попросту не приводим в наших работах, считая их сомнительными, «парадоксальными» только потому, что они осмелываются ломать рогатики нашего окостенелого метафизического мышления.

Когда, однако, наступает момент, что нельзя больше отмахиваться от «парадоксов», мы начинаем кричать о крахе, о крушении законов,

<sup>1)</sup> Такое требование, конечно, не есть общее правило современной медицины, но, к сожалению, весьма распространенное на практике явление, что отмечает и Крель.

о банкротстве эксперимента, впадаем,—как отметил уже Н. Ральт,—«в враждебные науке настроения, обращаемся к мистике и теософии».

Крель с полным правом говорит, что у нас «эксперимент стал спекуляцией». Но, право, при всем уважении к маститому ученому мы не можем согласиться, что вина за это падает на эмпирическое естествознание. Мы склонны объяснить это напрасное обвинение эксперимента, и без того безжалостно нами уродуемого, систематическим стремлением Креля отгородить медицину от естествознания со всех его уродствами, чтобы тем легче выдать медицину за непорочное искусство. Отсюда стремление Креля извести тень на естествознание, выдать наши уродства за уродства естествознания, представить последнее в роли злонамеренного искусителя, соблазнившего нас, фтошушних врачей, обменять гиппократову синицу наблюдения на «сомнительный» эксперимент и т. д.

Мы отдаем должное благородству тенденции Креля оторваться от такого естествознания, которое превращается в «вместилище для всех врагов», но осмеливаемся указать, что мышление и эксперимент при правильном их сочетании все же могут вернуть нам ясное зрение, что плохи не мышление и эксперимент, а плох наш способ их применения, что, наконец, из-за уродства естествознания и эксперимента, и правильно отказываться от самих естествознания и эксперимента.

Такой же метафизической односторонностью характеризует отношение Креля к индукции. Естествознание подвергается отрицанию за его механистическое направление. Эксперимент извращается за спекулятивное его извращение нами. Индукция отрицается потому, что с ней мы попали в тяжелый кризис. Последнее с особой ясностью как указано выше, сформулировано Зауэрбухом. Крель и сколько списодительнее смотрит на индукцию; в глазах Креля несколько извнижает то, что ею пользовался сам Гиппократ. Но все же сводя медицину к искусству и утверждая, что искусство дано интуицией, Крель дает понять, что по сути дела разговор идет о том, хоронить индукцию или нет, а о том, по какому разряду ее хоронить. Здесь надо отметить, что позиция Креля по этому вопросу диаметрально противоположна позиции наших предшественников времен Гельмгольца и Мюллера, противноставивших ее индукции XVIII века.

Энгельс еще тогда отметил крайность позиции «индуктивистов». «По мнению индуктивистов,—писал он,—индукция является непогрешимым методом. Это настолько неверно, что ее якобы неизбежные результаты ежедневно отвергаются новыми открытиями. Если бы индукция была действительно столь непогрешимой, то откуда бы эти бесконечные перевороты в классификациях представителей органического мира. Они являются самыми подлинными продуктами индукции, и, одиак, они уничтожают друг друга».

Мы впадаем в чистую метафизику, стремясь приписать всю ценность познавательной ценности только тому или другому методу, но оставляя в заоне все остальные. Оставляя свой выбор на одном из этих видов, мы поневоле должны остальные виды,—поскольку мы не можем без них обходиться,—применять контрабандой и употреблять таким образом, под видом избранных совсем другие виды рассуждений. Или же—если хотим быть последовательными и других видов применять—превратить наши суждения в чистейшую бессмыслицу.

Уже Динглер издевается над индукцией, говоря, что индуктивист, увидав пару серых гусей, способен заключить, что все гуси олжны быть серыми.

А в 1881—1882 годах Энгельс писал:

«...Люди так уперлись в противоположность между индукцией и едукцией, что сводят все логические формы умозаключений к этим двум, не замечая при этом вовсе, что они: 1) применяют под этим названием бессознательно совершенно другие формы умозаключения; 2) не пользуются всем богатством форм умозаключения, поскольку их ельзя втиснуть в рамки этих двух форм, и 3) превращают благодаря тому сами эти формы—индукцию и дедукцию—в чистейшую бесчисленную».

«Индукция и дедукция связаны между собой столь же необходимым образом, как синтез и анализ. Вместо того, чтобы превозносить одну из них до небес за счет другой, лучше стараться применять аждую из них на своем месте, а этого можно добиться лишь в том случае, если иметь в виду их связь между собой, их взаимное дополнение друг другом».

Постановка этого вопроса Энгельсом отличается большей еткостью, чем постановка Гольдшейдера.

На 69 странице его «Спорных вопросов» мы читаем:

«Дедуктивное мышление в терапии может не быть излишним, так ак наши пробелы знания слишком велики (чтобы быть заполненными ишь индукцией.—Ф. Б.) Врач может не всегда опираться только на ндуктивное познание. Должно дедуцировать лишь только из твердо становленных закономерностей, и при этом поступать логически и ритически».

На странице 72 читаем, что при всех условиях «...дедукции от ходных случаев к данному особенному случаю сомнительны». В результате мы остаемся в блаженном неведении относительно познавательных достоинств дедукции.

По вопросу о роли «наблюдения»,—об утрате которого скорбит (рель, Зауэрбах, в особенности Гольдшейдер,—и об лношении его к эксперименту мы можем лишь присоединиться к мнению Энгельса: «Одно эмпирическое наблюдение никогда не может указать необходимости. *Prost hoc*, но не *propter hoc*. Это настолько ррно, что из постоянного восхождения солнца утром вовсе не следует, то оно взойдет и завтра, и, действительно, мы теперь знаем, что настанет момент, когда в одно прекрасное утро солнце не взойдет».

«Доказательство необходимости заключается в человеческой еятельности в эксперименте, в труде: если я могу сделать некоторое *prost hoc*, то—оно становится тождественным с *propter hoc*». Не надо только забывать узких границ действия эксперимента и превращать то данные в оказменную универсальность.

### Метафизика и диалектика в современной медицине.

Современная медицина,—функциональная, как ее называет (рель по направлению, или эмпирическая, если иметь в виду ее методологическую основу,—хотя неизмеримо далеко ушла от рационалистической медицины мольтеровских бакалавров по методу исследования (эксперимент), но крайне недалеко ушла от нее по методу мышления. Последний уже неоднократно характеризован, как метафизический.

Разумеется, наша метафизика—не метафизика средневековья. Медицина вынуждена признавать в основе процессов развития если не в диалектическом, то, по крайней мере, в эволюционном механизме.

В этом одном уже достаточное отличие от старой и средней метафизики, признававшей лишь учение о вещах, а не о движении.

История объясняет стремление метафизики изучать не вещи, а не движения. Изучение сложных форм должно начинаться с изучения простейших. Изучением предметов древние подготовили переход позднейшими поколениями к изучению движения.

Движение в его бесконечном сплетении связей и взаимодействий в его бесконечной изменчивости, в которой ничто не сохраняет не начального характера, но «все течет», было отлично известно Гераклиту.

Но это воззрение, как бы верно оно ни охватывало общий характер всей картины явлений, недостаточно, чтобы объяснить отдельные части, из которых эта картина складывается. Чтобы познать эти части, мы должны выделять их из их естественной связи и исследовать каждую порознь в ее свойствах. Такова ближайшая задача каждого исследователя. Разложение природы на ее составные элементы, деление отдельных предметов в определенные классы, было так же извечно со стороны древних, как исследование внутреннего строения и органов и их—изолирование рассматриваемых—функций для врачей XIX века. Это было основным условием приближения к изучению более сложных отношений тел и органов, отношений, основанных на взаимодействии, отношениях, из которых возникают великие проблемы древности и современности, упоминаемые Крелем.

Процесс познания вплоть до наших дней продолжает быть преимущественно аналитическим. Анализ вещей, предметов в области остановился на учении Вирхова о клетке. На смену же анализу пришел анализ форм движения, присущих вещам. От изучения анатомии и патологии клетки обратились к изучению функции клеток.

Но, становясь, вместе с тем, на новую, несколько высшую ступень исследования, мы все еще остаемся аналитиками. Поэтому-то, изучая предмет исследования (не вещь клетку, а функцию клетки), мы отделились такими же собирателями научных фактов, как и во времена Гипократа, и попрежнему рассматриваем вещи и процессы изолированно, стремясь выделить их из сплетения связей и взаимодействий и рассматривать их один за другим и один без другого.

Но, поскольку мы вырывает исследуемый процесс из его сложной предпосылки, он предстает перед нами в крайне упрощенном виде: отпадает вся совокупная сумма взаимодействий, в которой действовал данный процесс, все разнообразие форм движения, свойственных данному процессу в его естественных условиях, представляется нам в двух проявлениях: или как причина, или как следствие. И поскольку изолированный рассматриваемый процесс в этих условиях на вопрос о его причине может дать нам только один ответ: «да» или «нет», то и мышление наше неизбежно вращается в этих двух противоположностях. Об этом, — как писал Энгельс, — да-да, нет-нет, и что сверх того, «тупо-дукавого». Положительное и отрицательное исключают друг друга, между причиной и следствием существует постоянная противоположность. Отсюда происходит то, что вещи, процессы и их отражения в нашем уме превращаются в обособленные, твердые, неизменные, навсегда данные.

Отсюда неподвижность, окаменелость наших выводов. В этом наша метафизичность.

Из этой метафизической полярности нашего мышления проистекает наша неподготовленность к осмысливанию эмпирически накапливаемых фактов, которые всегда так неожиданно разбивают наши представления.

В 50—60-х годах такая новая форма связи в медицине была дана целлюлярной патологией. 1858 год по существу заключил те противоречия, которые разнились между накопившимися к тому времени эмпирическими фактами, с одной стороны, и представлениями врачей того времени о сущности патологических процессов—с другой. Все разнообразие представлений того времени, представленное системами броунизма, гальванизма, месмеризма и т. д., раздравших своей междоусобицей медицину XVIII и начала XIX веков, было внезапно приведено к катастрофе постепенно накапливавшимися эмпирическими фактами и закончилось установлением единого взгляда, исходящего из патологии клетки. Это был тот синтез, который мышление необходимо должно было дать в ответ на противоречия между старыми системами и новым эмпирическим материалом. История медицины говорит, что установлению этого синтеза предшествовали поистине катастрофические затруднения.

В то самое время, как этот кризис разрешился учением Вирхова, Броун-Секар и Клод Бернар сделали первые эмпирические наблюдения о функции клетки, о ее секрети. Если учение о клетке раскрыло нам анатомическую связь частей организма, то учение о секрети привело нас к обнаружению функциональной связи. Но должно было пройти три десятилетия, прежде чем медицина признала в секрети такую же универсальную форму функциональной связи организма, какую она перед тем признала в клетке, как форме анатомической связи организма. (Говоря о секрети, как универсальной форме функциональной связи, мы имеем в виду также функцию нервной системы, поскольку она, очевидно, основана на продуцировании «секрети», нервными клетками их специфической энергии, поскольку, во-вторых, нервная и гормональная деятельность взаимно обуславливают друг друга).

И точно так же, как в 60-х годах, медицина 80—90-х годов накануне признания этой новой формы связи испытала затруднения. Как уже указывалось, эти затруднения проявились атакой неовитализма, тенденцией к отрицанию естествознания, уклоном к интуиции и т. д.

Мы не закончили изучения функций различных частей организма. Черновая разработка этого вопроса ясно показала, что, вступив на путь изучения функций, мы вступили в такую область, где прежний эмпирико-метафизический способ изучения, при котором мы рассматриваем каждый процесс один отдельно от другого, один после другого, не приближает нас к цели. Уже черновые материалы стали слишком часто путать наше «да-да», «нет-нет».

Адреналин начал расширять сосуды и понижать гликемию.

Животный инсулин указывает себе прекрасных заместителей в растительных препаратах. Ретикуло-эндотелиальный аппарат обходится без селезенки. Печень сталкивает виднейших ученых в непримиримых противоречиях по вопросу о ее функции. Гормоны стали проявлять не обычно приписываемое им действие, но прямо противоположное. Оксифобоз тканей оспаривается анксиобозом. Болезни возмущались против узкого понимания взаимодействия их с организмом:

пневмония перестала нуждаться в лихорадке, как непременно считали в воспаления, раки начали излечиваться самопроизвольно. Больные клетки стали уверять нас в нормальности их функции, а клетки внешности здоровые, заявляют о тяжких «функциональных» расстройствах. И тогда хирурги перестали понимать, когда нужно оперировать и когда нет, а аллопаты начали пытливым присматриваться к гомеопатам.

Есть, от чего притти в замешательство. «Да», действительно сплошь и рядом стало переходить в «нет». Законы падают, как кал. Наше мышление не может осилить эти трудности. В результате кризис «крахе» и богоскательство.

Объективно перед нами положение, когда естествознание оно «накопило такую необъятную массу положительного материала, что необходимость систематизировать его в каждой отдельной области исследования и расположить с точки зрения внутренней связи с неустраивимой».

Но установление связей не по плечу «ползучему» эмпиризму, и в силу внутренних свойств эмпирического (а, стало быть, аналитического по существу) метода, мы способны только на установление не физической связи.

С мышлением, приводящим к таким связям, мы приходим к голому отрицанию наших прежних посылок, и вместо скачка вперед хотим начать простое повторение круга, начав с того места, где кончился. И покрот, к чему сейчас и призывают Гольдшейдер, Бир и т.

Говоря о кризисе середины XIX века и кризисе конца XIX века Ленин писал, что методологические ошибки разбираемых им мыслителей показывают, что в обоих случаях «одна школа естествоиспытателей... не сумела прямо и сразу подняться от метафизического материализма к диалектическому материализму», что наука делает шаг в этом направлении, но «идет к единственно-правильному методу единственно верной философии естествознания не прямо, а изгибаясь сознательно, а стихийно, не видя ясно своей «конечной цели», а приближаясь к ней ощупью, шатаясь, иногда даже задом».

В последней позиции мы застаем Креля, Зауэрбуха, Бир и т. п. в их стремлении выйти из современного «тупика» дивергенции и покрота.

Диалектика так настойчиво заявляет свои права на жизнь, что не сдерживают метафизические барьеры нашего мышления; не сдерживают, конечно, и «вынужденные» положения вождей европейской философии. Всякое «вынужденное» положение, как известно, вызывает болячки. Есть основания полагать, что в данном случае это—родовые боли. Такой же процесс определил Ленин при кризисе 90-х годов «Современная физика,—писал он,—лежит в родах. Она рождает диалектический материализм. Роды болезненные. Кроме живого и жизнеспособного существа, они дают неизбежно некоторые мертвые продукты—какие отбросы, подлежащие отправке в помещение для нечистот. В 90-х годах к числу этих отбросов относятся весь физический материализм, вся эмпириокритическая философия». В наше время, надо считать, этой участи подлежит фаустовская философия.

То же живое и жизнеспособное, что должно появиться при этом родах, это—диалектический синтез.

Как всякий диалектический синтез, он должен «применять в себе борьбу тех противоречий, в которых стоит сейчас медицина».

Медицина единая, как наука, но всей историей своего развития она показывает, что это ее единство образовано из суммы против-



положностей,—противоположностей, прежде всего, между ее существующими в каждое данное время воззрениями и фактами, с которыми эти воззрения имеют дело. История показывает далее, что эти противоположности переходят в противоречия, что борьба противоречий неизменно заканчивается отрицанием старых воззрений и торжеством новых, возникающих из накопленных фактов, и что эти новые воззрения в свою очередь вступают в противоречия с ними же созданными результатами и в свою очередь подвергаются отрицанию («отрицание отрицания»).

В этом отрицании каждая новая ступень качественно отлична от предшествовавшей, но в то же время сохраняет ее в себе («снимает»), поскольку всякая новая ступень обязана своим происхождением старой. Синтез, долженствующий примирить противоречия нашего времени, должен, повидимому, привести медицину к такому положению, в котором она будет так же отлична от современной нам функциональной медицины, включая в то же время ее в себя, как эта последняя отличается от медицины вихровского цикла, хотя и является ее непосредственным продолжением.

Сохраняя синтетическую преемственность связей, медицина и в новом состоянии включит в себя морфологическую (клеточную) основу, так же, как и функциональную, но в то же время она должна качественно отличаться от медицины этих предшествовавших ступеней.

Мы не закончили изучений функций организма. Поскольку эта задача выдвинута объективным ходом развития медицины, мы должны изучение функций продолжать. Но, поскольку в условиях обособленного изучения процессов эти последние отказываются раскрыть нам себя, мы должны последовать за ними в ту область, где они обещают быть более податливыми. Мы должны, следовательно, изучать эти процессы в такой обстановке, где они менее обособлены от их связей, где они более приближаются к обычным для них естественным условиям. Но этой обстановкой является именно та обстановка взаимодействия, от которой мы до сих пор искусственно и по необходимости изолировались. Так, став во времена Гипократа перед загадкой жизни, медицина спустилась в своем анализе до основы жизненных процессов—клетки, и теперь, исчерпав возможности анализа, уже с иной стороны, изнутри, по ступеням синтеза должна подходить к решению этой задачи<sup>1)</sup>. Ибо взаимодействие частей организма является тем связующим узлом, из которого возникает жизнь, как единое, в ее органическом единстве, с ее нераскрытым пока качественным переходом от мертвой матери к живой клетке, от движения миктронов в клетках мозга—к мышлению.

Поскольку мы оживаемся вступив в область этого взаимодействия,—а все объективные условия толкают нас к этому,—мы вступаем в область, где действуют те же слагаемые, с которыми мы уже имели дело, когда рассматривали обособленную функцию, но где сумма этих слагаемых обнаруживает совершенно иные качества.

Свойства атома отличны от свойства электрона, а жизнедеятельность клеток нельзя измерить свойствами атома. Равным образом деятельность органа или системы их отлична от деятельности клетки, деятельность всего организма нельзя познать по деятельности отдельного органа. Работа и свойства каждого простейшего звена в этой цепи связей так отличается от работы и свойств каждого, более слож-

<sup>1)</sup> Из этого, конечно, не следует, что на этих ступенях анализ станет изощренным.

ного звена, как, грубо говоря, деятельность одного существа или рознених групп существ отличается от деятельности хорошо женой, организованной и большой массы живых существ.

В этом, прежде всего, качественное отличие той области взаимодействия, той суммы живых слагаемых, к изучению которой мы жны перейти, поскольку нас к этому вынуждает неудача обособного рассмотрения отдельных слагаемых.

Благодаря этому качеству уже знакомые нам процессы могут протекать в иной форме,—в силу иных условий, окружающих являющихся на них.

Функция органа остается в этих условиях такой же, какой ее наблюдали в обособленном рассмотрении, но в то же время, поскольку она содержит в себе нечто от взаимодействия, она становится иной. Равным образом функция остается функцией клетки, но, поскольку к ней присоединяется влияние взаимодействия, она перестает быть функцией только данной клетки. В этом качественном изменении приобретаемом отдельной функцией в обстановке взаимодействия кроется, очевидно, причина парадоксальных свойств клеток и их функций, в силу этих изменений сосудосуживающее и сахароповышающее действие адреналина превращается в прямо противоположное; в этих изменениях явно патологическая клетка проявляет нормальную функцию, а считаемая здоровой дает «уклонения от нормы».

Мы имеем дело с теми же элементами, с которыми работают функциональная и клеточная медицина, но в то же время элементы предстают перед нами в совершенно иных свойствах. В отличие той ступени, к которой мы идем, от тех ступеней, к которым мы уже прошли.

Три свидетельства говорят за то, что противоречия нашего времени разрешаются в пользу установки на взаимодействие:

Первое—то, что «мы не можем пойти дальше познания взаимодействия, ибо позади его нет ничего непознаваемого», «взаимодействие является истинной *causa finalis* вещей» (Гельс).

Второе, что в силу объективного состояния естествознания до сих пор не могли ставить проблему взаимодействия очерки проблемной дилеммы, ибо вся прежняя история естествознания являлась лишь подготовкой к вступлению на эту ступень познания.

Третье, что эта проблема сейчас ставится явочным образом,—что (подобно тому, как до Вирхова принцип единой биологической связи был намечен Биша, Моргани и др.), и от отдельных врачей приходят к проблеме взаимодействия чисто эмпирическим путем. Таковы исследования Крауса о взаимоотношениях вегетативной системы и эфферентных клеток, фармакодинамические исследования Лаигля, исследования многочисленных эндокринологов о взаимодействии эндокринных желез, Гольдштейна об аутопластических наложениях при болезнях и о причинном влиянии и причинной терапии болезней, Плетнева—о вегетативной нервной системе и т. д.

Д. Д. Плетнев прямо пишет: «Как бы детально мы изучили не только морфологическую, но и химическую структуру отдельных органов, понимание процессов жизни биологического (и здорового) организма не удастся, если не учитывается роль невро-эндокринного аппарата» (курсив мой.—Ф. Б.).

<sup>1)</sup> Д. Д. Плетнев—«Русская Клиника», № 21, 1926.

Чем обуславливается необходимость изучения этого аппарата? Тем, отвечает Д. Д. Плетнев, что «мы не можем сказать, где оканчивается влияние на динамику клетки соотношения электронов, липоидов в ней самой, где начинается влияние нервной системы. Эти два ряда явлений пока не отделимы в жизни друг от друга. Точно так же мы не можем пока клинически расчленить влияние эндокринной системы от нервной. Они интимно связаны друг с другом. Иннервацией регулируется эндокринная система. Гормонами тонизируется нервная система» (Курсив мой.—Ф. Б.).

Итак, с одной стороны, «понимание процессов не удается, если не учитывать роли невро-эндокринного аппарата» и роли рабочей клетки, с другой стороны, все эти элементы «интимно связаны друг с другом». Здесь как нельзя более ярко выражен момент взаимодействия важнейших регуляторов организма и при том именно диалектического взаимодействия: «иннервацией регулируется эндокринная система, гормонами тонизируется нервная система».

С другой стороны, исследование этого взаимодействия именно и ставится проблемой врачебного мышления и действия.

Так пробиваются ростки стихийной диалектики сквозь черствую кору «ползучего» эмпиризма и метафизики. Вопреки влияниям модных направлений, естествознание поистине стихийно срывается с «изукой о законах и формах движения в природе, обществе и мышлении».



# КРИТИКА

# и БИБЛИОГРАФИЯ

## Библиография о Руссо.

### ПРЕДИСЛОВИЕ.

В июле текущего года исполнилось 150 лет со дня смерти Ж. Ж. Руссо, одного из замечательных представителей французского просвещения XVIII в. Отличаясь от своих соратников Дидро, Гольбаха, Гельвеция, с одной стороны, резко враждебным отношением к материалистической философии Руссо зато, с другой стороны, превосходил их силой своего диалектического мышления. Эта диалектическая точка зрения побуждала Руссо, как это замечается впоследствии и у Гегеля, в анализе того или иного конкретного исторического факта почувствовать несостоятельность идеалистического объяснения истории и, как говорит Плеханов, сделать «много очень больших шагов в направлении к историческому материализму» и что таким образом «в своем объяснении процесса развития человеческой культуры Руссо выступает, как один из самых замечательных предшественников Маркса и Энгельса»<sup>1</sup>. С особенной силой это бессознательное движение в сторону исторического материализма сказывается в его гениальном этюде «О происхождении неравенства между людьми», который Энгельс относит прямо к «шедеврам диалектики»<sup>2</sup>. Сославшись на рассуждения Руссо о возникновении и развитии неравенства, как на образец диалектической трактовки одной из основных проблем общественного развития, Энгельс прямо утверждает, что это рассуждение Руссо «как две капли воды схоже с рассуждением Маркса в «Капитале» и что уже «в подробностях мы видим целый ряд таких же диалектических оборотов, какими пользуется Маркс: процессы, антагонистические по своей природе, содержащие в себе противоречие, превращение известной крайности в свою противоположность, наконец, как сущность всего, отрицание отрицания»<sup>3</sup>. И, отвечая далее Дюрингу, совершенно не понимавшему внутреннего содержания реальных процессов бытия и отражающих их диалектических форм мышления и пытавшемуся отделаться от этой важнейшей методологической проблемы презрительными ссылками на гегельянщину, Энгельс снова подчеркивает, что в основе диалектических рассуждений Руссо лежат не априорные логические формы, а анализ действительного исторического процесса, и что «если следовательно, Руссо в 1754 г. и не мог еще говорить «гегелевский жаргон», то, во всяком случае, он уже за 23 года до рождения Гегеля был глубоко заражен чумой гегельянства, диалектикой противоречий, учением о логике, телегии и т. д.»<sup>4</sup>).

Любопытно отметить, что аналогичное Дюрингу непонимание материалистико-диалектической трактовки Руссо проблемы различия неравенства! обществе обнаружил и Н. К. Михайловский. Покойный рецензитель «Субъективной социологии», охваченный стремлением научно дискредитировать непонимание

<sup>1</sup>) Плеханов, Руссо и его учение о происхождении неравенства между людьми. Соч. т. XVIII, стр. 12.

<sup>2</sup>) Энгельс, Антн-Дюринг, изд. 3, М. 1923 г., стр. 29.

<sup>3</sup>) Там же, стр. 161.

<sup>4</sup>) Там же, стр. 161.

ные и ненаистинные ему «схоластические», «априорные» схемы Гегеля, приводя малоценные замечания Энгельса о диалектических свойствах мышления Руссо, посылал: «Он (Энгельс) не касается вопроса о том, верно или неверно понимает Руссо ход истории, он интересуется только тем, что Руссо «мыслит диалектически»: усматривает противоречие в самом содержании прогресса и располагает свое изложение так, что его можно подыграть под гегельянскую формулу отрицания и отрицания отрицания. И, действительно, можно, хотя Руссо и не знал гегельянской диалектической формулы»<sup>1)</sup>.

Плеханову не стоило большого труда показать всю иззорность и явное философское невежество, обнаруженные Михайловским в его выпадах против диалектики вообще и в частности против диалектической трактовки Руссо хода общественного развития<sup>2)</sup>. Эта поделка несколько не утратила своего теоретического интереса, и мы настоятельно рекомендуем современным истребителям диалектики и «гегельянщинам» вышеозначенную статью Михайловского, которая несомненно значительно пополнит их идейный багаж.

Эти элементы исторического материализма и диалектики в мировоззрении Руссо не могли все-таки вырвать его из общих рядов мыслителей XVIII века.

Мы не будем останавливаться на других чертах мировоззрения Руссо, которое оставило глубокий след в истории общественной мысли и политической жизни. Достаточно указать на ту огромную роль, которую сыграло его учение о народолюбии в эпоху Великой Французской революции. В этом отношении заслуживает внимание работа т. С.—аго «Руссо и якобинская диктатура»<sup>3)</sup>, посвященная характеристике политического учения Руссо, как идея кога революционно-демократической диктатуры, почему нельзя не согласиться с замечанием А. Герцена, что Руссо «поняли только в революции»<sup>4)</sup>.

Необходимо также отметить, что в деле формирования политических воззрений русских прогрессивных и радикальных кругов конца XVIII и начала XIX вв., Руссо играл не последнюю роль, и не даром «просвещенный» крепостник Екатерина II неодобрительно отнеслась к «Contrat Social» Руссо и запретила ввоз в Россию «Эмilia» на ряду с «мемориями Петра III», «Письмами жидонским» и т. д. книгами, которые служат к преобразению (т. е. разиращению.—Я. Р.) нравов»<sup>5)</sup>.

Но, если Екатерина имела достаточно оснований быть недовольной благородным жеицем, немало поработавшего над разоблачением лицемерия господствующих классов, то, наоборот, ее политический противник Радицев с нескрываеиым сочувствием цитирует известные слова Руссо в своем философском труде: «О человеке, его смертности и бессмертности»: «Как скоро сказал человек: «Сия падень земли—моя», он пригвоздил себя к земле и отверз путь зверообразному самовластью, когда человек повелевает человеком».

В конце XVIII и в начале XIX в. Руссо усиленно переводится на русский язык восторженными его поклонниками, что не мешало многим из них впоследствии, под влиянием развернувшейся якобинской революции, быстро эволюционировать в сторону «порядка» и значительно охладеть к великому «женевскому обитателю», как Руссо иногда именовался в литературе того времени.

<sup>1)</sup> Н. К. Михайловский. О диалектическом развитии и тройственных формулах прогресса, Соч., т. VII, стр. 766.

<sup>2)</sup> Плеханов А. К вопросу о развитии монистического взгляда на историю, Соч., т. VII, стр. 139—140.

<sup>3)</sup> «Революция Права» 1928 г., № 2.

<sup>4)</sup> А. Герцен, Дневник, Соч., т. III, 1919 г., стр. 130.

<sup>5)</sup> Сборник Русского Исторического Общества. т. VII, стр. 318: «Указ. Сенату» от 6/IX 1763 г.

Так известный переводчик Руссо и его поклонник П. Потемкин впоследствии писал: Руссо, «умствуя, упрямо проповедывал волюность и равенство гражданское, когда его и в природе не существует»<sup>1)</sup>.

Большое влияние оказал Руссо и на декабристов, из которых такие выдающиеся деятели, как Пестель, В. И. Штейнгель, Н. М. Муравьев, Анненков и др., были хорошо знакомы с важнейшими произведениями Руссо, и Н. Муравьев даже мечтал об основании идеальной республики на каком-нибудь острове.

В новейшее время поднят вопрос о степени близости учения Л. Толстого к Руссо. В этом вопросе заслуживает внимания точка зрения Плеканова, отвергающего тождество воззрений этих двух мыслителей, так как в то время как Руссо в разрешении коренных вопросов моральной философии спускается рядом становится на точку зрения материалистической социологии, Толстой в этих вопросах остается неизменным метафизиком-индивидуалистом.

В целях лучшей ориентировки мы всю литературу разбили на ряд рубрик, при чем марксистскую литературу ввиду ее еще пока малочисленности мы не сочли возможным дробить по отдельным проблемам. Нам кажется, что в таком виде читатель сможет быстро ориентироваться и извлечь нужный материал по тому или иному вопросу.

## I. Основные произведения Руссо на русском языке.

### 1.

#### О влиянии наук на нравы.

(1749).

Руссо, Ж. Ж. — О влиянии наук на нравы. Пер. с франц. В. Книжковиком С пред. Кареева. Изд. «Светоч». СПб. 1908, стр. 156.

Рец. Яценко, А. «Критич. обозрение». 1909, 1, 71—73.

Руссо, Ж. Ж. — Сочинения. Рассуждение на тему, предложенную Дижонской академией. Восстановление наук и искусства содействовало ли очищению нравов. «Пантеон литературы», 1891, № 12; 1892, № 3.

Руссо, Ж. Ж. — Рассуждение, удостоение награждения от Академии Дижонской в 1750 году, на вопрос, предложенный сего академией, что восстановление науки и искусства способствовало ли к исправлению нравов. Пер. П. Потемкина. М. 1768, изд. 2-е 1787 г.

То же, пер. М. Юдина. СПб. 1732.

То же, в 1 т. сочинений в изд. Тиблена. СПб. 1866.

### 2.

#### О причинах неравенства.

(1753).

Руссо, Ж. Ж. — О причинах неравенства. Пер. с франц. Н. С. Южанова под ред. и с предисл. Н. С. Южанова. Изд. «Светоч», стр. 166. СПб. 1907.

Руссо. — Рассуждение о начале и основании неравенства между людьми. Пер. П. Потемкина. М. 1770 и 1782.

То же, пер. Н. Мартынова, 1802 г.

### 3.

#### Юлия или Новая Элоиза.

(1761).

Руссо. — Юлия или Новая Элоиза, или письма двух любовников, живущих в маленьком городке у подножья Альп. Пер. П. Кошляковского. М. 1892 г.

То же, пер. П. Потемкина, ч. I, 1769.

<sup>1)</sup> «Московский Вестник» 1809 г., ч. I, стр. 90.

То же, пер. А. Палицына. 1803—1804 гг., в 6 частях.

То же, 2-е изд. в 10 ч., М. 1820—1821.

## 4.

Эмиль или о воспитании.

(1762).

Руссо.—Эмиль или о воспитании. Пер. П. Перлова. Изд. К. Тихомирова. К 1911.

То же, пер. М. Энгельгардта. Изд. «Школа и Жизнь» СПб. 1912.

То же, изд. Н. Тиблена, СПб. 1866.

То же, изд. Тихомирова и Адольфа, М. 1896.

Рец. 1) «Образование», 1896, № 9; 2) «Р. М.», 1896, № 10; 3) «Пед. Лист.», 1896, № 4.

Руссо.—Эмиль или о воспитании. Пер. с франц. девица Е. Дельсаль, 4 ч. ч. с фигурами, М. 1797 г.

То же.—М. 1807.

Руссо.—Эмиль и Софии или благовоспитанные любовники, пер. П. Стрехов. С 1779. (СПб. Вестник, V, 309).

То же, с приложением повести «Уединенники», пер. И. Виноградов, 1800.

То же, без приложения повести, М. 1820.

Бытие бога и бессмертие души. Пер. с франц. из Руссова Эмиля Ф. Г. СПб 1801.

Руссо.—Размышления о величестве божием, о его промысле и о человеке. Пер. с франц. СПб. (год не указан). Отрывок из Эмиля.

## 5.

Общественный договор.

(1762).

Руссо, Жан Жак—Общественный договор. Пер. под ред. и с пред. А. К. Джигилеона. Изд. «Труд и Воля». М. 1906, стр. 298.

То же, пер. Южакова, М. 1903.

То же, пер. Неманова. Изд. Д. Жуковского, 1907.

То же, изд. Скирмунта, М. 1906.

См. рец. 1) П. Новгородцева «Критич. обозрение», 1907, № 4. 2) «Новая книга», 1907, № 11.

## 6.

Исповедь.

(1782).

Руссо, Ж. Ж.—Исповедь. Пер. с франц. под ред. и со вступ. ст. Л. Владимирова, ч. I. Изд. «Просвещение», СПб. 1914, стр. 301.

Руссо.—Исповедь. Иллюстр. изд. Пер. С. Трубочева (приложение к журналу «Вестник ин. лит.», СПб. 1901).

Руссо, Ж.—Исповедь. С иллюстрациями Ледуа. СПб. 1901, стр. LXIV + 512.

Руссо, Ж.—Исповедь. Пер. Н. Устрялова. Изд. Суворина. СПб. 1898.

Рец. «М. Б.» 1898, № 3.

» «М. Б.» 1901, № 5.

» «Р.—Б.» 1898, № 2.

» «Р. М.» 1898, № 7.

Руссо.—Исповедь. Пер. г-жи Чуйко. «Пантеон Лит.», 1894, №№ 3, 11 и 12 (неоконч.).

Руссо.—в изд. Чуйко. Вып. V, СПб. 1882 (Из «Исповедь»), стр. 168.

Рец. «Р. М.» 1882 г., № 12, стр. 47—49.

Руссо.—Исповедь. Пер. Ф. Н. Устрялова. СПб. 1865.

Рец. «СПб. Вестник», 1865, № 178.

Исповедание Ж. Ж. Руссо. Пер. с франц. Л. Болтина, М. 1797, 2 ч.

## II. Другие издания Руссо

Руссо.—Собрание сочинений в 3-х томах. Том I. Теория воспитания. Изд. н ред. Тиблена, СПб. 1866.

Содержание: 1) Эмиль. Пер. А. Н. Энгельгардта. 2) Изложение содержания «Новой Элоизы» и воспитательные теории м-м Вольмар, пер. О. В. Мильчевского. 3) Семь писем к разным лицам о воспитании, пер. Е. Н. Пылиной. 4) Речь по

испросу о том, способствовало ли восстановление наук и искусства улучшению нравов, пер. Е. Н. Хлебниковой. 5) Ответ королю польскому, герцогу лотаринскому на его опровержение предыдущей речи, пер. И. Пилипиной. 6) О кормлении грудью детей. — Примечание Р.—она. 7) О содержании кормилицы и ребенка. Примечание В. М. Флоринского.

Ред. 1) «Кинкий Вестник», 1866, № 8, 197—198; № 11, 280—291. 2) «Идея», 1866, № 28. 3) «Олово», 1866, № 193.

Руссо, Ж. Ж. — Собрание сочинений. Пер. под ред. Н. Бердяева. 12 т. изд. Фукса, Киев 1904 (изд. не оконч.).

Руссо.—Гражданин или рассуждение о политической экономии. Пер. Г. Медведева, 1787, стр. 136.

То же.—О политической экономии или о государственном благоустройстве, СПб. 1777.

Дух или избранные мысли Ж. Ж. Руссо. Пер. с франц. И. Мартава. СПб. 1801, изд. 2-е, М. 1822.

Руссо.—Ефраниский Левит, М. 1802.

Руссо.—Исследование веры савойского инквизитора. Пер. А. Русановой, из «Посредника», М. 1903.

Мысли Ж. Ж. Руссо о различных мастерях. Пер. с франц. П. Андреева. 2 ч., СПб. 1800—1801.

Мысли Ж. Ж. Руссо, женева философа. Пер. с франц. М. Пронского. «Новости русской литературы», 1804, ч. IX, М. 1804.

То же.—Мысли Руссо—жениевского гражданина. М. 1803.

Руссо.—Незданные письма. «Журнал журналов и энциклопедическое обозрение», 1898, стр. 304—307.

Новые письма Ж. Ж. Руссо. Пер. с франц. СПб. 1783.

Руссо.—Обвороженный полк, М. 1779 и 1788 г.

Руссо.—Ода на счастье. С переводом Сумарокова и Ломоносова. (Из их сочинения).

О блаженстве из творений Ж. Ж. Руссо. Пер. с франц. И. Л. М., М. 181 Руссо.—О естественном праве. СПб. 1804 (из издания А. Пресса).

О любви к отечеству. «Собрание новостей», 1776, май, стр. 13.

О инциях. «От всего поиздевку», 1782, № 1, стр. 21.

Руссо.—О самопроизвольной смерти. «Академические известия», 1780 г. ч. IV, стр. 244—246.

См. так же отв. М. Смирнова, стр. 267—268.

То же.—О самоубийстве. «Принятное и полезное», 1794, ч. II.

Руссо.—Ответ графу Г. Орлову. «Русск. Архив», 1869, № 3, стр. 581.

Руссо.—Пигмаллон, 1792 г.

Письма Руссо к Мальзербу. «Пантеон Иностранной Словесности», М. 1791 г. ч. III, стр. 87.

Произведения и исследования. Корреспонденция Ж. Ж. Руссо. «Русск. Иллюстрация», 1861, № 196.

Рассуждения Ж. Ж. Руссо на вопрос: какая добродетель есть нужная героям, и которые суть те герои, кто одной добродетели не имеют. Пер. П. Петемкина. М. 1770 и 1804.

Руссовы письма о ботанике, с дополнением его ботанического «Словаря» с объяснением трех лучших методов Турнефорта, Линнея и Жюссена и с ботаническими часами, изобретенными бессмертным Линнеем. Пер. В. Измайлова. М. 180.

Руссо.—Свойства и действия страстей человеческих 1802 (из сочинений Вольтера, Руссо и др.).

Смерть и последние речи Ж. Ж. Руссо, с присокуплением разговора его с Вольтером в царстве мертвых. СПб. 1789.

Сокращение, сделанное А. Ж. Руссо, из проекта о печном мире, составленного аббатом де-Сент-Пьером. Пер. с франц. СПб. 1771.

Руссо.—Теория воспитания. Изд. К. Тихомирова. М. 1899.

Философические уединенные прогулки Ж. Ж. Руссо, или последние его исповедь, писанная им самим с присокуплением писем его к Мальзербу, в них изображается истинный характер и подлинные причины поступков сего великого женева философа. Пер. с франц. И. Мартинова, 2 ч., изд. 2-е. М. 1822.

Философическая прогулка. Из стих. женева гражданина Ж. Ж. Руссо «Беседующий Гражданин». 1789, ч. II, стр. 270—275.

Руссо.—Человек, будь человек. Выбрал из произведений великого писателя Гансберг. Пер. Энгельгардта. Изд. «Школа и Жизнь». СПб. 1912.

Вольтер.—Поэма на разрушение Лиссабона, с возражением на нее писанным Ж. Ж. Руссо. СПб. 1801 и 1809.

То же.—«Письмо г. Руссо к г. Вольтеру». «Собрание Лучших Сочинений», 1762, ч. IV.



Альбер, Ф. и Бейе, А.—Политические писатели XVIII в. (характеристика с выдержками из подлинных сочинений), пер. с франц. А. Кладо. Спб., изд. «Вестник Знания», стр. 167—208.

Пинкевич, А.—Марксистская педагогическая хрестоматия XIX—XX вв., ч. I, 2-е изд., Гиз, 1928, стр. 30—40 (отрывки).

Свадковский, И.—Рабочая книга по истории педагогики. Гиз, 1927, стр. 101—164.

Разумный и забавный собеседник или собрание философических, нравственно-учительных и остроумных повестей, выбранных из лучших писателей, как-то: Вольтера, Руссо и др. М, 1803.

### III. Руссо в оценке марксистских авторов.

Аксельрод, И.—Руссо. «Просвещение». 1912, VIII—IX, 21—33. Перепечатано в «Литературно-Критических Очерках», под ред. С. Я. Вольфсона. Минск, изд. «Белтрестиздат», 1923.

Деборин, А.—Предисловие к «Д. Дидро. Избранные сочинения». Гиз, 1926, т. I, стр. XXXIX—XLII.

Войтоволский, Л.—Жан Жак Руссо. «Киевская Мысль» 1912, № 165, от 16 июня.

Волгин, В.—Общественные теории XVIII века во Франции. «Книга для чтения по истории нашего времени», т. III, 1912, стр. 192—193.

Волгин, В.—Очерки по истории социализма. Изд. 3-е Гиз, 1926. Руссо, стр. 154—168.

Волгин, В.—История социалистических идей. Гиз, 1928, ч. I, стр. 221—228 и др. (по имен. указателю).

Диниловский, А.—Наш 200-летний современник (Ж. Ж. Руссо). «С. М.», 1912, № 9, стр. 234—243.

Засулич, В.—Жан Жак Руссо. Опыт характеристики общественных идей. Изд. «Новая Москва», 1923, стр. 146.

Рец И. Лушоло, «Под Знаменем Марксизма», 1923, № 2—3, стр. 255—257.

То же—в «Сборнике статей», Изд. Рутенберг, 1907, т. I.

То же—под псевдонимом—Карелин, Спб. 1850.

Засулич, В.—Письмо Плеханову. Сб. «Группа Освобождение Труда». Гиз, 1928, № 6, стр. 172—173, 196.

История философии в марксистском освещении. Составляли Б. Столпнер и П. Юшкевич, ч. I, изд. 2-е, доп., М. изд. «Мир», 1925, стр. 253—319. (Отрывки из В. Засулич, Роланд-Голст, Г. Кунова и Плеханова).

Нибовский, Н. И.—Мировоззрение Ж. Ж. Руссо. «Историко-философский сборник», под ред. Деборина, изд. Комм. Академии, М. 1928, стр. 152—184.

Когаи, И.—Очерки по истории западно-европейской литературы, изд. 9-е. Гиз, 1928.

Кунов, Г.—Социальная философия Руссо. «История философии в марксистском освещении», т. I, 2-е пересм. изд. «Мир», 1925, стр. 284—291.

Луначарский, А. В.—История западно-европейской литературы в ее важнейших моментах, Гиз, 1924, ч. II, стр. 23—24.

Луппол, И.—Дени Дидро, М., «Новая Москва», 1924.—Дидро и Руссо, стр. 66—90.

Маркс, К.—Капитал, т. I, изд. института К. Маркса и Ф. Энгельса, Гиз, 1923, стр. 739. (Цитаты из Руссо).

Маркс, К.—Ницше философии, Гиз, 1928. Библиотека марксиста, под ред. Л. Рязанова, стр. 26—27.

Маркс, К.—Еврейский вопрос (1843 г.). Маркс и Энгельс, Сочинения, изд. института К. Маркса и Ф. Энгельса, Гиз, 1923, т. I, стр. 409—410.

Маркс, К.—Передовица в № 179 «Кельнской газеты» (июнь 1842 г.). Маркс и Энгельс, Сочинения, т. I, изд. института К. Маркса и Ф. Энгельса, Гиз, 1923, стр. 174, 175.

Плеханов, Г.—История русской общественной мысли. Сочинения, т. XXII, стр. 10—11, 15, 141—142.

Плеханов, Г.—Руссо и его учение о происхождении неравенства между людьми. Сочинения, т. XVIII, стр. 1—36. (Впервые в «Современнике», 1912, № 9).

Плеханов, Г.—К. Маркс и Л. Толстой. Сочинения, т. XXIV, стр. 233. (Отвечает близость Толстого к Руссо), 131—1911.

Плеханов, Г.—к вопросу о развитии монистического взгляда на историю. Сочинения, Гиз, т. VII, стр. 136—141, 196.

Плеханов, Г.—Очерки по истории марксизма. Сочинения, Гиз, т. VIII, стр. 33, 44—46.

- Роланд-Гольст, Геннетта.—Жан Жак Руссо, его жизнь и сочинения. Пер. с нем. А. Острогорский. «Новая Москва», 1923, стр. 290.  
 Рец. И. Л.—«Под Знаменем Марксизма», 1923, № 10, стр. 271—273.  
 С.—Я.—Руссо. «Энциклопедия государства и права», т. III, стр. 777—782.  
 С.—Я.—Руссо и якобинская диктатура. «Революция права», 1924, № 2, стр. 21—56.  
 Фрнче, В.—Патриархальная идиллия. «Образование», 1902, № 7—8, стр. 1—3.  
 Фрнче, В.—Очерк развития западно-европейских литератур. Гиз, 1921.  
 Энгельс, Ф.—Анти-Дюринг. Пер. с нем., изд. 3-е, исправленное М. Е. Ладау. М., «Московский Рабочий», 1923, стр. 26, 29, 113, 114, 119, 159—161, 165, 209, 304.

#### IV. Руссо в оценке авторов немарксистов.

##### 1. Общие труды.

- Алексеев, А. С.—Этюды о Ж. Ж. Руссо. Т. I.—Руссо во Франции, М. 1861, стр. 350 + XX, т. II.—Связь политической доктрины Руссо с государственными формами Женевы, М. 1888.  
 Рец. 1) Зверев, Н.—«Ю. В.», 1884, № 8.  
 2) Комаровский, Л. А.—К литературе о Руссо, «Уч. Зап. М. Ун-та. Юр. отд., вып. 6, стр. 1—17.  
 Альбер, Ф. и Бейл, А.—Политические писатели XVIII в., пер. с франц. А. Кладо, изд. «Вестник Знания», 1907.  
 Биксман, И.—Ж. Ж. Руссо, «Современник», 1912, № 8, стр. 212—220.  
 Гейфдинг.—Ж. Ж. Руссо и его философия. Пер. с нем. Л. Давидов. СПб. Изд. журн. «Образование», 1906.  
 То же.—Изд. 1899.  
 Рец. 1) «Р. М.», 1899, № 9, 230—231.  
 2) «Журн. М.-ва Нар. Просв.», 1899, июль, стр. 273—275.  
 Грэхэм, Т.—Ж. Ж. Руссо. Изд. 2-е. М., изд. П. Н. Маракуева, 1918, стр. 249. 1-е изд. 1890, стр. 316.  
 Евгеньев, В.—Апостол свободы и социальной справедливости (Ж. Ж. Руссо), «Ж. д. В.», 1912, № 8, № 9.  
 Жуковский, Ю.—Исг. пол. лит. XIX ст., т. I, СПб., изд. Полякова, 1861, стр. 42—76.  
 Кареев, Н.—«История Западной Европы в новое время», СПб. 1893, т. II, стр. 189—211.  
 Мережковский, Д.—Руссо. «Русское Богатство», 1889, № 11, стр. 61—66.  
 Мечников, Л.—Ж. Ж. Руссо. «Дело», 1881, № 2 и 3.  
 Морлей, Дж.—Руссо. Пер. с последнего англ. изд. Б. Неведомского. М. изд. К. Солдатенкова, 1881, стр. 443.  
 Рец. 1) «В. Е.», 1882, № 2.  
 2) «Заграничн. Вестник», 1882, № 5, 61—64.  
 3) «Р. М.», 1882, № 4, стр. 8—11.  
 Острогорский, А.—Ж. Ж. Руссо. Его жизнь и литературная деятельность. «Ю. В.», 1892, № 5—6 (май—июнь), стр. 36—64; № 7—8, стр. 314—358; № 9, стр. 52—72.  
 Розанов, М.—Ж. Ж. Руссо и демократический идеал жизни. «Р. Б.», 1912, № 10, 47—55.  
 Стайрин, С.—Жизнь и деятельность Ж. Ж. Руссо. (О работах Морей и др.). «Дело», 1875, № 8, стр. 81—110; № 10, 1—25; № 11, 198—231; № 12, 108—110.  
 Шюке, А.—Ж. Ж. Руссо. Пер. П. Шаранов. М., изд. «Посредник», 1884, стр. 135.  
 Южак, С. Н.—Жан Жак Руссо. СПб., изд. Павленкова, 1894, стр. 79.

##### 2. Учение Руссо о государстве.

- Алексеев, А.—Этюды о Руссо, т. II, М. 1884.  
 Блюмчи, И.—История общего государственного права и политики в XVI в. до настоящего времени. Пер. Бакст, СПб. 1874, стр. 266—285.  
 Боровой, А.—История личной свободы во Франции; т. I.—Старый порядок и революция. М. 1910, гл. III. (Декларация прав человека и гражданина).  
 Бошко, В.—Очерки развития правовой мысли. Юрид. изд-во НКЮ, 1928, стр. 277—291.  
 Бутенко, В. А.—Французские политические теории XVIII века. «Курс для чтения по истории нового времени», т. III, 1912, стр. 163—174.  
 Виллер, Р.—Осуждение культуры и патриархальная демократия. См. «Общественные учения и исторические теории XVIII и XIX вв.», изд. 3-е, 1911, стр. 60—78.

- Герье, В.—Французский этик-социалист XVIII в. (Мабли), «Р. М.», 1883, XI, стр. 202—211.
- Герье, В.—Понятие о народе у Руссо. «Р. М.», 1882, № 5, стр. 104—157. № 8, стр. 195—225.
- То же—перепечатано в его «Идея народовластия и Французская революция 1789 г.», М. 1904, стр. 186—285.
- Герье, В.—Руссо. «Энциклопедический словарь», т. 53, стр. 348—363.
- Гессен, В. М.—Основы конституционного права, П. 1917 (Монтескье и Руссо, стр. 88—110).
- Гурвич, Георгий.—Руссо и декларация прав. П. 1918, стр. 100.
- Елликс, Г.—Декларация прав человека и гражданина. Пер. с нем., под ред. А. Борьса, М. 1905, стр. 81.
- Елликс, Г.—Общее учение о государстве. Пер. под ред. В. М. Гессена и Л. Шалянда, СПб. 1903.
- То же изд. 2-е, СПб. 1908.
- Кареев, Н.—Происхождение современного народноправового государства, СПб. 1908, стр. 108—119.
- Ковалевский, М.—Происхождение современной демократии, т. I, М. 1905, «Теория демократической монархии», стр. 612—658.
- То же.—3-е изд. «Просвещение», 1912 г.
- Ковалевский, М.—От прямого народовластия к представительному и от патриархальной монархии к парламентаризму. М. 1906; т. III. Гл. III—Теория прямого народовластия. Генезис основной доктрины Руссо и попытка восстановить содержание уничтоженного им общего «трактата о политических учреждениях», стр. 203—292.
- Ковалевский, М.—Общее конституционное право, СПб. 1908, т. I, стр. 241—278; ч. II, стр. 96—120.
- Ковалевский, М.—Руссо—гражданин Женевы. «Г. М.», 1913, № 1.
- Коркунов, Н.—История философии права, изд. 5-е, СПб. 1908, стр. 186—197.
- Кох, Г.—Очерки по истории политических идей и государственного управления. Пер. с нем. О. Нолькенштейн, под ред. З. Аладова. СПб., изд. Скирмунта, 1906, стр. 206—221.
- Марков, В.—Ж. Ж. Руссо и его общественно-политические воззрения. «З.», 1912, № 3, стр. 26—39.
- Мишель, Анри.—Идея государства. Пер. с 3-го изд., СПб. 1903.
- «Руссо и верховная власть народа», стр. 33—40.
- Новгородцев, П.—Учения нового времени XVI—XVIII, М. 1914, стр. 175—188.
- Новгородцев, П.—Кризис современного правосознания, М. 1909, стр. 391.
- Новгородцев, П.—Конспект к лекциям по истории философии права. М. 1909, стр. 156—169.
- Новгородцев, П.—Лекции по истории философии права. Учения нового времени. XIX—XX вв. М. 1918, стр. 142—152.
- Панов, В.—Политические идеи аббата Мабли. «Журн. М-ва Нар. Просв.», 1911, VII, стр. 77—78.
- Покровский, П. А.—Политическая доктрина Ж. Ж. Руссо в связи с общими принципами его учения. «Юрид. Записки», 1912, III, 332—355, IV, 546—566.
- Устинов, В. М.—Учение о народном представительстве, М. 1912, т. I, стр. 309—333.
- Фатеев, А.—Очерк развития индивидуалистических направлений в истории философии государства. X. 1907, ч. II, стр. 325—353; 413—418.
- Чичерин, Б.—Учение о народном представительстве, М. 1866, стр. 25—30.
- То же.—М. 1889.
- Чичерин, Б.—История политических учений, М. 1874, ч. III, стр. 126—167.
- Чичерин, Б.—Политические мыслители древнего и нового мира, М. 1897, том I, стр. 406—468.
- Шершеневич, Г.—История философии права, изд. 2-е, СПб., изд. Ф. Башмаковых, 1907, стр. 457—481.
- Эсмен, А.—Общие основания конституционного права. Пер. с франц., под ред. Н. Бер, изд. 2-е, СПб., изд. О. Поцовой, 1909.
- То же—под ред. М. Ковалевского, изд. К. Солдатовна, М. 1899.

### 3. Педагогические воззрения Руссо.

- А. Н.—Ж. Ж. Руссо и его «Эмиль». «Воспитание», 1860, № 6, 309—398; № 7, 3—18.

- Бахтин, Н.—Руссо и его педагогические воззрения. «Русская мысль» 1912, № 9.  
То же—отд. изд. 1913, стр. 84.  
Беймер, Г.—История педагогики. Пер. с нем., изд. 2-е, исправлен. изд., изд-ство Вольфа, 1913.—Локк и Руссо, стр. 64—71.  
Гёте, Франсуа.—История образования и воспитания. Пер. П. Перлова, М. Б. стр. 178—237.  
Гольцев, В. А.—Взгляды Руссо и энциклопедистов на воспитание. Сб. «Воспитание, нравственность и право», М. 1897.  
Демков, Ж.—Педагогика (педагогическая хрестоматия), М. 1911, с. 110—124 (отрывки).  
Елачич, Е.—Ж. Ж. Руссо о баснях. См. его сборник статей по вопросам детского чтения, Сб. 1914.  
Золотарев, С. А.—Очерки по истории педагогики на Западе и в России. Изд. 2-е, Волог. Гиз, 1922, стр. 52—66.  
Компьебре.—Руссо и естественное воспитание, Сб. 1903.  
Красновский, А. А.—Ж. Ж. Руссо. Сб. «Очерки по истории педагогических учений», М. изд. «Польза», 1911, стр. 102—119.  
Кревин, А.—Педагогические идеи Л. Толстого и Ж. Ж. Руссо. «Пед. Листок», 1913, № 3.  
Мартынов, А.—Институт Ж. Ж. Руссо, «Вестник Воспитания», 1913, № 1.  
Медвильский, Е.—История педагогики в связи с экономическим развитием общества. М. «Работник Просвещения», 1921, т. II (Руссо).  
Моиро, П.—История педагогики, ч. II, пер. под ред. Н. Д. Виноградова, М., изд. «Мир», 1911, стр. 180—214.  
Пинкевич, А.—История педагогики. Изд. «Пролетарий», 1927, с. 125—135.  
Подасу Мисава.—Ж. Ж. Руссо. «Своб. Воспитание», 1912, № 10.  
Раумер, К.—История воспитания и учения, Сб. 1878, ч. II.  
Соловьев, И.—Руссо и современная педагогика. «Вестник Воспитания» 1912, № 6.  
Формель, Г.—Анти-Эмил или опровержение Руссова образа воспитания и мыслей. Пер. с франц. ки. Енгальцева, М. 1797.  
Фортунатов, А.—Теория трудовой школы в ее историческом развитии. Ч. I, М. изд. «Мир», 1926, стр. 85—104.  
Циглер, Т.—История педологии, пер. под ред. С. А. Афанасьева, изд. «Трудник», 1911, стр. 253—270.  
Цингер, А.—Двухвековая годовщина рождения Руссо в Женеве. «В. В.» 1912, № 3.  
Шмидт, К.—История педагогики. Пер. Циммермана, М., изд. Соловьева, 1880, т. III.

#### 4. Руссо и его влияние на литературу.

- Де-ля Барт, Ф.—Шатобриан и поэтика мировой скорби во Франции в XVII и в начале XIX ст., К. 1905. (О Руссо).  
Де-ля Барт, Ф.—Литературное движение на Западе в первой трети XIX ст., М. 1914 (Влияние Руссо).  
Батюшков, Ф. Д.—Накануне XIX ст., стр. 52—62. «История западной литературы» под ред. Ф. Батюшкова, т. I, изд. «Мир».  
Брайдес, Г.—Собр. сочин., пер. с датского, под ред. М. В. Лучинской, Киев, изд. Фукса, стр. 28—32.  
То же—изд. 2-е, Сб. 1908.  
Веселовский, Алексей.—Французская литература XVIII ст. См. т. I. Всеобщая история литературы, под ред. В. Корня, Сб. 1892, стр. 51—67, II. Веселовский, Алексей.—Инд. См. его «Этюды и характеристики», доп. изд. М. 1903, стр. 164—168, 195—197, 218—219 и др.  
Геттнер, Г.—История всеобщей литературы XVIII в., т. II.—Французская литература в XVIII в., пер. А. Пышина, изд. 2-е, Сб., изд. О. Поповой, 1895, стр. 314—374.  
Зотов, В.—История всемирной литературы, Сб.—М. 1881, т. II, с. 231—246.  
Котляревский, Н.—Мировая скорбь, Сб. 1898, стр. 1—42.  
То же—2-е испр. изд., 1910.  
Лансон, Г.—История французской литературы, пер. с 2-го франц. изд. М. 1898, стр. 178—216.  
Розанов, М. Н.—Д. Г. Байрон. «История западной литературы», т. I, изд. «Мир», 1913, стр. 26—29 (Влияние Руссо).

Розанов, М.-Ж. Ж. Руссо и литературное движение конца XVIII и XIX вв. Очерки по истории руссизма на Западе и в России. М. 1910, т. I, стр. 559.

Спасомиц, Н. Д.—Баптон и некоторые его предшественники. Соч., т. II, Спб. 1889, стр. 1—103.

### 5. Руссо и религия.

Вальфигус, А. Г.—Очерки по истории идеи веротерпимости и религиозной свободы в XVIII в. Вольтер, Монтескье, Руссо. 1911 г. Об этой книге см.: П. Э. Гримм. — «Журн. М.-ва Нар. Просв.», 1912, № 2, и отв. там же № 3; 2) Н. Кареев. Отношения между политикой и религией у философов XVIII в. «Русс. Бог.», 1911, № 11, стр. 1—17.

Кожеников, В. А.—Философия чувства и веры в ее отношениях к литературе и рационализму XVIII в., и критическая философия, М. 1907, ч. I.

Котляревский, С.—Гражданская религия Руссо. «Вопросы философии и психологии», 1910, кн. 102, стр. 180—197.

Озар, А.—Кульг разума и культ верховного существа во время Французск. революции 1793—1794, пер. Е. Коц и А. Карасика. Л. изд. «Сеятель», 1925, стр. 161—172 (Робеспьер о Руссо).

Розанов, М. Н.—Религиозные течения в эпоху революции. «Книга для чтения по истории нового времени», М. 1912, т. III, стр. 551—554.

### 6. Влияние Руссо на русскую общественную мысль.

Буллич, Н. П. С. Потемкин «Русская Старина», 1872, № 2, стр. 346.

Буткевич, Т.—Борьба с французским волюнтаризмом XVIII в. «Вера и Разум», 1899, т. I, ч. 1, стр. 310—312.

Вeselовский, Алексей.—Западное влияние в новой русской литературе. Изд. 5-е, значительно доп., М. 1916 (о Руссо см. по имен. указат.).

К.—Ж. Ж. Руссо и Беловежская пуща. «День», 1864, № 44.

Карамзин, Н.—Печти о науках, искусствах и просвещении. «Аглая», М. 1794, т. 33 и др.

То же.—Избр. сочин., под ред. Л. Поливанова.

Кобяко, Д. Екатерина II и Ж. Ж. Руссо. «Исторический Вестник», 1883, июнь, стр. 603—617.

Крыжичкий, Г.—Влияние Руссо на Аблесимова. «Известия II отд. Акад. Наук», 1917, II.

Майков, П.—И. И. Бецкой, Спб. 1904 (по указ. имен).

Неледенев, А.—Литературные направления в Екатерининскую эпоху, Спб. 1889, стр. 116—128.

Орлов, Г.—Письмо к Руссо (с просьбой поселиться в России). «Русский Архив», 1869, № 3, стр. 582—583.

Павлов-Сильванский, Н. П.—Материалисты двадцатых годов. «Былое», 1907, № 7, стр. 88—123.

То же в его очерках по русской истории XVIII—XIX вв.

Резанов, В. Из размышлений о Жуковском, П. 1916, вып. II (по указ.).

Сакунли, И.—История новой русской литературы, М. 1919, стр. 114—116.

Сакунли, И.—Русская литература и социализм, 2-е изд. Гиз, М. 1924 (по указ.).

Семеновский, В. И.—Политические и общественные идеи декабристов, Спб. 1909 (См. по указателю имен).

Сиповский, Карамзин—автор «Писем русского путешественника», 1890, стр. 32, 78, 85, 339 и др.

Сиповский, В.—Очерки из истории русского романа, Спб., т. I, вып. 1, 1909, вып. II, 1910 (по указ. имен).

Сиповский, В.—Из истории русской мысли XVIII—XIX вв. «Голос минувшего», 1914, № 1, 105—131.

Архив братьев Тургеневых. Под ред. Е. Тарасова, Спб., т. I, т. II, 1911; т. III, 1913 г. (см. по указ. имен).

### 7. Толстой и Руссо.

Адрес Толстовского общества обществу Ж. Ж. Руссо и ответы на него. Толстовский ежегодник, М. 1912, стр. 176—178.

Андреевич.—Л. Н. Толстой, 2-е изд., 1905, стр. 264. (Сюда вошел также его биографический очерк о Толстом в изд. Павленкова), стр. 26—32, 84—89, 111—163.

См. реч. Е. Чарского, «Правда», 1906, 1.

Бейруби, И.—Толстой—продолжатель Руссо. Пер. с франц. Толстовский ежегодник, М. 1912.

Бирюков, П.—Биография Толстого, М. 1911, т. I.

- То же—Берлин, 1921.  
Волкова, А. И.—Воспоминания, дневник и статьи. Под ред. Ч. И.ского-Чешинина, 1913, стр. 147.  
Головин, К.—Русский роман и русское общество. СПб. 1897, ч. IV, Дивильковский, А.—Толстой и Руссо, «В. Е.», 1912, № 6, стр. 7 № 7, стр. 125—153.  
Днепров, Ив.—Толстой и Руссо, «Русское Слово», 1912, № от 15 и Ковалевский, М.—Можно ли считать Толстого продолжателем «Вестник Европы», 1913, № 6, 343—352.  
Кревин, Э. П.—Педагогические идеи Л. Н. Толстого и Ж. Ж. Руссо дагогический листок», 1913, III, 169—186.  
Плеханов, Г.—К. Маркс и Л. Толстой. Соч., т. XXIV, стр. 233.  
Розанов, М. Н.—Ж. Ж. Руссо и его международное значение. «Ведомости», 1912, № от 15 июня.  
Розанов, М. Н.—Руссо и Толстой. Приложение к «Отчету о деятельности Академии Наук СССР за 1927 г.», Л. 1928, изд-ство Академии Наук.  
То же—отд. оттиск, 1928, стр. 22.  
Соловьев, Е.—Гр. Л. Н. Толстой. Изд. Павленкова, 2-е изд. 1897, гд и нехлюдовщина.  
Толстой, Л. Н.—Письма под ред. Н. Сергеевко, 1911 г., т. I, № 3; № 458, 469; т. III, М. 1912, № 171.  
Толстой и Руссо. «За 7 дней», 1912, № 27, стр. 689—691, 700.  
Толстой, С. Л.—Общество имени Ж. Ж. Руссо в Женеве. «Толстой ежегодник», М. 1912, стр. 165—169.  
Цертелев, Д. Н.—Нравственная философия Л. Н. Толстого. М. 1920, То же—2-е доп. изд., М. 1898, гл. VII.  
Цингер, А. В.—На женевских торжествах в память Руссо. «Толстой ежегодник», М. 1912, стр. 170—175.  
Эйхенбаум, Б.—Молодой Толстой, Берлин 1922

#### V. Разные.

- Алексеев, А. С.—Мирозерпание Руссо и его учение о красоте «Ю. В.», 1882, № 1, 3—26; № 2, 222—243.  
Блан, Луи—История Великой Французской революции, пер. М. Анто т. I, СПб. 1871, стр. 329—334.  
То же—изд. 1907 и др.  
Бокадоров, Н. К.—Очерк критических суждений о Руссо. «Ж. В. 1898, окт., стр. 1—52; 1899, январь, 53—80; 1901, март, 81—113.  
Булгаков, Ф.—Ж. Ж. Руссо по новым данным. П. 1885, № 24.  
В.—Три анекдота о Руссо. «Приятное и полезное», 1795, ч. V, 385—388, 11—к, П.—Нечто о кончине Руссо. «Новости русской литературы», 1802, стр. 113—120.  
Виндельбандт, В.—История новой философии в ее связи с общественной и отдельными науками. Пер. под ред. А. И. Введенского, т. I, СПб. стр. 349—357.  
Вульфius, А. Г.—Основные проблемы эпохи Просвещения. Изд. 4 и школы», 1924, стр. 109.  
Герцен, А.—Сочинения, 1919, т. III. Дневник (1843 г.), стр. 130; т. V, стр. 452, 454—455, 457—460, 481.  
Гейфдинг—Учебник истории новой философии. Гиз. 1924, стр. 102.  
Гейсер—История Франц. революции. Пер. под ред. А. Травецкого, из СПб. 1897, стр. 32—39.  
Гийо, А.—Влияние Ж. Ж. Руссо на женщин. «Запросы жизни», 1912, Дидро, Дени—Систематическое опровержение произведения Гей «Человек». См. «Избранные соч.», т. II, под ред. А. Деборина. Гиз. М. 1926, (в именному указателю).  
Дюринг, Е.—Великие люди в литературе. Пер. с нем. Ю. Антошки СПб., изд. О. Н. Поповой, 1897, стр. 270—352.  
Иванов, Ив.—Сен-Симон и сен-симонизм, М. 1901. О Руссо, стр. 38—41.  
Иванов, И.—Политическая роль французского театра в связи с фней XVIII в., М. 1895.  
Историческая хрестоматия. Составил В. Покровский, вып. VI, М. 188, стр. 64—85, 186—236.  
См. Шерр, Франц. литература освобождения XVII и XVIII вв.  
Шлоссер.—Руссо  
Веселовский.—Новая Элоиза Руссо.  
Чичерин.—Общественный договор.  
Шмидт.—Эмиль Руссо.

- Розенкранц.—Руссо и Вольтер.  
Кареев, Н.—Вступительная ст. к русск. пер. «О влиянии наук на нравы» Руссо, СПб., изд. «Светоч», 1908, стр. 1—16.  
Кареев, Н.—Изучение Французской революции вне Франции, Л., «Колос», 1924. (См. по указателю имен).  
Карлейль, Т.—Герон и героическое в истории. Пер. с англ. В. И. Яковенко, СПб. 1891, изд. Ф. Павленкова, стр. 259—264.  
Коналевский, М.—Новые данные о Жане Жаке Руссо. Сб. «Помощь евреям, пострадавшим от неурожая», 1901, СПб., стр. 69—76.  
(Лопухин, И. В.)—Отрывки сочинения одного старинного судьи. «Друг юношества», 1808, октябрь.  
То же—отд. изд. с прибавлением замечаний того же автора на «Известную книгу Руссо», М. 1809 (автор не указан, см. Гениади «Справочн. слов.» о русск. писателях и ученых), Берлин 1876, II, стр. 259.  
Малиновский, А.—Рассуждение о начале и основании гражданских обществ, заключающее в себе убедительные исследования, вопреки Ж. Ж. Руссо, М. 1787.  
Маргерит, В.—Жан Жак и любовь. Изд. «Соврем. Проблемы», М. 1927, стр. 244.  
Мерсье.—Руссо в Тюльери. «Вестник Европы», 1802, ч. I, № 1, стр. 45—47.  
Михайлов, А.—Ж. Ж. Руссо, «Женск. вестник», 1867, № 8, 129—144; № 9, 139—156.  
Михайловский, Н.—Рец. на собр. соч. Руссо, т. I, вып. I и II. Соч., СПб. 1913, т. X, стр. 710—711, 735—736.  
Михайловский, Н.—О диалектическом развитии и тройственных формулах прогресса. Соч., т. VII, 1909, стр. 766—778.  
Морлей, Дж.—Вольтер. Пер. с 4-го англ. изд., под ред. А. И. Кирпичникова, М. 1889.  
Овсяннико-Куликовский, Д.—Из этюдов по психологии оптимизма и пессимизма (Ж. Ж. Руссо). «Вестн. Европы», 1915, XI, 127—149; 1916, т. I, 113—130.  
П—ва, А.—Ж. Ж. Руссо (по отзывам нынешних французов). «Рус. Мысль», 1890, № 6, стр. 113—131.  
Петров, Е.—Нынешние труды по истории идейной жизни XVIII в. В сб. № 1 «Россия и Запад», под ред. А. И. Заолерского, II, изд. «Академия», 1923, стр. 184—189. (О франц. исследовании Массона о религиозных воззрениях Руссо).  
Писарев, Д. И.—Популяризаторы отрицательных доктрин. Соч., изд. 3-е, 1903, т. V, 499—507.  
Попов, И. Л.—Ж. Ж. Руссо—космополит. В сб. «Из далекого и близкого прошлого», М. 1923, стр. 156—166. Сб. памяти Кареева.  
Радлов, Э.—Отношение Вольтера к Руссо. «В. Ф. П.», 1890, № 2.  
Святловский, В.—История социализма. Изд. 2-е, доп., П., «Начатки знания», 1924, стр. 81—84.  
Сюдра, А.—История коммунизма. Пер. с франц., 1870 (Руссо, стр. 198—211).  
Тредьяковский—Сочин., изд. Смирдина, т. I, стр. 539—541.  
Тэн, И.—Происхождение современной Франции. Пер. под ред. А. В. Швыркова, СПб. 1907, т. I.  
То же—СПб. 1880.  
То же—изд. Широжкова, СПб. 1907.  
То же—изд. «Витского Т-ва», СПб. 1906.  
Фалькенберг, Р.—История новой философии. Пер. под ред. Д. В. Викторовой, М. 1910. «Борьба Руссо против просвещения», стр. 211—216.  
Фонвизин—Сочин., 1886, т. I. (Речь Рейхеля против Руссо, «Письмо к Павлину», стр. 339, 341, 342, «Письма к родным», 427, 436, 438, 442, 444, 445).  
Чернышевский, Н.—Дневник. Литературное наследие. Гиз, 1928, см. стр. 744.  
Чернышевский, Н.—Сочиния, т. II, 1906, стр. 342.  
Шахов, А.—Вольтер и его время, СПб. 1907 (стр. 311—319 о Руссо).  
Шерр, И.—Иллюстрированная всеобщая история литературы. Пер. П. Вейнберга, М. 1896, т. I. Вольтер и Руссо, стр. 268—282.  
Шоссер, Ф.—Всемирная история, пер. Н. Г. Ч., под ред. В. Зайцева, СПб. 1868, т. XVI, стр. 156—168, т. XVII, стр. 84—87.  
Где покоятся останки Жана Жака Руссо. «Вестн. Иностр. Лит.», 1897, № 12, стр. 256—260.  
Вскрытие гробницы Вольтера и Руссо. «Вестн. Иностр. Лит.», 1898, № 1, стр. 309—311.  
Изв. о книге: отборные места Руссо. «И то и сь», 1769.  
Гробницы Вольтера и Руссо. «Журнал журналов и энциклопедическое обозрение», 1898, стр. 308—312.

Путешествие на остров товолей или посещение гроба Ж. Ж. Руссо. Ж. Ж. Руссо и растения. «Вестн. Иностр. Лит.», 1907, № 7, стр. 272—275.  
 Ученица Жан Жака Руссо. «Вестн. Иностр. Лит.», 1879, № 2, стр. 281—28.  
 Бюффон и Руссо. «Вестн. Европы», 1802, ч. II, стр. 339—343.  
 Вольтер, Руссо и Рамбаль и Парижское народное собрание. «Полит. вестн.», 1791, ч. VI.  
 Руссо во поддуржество в Париже. «Полит. журнал», 1791, стр. 1067—109.  
 Примечания на письмо Руссо к Вольтеру. «Собрание лучших сочин.», 1762, ч. IV.  
 Жертва тени Ж. Ж. Руссо, пер. с франц. «Новости русск. лит.», 1804, ч. II.  
 Знакомство с Жан Жаком Руссо. «Вестник Европы», 1803, ч. XII.

Я. РОЗАНОВ

**А. СТОЛЯРОВ.** Дialectический материализм и механистич. Наши философские разногласия. 1928. «Прибой».

Современная философская дискуссия, привлекающая внимание больших и больших кругов учащейся молодежи, ученых, партийной общественности, должна стать предметом серьезного, внимательного изучения. Дело механистов проиграно окончательно и бесповоротно. Новая книга И. И. Степанова, не содержащая ничего нового по существу, рассчитанная на любителей крепких слов. Л. И. Аксельрод в своей новой книге под флагом «защиты диалектического материализма» покидает последние позиции механистического материализма. Вождь механистов иряд ли можно переделать — маневры, подержками, «истолкованиями» Ленина, отступлениями под маской нападения и критики они достаточно зарекомендовали себя за 4½ года войны. Но наша учащаяся молодежь, наши научные работники, наконец, широкая партийная общественность, должны взяться за терпеливое и внимательное изучение современной борьбы в философии, должны разобораться в сложившихся вопросах дискуссии, и потребность раз'яснительной, «популярной» литературы по вопросам борьбы с механистич., несомненно, излечена.

Книга тов. Столярова удовлетворяет эту потребность. Книга же претендует на значение научно-исследовательской работы. Задача автора, и он сам говорит в предисловии, проще — в популярной, по возможности форме дать картину существующих ныне и марксистской среде разногласий между диалектиками-ортодоксами, с одной стороны, и механистами и различными философскими ревизионистами, — с другой. «Наша задача — разоблачить антимарксистскую, антиленинскую сущность методологической позиции механистов, релятивистов и фрейдистов, — разоблачить перед лицом более или менее широких масс, отнюдь не считающих философию своею «специальностью», но хотя бы чуточку знакомых с основными диалектическими положениями материализма. Прежде всего автор имеет при этом и виду нашу партийную и нашу пролетарскую молодежь». Надо сказать, что автору в общей задаче вполне удалась.

Автор начинает с выяснения вопроса о связи между философией и классовой борьбой. Область философии является теоретически «командным участком» в науке, самой высокой «командной высотой» среди команд высот теории. И если вообще «без революционной теории не может быть революционной практики», то эту «командную высоту» теории борьбы пролетариат не может оставить вне поля своего внимания.

Внесение идейной сумятицы в ряды революционного пролетариата — неизбежная форма «идейного сопротивления» буржуазии, сознательного или бессознательного, преднамеренного или непроизвольного. Отсюда вытекает и то, что в борьбе за мировоззрение марксизма и ленинизма важнейшей формой нашего отпора буржуазии является борьба с теоретическими ошибками и уклонами в нашей собственной среде. В момент, когда револю-



разбила старые представления и старые ценности, а новые законченные, твердые, положительные представления, навыки и пр. еще не оформились, сопротивление прагматичных пролетариату слоев не может не отражаться в области идеологии.

Борьба за о с н о в ы марксизма становится жизненной особенно тогда, когда буржуазная ученая среда «мешает шепт» и так или иначе «принимлет марксизм», ставший государственной идеологией СССР.

Но ученые, «принимлющие марксизм», но не продумавшие философию марксизма, не перенаринившие его методологических о с н о в, могут вносить некоторые теоретические колебания в наши собственные ряды. Отсюда необходимость решительного идейного размежевания со всеми теми, кто делает малейшую уступку, кто провозглашает малейшую нерешительность в борьбе за революционное содержание диалектического материализма. Стоит допустить одну «маленькую» неясность, стоит сделать в одном «частном» вопросе уступочку, стоит настаивать на «одной» «частной» ошибке,—как из одной частной ошибки «вырастает» целая теория, стоящая «по ту сторону» баррикад и направленная полностью против марксизма. «Случай» с Д. И. Аксельрод в этом отношении чрезвычайно показатель.

Тов. Столяров подробно излагает «философию» механистов об «отрицании философии», доказывая антимарксистскую сущность взглядов Боричевского, Степанова, Тимирязева и К<sup>т</sup>. Уже простой перечень глав показывает, как можно ознакомиться с книгой всякому, желающему ознакомиться с титрами современной философской дискуссии. Специальные главы книги посвящены следующим проблемам: «качество и количество в понимании механистов», «проблема сведения», «механическое понимание материи и движения», «единство противоположностей в понимании механистов», «случайность и необходимость», «субъективизм и «релятивизм», «фрейдизм» и «фрейд-марксизм».

Если подытожить все ошибки, все отклонения от диалектического материализма, которые характерны для мировоззрения иших механистов, то их можно свести к следующим пунктам:

- 1) отождествление всякого изменения, всякого движения в природе и в обществе с механическим движением, с перемещением в пространстве;
- 2) сведение всех качественных различий к чисто-количественным комбинациям однородных «бескачественных» частиц, своего рода «первоматерии», непонимание необходимости методологического обоснования естествознания путем сознательного применения материалистической диалектики;
- 3) отрицание в связи с этим объективного характера качеств;
- 4) одностороннее понимание основной задачи науки, как задачи «сведения сложного к простому» (например, общественных явлений к биологическим, а в последнем счете и к механическим, и т. д.);
- 5) замена «количественно-качественного» развития чисто количественным, «непрерывным» р о с т о м, отрицание «с к а ч к а», переход от диалектики к плоскому диалогизму;
- 6) односторонне-механическое понимание причинности и, в связи с этим, отрицание объективного значения категории «случайности», как частного случая необходимости и пр.

В итоге, мы имеем дело с отходом от диалектического материализма во всей линии. Освещая перечисленные проблемы, тов. Столяров привлекает большой документальный материал. Популярное изложение делает книгу доступной самым широким слоям нашей учащейся молодежи. В борьбе против «бывовальщины» и «беспартийности» в идеологии, в борьбе против современного ревизионизма книга, несомненно, принесет пользу.

Г.

## Критика буржуазной экономики.

И. Г. БЛЮМИН. Субъективная школа в политической экономии. Словен М. Н. Смит. Том I. Австрийская и англо-американская в стр. 334. Том II. Математическая школа, стр. 352. Москва. Изд. Коммунистическое, 1928 г.

Марксистская политическая экономия переходит от обороны к плению на цитадели современной буржуазной экономической науки. Каутский в «Анти-Бернштейне» и Гильфердинг в «Бем-Баверк как критике Маркса» блестяще парировали критические удары врагов социализма, то Бухарин «Политической экономией рантье» открыл разбитый фронт наступательной борьбы на буржуазную политическую экономическую. В этом труде Бухарин дал не только образец критики: типических конструкций австрийской школы, но и доказал жизненную необходимость для пролетариата теоретической борьбы с врагами доктринального марксизма.

С того момента, когда Бухарин слушал лекции Бем-Баверка и чувствовал против него свое критическое оружие, вождей австрийской школы: Баверк, Визер и Менгер успели покончить счеты с нашей эра вместе с ними окончился и триумф австрийской школы. За эти годы буржуазной экономии изменилось настолько, что критика теорий представляется полезной в ее чистом виде уже не может рассматриваться, как критика современной буржуазной экономии, ее наиболее характерных талантливых представителей.

Вот почему нельзя не приветствовать усилившийся за последнее время интерес наших экономистов к критической работе над новейшими течениями в политической экономии. Об этом интересе свидетельствует появившийся в журнале «Советские экономисты на Западе», а также ряд научных статей, посвященных разбору теорий Оппенгеймера, Лангмана, Касселя и др.

Однако все эти работы не более чем этюды, посвященные отдельным авторам, и, если даже собрать их вместе, то вряд ли мы получим исчерпывающее представление об общем состоянии современной буржуазной экономики и ее теоретических ошибках и социальных корнях.

Капитальный двухтомный труд Блюмина как раз и восполняет этот пробел, ибо он дает общую характеристику современной буржуазной экономии, ее социологическое обоснование и логическую критику основных, наиболее крупных ее представителей. Хотя отдельные главы представляют очерки, однако они тесно связаны друг с другом, и перед читателем в каждом новом очерке разворачиваются разные стороны единого обширного полотна, в целом чрезвычайно интересного и написанного несомненно, талантливой рукой.

Труд Блюмина не для легкого чтения: его нужно изучать, что и предлагается, студировать, тому читателю, который впервые знакомится с материалом критического анализа автора. Однако строгая научность и объективность работы Блюмина имеет и свою обратную сторону: он оперирует с теориями буржуазных экономистов с таким же хладнокровием и беспристрастием, с какими химик разлагает вещество на элементы или биолог классифицирует виды. Читатель не видит перед собой живых людей, для которых теория, по существу, есть не что иное, как оружие их классовой борьбы, как «научная» защита буржуазного строя.

В этом отношении бесполезно было бы вспомнить о таких, внешне классических образцах марксистской критики, как «Анти-Дюринг» Энгельса, «Нищета философии» Маркса или «Сен-Симон и современные социалисты» Ленина.

Конечно, когда, по Бем-Баверку, прибыль создается временем, а не трудом, когда, по Вальрасу, рабочий ничем не отличается от капиталиста, ибо он владеет «личным капиталом», когда, по Госсену и Лифманну, меновое хозяйство трактуется, как самая идеальная общественная форма, когда в «динамическом» капиталистическом хозяйстве Кларка в условиях равновесия вообще исчезает прибыль, когда труд рабочего отождествляется с трудом рабочего скота и тем самым оправдывается модернизированная рабовладельческая психология, тогда, конечно, нашим долгом является не просто опровержение подобных «теорий», но широкое общественное разоблачение и бичевание подобного рода «теоретиков». Но для этого необходимо разобраться в той сложной паутине, которую плетет современная буржуазная экономия и дать прежде всего научный анализ этих теорий. Такой анализ дает труд Блюмина, к разбору которого мы переходим.

\* \* \*

Работа Блюмина охватывает «субъективную школу в политической экономии», но не всю современную экономию. Вне поля зрения автора остается объективная школа буржуазной экономики, следовательно, прежде всего продолжательница исторической школы в Германии, так наз. «социально-организмическая или правовая школа» во главе с Штаммлером, Штольцманом, Дилем, а также некоторые стоящие особняком авторы, как Оппенгеймер, Аммон, Шпанни и др. В понятие «субъективной школы» автор вкладывает довольно обширное содержание. Здесь объединены австрийцы, группа Маршалля и Кларка, которую автор условно называет «англо-американской школой» (I том), и группа Вальраса, которая квалифицируется, как «математическая школа», с ее предшественниками (II том).

Но что такое субъективизм? Счевидно, под субъективизмом мы понимаем методологическую характеристику теоретического направления. Субъективной школой будет та школа, которая сама выдвигает субъективный метод, т.е. восхождение в абстрактном анализе от субъекта к объекту, следовательно, когда в основу кладется субъективная мотивация, а не объективная лимитация (Зомбарт).

Но и для объективной школы отнюдь не закрыты пути к анализу мотиваций: важно лишь, чтобы основным методом, дающим объяснение экономическим категориям, был объективный метод.

С другой стороны, только та школа, которая стремится дать казуальное объяснение экономическим феноменам, исходя из субъекта, может считаться субъективной школой. С этой точки зрения к субъективной школе могут быть отнесены только австрийцы, а также Госсен и Лифманн. То, что развертывание экономической системы на основе субъективного метода приводит к банкротству этого последнего, ни в коей мере не затрагивает характеристики этой школы, как субъективной. Важно лишь то, что эта школа поставила своей целью построение монистической теории на основе субъективизма.

В отличие от австрийцев, все те экономисты, которые выдвигают, как принцип, эклектизм, соединение объективного и субъективного метода в вульгарной теории спроса и предложения, не могут быть отнесены к субъективной школе. Это, если хотите, эклектическая или просто вульгарная школа, ибо она, вращаясь на поверхности явлений, даже и не стремится построить монистическую систему, которая бы сводила все явления к причинной зависимости от одного фактора (труда или полезности в объективном или субъективном смысле).

И именно такими сознательными эклектиками является большинство тех авторов, которые отнесены к англо-американскому и математическому направлениям «субъективной школы». Возьмем пару иллюстраций.

Можно ли считать Кларка и его единомышленника Зеллигмана субъективистами, коль скоро и тот, и другой подчеркивают важность социальных моментов ценности, а последний даже видит основным грехом классиков и Джевонса в индивидуалистическом подходе к решению проблемы ценности? Если ценность, по Кларку, зависит от спроса и предложения, а спрос лишь частично зависит от уровня потребностей, разве это можно назвать субъективизмом? Это явная вульгарщина, эклектизм, но отнюдь не субъективизм, как монистическая теория. И когда сам автор заявляет, что «в центральном вопросе теоретической экономики Кларк не стоит на строго производственной точке зрения (т. I, стр. 187), то разве можно сделать отсюда обратный вывод, что Кларк «строго» стоит на потребительски индивидуалистической точке зрения? Конечно, нет, и Блюмин правильно указывает (т. I, стр. 189), что Кларку присущ дуализм, что он лишь «не порвал с основными принципами субъективизма», в то время как австрийцы целиком держатся за эти принципы и, худо же хорошо ли, но все же пытаются построить субъективно-монистическую систему. И если Кларк говорит о полезности, то ведь эта полезность звучит у него не так, как у Бема и Менгера, ибо в своем «Distribution» он утверждает, что «вещи продаются соответственно их предельной полезности, а это—их предельная полезность для общества» (р. 215), при чем последняя, т.-е. социальное содержание полезности, подчеркнуто самими авторами.

То же, и еще более определенное, говорит и Зеллигман, а также и Маршалл, и опять-таки сам Блюмин признает, что «формула американских экономистов представляет из себя открытый разрыв с положением о примате индивидуального потребления» (т. I, стр. 222). А раз так, почему же так наз. англо-американская школа является субъективной школой?

Так же обстоит дело и с так наз. математиками. Начнем с классика, возьмем, например, Парето, который, по мнению автора, выражает в наиболее отчетливой форме идеологию «математиков», и его теория квалифицируется, «как исправленная, очищенная и теоретически обобщенная теория» главы этого направления—Вальраса (т. II, стр. 323).

Но какие принципы провозглашает Парето? Отказ от причинного объяснения ценности, возведение в принцип эклектизма и, наконец, решительный разрыв с предельной полезностью, как базисом экономической теории (т. II, стр. 321). Он начинает прямо с менового хозяйства, отбрасывает всю теорию об обмене излишками, прямо вводит в анализ деньги, издержки производства и даже включает сюда влияние капиталистической монополии. И разве его рассуждения о метафизичности ценности не являются прототипом нашего нигилизма нашего знаменитого Струве, но никак не теории Бем-Баверка, который категорию ценности кладет во главу угла всей системы.

Лишь по форме изложения, но не по существу, Вальрас и Кассель отличаются от экспансивного итальянца Парето: т. Блюмин правильно квалифицирует теорию Вальраса—Касселя, как «весьма интересную комбинацию из теории спроса-предложения и издержек производства» (т. I, стр. 308).

Лишь Джевонс из всей этой группы может быть (и то с натяжкой) отнесен к субъективистам, поскольку в его формуле пропорциональности предельных полезностей и трудовых затрат и те, и другие выступают, как субъективные, а потому и сравнимые категории (в отличие от формул

Туган-Барановского, у которого труд фигурирует в объективном, а полезность в субъективном смысле).

Что же касается собственно математиков, вождей этого направления, то все они, с нашей точки зрения, представляют не что иное, как неовульгаризм. Их теория по существу есть переработанное и запутанное издание старой теории спроса-предложения. Но последняя не идеична субъективизму, который тем именно и характерен, что он пытается отыскать основание ценности вне спроса-предложения.

И сам автор уничтожил *raison d'être* своей классификации в следующих словах: «Это различие (австрийцев и классиков.—З. А.) связано с основной тенденцией австрийцев дать законченную и строго последовательную теорию цен. Новейшие субъективисты отвергают эту тенденцию. Они стоят на той позиции, что цена всегда зависит от цен и что никакого спасения от этого круга нет. Задача экономиста сводится лишь к выяснению взаимозависимости, существующей между различными категориями» (т. II, стр. 311). Именно поэтому «субъективисты» автора и не являются субъективистами, но, повторяем, открытыми, принципиальными стопроцентными эклектиками.

Итак, мы не соглашаемся с классификацией теорий Блюмина. Последняя имеет еще один дефект. Так наз. представителей «непоследовательного субъективизма» автор делит на «англо-американскую» и «математическую школу», а к последовательным субъективистам относит «австрийцев». Классификационный признак здесь явно не выдержан, ибо в одном случае теория квалифицируется по национальным или географическим признакам («англо-американцы», «австрийцы»), а в другом — по методу («математическая»). Одно из двух: либо методологическая, либо «географическая» квалификация. Если уже квалифицировать теоретиков по одной методологической черте—объективизм или субъективизм, то целесообразнее, пожалуй, было бы вместо трехчленной классификации одной «субъективной школы» говорить о трехчленной классификации во всей современной буржуазной политической экономии, а именно: 1) объективная, 2) субъективная и 3) эклектическая школы. К первой относится штаммлеровское направление, ко второй—австрийцы, Лифманы и Госсен и к третьей—все прочие—«англо-американцы», «математики» и такие «одиночки», как Дитцель, Туган-Барановский, Франк, Оппенгеймер. Конечно, внутри третьего направления могут быть намечены и подгруппы, но все они связаны единой эклектической установкой.

Неудовлетворительность классификации наложила отпечаток на всю архитектуру труда Блюмина. Так, Госсен только потому, что он имел склонность к математическим упражнениям, хотя эти последние имели в его теории лишь иллюстративный характер, отнесен к математикам, а потому помещен во втором томе. Между тем австрийцев без анализа Госсена понять невозможно, ибо последний является, несомненно, их духовным отцом. И автору приходится втискивать Госсена (1-й закон) во вторую главу второго тома, хотя Госсен остается для читателей пока еще совершенно неизвестным.

Автор вполне правильно вместо хронологической последовательности в разноречивании очерков выдвинул последовательность эволюции субъективизма (его изживание). Но этот принцип не выдержан, ибо англо-американцы, которые с наибольшей мере освободились от субъективизма, предшествуют математикам, таким, например, как Курно, Госсен, Джевонс, которые весьма близки к австрийцам и, во всяком случае, несравненно больше «субъективисты», чем американцы.

• • •

Первому тому предпослано обширное введение, которое по сути является обобщением всей работы. Рамки обычной рецензии, к сожалению, не дают нам возможности рассмотреть все основные положения как этой главы, так и всего труда, и поэтому мы вынуждены ограничиться лишь краткими замечаниями по поводу отдельных моментов.

Прежде всего бросается в глаза явная диспропорция между объемом фактически-логической критики теорий и их социологическим анализом. Последнему посвящено всего 9 страничек «Введения» (из почти 700 страниц) и отдельные замечания в разных местах текста, которые, во-первых, больше этих 9 страничек и, во-вторых, представляют не более, чем конкретизацию на отдельных авторах того тезиса, который выдвигнут в «Введении».

Между тем этот тезис представляет несомненный интерес: он заключается в том, что так наз. «субъективная школа» рассматривается как школа, специфичная для эпохи монополистического капитализма, как отражающая идеологию, соответствующую этому последнему. Мы ставим это положение с поправкой на субъективизм безусловно правых: эту же точку зрения мы выдвигали по отношению к теории Роберта Лифманна<sup>1)</sup>. Но, разделяя это основное положение автора и соглашаясь с его возражениями против других точек зрения, мы, однако, должны заметить, что здесь возникает ряд вопросов, на которые мы не находим ответа в труде Блюмина.

Так, например, не обосновано появление таких теорий, как Курно и Госсен, задолго до развития монополий и не дано никакого объяснения тому «чуждому» факту, что в 1871 году сразу три экономиста (Бэ, Баверк, Визер и Менгер) открыли теорию предельной полезности, хотя этот период монополистические организации еще играли ничтожную роль. И впрямую автор ссылается на более позднее распространение этой теории: сразу же нашла радуший прием в австрийских и немецких университетах.

Но кроме этого в одном очень важном пункте автор впадает в противоречие. Он говорит: «Появление на исторической сцене математической мысли, королей угля, железа и т. д., возникновение экономической диктатуры отдельных лиц и организаций должно было усилить индивидуалистические теории. Фигура монополиста (индивидуального или коллективного), делающего экономическую погоду... рождает иллюзию, что экономические процессы, в конечном счете, определяются волей сильных мира сего, и причину всех причин иужно искать в сильной индивидуальности, в мощи действующих отдельных лиц» (т. I, стр. 21). Но отсюда, конечно, ясно, что в мере роста монополистического капитализма, идеологические тенденции, специфичные для него и ранее находившиеся в зародышевом состоянии, должны давать все более широкий размах.

Между тем, мы наблюдаем совершенно противоположный процесс: наиболее последовательный субъективизм рождается до того момента, который датируется нами, как возникновение монополистического капитализма; его первые ростки совпадают с широким распространением теории предельной полезности, а наибольшему расцвету монополистического капитализма в Германии и Америке соответствуют прогрессивно падающая роль субъективизма, отход к истинно-субъективистическим принципам. И ведь сам автор признает, что субъективизм наибольший вес имеет у австрийцев и несравненно меньше у позднейших математиков и американцев, и эволюция идет по пути развития подлинного субъективизма. Это противоречие автора объяс-

<sup>1)</sup> «Под Знаменем Марксизма» № 6, 1927 г., стр. 158—159.

очень просто: суб'ективизм, как принцип и метод исследования, просто искусственно притянут к монополистическому капитализму, ибо эпохе свободной конкуренции не в меньшей мере присущ индивидуализм, как идеология «сильных личностей», чем монополистическому капитализму. Разве постоянная борьба с конкурентами не тренирует капиталиста, не вырабатывает в нем «сильной личности» и, следовательно, не дает благодарной почвы для индивидуализма? И разве не культ «сильной личности», этого «*homo economicus*», проповедывала вся классическая школа с Рикардо и Смитом во главе? И если продолжить эту мысль, то можно сказать, что монополистический капитализм должен скорее усилить не индивидуалистическую, но «коллективистическую» психологию, ибо тресты и синдикаты суть не что иное, как капиталистические ассоциации, возглавляемые крупнейшими капиталистами. Борьба капиталистов-одиночек внутри страны перерастает в эпоху империализма в ожесточенную борьбу капиталистических ассоциаций на международной арене. Таким образом, мы приходим к выводу, диаметрально противоположному точке зрения тов. Блюмина.

Не в суб'ективизме, как таковом, дело, но только в различии внутреннего содержания классической и современной экономики, а именно в замене анализа свободной конкуренции монополистическими условиями воспроизводства. И, показывая, как теория ценности трансформируется у всех трех разветвлений так наз. «суб'ективизма» в теорию монопольных цен, автор тем самым уже дает в общей форме объективно экономическое обоснование эволюции теоретических идей, и это обоснование не нуждается в особой, суб'ективистической подпорке, которая не подпирает, но скорее разрушает весь социологический анализ автора.

• • •

Остановимся на австрийской школе (II глава и частично I). Эту главу нужно признать наименее оригинальной в сравнении с другими. Австрийская школа, благодаря популярности работы тов. Бухарина, уже успела набить всем оскомину: включение этой главы оправдывается, однако, необходимостью установить связь австрийской школы с новейшими направлениями.

Спорным нам представляется следующее положение автора. Он считает ошибочным «утверждение, что теория суб'ективной ценности австрийцев есть база их теории объективной ценности», ибо «в системе австрийцев роль базиса играет теория спроса и предложения, а роль надстройки—теория полезности... Теория полезности... выполняет преимущественно роль орнамента» (стр. 52).

С этим нельзя согласиться. Верно, конечно, то, что учение о суб'ективной ценности австрийцев внутренне противоречиво, ибо имеет скрытой своей предпосылкой функционирование рыночного механизма, но несомненно все же, что в системе австрийцев (а не в нашей интерпретации) базисом является суб'ективная ценность, а не объективная, которая у них непосредственно определяется спросом-предложением.

Нужно различать построение системы автором, его принципиальную и формальную методологию и критическую интерпретацию этой системы. Блюмин дает последнее, но это ни в коей мере не затрагивает того, что самими австрийцами теория ценности построена на суб'ективистическом фундаменте. И поэтому общий вывод автора, что «последовательного суб'ективизма вообще не может быть; существует лишь

Первому тому предпослано обширное введение, которое по существу является обобщением всей работы. Рамки обычной рецензии, к сожалению, не дают нам возможности рассмотреть все основные положения как этой главы, так и всего труда, и поэтому мы вынуждены ограничиться лишь краткими замечаниями по поводу отдельных моментов.

Прежде всего бросается в глаза явная диспропорция между объемом абстрактно-логической критики теорий и их социологическим анализом. Последнему посвящено всего 9 страничек «Введения» (из почти 700 страниц) и отдельные замечания в разных местах текста, которые, во первых, и больше этих 9 страничек и, во-вторых, представляют не более, чем конкретизацию на отдельных авторах того тезиса, который индигирует в «Введении».

Между тем этот тезис представляет несомненный интерес: он заключается в том, что так наз. «субъективная школа» рассматривается как школа, специфичная для эпохи монополистического капитализма, как отражающая идеологию, соответствующую этому последнему. Мы считаем это положение с поправкой на субъективизм безусловно правильным: эту же точку зрения мы выдвигали по отношению к теории Роберта Лифманна<sup>1)</sup>. Но, разделяя это основное положение автора и соглашаясь с его возражениями против других точек зрения, мы, однако, должны заметить, что здесь возникает ряд вопросов, на которые мы не находим ответа в труде Блюмина.

Так, например, не обосновано появление таких теорий, как Курно и Госсена, задолго до развития монополий и не дано никакого объяснения тому «чудесному» факту, что в 1871 году сразу три экономиста (Баверк, Визер и Менгер) открыли теорию предельной полезности, хотя в этот период монополистические организации еще играли ничтожную роль. И напрасно автор ссылается на более позднее распространение этой теории: она сразу же нашла радужный прием в австрийских и немецких университетах.

Но кроме этого в одном очень важном пункте автор попадает в явное противоречие. Он говорит: «Появление на исторической сцене магнатов промышленности, королей угля, железа и т. д., возникновение экономической диктатуры отдельных лиц и организаций должно было усилить индивидуалистические теории. Фигура монополиста (индивидуального или коллективного), делающего экономическую погоду... рождает иллюзию, что экономическим процессам, в конечном счете, определяются волей сильных мира сего, что причину всех причин нужно искать в сильной индивидуальности, в мотивах действий отдельных лиц» (т. I, стр. 21). Но отсюда, конечно, ясно, что, по мере роста монополистического капитализма, идеологические тенденции, специфичные для него и ранее находившиеся в зародышевом состоянии, должны давать все более широкий размах.

Между тем, мы наблюдаем совершенно противоположный процесс: наиболее последовательный субъективизм рождается до того момента, который датируется нами, как возникновение монополистического капитализма; его первые ростки совпадают с широким распространением теории предельной полезности, а наибольшему расцвету монополистического капитализма в Германии и Америке соответствует прогрессивно падающая роль субъективизма, отказ от истинно-субъективистических принципов. И ведь сам автор признает, что субъективизм наибольший вес имеет у австрийцев и несравненно меньше у позднейших математиков и американцев, и эволюция идет по пути разложения подлинного субъективизма. Это противоречие автора объясняет

<sup>1)</sup> «Под Знаменем Марксизма» № 6, 1927 г., стр. 158—159.



очень просто: субъективизм, как принцип и метод исследования, просто искусственно притянут к монополистическому капитализму, ибо эпохе свободной конкуренции и в меньшей мере присущ индивидуализм, как идеология «сильных личностей», чем монополистическому капитализму. Разве постоянная борьба с конкурентами не тренирует капиталиста, не вырабатывает в нем «сильной личности» и, следовательно, не дает благодарной почвы для индивидуализма? И разве не культ «сильной личности», этого «homo oeconomicus», проповедывала вся классическая школа с Рикардо и Смитом во главе? И если продолжить эту мысль, то можно сказать, что монополистический капитализм должен скорее усилить не индивидуалистическую, но «коллективистическую» психологию, ибо тресты и синдикаты суть не что иное, как капиталистические ассоциации, возглавляемые крупнейшими капиталистами. Борьба капиталистов-одиночек внутри страны перерастает в эпоху империализма в ожесточенную борьбу капиталистических ассоциаций на международной арене. Таким образом, мы приходим к выводу, диаметрально противоположному точке зрения тов. Блюмина.

Не в субъективизме, как таковом, дело, но только в различии внутреннего содержания классической и современной экономики, а именно в замене анализа свободной конкуренции монополистическими условиями воспроизводства. И, показывая, как теория ценности трансформируется у всех трех разветвлений так наз. «субъективизма» в теорию монопольных цен, автор тем самым уже идет в общей форме объективно экономическое обоснование эволюции теоретических идей, и это обоснование не нуждается в особой, субъективистической подоправке, которая не подпирает, но скорее разрушает весь социологический анализ автора.

\* \* \*

Остановимся на австрийской школе (II глава и частично I). Эту главу нужно признать наименее оригинальной в сравнении с другими. Австрийская школа, благодаря популярности работы тов. Бухарина, уже успела набить всем оскомину: включение этой главы оправдывается, однако, необходимостью установить связь австрийской школы с новейшими направлениями.

Спорным нам представляется следующее положение автора. Он считает ошибочным «утверждение, что теория субъективной ценности австрийцев есть база их теории объективной ценности», ибо «в системе австрийцев роль базиса играет теория спроса и предложения, а роль надстройки—теория полезности... Теория полезности... выполняет преимущественно роль орнамента» (стр. 52).

С этим нельзя согласиться. Верно, конечно, то, что учение о субъективной ценности австрийцев внутренне противоречиво, ибо имеет скрытой своей предпосылкой функционирование рыночного механизма, но несомненно все же, что в системе австрийцев (а не в нашей интерпретации) базисом является субъективная ценность, а не объективная, которая у них непосредственно определяется спросом-предложением.

Нужно различать построение системы автором, его принципиальную и формальную методологию и критическую интерпретацию этой системы. Блюмин дает последнее, но это ни в коей мере не затрагивает того, что самими австрийцами теория ценности построена на субъективистическом фундаменте. И поэтому общий вывод автора, что «последовательного субъективизма вообще не может быть; существует лишь

иллюзия последовательного субъективизма» (стр. 52) можно принять лишь *sic ut grano salis*, а именно так, что последовательный субъективизм не может быть признан правильной научной теорией, ибо его основные посылы впадают в противоречие с важнейшими элементами системы и вместо каузального объяснения они обречены на многочисленные порочные круги...

Критикуя австрийцев, автор заостряет внимание на вопросе о соотношении между законом спроса-предложения и ценностью и, как нам кажется, дает не совсем правильный ответ на этот вопрос.

Автор утверждает, что между ценностью и ценой «имеется глубокое качественное отличие» (разрядка наша.—З. А.), что «закон ценности и закон спроса-предложения отражают, таким образом, две стороны товарного хозяйства, его рациональный и иррациональный характер» и что, наконец, «рыночные цены подчиняются двум законам, ибо реальная действительность имеет диалектическую природу» (стр. 85). В чем же эта диалектичность? Оказывается, товарное производство «я одно и то же время является общественным производством и необщественным» (?). А дуализм цен заключается в том, что такая цена регулируется двумя факторами: ценностью и спросом-предложением!

Тов. Блюмин утверждает наличие качественного отличия цены и ценности, чего нет у Маркса. Он упустил из виду ни больше, ни меньше, как то, ставшее для любого студента общим местом, определение цены, которое дает Маркс. Ведь цена—это «денежная форма ценности», а деньги—это всеобщее воплощение ценности в одном товаре, следовательно, ценность—деньги—цена суть категории одного и того же качественного порядка.

Если цена—это только форма проявления ценности, то как же форма может быть качественно отлична от специфического ей содержания?

Но, допустив эту ошибку (или непростительную неясность), Блюмин вместе с тем признал наличие двух регуляторов цены, а именно: ценности и спроса-предложения. Между тем, по Марксу, единственным регулятором цены является закон трудовой ценности (трансформирующийся в цены производства в капиталистическом хозяйстве), необходимой формой проявления которого является непрерывное колебание цен в зависимости от спроса-предложения. Следовательно, последний закон есть не особый закон, который на ряду с ценностью регулирует цены, но необходимый механизм действия самого закона трудовой ценности.

Впрочем, эта досадная ошибка (или неточность) не помедила критическому анализу автора, хотя и не прошла совсем бесследно (см. ниже).

Пару слов об англо-американцах, Маршалле и Кларке. Блюмин дал яркую характеристику их теорий и вскрыл их основные противоречия. Эклектизм Маршалля несомненно сродни эклектизму нашего Туган-Барановского, ибо первый, так же, как и Туган, через спрос подает руку теории предельной полезности, а через издержки—классической теории. Однако и предельные полезности звучат у Маршалля совсем по-иному, чем у австрийцев, ибо для него разбитое товарное и денежное обращение является необходимой предпосылкой уравнения предельных полезностей; последние выступают у него в виде равенства полезности с последним шиллинга или марки, затраченных на покупку товаров.

Критикуя Маршалля, Блюмин с полным основанием утверждает, что невозможно дедуцировать закон спроса из закона падающей полезности, который у Госсена выводится из анализа натурально-потребительского хозяйства. «Если толковать,—говорит тов. Блюмин,—закон Госсена в его чистом виде, то всякая попытка дедуцирования закона спроса из закона убывающей

полезности должна быть признана покушением с негодными средствами» (стр. 143). Это верно, но Маршалль тут совершенно не при чем, ибо для него существует только количественная, а не качественная разница между убывающим спросом и убывающей полезностью, поскольку, как мы выше указали, предпосылкой его индивидуального хозяйства (из анализа которого выводится 1-й закон Госсена) является наличие развитого денежно-менового аппарата. Ведь сам тов. Блюмин утверждает, что «закон спроса, таким образом, у Маршалля совпадает с законом убывающей полезности», а если он совпадает, то неясно, на что же бюкушается Маршалль? Если на «чистоту» закона Госсена, то в этом большой беды мы не видим.

Не совсем ясно для нас также и критика Блюминым учения Маршалля о «представительной фирме», каковая является показателем среднего размера предприятий данной отрасли. «Тот факт,—говорит тов. Блюмин,—что Маршалль тесно связывает судьбу «представительной фирмы» с конкретной фирмой, является показателем его методологии — отождествления законов развития индивидуального и общественного хозяйства» (стр. 159). Последнее верно, но «показатель» в данном случае не совсем надежный, ибо в этой, так сказать, персонализации общественных условий производства в конкретном предприятии, как типовой величине, нет ничего предосудительного, и Маркс, например, таким методом неоднократно пользовался. Но критика по существу трех законов производительности, теории издержек производства и других частей маршаллевской эклектической системы не вызывает с нашей стороны возражений.

Далее тов. Блюмин прекрасно показывает эклектическую и апологетическую сущность американских авторов. Здесь нам хотелось бы только отметить некоторое уличение автора учением о статическом и динамическом хозяйстве Кларка и Шумпетера. Парируя обвинение Кларка в отсутствии динамического анализа и исключительно статическом подходе классиков к экономическим явлениям, тов. Блюмин старается доказать обратное. Он утверждает, что у классиков и Маркса на лицо и статика, и динамика, но что «классики и Маркс не считали только необходимым проводить демаркационную линию между статическим и динамическим анализом, т.-е. разбить теоретическую экономию на два самостоятельных отдела» (стр. 196). Таким образом, «защита» сводится к тому, что классикам и Марксу приписываются (в этом разрезе) черты кларковской методологии, и автор так прямо и говорит о «марксистской статической системе» (стр. 199), «статической теории Маркса» (стр. 200) и т. д.

Однако совершенно ясно, что эти вещи несравнимы: «статической теории Маркса» в кларковском понимании этого термина вообще не существует, ибо простое воспроизводство Маркса играет совершенно иную роль и построено на совершенно иных предпосылках, чем статическая система Кларка или Шумпетера. Последние выхолащивают из своего абстрактного анализа путем разграничения статике и динамики, «равновесия» и его нарушения самые характерные черты капиталистического способа производства, как *profit* у Кларка и процент у Шумпетера; марксова же теория простого воспроизводства, неотделимая от расширенного воспроизводства (ибо Маркс показывает, что даже простое воспроизводство «с», т.-е. постоянного капитала, предполагает расширенное воспроизводство), включает в себя все черты капиталистического хозяйства. Поэтому лучше было бы не оперировать такими понятиями, как «статическая теория Маркса», ибо марксова система, построенная на усложняющемся ряде ступеней абстрактного анализа, насквозь динамична.

Переходим ко второму тому. Здесь перед нами коллекция экономистов математического направления, эклектической школы. Анализ теорий круп-

нейших представителей этого направления—Курно, Дмитриева, Жевонса, Вальраса, Парето и Госсена (который, как было указано, неправильно причислен к этой группе) предшествует последний очерк «о математическом методе в политической экономии». Это самая блестящая глава всего труда: здесь выявлена вся суть, квинт-эссенция математического направления, вскрыта сущность математического метода и его действительное значение для экономической теории.

Автор демонстрирует перед читателем глубокое противоречие между внешне-эффектной формой математического анализа и тем убогим содержанием, которое скрыто за этой формой у представителей данного направления. Он показывает, как под видом невинных математических операций, как, напр., дифференцирование функций, подменяются одни категории другими и трансформируются сами понятия. «Перед нами, — говорит автор, — своеобразный маскарад: отдельные социальные категории выступают в индивидуальном облачении, объективные категории — в субъективном одеянии, ценностные объекты — в материальной форме и т. д. Процесс маскировки идет дальше. Благодаря отдельным операциям, происходит подмена одного типа производственных отношений другим, подмена товарно-капиталистического общества организованным обществом, регулирующим свое хозяйство на основании планового принципа» (т. II, стр. 54).

И нельзя не согласиться также с автором, «что сама возможность плодотворного применения математического метода обуславливается состоянием качественного анализа» (стр. 51), а так как именно у марксовской школы мы имеем наивысшую ступень развития качественного анализа, то поэтому, если вообще можно говорить о математической школе, последней, в серьезном смысле этого слова, может выйти лишь из рядов учеников Маркса» (стр. 63).

Эта глава имеет значение не только с точки зрения критической: здесь впервые в нашей литературе дана серьезная методологическая постановка вопроса о приложимости математических приемов к экономическому исследованию и очерчены возможности и границы этого метода исследования. Блюмин целым рядом удачных ссылок показал, что Марксу не было чуждо применение математического метода, и что «сама система Маркса, по своему построению, напоминает стройную математическую теорию» (стр. 35).

Несколько не увязывается только со всеми этими правильными мыслями то, что, как видно из ряда приведенных цитат, т. Блюмин безоговорочно солидаризируется с известной концепцией И. Рубина, которая, с нашей точки зрения, как раз исключает возможность применения математического метода. В самом деле: если вся экономическая система Маркса изучает только «типы производственных отношений между людьми, выраженные в ряде усложняющихся социальных форм, приобретаемых вещами» (определение И. Рубина, с которым на стр. 35 тома II солидаризируется И. Блюмин), то где же, собственно говоря, в этом случае место для математики? Сверх-социологизирование марксовской теории и элиминирование из нее материального содержания под видом выпячивания формы стоимости, которое имеет место в «Очерках по теории стоимости Маркса» И. Рубина, и от чего сам автор в значительной мере отказался в своих позднейших работах, мало вяжется с тем богатым анализом количественных моментов у Маркса, которые так хорошо показаны Блюминым. Хотелось бы, поэтому, больше ясности в этом вопросе от т. Блюмина, тем более, что в теории ценности, как это мы показали выше, он уже однажды допустил, если не ошибку, то большую и досадную неточность...

Кратко об отдельных теоретиках этого направления. Нужно сказать, что критическая аргументация автора нередко повторяется, но это и не

могло быть иначе, поскольку теории Курно, Дмитриева, Вальраса и др. покоятся в общем на одних и тех же ошибках, как, напр., объяснение основных категорий неорганизованного хозяйства на основании принципов, выведенных для организованных хозяйственных единиц, злоупотребление математическим методом, смешение конкуренции и монополии и т. п. На деталях критического анализа автора мы не можем останавливаться, и поэтому ограничимся только некоторыми отдельными замечаниями.

Возьмем Госсена. Ему, так же, как и Курно, в свое время не повезло, но с 1878 г., с легкой руки Джевонса, его имя стало греметь в научных кругах. И австрийцы, и современные эклектики — одинаково прочно вросли своими корнями в госсеновскую теорию, и поэтому вряд ли можно согласиться с т. Блюмным, что «учение последнего (т.-е. Госсена.—З. А.) значительно ближе примыкает к теории математиков», чем к другим направлениям (т. II, стр. 125). Сам Госсен сравнивает себя с Коперником, действительно, его идеи для современной вульгарной экономики безусловно имеют огромное значение.

В критической оценке теории Госсена, главным образом, его 2-го закона, мы не согласны с т. Блюмным. В статье, посвященной Лифману (который непосредственно опирается на госсеновскую теорию), мы старались доказать, что законы Госсена, выведенные в условиях замкнутого хозяйства, не могут дать ключа к объяснению ценности или цены в условиях капиталистического хозяйства. Блюмн же идет дальше нас, утверждая, что «мы неизбежно должны прийти к отрицанию самой идеи 2-го закона Госсена в условиях натурального хозяйства» (стр. 135).

В защиту этого положения выдвигается следующий аргумент: «Внутреннее противоречие 2-го закона Госсена заключается в том, что этот закон, по идее автора, должен служить отправным пунктом для исследования законов обмена, и поэтому он выводится в тех условиях, когда никакого обмена нет, в условиях изолированного хозяйства; между тем, с другой стороны, этот закон предполагает неограниченную возможность замены одного блага другим и ограниченные покупательские средства, т.-е. условия товарного производства» (стр. 134).

Однако нельзя 2-й закон Госсена отрывать от 1-го закона (эта нумерация вообще искусственна, и у самого Госсена ее нет), а также и от других элементов его системы, напр., его взгляда на роль издержек производства. Если же учесть, что Госсен говорит о «затрате энергии», о сравнении полезности с усилиями, которые нужно затратить на их получение, о необходимости «отыскания законов, определяющих условия, в которых происходит создание ценности» (стр. 153), и, наконец, признание самим т. Блюмным того, что «в отличие от австрийцев Госсен не признает примата потребления» (стр. 158), то мы должны будем прийти к иным выводам. Если и согласиться с тем, что сама «идея» 2-го закона Госсена предполагает «чистое потребление», то, внеся корректив в этот закон на основании опять-таки госсеновских принципов, мы имеем полное право защищать наше положение о том, что «закон этот имеет универсальное значение для индивидуального хозяйства лишь постольку, поскольку это последнее изолировано, т.-е. для самодовлеющего, оikosного хозяйства» («Под Знаменем Марксизма» № 6, 1927 г., стр. 144). Конечно, здесь предполагается, что этот закон очищен от той психологической мишуры, в которую облек его Лифман... Однако признание известной значимости этого закона для замкнутого натурального хозяйства, где происходит «выравнивание» полезностей друг с другом и в зависимости от трудовых затрат, ни на шаг не при-

ближает нас, вопреки мнению Госсена и Лифманна, к пониманию закона капиталистического хозяйства.

Госсен (и все его современные последователи)—строгий буржуазный экономист и, следовательно, апологет товарного хозяйства. Однако то его положение, что высшие идеалы «справедливости и коммунизма» в совершенстве достигаются здесь (т.е. в товарном хозяйстве.—З. А.), «вокупилим действием естественных сил» (стр. 165), не представляет ничем специфического для субъективной школы, но присуще всей вообще буржуазной экономии. Достаточно вспомнить классиков—Смита и Рикардо, которые исходили из идеализирования природы свободной конкуренции, следовательно, из апологии менового хозяйства, чтобы согласиться с этим мнением.

И в этом отношении мы не видим, в чем теория Госсена отличается от теории классиков и от общей всей буржуазной экономики идеологии.

Мы не можем также согласиться с Блюминым и в том, что, так как «Госсен рационализирует товарное хозяйство, приписывает последнему такую плановость, которая имеет место лишь в организованном хозяйстве» (стр. 165), то, благодаря этой предпосылке, он «анинулировал» товарное хозяйство и, тем самым, упразднил необходимость построения теории цен» (стр. 166).

Это, между прочим, общая черта критики Блюмина: он всякую апологию товарного или капиталистического хозяйства, которая вытекает, конечно, не из особенности мышления тех или иных экономистов, но нерыночно связана с их общей классовой психологией, рассматривает как чисто теоретический дефект, приводящий к «анинулированию товарного хозяйства». Но в таком случае товарное хозяйство «анинулируется» и только Госсеном, Джевоном и др. «субъективистами», но и Рикардо и Смитом (которые так же, как и Госсен, собственные интересы своего класса отождествляли с интересами всего общества), ибо им также была свойственна апология, хотя она и не выпирала так грубо на первый план, как это имело место у Кэри и Бастиа, или у всех современных эклектиков. Таким образом, общую черту всей буржуазной экономики—апологию товарного хозяйства—Блюмин ошибочно принимает за специфическую черту так называемой «субъективной школы».

У Джевоиса, конечно, мы находим ту же черту, и это вполне естественно. «Идея того,—говорит т. Блюмин,—что всякое общественное хозяйство является организованным, лежит в основе толкования Джевоиса 1-го закона Госсена», и далее: «Джевоис рассматривает общественное потребление не как сумму индивидуальных независимых актов потребления, а как единое организованное потребление, регулируемое общественными потребностями и общественными запасами благ» (стр. 204, 205). Это не совсем точно. Выходит, что у Джевоиса и Госсена просто какая-то научная aberrация,—они не видят того, что ясно и ребенку,—стихий и о-регулирующую роль рынка в отличие от централизованного управления в «гармонических», по выражению Туган-Барановского, хозяйствах. На самом же деле, никакой aberrации здесь нет. Джевоис не хуже нас и Блюмина видит рыночную форму регулирования современной хозяйственной системы, но он лишь считает, что эта форма обеспечивает такой же материальный эффект для общества, как если бы оно управлялось из единого центра. Конечно, доказать это ни Госсен, ни Джевоис, ни Лифманн, ни Кассель никогда не смогут, и поэтому все они обращены на один и тот же «порочный круг»: доказывать то, что уже является предпосылкой. Что же касается таких понятий, как совокупное общественное потребление или запасы благ, каковые Джевоис рассматривает как

нечто единое, то само по себе оперирование ими не может быть поставлено в вину Джевонсу, ибо и Маркс говорит о капиталистическом обществе, что оно «потребляет», «распределяет» и пр.

Критикуя теорию обмена Джевонса, Блюмин прекрасно показывает, что «она носит в себе самоотрицание» (стр. 206), ибо в качестве условия вызывает отсутствие взаимодействия между участниками обмена, а при этом условии не может быть, конечно, обмена: следовательно, с полным правом утверждает Блюмин, «это своеобразный пример теории, пытающейся покончить самоубийством» (стр. 206). Истинная подоплека всей сложной теоретической конструкции Джевонса становится вполне ясной, если вспомнить его теорию длины рабочего дня. Здесь Блюмин отмечает замечательный факт: на основе «чистой» и «абстрактной теории» своего отца, Джевонс-сын уже делает вполне «практически» вывод о нежелательности 8-часового рабочего дня, что и обосновывается чисто «психологическими» аргументами...

Недостаток места не позволяет нам останавливаться на других очерках: скажем только, что и эти очерки по обстоятельности анализа не уступают рассмотренным.

Издана книга хорошо.

### 3. АТЛАС.

**Г. Н. ГОБСОН.** Экспорт капитала. Перевод с английского И. Румера. Редакция, предисловие и дополнения М. Спектатора, изд. Комм. Академии, Москва, 1928 г.

Книга Гобсона состоит из двух частей. Первую часть (1—3 главы) автор посвящает анализу «тех способов, какими вывозится капитал, причин этого вывоза и его экономических последствий для вывозящей страны» (Введение, стр. 33).

Во второй или, как ее автор называет, исторической части Гобсон ставит себе целью «дать иллюстрацию действующих экономических сил и выяснить современное состояние английского вывоза капитала путем его сопоставления с прошлым и с соответствующим движением в других странах» (стр. 35).

В этой рецензии мы намерены рассмотреть, главным образом, первую принципиальную часть работы, ограничиваясь лишь некоторыми беглыми замечаниями по поводу ее второй части.

Экспорт капитала или заграничные инвестирования, по мнению Гобсона, «состоят в той части имущества, которая помещена за границей и с которой ее владельцы рассчитывают получить доход» (стр. 43).

В главе, посвященной способам заграничного инвестирования, Гобсон указывает, что товары, экспортируемые за границу в качестве капитала, могут быть представлены либо в золоте, либо в товарах, произведенных в экспортирующей стране, либо, наконец, путем отказа инвестирующей страны от ввоза некоторых товаров, которые она при других обстоятельствах ввезла бы, и, таким образом, получает средства для снабжения чужих стран капитальными товарами (стр. 43—44).

Отказываясь от точного определения, насколько английские инвестиции представляют собой расширение товарного экспорта или же сокращение товарного импорта (т.-е. вложения процентов, причитающихся Англии по прежним инвестициям, либо сумм, получаемых в результате банковских и ссудных услуг, оказываемых Англией другим странам), Гобсон, тем не менее, на основании ряда данных считает весьма вероятным, что, «по крайней мере, по отношению к железным дорогам английские заграничные инвестирования весьма часто и во многих странах принимают форму заказов английским промышленникам» (стр. 53).

Правда, в последние предвоенные годы Гобсон отмечает уменьшение доли английского экспорта железнодорожного оборудования в силу появившейся конкуренции со стороны Соед. Штатов Северной Америки и Германии, но зато другие отрасли английской промышленности, напротив, сохраняли за собой первенство в смысле заграничных инвестиций.

Как указывает Гобсон, наибольшая часть машинного оборудования горной промышленности Южной Африки поставляется Англией. Точно так же обстоит дело и с оборудованием текстильных предприятий во многих странах.

Гобсон также считает весьма вероятным, что английские вложения в ряде стран (Индия, Южная Америка, Австралия и друг.) совершаются непосредственно в форме вывоза текстильных и других товаров, необходимых для снабжения рабочих, занятых на стройке капитальных сооружений.

Таким образом, несмотря на то, что значительная доля английских инвестиций состоит в капитализации дохода от прежних вложений, который, по мнению Гобсона, «большой частью превышает размеры нового капитала, помещаемого за границей»,—Гобсон все же отдаст дань той непосредственной связи английских вложений с товарным экспортом, которая (связь) была особенно заметна в прошлом и которая, несмотря на конкуренцию со стороны Америки и Германии, сохранилась в большей или меньшей степени и сейчас<sup>1)</sup>.

Переходя к причинам заграничного инвестирования, анализу которого Гобсон посвящает целую главу, он указывает, что «в целом экономические мотивы играют преобладающую роль в определении путей инвестирования» (стр. 59).

После этого общего замечания он на протяжении многих страниц ведет рассказ о том, какую роль играет риск и неопределенность с другими странами на заграничные вложения. При чем эти рассуждения не идут дальше общих мест в роде, напр., того, что обычный предприниматель «почтет позастыть свои капиталы в менее доходные, но более знакомые ему и менее рискованные английские бумаги. Зато «более проникательные» осведомленные капиталисты получают добавочный процент, как премия, за свое умение выбирать место вложения» (там же, стр. 60).

Но чем же вызывается экспорт капитала, представляющий собой столь сильный фактор в развитии современного капитализма?

«Экспортируемый капитал,—пишет Гобсон,—не должен рассматриваться, как избыточный, как такой, отлив которого якобы не может уменьшить запасы капитала, инвестируемого в самой стране. Наоборот, вывоз капитала за границу стремится повысить процентную ставку в стране (там же, стр. 67).

Проблема экспорта капитала, таким образом, представляется Гобсону, как проблема ссудного капитала вне всякой связи с проблемой реализации товара, с проблемой сбыта.

Экспорт капитала с этой точки зрения рассматривается, как способ помещения свободного капитала в чужой стране с целью извлечения дохода.

Правда, в первой главе Гобсон отметил, что экспорт капитала в некоторых случаях совершается в форме товарного экспорта, но и в таких случаях подобный экспорт товара представляет собой для Гобсона свободный капитал, ищущий помещения за границей. «Причины, заставляющие вывозить капитал за границу, имеют преимущественно экономический характер и сводятся к доходу, который капиталисты рассчитывают получить от вложений разного рода, и к риску на который они готовы пойти» (там же, стр. 34). Дело представляется таким образом, что, экспортируя капитал

<sup>1)</sup> Напомним, что свой анализ Гобсон заканчивает довоенным периодом.



капиталисты стремятся найти более выгодное помещение для своего капитала, чем то, которое они пашли у себя в стране, и что усиление экспорта капитала есть результат стремления к повышению процентной ставки внутри страны.

Правда, он считает сомнительным, чтобы все  $3\frac{1}{2}$  миллиарда вывезенного из Англии капитала были инвестированы дома. Но если бы такое обстоятельство имело место, то, «вероятнее всего, процентная ставка понизилась бы у нас до такой степени, что более или менее значительная часть капитала пошла бы на потребление» (там же, стр. 67).

Отсутствие экспорта капиталов, согласно этой концепции, должно привести к понижению процентной ставки и, следовательно, к недостатку накопления. Напротив, рост капитального экспорта, повышая процентную ставку, должен этим самым привести к увеличению накопления.

Мы не согласны с подобным утверждением. Если бы устранение капитального экспорта имело своим последствием понижение процентной ставки и ничего более, то такое положение было бы выгодно для предпринимателей, доход которых увеличился бы за счет уменьшения доходов рантье, не говоря уже о том, что уменьшение нормы процента в некоторых случаях заставляет сберегателей увеличить норму накопления и, следовательно, может привести к увеличению накопления. Во всяком случае, расширенное воспроизводство, т. е. рост инвестиций внутри страны, которое происходит в период расцвета, как показывают факты, не является результатом высокой процентной ставки.

Напротив, рост процентной ставки, как правило, следует за ростом процесса воспроизводства. «В начале процветания господствует низкий, лишь медленно и постепенно повышающийся уровень процента» (Гильфердинг, «Финансовый капитал», Гиз, 1923 г., стр. 311).

Но объяснение необходимости иностранных инвестиций поисками высокой процентной ставки для свободных капиталов не объясняет той тесной связи, которая наблюдается между экспортом капиталов и вывозом товаров.

Как известно, навязывание товаров своим иностранным дебиторам представляет собой обычное явление.

Гобсон, говоря о том, что рост промышленности в ряде стран ведет к тому, что помещение английских капиталов за границей все больше принимает форму заказов не английским промышленникам, замечает: «Не следует забывать, что рост иностранных инвестиций среди капиталистов континентальных стран влечет за собой подобную же конкуренцию между производителями капитальных товаров, и английские фабриканты сумеют обеспечить за собой некоторую долю заказов» (там же, стр. 54—55. Курсив наш.—С. В.) О том, как они это делают, он умалчивает. Но в сноске приводит ряд примеров (конечно, из других стран), когда при заключении заказа вносят в договор специальную оговорку, что часть потребного оборудования будет заказана в инвестирующей стране (см. там же, прим. 1).

Очевидно, экспорт капиталов заключается не только в выгодном помещении свободных капиталов, но и в необходимости рынка для реализации товаров, которые ищут сбыта во вне.

Гобсон, на наш взгляд, в своем понимании экспорта капитала (поскольку последний представляет собой кредитное отношение) исходит из того же одностороннего определения кредита, из которого исходила классическая школа. Этим объясняется то, что в его анализе отсутствует проблема сбыта и ее связь с проблемой экспорта капитала. В этом также следует видеть причину того, что проблема экспорта капитал у Гобсона не упирается в колониальную политику империалистических государств.

На самом деле, однако, причину столь быстро растущего запредельного инвестирования следует искать в условиях современного способ производства.

Устранив конкуренцию на внутреннем рынке при помощи организации картелей и трестов, капитализм тем самым нуждается в выводе своей продукции за границу (с целью повышения цен на внутреннем рынке). Но на Западном товарном рынке национальный капитал встречает конкуренцию со стороны других стран.

Вести конкуренцию на мировом товарном рынке весьма затруднительно, поскольку она отражается на ценах.

Капиталисты, как правильно указал Гильфердинг, стремятся заменить конкуренцию на товарном мировом рынке конкуренцией на денежном рынке.

Экспорт капитала становится формой экспорта товара.

«Перед покупателем не остается теперь выбора. Он делается заложником, значит зависимой стороной, вынужденной просто принимать условия кредитора». И дальше: «Борьба за сбыт товара превращается в борьбу за сферы приложения ссудного капитала» («Финансовый капитал», Гиз, 1923 г. стр. 382).

Но чем ожесточеннее ведется конкуренция на денежном рынке (имеющей своей конечной целью овладение рынком для сбыта товара), тем сильнее стремление к ее прекращению. Это достигается включением частей мирового рынка в состав национального рынка, т.е. присоединением чужих стран колониальной политикой (см. «Финансовый капитал», стр. 386).

Нам поэтому представляется, что экспорт капитала преследует целью не только получение высокой процентной ставки за границей и повышение процента внутри страны, но является преимущественно результатом монополизации цен внутри страны и вытекающей отсюда необходимости реализовать определенное количество продукции за границей. Борьба за рынок сбыта, которая ведется в форме борьбы за сферы приложения капитала, приводит, в конце концов, к колониальной политике.

Само собой разумеется, что экспорт капитала, как правильно отмечают. Спектатор в предисловии к рецензируемому сочинению, не исчерпывается Заграничным кредитованием<sup>1)</sup>.

Возможны, напр., случаи открытия филиальных отделений промышленных предприятий в других странах, преследующих получение более высокой прибыли, чем та, которая существует в данной стране.

Поскольку же экспорт капитала представляет собой заграничное кредитование, он должен рассматриваться не только как свободный капитал ищущий выгодное помещение за границей, но и как форма реализации товаров, которые не находят сбыта внутри страны по существующим монополистическим ценам. Подобное понимание экспорта капитала дает возможность объяснить тот характер, который принимают заграничные инвестирования в ряде случаев (навязывание стране-дебитору своих товаров), а также обнаруживать экономические корни колониальной политики.

Переходя к исследованию результатов заграничного инвестирования, Гобсон рассматривает эти результаты как с точки зрения национального дохода страны, так же с точки зрения распределения этого дохода между капиталистами и рабочими.

<sup>1)</sup> Мы не согласны с г. Спектатором, по мнению которого экспорт капитала «исключает товарное кредитование, т.е. кредит, предоставленный на относительно короткий срок (см. стр. 6). Поскольку экспорт капитала является формой реализации товаров, он не может исключать товарного кредитования. Другое дело, что экспорт капитала, поскольку он представляет собой кредитование, обычно предоставляется на более или менее длительный период. Разве можно «ираткроскорность» адвизитно понятию товарного кредитования?»

Поскольку экспорт капиталов сокращает внутреннее производство, национальный доход как будто терпит ущерб. Однако Гобсон считает, что этот ущерб компенсируется, во-первых, доходами, которые Англия получает от своих инвестиций, и, во-вторых, тем, что рост английских инвестиций, расширяя производственную систему других стран, этим самым косвенно может вызвать некоторое расширение производственной системы Англии.

Гобсон, однако, забывает упомянуть о более прямой компенсации, получаемой капиталистами вследствие повышения цен на продукцию, которая реализуется внутри страны.

Здесь снова сказалось неправильное понимание Гобсоном сущности экспорта капитала.

Исходя из того, что причиной заграничных инвестиций является получение высокой процентной ставки вне, он забывает о том, что экспорт капитала является условием реализации высоких прибылей внутри страны. С другой стороны, он умалчивает о тех противоречиях, которые возникают между отдельными странами, экспортирующими капитал, ограничиваясь общими рассуждениями, что «развитие иностранной промышленности идет, очевидно, на пользу мировому хозяйству в целом, ибо оно означает подъем экономической деятельности, и эта польза, в конце концов, окажется на всех странах» (там же, стр. 85). Что же касается вопроса о влиянии заграничных инвестиций на распределение национального дохода, то, по мнению Гобсона, экспорт капитала увеличивает долю капиталистов в национальном доходе и уменьшает долю рабочих в национальном доходе.

Это объясняется тем, что если причиняемый экспортом капитала ущерб в смысле сокращения производства внутри страны (повторяю, Гобсон умалчивает о том, что сокращение производства внутри страны—необходимое условие для реализации монопольных цен) для капиталистов компенсируется дополнительным доходом от заграничных инвестиций, то этот ущерб ничем не компенсируется для рабочих, в результате чего доля рабочих в национальном доходе уменьшается<sup>1)</sup>.

Тем не менее, он считает целесообразным принять какие-либо меры против экспорта капитала.

«Если бы против вывоза капитала,—замечает Гобсон,—были бы приняты меры, которые понизили бы процентную ставку, они могли бы поднять на время зарплату, но они были бы бессильны против эмиграции капиталистов» (там же, стр. 92).

Отирвав проблему экспорта капитала от проблемы реализации и сводя вопрос о заграничном инвестировании к стремлению капиталистов получить высокие проценты за помещенный за границей капитал, Гобсон представляет дело так, как будто экспорт капитала представляет собой некоторый произвол со стороны капиталистов, не довольствующихся существующей ставкой внутри страны и рискующих по свету с целью получения более высокой процентной ставки.

Этот произвол, как думает автор, будучи в конечном счете полезен, так как расширяет производство других стран и, вероятно, не уменьшает национального дохода Англии,—не заслуживает порицания.

Правда, Гобсон признает, что экспорт капитала вредно отражается на доле рабочих в национальном доходе и с этой точки зрения следовало бы принять меры против экспорта капитала, но всякие меры, по его мнению,

<sup>1)</sup> Ущерб, причиняемый экспортом капитала для рабочих, по мнению Гобсона, выражается, во-первых, в том, что экспорт капитала сокращает размеры внутреннего производства, и, во-вторых, в том, что повышение процентной ставки внутри страны повышает доход капиталистов и этим самым понижает долю рабочих в национальном доходе.

окажутся так или иначе бесплодными, поскольку они приведут к эммиграции капиталов, что принесло бы рабочему классу еще больший ущерб.

Тщетно стали бы мы искать в анализе Гобсона обоснования экономической необходимости экспорта капитала, выявлений корней империалистической политики современного капитализма. Таков ноль Гобсон!

Одна глава из «Финансового капитала» Гильфердинга, посвященная экспорту капитала (см. 22 гл. «Финансового капитала») дает несравненно более глубокий и действительно научный анализ этого вопроса.

В заключение несколько слов по поводу тех глав рецензируемой работы, которые Гобсоном названы иллюстративными.

Главы 4 — 6 посвящены историческому обзору развития экспорта капитала и его движению по странам с начала XVII века.

Особенно подробно автор рассматривает развитие английских инвестиций, начиная с промышленной революции. В своей главе читатель найдет статистические данные, характеризующие экспорт капитала с количественной стороны, а также ряд интересных данных о доходе от зарубежных инвестиций.

В восьмой и последней главе автор пытается выяснить отношение экспорта капитала к развитию внутренней промышленности, зарплаты, к также эмиграции.

Не имея возможности разобрать детально эту главу, скажем лишь, что выводы, к которым автор приходит, находятся в некотором противоречии: развитыми автором рассуждениями в первых трех главах и не совсем согласуются с тем статистическим материалом, который он приводит в последней главе.

Выше нам приходилось отмечать, что, по мнению Гобсона, экспорт капитала приводит к уменьшению доли рабочих в национальном доходе. В настоящей же главе он неожиданно приходит к выводу, что «причины, повышающие промышленную активность, усиливают... Заграничные вложения (и) ведут к увеличению зарплаты и к уменьшению безработицы» (реферат, стр. 191—193). И этот вывод он делает на основании индекса национальной зарплаты, который, кстати сказать, обнаруживает весьма незначительный рост в годы самого бурного роста заграничных вложений.

Сам Гобсон в одном месте указывает, что реальная зарплата в Англии за последние (предвоенные) 10—15 лет не повышалась (см. стр. 87).

А ведь по данным Гобсона период 1904—1912 гг. характеризуется большим подъемом экспорта капитала.

Несколько слов по поводу предисловия тов. Спектатора.

Основная мысль, выдвигаемая тов. Спектатором, заключается в том, что причиной экспорта капитала является медленное накопление основного капитала в сельском хозяйстве и относительно быстрое развитие его в промышленности. В результате этого в промышленности образуется избыток основного капитала. «А так как аграрные страны не в состоянии уплатить его сразу, то промышленные страны вынуждены давать им их товары в кредит, как и, с другой стороны, аграрные страны, стремящиеся вводить у себя новые средства производства, принуждены просить о кредите» (стр. 14).

Подобные объяснения причин экспорта капитала нам кажется не столько точно обоснованным и односторонним. Односторонним потому, что из подобного объяснения вытекает, что экспортировать капитал можно только в аграрные страны, что не соответствует действительности. Недостаточно обоснованным, так как это не объясняет того, почему экспорт капиталов достиг значительных размеров в начале нашего века или, по крайней мере, в конце прошлого столетия. Несмотря на то, что более медленный темп в развитии сельского хозяйства благодаря тому, что «феодалы были

торговцы и ростовщики немилосердно грабили сельских хозяев», далеко не является характерным для эпохи финансового капитала.

На этом мы можем закончить. Книга Гоббсона, несмотря на неправильность своей установки и основных положений, все же представляет громадный интерес как по обилию фактического материала, так и по мастерству изложения. Читателю она, при критическом к ней отношении, безусловно принесет пользу и с этой точки зрения появление рецензируемого труда в русском издании надо приветствовать.

Нам только представляется, что редакции не следовало отмечать в некоторых местах свое несогласие с теми или иными положениями автора. Это производит впечатление, что во всем остальном редакция солидаризируется с автором. Дополнения т. Спектатора, характеризующие состояние экспорта капитала после войны, заслуживают внимания.

### С. ВЫГОДСКИЙ.

**В. П. ВОЛГИН.** Очерки по истории социализма. Издание третье, дополненное. Государственное издательство. Москва—Ленинград 1926 г. Стр. 282.

**В. П. ВОЛГИН.** История социалистических идей. Часть первая. Государственное издательство. Москва—Ленинград 1928 г. Стр. 297.

Эти труды В. П. Волгина взаимно дополняют друг друга. В «Очерках» дан ряд этюдов по отдельным проблемам истории социализма; в «Истории социалистических идей» дано связное изложение развития социалистических учений.

Желая дать не «простое хронологическое изложение сменяющих друг друга доктрин», а историю социалистической мысли, В. П. Волгин выясняет социальный генезис, классовую характеристику изучаемых систем, намечая основные вехи экономической и социальной истории соответственных стран и соответственных эпох.

Во «Введении» в «Очерки» В. П. Волгин доказывает практическое значение знакомства с историей социалистической теории для каждого сознательного рядового работника, указывает на теоретический интерес изучения возникновения и роста социалистических идей, доставляющих весьма ценный материал для разрешения вопроса о взаимоотношении между социальной идеологией и социальной действительностью, и устанавливает классификацию социалистических систем. Не удовлетворяясь обычными определениями социализма (у Дилля, Зомбарта, Вандервельде, Тугана-Барановского) как недостаточно точными и отчетливыми, В. П. Волгин предлагает определение, «суммирующее все установленные признаки понятия «социализм» в единой формуле», выясняя при этом близость к социализму на известных стадиях его развития так называемого коммунизма потребления и уравнилельных теорий (стр. 12, 13). Затем заслуживают внимания соображения о делении социалистических систем на коллективистические и коммунистические.

В главе «Элементы социализма в древнем мире» социальные идеи Платона, предшественника и учителя ранних европейских коммунистов XVII и XVIII вв., изложены не так подробно, как в «Очерках», но отмечается попытка «присвоения некоторых черт коммунизма в построениях, рассчитанных на будущее», относящихся в IV веку, а именно своеобразная программа потребительской коммуны, излагаемая «воображаемым вождем воображаемого движения», Праксагорой, в комедии Аристофана «Женщины в народном собрании». В. П. Волгин метко характеризует идеологию многочисленного кадра интеллигентов, «неприспособившихся, непристроженных», близких по своему положению к общественным низам, к полупролетариату.

рованным ремесленным массам, способных прочувствовать бедственное положение этих низов и пытающихся построить идеальный строй, близкий некоторыми чертами к коммунистическому. Рассмотрение демократических и революционных движений в древнем мире приводит к выводу, что как в Элладе, так и в Риме уравнилельные требования самых крайних групп создали к наделению безземельных земель и отмене долговых обязательств. И для теоретических построений, напр., для идеала Сенеки, в сочинениях которого мы имеем непосредственный, дословный до нас и подлинный источник ознакомления с античной теорией первоначального коммунизма, характерна высокая оценка коммунистических порядков в прошлом и отсюда от коммунистических выводов по отношению к будущему. В. П. Волгин отмечает, что эта двойственность вообще типична для мелкобуржуазных теорий эпохи торгового капитализма.

В главе «Элементы социализма в раннем христианстве» отмечено, что, несмотря на «отщепенство» отцов церкви, социальные идеи первых веков христианства в течение многих веков были «единственной формой выразителя социального протеста угнетенных масс» и что вся коммунистическая мысль средних веков и эпохи реформации жила исключительно этими идеями.

В главе «Первые утопии нового времени» заслуживает внимания иудумный анализ «Утопии» Т. Мора, человека, «способного гениально пытаться и претворять в своем сознании воздействие самых разнообразных, едва лишь намечающихся настроений угнетенных масс как городских, так и деревенских, хотя эти настроения «еще не были осознаны в эту эпоху развития капитализма». В. П. Волгин правильно констатирует, что Т. Мор «далеко вышел за пределы идеологии какой-либо из современных ему групп» (стр. 155). Интересна характеристика утопии Антонио-Франческо Дони, в концепции которого сказывается влияние древне-греческих писателей. В «Воплощение солнца» В. П. Волгин усматривает «своеобразный и любимый» и своей законченности образчик интеллигентского социализма» (стр. 164).

Излагая социалистические идеи в Англии XVII века, В. П. Волгин констатирует ясную формулировку необходимости планомерной организации производства (стр. 187).

При рассмотрении французского социализма XVIII века В. П. Волгин подчеркивает своеобразие Мелье, как выразителя чаяний деревенских масс начала XVIII века и отмечает «безоговорочный рационализм» Мореда и свойственный ему «элемент телеологии», проявляющийся в понимании общественного развития не как причинного ряда, а как ряда ступеней, приближающих человечество к заранее поставленной ему цели. Интересно изложение оптимизма радикально-уравнилельных настроений накануне Французской революции, радикальным выразителем которых был Госселен, доходивший до идеи национализации земли и считавший свою эгалитарную программу осуществимой во Франции.

В главе «Великая Французская революция и социализм» сказывается осторожность В. П. Волгина, воздерживающегося от произвольных конструкций, которыми так злоупотребляли прежние историки этой эпохи, связывавшие социалистические идеалы и даже социалистические программы то одному, то другому из революционных деятелей 1793 года. Требуется мыслить проникнута и характеристика предвосхищений пролетарского коммунизма, бабунизма. Дополнением к этой главе является глава «Идеи наследие бабунизма» в «Счерках». Однако приходится констатировать, что следовало бы точнее выяснить отношение Бабефа и его единомышленников к их непосредственным предшественникам на политической арене. Не лишне было бы отметить, что «жиронда» являлась группировкой весьма различных элементов.

Весьма содержательна глава «Социалистические идеи в Англии XVIII века»: построения Спенсера, Огюста, Голла и Лодвина и своеобразное отрицание представления о золотом веке у Байрона. Следует надеяться, что продолжение широко задуманного и отвечающего насущной потребности широких кругов читателей труда В. П. Волгина не замедлит выйти в свет.

А. ВОДЕН.

### **Марксистская теория права в изложении „критического“ марксиста.**

(По поводу книги Dr'a Jur. A. Rappoport'a «Die marxistische Rechtsauffassung». Riga 1927).

«Марксистский» доктор права А. Раппопорт обратил свое благосклонное внимание на советскую марксистскую литературу в области права и возмечтал «собрать воедино, представить в систематическом виде и критически осветить заключения марксизма о теории права» (S. 5).

Этой почтенной работе автор предпосылает, как полагается, методологическое введение, из которого читатель узнает: 1) что «в области политической экономии достижения марксизма не особенно велики, ибо положительные результаты марксовых изысканий новейшими исследованиями во многом преисполнены» (S. 5), 2) что марксистской философии в природе не существует, ибо марксизм не содержит в себе никаких теоретико-познавательных посылок и «не связан ни с какой философской школой» (S. 7), 3) что «марксизм как учение об обществе и праве есть часть того великого духовного движения, которое исходит из общих социологических и историко-философских начал Огюста Конта» (S. 8) и, наконец, 4) что марксизм необходимо «дополнить» критической философией Конта, тем более, что без последней «каузальному учению марксизма никак не удастся нормативно обосновать политических целей социалистического движения» (S. 52).

Этими «методологическими» доспехами автор собирается строить «марксистскую теорию права»!

Можно было бы, конечно, пройти мимо этого безграмотного, по части марксизма, «сочинения», если бы оно, однако, не представляло собой характерного образчика социал-демократической интерпретации марксистской теории права, разнивающейся у нас. А эта интерпретация, хотя она и стоит на теоретическом уровне современной социал-демократии (или, может быть, именно поэтому), в некотором отношении отнюдь не лишена интереса. Но значеч по порядку.

Как автор понимает право?

На протяжении небольшой книжки автор ухитряется привести в поперечном согласии почти со всеми высказанными в литературе взглядами на право. Если на стр. 28 автор приходит к выводу, что отличительная черта права, это—форма общественного отношения, покоящегося на принципе эквивалентного обмена, то на стр. 44 автор уже заявляет, что «право в первую очередь не правовое отношение, а социальная норма»<sup>1)</sup> с тем, чтобы на стр. 31 прийти к заключению, что для марксизма право—идеология.

<sup>1)</sup> Автор полагает, что нормативную концепцию права разделяют все советские марксисты (!), — Впрочем, кроме Е. Пашуканиса и М. Рейснера, — несомненно, под влиянием Р. Иеринга, который, несмотря на свою «буржуазность», очень популярен, благодаря своему подчеркиванию интереса и силы в праве» (S. 22). Стоит ли отмечать, что это «открытие» на самом деле так же далеко от истины, насколько буржуазный Р. Иеринг, действительно, превосходит своих жалких эпигонов!

Кроме того, верны, конечно, также утверждения Петражицкого об «интуитивном» праве и, само собой, прав М. Рейснер, который «придал интуитивную праву классовый характер», ибо «каждый класс имеет свое особое правое чувство» (S. 45).

Этот «теоретический» парадокс является, конечно, не только (и не столько) результатом «оригинальности» научного мышления автора, сколько обреченности его методологической позиции. Без диалектики Маркса и Энгельса—только эклектикой Конта—эти проблемы, действительно, нерешимы. Только материалистическая диалектика способна за такими абстракциями, как юридическая идеология, юридические нормы, которые, действительно, существуют, и которых никто не отрицает, открыть скрывающую за ними мистифицированную социальную действительность. Марксистская теория не может не ставить себе вопроса о том, какие объективные общественные отношения скрываются за юридической идеологией, «интуитивными» переживаниями и нормами права. Именно юридическое отношение ведь является «реальной основой», над которой возвышались юридические понятия, нормы и всевозможные юридические логические абстракции. «Отношения,—говорит Маркс,—становятся в юриспруденции, полтике и т. д. в сознании понятиями; так как они (юрис. Б. М.) не вышли из рамок этих отношений, то и понятия их являются в их голове свободными понятиями. Так, например, судья применяет кодекс; поэтому в его глазах законодательство кажется истинным, активным...» («Нем. идеол.», Архив, т. I, стр. 253).

Правильная марксистская постановка вопроса неизбежно устранила всякие ссылки не только на нормативность права, но и на его идеологичность, ибо «отражение экономических отношений в виде правовых принципов необходимо является точно так же стоящим вверх ногами... Юрист воображает, что действует с априорными положениями, а это всего лишь экономическое отношение» (Ф. Энгельс, Письмо к К. Шмидту от 1890 г., «Письма», стр. 306).

Таким образом, задача марксистской теории права и заключается в том, чтобы показать, когда, как и при каких условиях общественное отношение становится юридическим отношением, т.-е. в том, чтобы выявить историческую обусловленность правовой формы, а также в том, чтобы показать, как правовыми отношениями порождаются юридическая идеология и юридические нормы, которые впоследствии настолько фетишизируются и мистифицируются, что создают «иллюзию» полной имманентной самостоятельности и независимости от породивших их отношений.

Этой диалектической взаимозависимости между различными аспектами проявления права автор, несмотря на отдельные моменты «просветления», навеянные на него советской марксистской литературой, совершенно не помнит. Автор не понял, что если производственное отношение принимает форму правового отношения,—а это происходит там, где имеется эквивалентный обмен, частная собственность и, следовательно, классы и государственная власть,—то этим самым уже дано содержание и характер нормы и юридической идеологии.

Можно сколько угодно законодателю сочинять нормы, но они будут действительны лишь в том случае, если будут соответствовать определенным или определяющимся отношениям производства и обмена; напротив, они останутся мертвой буквой, если они этим отношениям соответствовать не будут. С другой стороны, отношения производства и обмена, опосредствующиеся в форме права, т.-е. правовые отношения, вовсе не нуждаются обязательно в законодательном «освящении». Достаточно сказать, что естественный круг правовых отношений (обычное право, международное право), который законодателем не нормируется и все-таки остается правым



Для иашего «марксиста» эти элементарные положения марксистской теории права остались книгой за семью печатями.

Одной из наиболее ярких особенностей, имманентно присущих праву и наилучше характеризующих его как с исторической, так и с логической стороны, является, как известно, деление права на публичное и частное. Для марксиста совершенно понятно, что деление права на публичное и частное необходимо вытекает из логического строения правовой формы, что частное право так же не может существовать без публичного и наоборот, как в классовом обществе концентрация классово-политической власти, выступающей в роли носительницы и охранительницы «всеобщего», «публичного» интереса не только не исключает, но предполагает разделение частных интересов, автономизированных и эгоистически противостоящих друг другу<sup>1)</sup>.

Автор не понял этой особенности правовой формы. Вслед за идеологами теории «социальных функций права» — Дюги, Карьером, Гойхбаргом, — в полном противоречии с марксовой теорией, он утверждает, что «деление на публичное и частное право совершенно бессмысленно», что «публицирование» частного права делает огромные шаги» (S. 39), что «частная собственность становится социальной функцией» (S. 40), что свобода игра экономических сил в современном капиталистическом обществе заменяется «социально-целесообразным регулированием». Нужно, впрочем, отдать должное автору. В отличие от своих единомышленников по «теории социальных функций», он делает все протекающие из нее логические выводы. «Правовая форма», — пишет Раппопорт, — отрицает еще в рамках капиталистического общества. В правовых институтах происходит то же вращение в «государство будущего», что и в хозяйстве» (S. 40).

Тенденции монополистического капитализма, затухающие, но не устраняющие, деление права на публичное и частное, близоруко-«критические» марксистом, выдаются за процесс «социализации» права, за «отмирание» и за «вращение» права (кстати, как может отмирать то, что вращается?) в социализм. При этом французский юрист Леон Дюги, «ссылающийся на тенденции современного общественного развития» возводится в правотверные марксисты (S. 37), а сам Маркс — в дюжинные апологеты этого «мирно-спокойно-свободно-целесообразного вращения» старого свиства в «социалистическое общество» (Ф. Зигельс).

Неправильное понимание форм отмирания права, в частности советского, протекает у автора в значительной мере на совершенно ошибочном представлении о взаимоотношении правового и социально-технического регулирования. Автор себе, очевидно, представляет дело так, что по мере «социализации» общества, право будет постепенно «проинкаяться» социально-техническими нормами, основанными на социальной целесообразности, пока в конце концов все право станет системой целесообразных социально-технических норм. Нужно ли доказывать, что такое идиллическое «куинтаторство» является всецело плодом измышлений автора и ничего общего с марксизмом не имеет. На самом деле, процесс отмирания права может начаться лишь после пролетарской революции, по мере обобществления орудий труда и

<sup>1)</sup> «Вместе с разделением труда дано в то же время противоречие между интересом отдельного индивида... и совокупным интересом всех индивидов, находящимся в сносенных друг с другом; к тому же этот совокупный интерес существует не просто в представлении, как «всеобщее», а в действительности... Именно благодаря этому противоречию частного и общего интереса, совокупный интерес, а иде государства, принимает самостоятельную форму, отличную от частных, частных и совокупных интересов; это, собственно, иллюзорная совокупность, которая, однако, опирается всегда на реальную почву. Это не есть просто всеобщая иллюзорная форма совокупности, а представляет иллюзорные формы, в которых ведется реальная борьба различных классов друг с другом» (К. Маркс, «Нем. идеология», Архив М. и Э., т. I, стр. 222).

ликвидации частнохозяйственного эквивалентного обмена, неизбежно опосредствующегося в форме права, при чем отмирание права может происходить не в виде проникновения в него социально-технических норм, а в виде вытеснения последними,—по мере реального развития планового и чуждого, —антагонизирующего с ними права. Социально-технические нормы находятся вне права и их развитие, соответствующее отмиранию общественных антагонизмов на основе общесоциально-планового хозяйства, есть не что иное, как отмирание стоимостно-правового регулятора общественных отношений. Кодексы и Уложения перестают «действовать», в место занимает система технических правил и норм, рационально построенных и лишенных всякой правовой окраски.

Здесь нет возможности остановиться на ряде второстепенных, хотя существенных, вопросов, затрагиваемых автором и большей частью разрешаемых совершенно неправильно. Мы здесь ограничимся только теорией классов и государства, являющейся достойным дополнением к его теории права. На взгляд автора, после полного обобществления хозяйства общество еще не сразу освободится от классовых противоположностей; последние сохранятся в отношениях между работниками умственного и физического труда, управляемыми и управляющими и т. д. Вообще же «было бы, несомненно, корректней термин классы заменить более точным—общественный слой» («Gesellschaftsschicht» S. 46).

Как трудно «доктору права» высвободиться из плена привычных ему буржуазно-юридического мышления и постичь ту несложную истину, что в меру исчезновения социальных антагонизмов, уже при перерастании социализма в коммунизм, «будет исчезать всякая надобность в насильственном вообще, в подчинении одного человека другому, одной части населения—другой, ибо люди привыкнут к соблюдению элементарных условий общности без насилия, без подчинения» (Ленин).

Венцом «марксистской теории» нашего «критика» является, одним его рассуждение о государстве. Приводя ряд известных формулировок Маркса и Энгельса о государстве, автор признает их мало пригодными и выдает следующую свою оригинальную «дефиницию» государства: государство, это «аппарат господства в территориально-ограниченном и классово-дифференцированном обществе, идеологически облеченный подлинной властью» (S. 47).

В неведомом безвоздушном пространстве где-то маячит «этот» господства (над кем?), да еще облеченный (кем?) «подлинной властью» неизвестно на кого опирающийся и кому нужный. Само собой разумеется, что государство имеет своей задачей примирение классовых интересов, что оно «фактически носит надклассовый «национальный» характер» (там же). Нет, разумеется, также нужды доказывать, ибо «из скалькированного уже» что и право очень далеко от того, чтобы быть чисто классовым правом (там же).

«По Марксу, государство не могло бы ни возникнуть, ни держаться, если бы возможно было примирение классов. У менщанских и филистерских профессоров и публицистов выходит,—слонный и рядом при бытожелательных ссылах на Маркса,—что государство как раз примирит классы» (Ленин).

И у нашего «марксиста»—все «как у людей»!

Мы отнюдь не исчерпали всех заслуживающих внимания и критического изображения автора, как, например, отрицание самостоятельной активной действенной роли государства, непонимание взаимоотношений права и государства, противопоставление взглядов тт. Стучка и Пашуканиса и отожествление взглядов последнего в ряде пунктов с воззрениями М. Рейсера (с указанием, что воззрения двух последних писателей генетически исходят от германского юриста Р. Иеринга) и т. д.

Но и приведенного достаточно, чтобы прийти к заключению, что опыт «представления в систематическом индексе и критического освещения» марксистской теории права, предпринятый нашим «доктором права» дал совершенно неудовлетворительные результаты; вместе с тем, опыт этот снова напоминает о том, что возлагать какие-либо надежды на «марксистов» с «тех берегов» не приходится. Попытки услужливых «докторов права» познакомиться западно-европейскую науку с советской марксистской литературой в области права способны, как показывает опыт, принести только вред. Пора подумать, о зарубежном идеологическом фронте в области права и государства. Нужно, как минимум, предпринять издание важнейших марксистских работ в этих областях на иностранных языках.

**Б. МАНЕЛИС.**

**ТЕОРИЯ НОМОГЕНЕЗА** (Новая фаза в развитии российского антидарвинизма). Сборник критических статей под ред. Б. М. Козо-Полянского. Изд. Гос. Тим. Научно-Иссл. Ин-та. Москва 1928 г.

Большим недостатком современной литературы, посвященной вопросам биологической эволюции, является теоретическая неопределенность, нередко граничащая с теоретической бесформенностью воззрений. Прямо-таки «хорошим тоном» считается иногда—расплываться по безбрежному морю фактического материала, излагая «в эмпирической последовательности», факт за фактом и предоставляя самому читателю приводить их в теоретический порядок.

Книжка «Номогенез»—не из таких книг. Посвященная критике берковского номогенеза она содержит в себе богатый и, в основном, выдержанный в материалистическом духе, теоретический материал. Желательно раздобыться в библиотечках современной эволюционной теории читателю она даст не мало интересных мыслей.

Содержит книга четыре статьи: акад. Шимкевича «Новая фаза в развитии российского антидарвинизма», 2 статьи пр. А. М. Никольского «Номогенез» и «Разнообразие номогенеза (биогенетика проф. Соболева)» и статью П. В. Серебровского «Дарвинизм и учение об ортогенезе (по поводу «Номогенеза» Л. С. Берга)».

Первая, очень важная, мысль, которую доказывает вся книга в целом, заключается в следующем. Неправильным, ошибочным является широко распространенное утверждение, что современная научная эволюционная теория (лучше сказать—современный дарвинизм) может удовлетвориться защитой одного факта органической эволюции, отказавшись временно от какого бы то ни было объяснения эволюционного процесса.

Принять и ныне время, что эволюция имела и имеет место—совершенно недостаточно. Ведь эволюцию признают многие виталисты, близкие к ним—испихоломарксисты, очень многие идеалистически настроенные биологи; эволюцию признают даже некоторые попы, изображая бога движущей силой эволюционного процесса. И Берг, вместе со своим подголоском проф. Соболевым, тоже за эволюцию.

Нам нужна не всякая, а именно материалистическая эволюционная теория. Дарвинизм, лучше всякой другой теории, отвечает этому требованию. Он не объясняет всего, но он дает в основном полное и совершенно естественное изображение механизма эволюции, выдвигая такие бесспорные факторы, как изменчивость, наследственность, борьбу за существование и отбор. Дарвинизм нужно дальше разрабатывать, будет неверным сказать, что этого не делают, но дарвинизм также нужно и защищать от разрушительных посятельств тысячи и одной эволюционной теории, претендующих занять его

место. Обсуждаемый нами сборник защищает дарвинизм от крайне нескромных посягательств берговского номогенеза. Делает он это не плохо. Каждая страница сборника, можно сказать, «без ножа режет» берговскую «закономерную эволюцию».

Первой идет умная статья ак. Шимкевича. Определяя теорию номогенеза, он пишет: «Теория номогенеза—эклeктичeская. Есть в ней и ортогенез, и автогенез, и изоляция, и мутации Вагeна, и полифeлитизм и многое другое» (стр. 24). Совершенно эклeктичecкое сочетание в теории номогенеза автономических и хрономических (внешних) причин—говорит за это же самое. Но это правильное утверждение Шимкевича не мешает ему видеть и то основное, что особенно характерно для номогенеза. Это основное—телеологический характер теории. Как правильно пишет один из авторов сборника—Серебровский—«Берг мог бы вместо книги «Номогенез» написать только две фразы: «Из амебы ортогенетически вырос человек и другие организмы. Процесс направлялся изначальной целесообразностью». В этом сгeдo Берга» (143). Именно в телеологическом характере эволюции суть бергианства. Эта «суть» не нова, но удивительно живуча, систематически возрождаясь к жизни, в разных одеяниях и под разными соусами в различных биологических теориях. И, правда, чем отличается далее «неразложимая» первичная целесообразность жизни Берга от старухи жизненной силы? На деле—ничем. «Проф. Берг хоть и чурается жизненной силы, а на деле он ее только размывает на более мелкую монету»,—пишет Шимкевич. Можно смело утверждать, что «изначальная целесообразность Берга=энтелехию=жизненной силе=«Всевышнему Творцу». Та закономерность, которую защищает Берг против «дарвиновского хаоса случайностей», есть на самом деле совершенно нематериалистическая «закономерность». Она резко отличается от материалистической закономерности тем, что «номогенез предполагает, что все законченные в живом существе возможности должны обнаружиться во время эволюции и что самое проявление их не зависит от условий» (Шимк., стр. 18). Ведь именно о таком внутреннем, независимом от внешних условий, закономерном развитии говорит Берг, выдвигая свои законы предварения признаков будущих видов, определенного направления эволюции и автономической конценции. Эти законы необходимо нуждаются для своего обоснования в направляющей, телеологически действующей силе, которую Берг, правда, не очень демонстративно ввел в виде «изначальной целесообразности».

Материалистическая эволюционная теория не так понимает эволюционную закономерность. Прежде всего, как говорит Шимкевич, «эволюция вне условий, конечно, нет, и на проявление тех или других признаков, вероятно, влияет все, начиная от явлений космического характера, вплоть до консистенции ахроматиновых нитей, растаскивающих хромосомы после синapsиса» (стр. 19). В ряде случаев, как показывают последние генетические исследования (Моллер, Ванстейн, Бляксен и др.)—эти внешние условия выступают в качестве причин наследственных изменений, прямо вступающих в эволюционную закономерность в качестве «имманентного» элемента. Борьба за существование и естественный отбор—тоже необходимые элементы эволюции и тоже отрицают ее внутренний, автономически-телеологический характер.

Кроме этого, для дарвиновской, т.-е. естественной, закономерности эволюции характерно и другое—это отрицание определенной, целой направленности эволюции. Как показывают исследования, изменчивость организмов совершается во всех возможных направлениях, правда, ограничиваясь определенными рамками («закон гомологических рядов» Вавилова), но не обнаруживая какой-нибудь определенной направленности. Направление эволюции каждого вида живых существ определяется не внутренней целью

развития, а теми конкретными условиями среды (в широком смысле слова), в которых этот вид находится. Другими словами в одних условиях отбор может сохранить одно изменение, а в других—другое, указывая этим на потенциальную способность любого вида развиваться в разных направлениях.

В общем, дарвиновская закономерность: 1) устраняет целевую направленность эволюции, 2) воздигает внешнюю, по отношению к организму среду в качестве необходимого момента эволюции, 3) привлекает для объяснения эволюции только естественные факторы. Жаль, что ни одна статья сборника не останавливается более или менее подробно на опровержении тезиса Берга о том, что эволюция по Дарвину иезаконмерна. Вопрос о том, как из дарвиновских факторов складывается строгая закономерность—большой вопрос, на котором следовало бы остановиться, но который здесь мы вынуждены обойти.

В другом «стиле», по сравнению со статьей Шимкевича, написаны статьи проф. Никольского. Как и Шимкевич, он решительно выступает в защиту дарвинизма и против иомогенеза, но делает это по-другому. Он не просто академически обсуждает иомогенез, а убежденно бичует его, остроумно и безжалостно вскрывая его истинное, убогое сущность.

Иомогенез, по Никольскому, теория без фактов.

«Свои все фактах из области зоологии (которые приводятся Бергом.— В. С.),— пишет он,—я с полным убеждением могу сказать следующее. Они или ничего не доказывают, или указывают на то, что эволюция шла на почве естественного подбора или прямо-таки противоречат теории иомогенеза. Во всей этой массе фактов я не нашел ни одного, в котором можно бы было усмотреть хотя бы слабый намек на существование иомогенеза, как его понимает Л. С. Берг» (стр. 56).

Никольский делает выводы из теории иомогенеза, договаривая то, что не договаривает сам Берг. Он ясно показывает, что в основе внутренних тенденций развития Берга, неминусом должна лежать сознательная, разумная сила, такая сила, которую мы «привыкли называть богом» (стр. 59)—иначе иомогенез совершенно не увязывает концы с концами. Без этого необходимого момента совершенно неясными остаются и «изначальная целесообразность» и определенная направленность эволюции и факторы, которые Берг толкует, как предварительную приспособленность (т.е. образование признака, напр., слепоты у протеев, в последующем отысканием условий для жизни с этим признаком, в данном случае—подземных пещер) и так называемое филогенетическое ускорение или предвзрение признаков будущих видов. И пусть Берг клянется, что он не виталист, пусть он уверяет, что в основе всего этого лежит «химия белков» и пр.—от этого положение вещей не меняется — и материалистом он совершенно не становится.

Следующая статья Никольского занимается анализом учения другого иомогенетика—проф. Соболева («Начала исторической биогеографии»). Этот автор, если и слабее Берга в отношении умения подавать читателю «фактами», то, пожалуй, еще менее скромнее в своих претензиях. Он констатирует свои законы эволюционного процесса, подлежащие занять место «устаревшего» дарвинизма. В основе всего, по Соболеву, лежит целенаправленный «закон эволюций», т.е. стремление организмов в процессе филогенеза осуществлять заложенные в них цели. Этот «закон» создает основную канву для возможности осуществления других иомогенетических «законов» филогенеза,—исследственности, обратимости эволюции, прерывистости и скачкообразного характера развития.

Уже не говоря о типично берговском телеологизме Соболева, совершенно наивным выглядит его понимание закона. Как совершенно пра-

нильно отмечает Никольский, «нет закона в том случае, если он обнимает ряд явлений, которые можно толковать на самые разнообразные лады» (стр. 70). «Закон обнаруживается прежде всего в правильной, без всяких исключений, повторяемости одного и того же явления, при одних и тех же условиях» (стр. 69).

Этому требованию ни в малой степени не удовлетворяют «законы» Соболева. Каждый из них можно «толковать на самые разнообразные лады» — и менее всего на тот номогенетический лад, который так мил сердцу Соболева. Никольский очень хорошо и без особого напряжения показывает, что каждый из упомянутых здесь соболевских «законов» действительно никуда не годится и для научного исследования ничего не дает.

Несколько отлична от всех других статей сборника статья П. В. Серебровского. Ее особенность прежде всего в том, что она не только критически деструктивна, но дает и положительный, конструктивный материал по одному из очень важных вопросов эволюции, — именно по вопросу об ортогенезе.

Под ортогенезом Серебровский разумеет «развитие (рост) организма или отдельных его частей во времени, в каком-либо определенном направлении без участия естественного отбора» (стр. 94; рядка наша). К примерам такой, ортогенетической эволюции он относит образование окраски оперения у птиц, эволюции роста животных, образование рогов, формы рисунка и окраски у ряда животных и пр. Из несомненно определенных заявлений автора все-таки можно сделать заключение, что эволюция признаков ортогенеза или нарастания признаков во времени он считает внутренними причинами. В одном, например, месте он пишет в некоторых случаях (напр., при образовании «климатических» признаков) «внешним условиям можно приписать едва ли не первостепенное значение, но крайней мере их участие совершенно очевидно; но, например, в случае развития хотя бы хохлы у птиц, роль их, по видимому, ограничивается лишь ускорением или замедлением независимо идущего процесса. В таком случае удобно условно называть такого рода процессы автономными. К числу автономных же процессов мы будем относить также такие явления, где о роли внешних условий мы пока еще ничего не знаем, хотя она вероятно имеет место» (стр. 124). Как бы ни толковалась это в другие, подобные места статьи Серебровского — для читателя должно быть ясно, что движущая пружина ортогенеза должна лежать внутри организма — этого требует само существо ортогенеза. Ведь не нужно забывать, что ортогенетические изменения организмов совершаются в определенных направлениих, хотя в при всеобщем участии внешней среды, но именно в силу внутренней активности организма. Не даром Серебровский так упорно говорит о необходимости помнить не только об экологических условиях жизни организма, но и о «всей многовековой истории его предков» (стр. 131). Эта история не прошла для организма даром, но существу любой организм есть кристаллизованная история, благодаря чему только и может быть определенная направленность его изменения (ортогенез). Накопленное в организме прошлое, по Серебровскому, фактически делает ортогенез. Особенно это ясно в случаях автономного ортогенеза, о котором преимущественно автор и говорит.

Серебровский решительно утверждает, что ничего мистического в его ортогенезе нет. Направление ортогенеза — не обязательно приспособительное. «Среди процессов ортогенеза, — пишет он, — много таких, которые не приносят их обладателям видной пользы, а в некоторых случаях ведут даже к вымиранию» (стр. 129). Благодаря этому ортогенез отбора не только

не исключает, но, наоборот, предполагает — недаром Серебровский называет себя дарвинистом. «Всякие попытки,—пишет он,—миновать принцип отбора неминуемо ведут в болото метафизики» (стр. 139). «Отбору принадлежит одна из главных ролей в эволюции» (стр. 155). Серебровского не удовлетворяет теория номогенеза именно потому, что, согласно ей, «вся эволюция—ортогенез» (стр. 143). Согласно его взглядам ортогенез есть один из факторов эволюции, который на ряду с симбиогенезом, мутациями, гибридизацией—поставляет материал для естественного отбора» (стр. 138). «Ортогенез есть не что иное, как служанка естественного отбора» (стр. 185). Вот это признание главенствующей роли отбора, нам кажется, спасает всю эволюционную концепцию автора от неминуемой неудовлетворительности. Только благодаря этому он приобретает почву под ногами и только поэтому его ортогенез может обсуждаться, как серьезная, научная попытка развития дарвинизма.

Мы должны отметить, что Серебровский систематически подчеркивает свою непричастность к бергианскому и иному идеалистическому ортогенезу. Но, несмотря на это, принять его взгляды на этот предмет, даже в ограниченном отбором виде, невозможно. На самом деле, в природе ортогенеза, даже такого «естественного» и «материального», о каком говорит Серебровский,—нет. Те «ортогенетические ряды», которые приво-зятся им, как доказательства (окраска птиц, рога животных, рисунок и окраска у насекомых и пр.)—есть эволюционные ряды, которые сами по себе о механизме эволюции еще ничего не говорят. Их нужно объяснить с точки зрения эволюционной теории, многие из них мы еще не можем объяснить, но так прямо зачислять их «по ведомству» ортогенеза есть столько же оснований, сколько у Берга—зачислить их «по ведомству» номогенеза. Серебровский считает положительной особенностью своих доказательств то обстоятельство, что они заимствованы не из лабораторной, а прямо из природной обстановки. В этом—одно из заблуждений Серебровского. Именно в этом—слабая, а не сильная его сторона. Сама по себе холодная природа равнодушна ко всем теориям, которые создает ищущий человеческий ум. Она ничего не доказывает, ни к чему не стремится, следуя в своем развитии объективным и слепым законам. Доказать должен изобретящий человек, активно воздействуя лезвием ума и эксперимента на эмпирический материал действительности. Он должен пытаться природу, чтобы получить от нее ответы на свои вопросы. Человек, удовлетворяющийся одними фактами, полученными от чистого наблюдения и описания явлений природы—слишком слабо вооружен для углубленной теоретизации. Он — слишком эмпирик, его ум слишком пассивен.

Это особенно нужно сказать, когда речь идет об эволюционной теории. Разработка всех ее «проклятых» вопросов не терпит наивного эмпиризма «непосредственного» наблюдателя. А ведь именно такой пассивно-наблюдательский эмпиризм проявил, например, де-Фриз, создавший свое разделение эволюции на периоды мутирования и прэмутации только на том основании, что он наблюдал мутации у энотеры, но не смог установить их у сотни других видов. Такой же эмпиризм мы видим у Берга, например, в случае его «непосредственного» понимания закона гомологических рядов Вавилова, как целевой направленности развития. Тем же самым грешит Серебровский, когда он эволюционные ряды (на том основании, что какой-нибудь признак, напр., клюв и хохолок птиц, определенно изменяется от одной климатической зоны к другой) рассматривает, как доказательства ортогенеза. Непосредственное наблюдение показывает, что перед нами ортогенез, но не то говорит экспериментальная работа и сопоставление этого наблюдения с целым рядом различных фактов. Факты с полной очевидностью говорят, что изменчивость определенно не направлена. Исследо-

посвящен совершенно другой теме, чем статья Скурера, и носит совершенно другое наименование. Статья Скурера называется «Спиноза и диалектический материализм», мой же доклад — «Механистическое мировоззрение и проблема Спинозы». В нем я анализирую механистические элементы философии Спинозы и те противоречия и непоследовательности, какие в ней имеются. 4) Вот почему я считаю неправомерной, непростительной назойливостью, с какой стараются наши механисты — вынудить своим чтением, будто я и Скурер — это одно и то же лицо.

Г. ДМИТРИЕВ.

25 августа 1928 г.

### Моим друзьям в СССР.

Настоящим своим обращением я позволяю себе предложить внимание моим советским друзьям новый еженедельник «Монд», месяц тому назад начинавший выходить под моим руководством. «Монд», которому я всецело посвятил себя, является международным журналом, имеющим целью давать широкою, объективную информацию. В состав редакции входят самые выдающиеся общественные деятели писатели, ученые мира: Ромэн Роллан, Кнут Гамсун, Генрих Манн, Энтон Синклер, Рабиндранат Тагор, Максим Горький, Пабло Истрати, Жорж Дюамель, Эрнст Толлер, Леонард Франк, Серфиониач, И. Бехер, Эйнтштейн, Мэч Кюри, акад. Лавровский, проф. Иоффе, акад. Павлов, Кете Коллдинг, Лисего Ривьер, Пискачев, Мейерхольд, Луначарский, Каменева, Коган и др. «Монд» отражает научную, литературно-художественную и социальную общественную жизнь мира. Хотя «Монд» и начал выходить на французском языке, тем не менее журнал имеет ясно выраженный международный характер.

Цель журнала, прежде всего, давать ясную и беспристрастную картину современности во всех ее проявлениях. «Монд» стремится стать трибуной с которой будет показана мировая жизнь, без всяких предубеждений и пристрастий. Он будет правдиво отражать жизнь мира с научной точностью и истинно без уклонов в пользу кого бы то ни было и без компромиссов. «Монд» будет, тем образом, журналом борьбы, так как борьба необходима для утверждения реальности вещей, будет показывать ее в свете принципов и противопоставлять ее тем же и тем извращениям, которым она подвергается в обработке реакционной пропаганды, ханжества, клеветы. То, что необходимо широкому массам, это правдивое освещение событий нашего мира. Это — мнение всех нас в Советском Союзе, мнение прекрасно выраженное недавно одним из известнейших советских товарищей следующими словами: «Что нам и нашим дням может принести наибольшую пользу, это правда».

Таким образом, «Монд», благодаря своей программе и, следовательно, своей объективности, будет нести борьбу против всех видов реакции. Он будет нести постоянную кампанию слонов и слез против фашизма, империализма, эксплуатации и угнетения народов и рас. Он так будет неустанно освещать достижения СССР и истинность их иде.

«Монд» приложит также все усилия к созданию прилетарского искусства и литературы, поскольку они являются крупнейшими факторами на идеологическом и социальном фронте и поскольку они суть самое значительное и самое характерное выражение жизни и борьбы масс в противоположность искусству упадка буржуазии.

Мы уже имеем во всех крупных мировых центрах своих сотрудников и активно содействующих друзей. Здесь, в СССР, друзьями «Монда» являются как нам сказал один из индийских советских деятелей, все сознательные граждане Союза, а потому мы просим вас о вашей активной поддержке, нашей конкретности и постоянной помощи, дабы совместными силами повести боевое и революционное наступление против заблуждений, с одной стороны, невежества и обмана — с другой.

Установите с нами связь и подписывайтесь на «Монд».

С братским приветом

АНРИ БАРБЮС.

Русскую корреспонденцию адресовать: ВОКС, Москва, М. Никитская, д. 4



# О П Е Ч А Т К И

Напечатано:

87

Должно быть:

№ 5

стр. 29 строка 23 сверху  
изучения и социальной теологии

стр. 32 строка 22 сверху  
(общественную „телеологию“)

стр. 110 в списке строк. III снизу  
1) „В России спор шел о минимальных  
ступенях...“

стр. 140 в списке строк. 2 снизу  
таким образом „Обращение“ схемы  
и обязательный канонической револю-  
ционной“ (Желан, там же).

„изучения и социальной телео-  
логии“

(общественную „телеологию“)

1) В России спор шел о минимальных  
ступенях...

таким образом „Обращение“ схемы  
и обязательный канонической револю-  
ционной.

Ответственный редактор А. И. Деборин.

Редакционная коллегия: { А. А. Максимов, М. Н. Покровский, Я. В. Стан.  
А. К. Тимирязев.